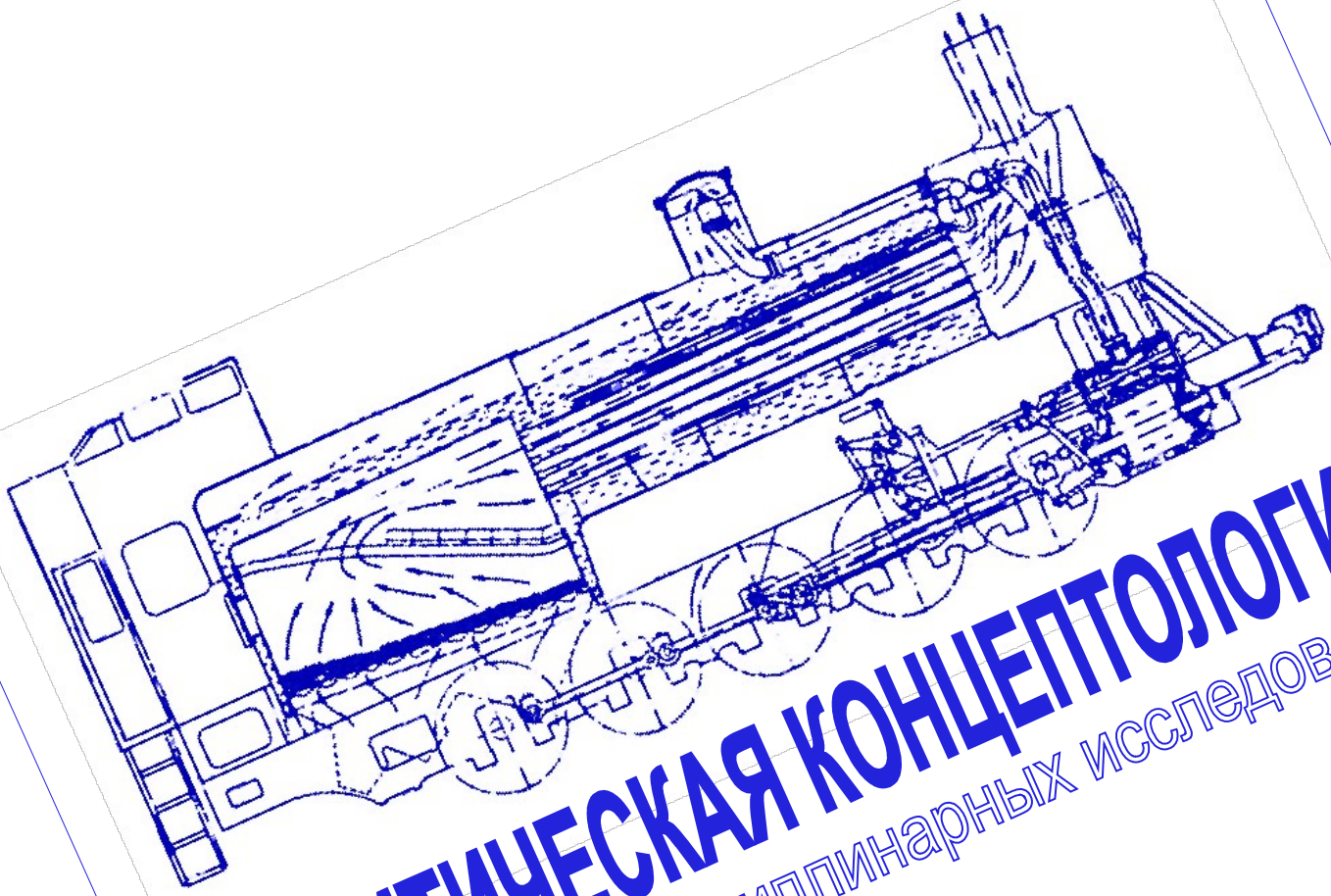
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Journal of metadisciplinary research
The POLITICAL CONCEPTOLOGY

2013 г. № 4



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

Ростов-на-Дону

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ

Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2013. № 4

(октябрь-декабрь)

Научный журнал
Издается с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований

Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

ISSN 2218-5518

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор: *В.П. Макаренко*, доктор политических и философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины

Заместитель главного редактора: *С.П. Поцелуев*, доктор политических наук, доцент

Ответственный секретарь: *М.С. Константинов*, кандидат политических наук

Корректор: *Д.Н. Протасеня*

Редакционный совет:

Председатель – доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор *А.В. Лубский* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, доцент *А.И. Бардаков* (Волгоград)

Доктор экономических наук, профессор *В.В. Вольчик* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, профессор *И.И. Глебова* (Москва)

Профессор ординарный, доктор габилитованы *Анджей Захариаш* (Жешов, Польша)

Доктор политических наук, профессор *В.С. Малахов* (Москва)

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ *О.Ю. Мамедов* (Ростов-на-Дону)

Доктор юридических наук, профессор *А.В. Оболонский* (Москва)

Доктор экономических наук, профессор *А.Н. Олейник* (Москва, Ньюфаундленд, Канада)

Доктор политических наук, профессор, действительный член РАН *Ю.С. Пивоваров* (Москва)

Доктор философских наук, профессор *Н.С. Розов* (Новосибирск)

Доктор философских наук, профессор *В.В. Савчук* (Санкт-Петербург)

Доктор исторических наук, профессор *В.Н. Ткаченко* (Киев, Украина)

Доктор философских наук, профессор *С.Г. Чукин* (Санкт-Петербург)

Доктор философских наук, кандидат психологических наук *В.А. Шкуратов* (Ростов-на-Дону)

Доктор исторических наук, профессор *В.А. Шнирельман* (Москва)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская, 160, к. 112
тел. (863) 264-02-64
факс: (863) 264-52-55
e-mail: politconcept@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Макаренко В.П.
Современный российский милитаризм (статья вторая)..... 6

ЗЛОБА ДНЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

От редакции..... 21

Верховский А.М., Паин Э.А.
Цивилизационный национализм: российская версия «особого пути»..... 23

Мелихов А.М.
Идеология «особого пути» как орудие модернизации..... 47

Фирсов Б.М.
Апология «особого пути» и ментальность россиян: взгляд извне..... 49

Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Паин Э.А.
Беседа на тему: Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»?..... 58

ТЕМА НОМЕРА: ПРОРАБОТКА СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО И ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ РОССИИ

Стенограмма Всероссийской конференции
Проблема проработки советского прошлого (23–24 марта 2013 г., г. Ростов-на-Дону).. 69

Эткинд А.М.
Главы из книги «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России»..... 141

Ткаченко В.Н.
Феномен «внутренней колонизации» в украино-российских отношениях (исторический аспект)..... 173

МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА

Поцелуев С.П., Константинов М.С.
Деятельностный подход: мораль в структуре политических взаимодействий..... 187

Николаев И.В.
Морально-когнитивные основы либерального понимания свободы..... 200

Константинов М.С., Николаев И.В.
Фреймы и концепты морального обоснования консерватизма..... 213

Поцелуев С.П.
Моральные мотивы и моральная риторика в марксизме и социализме..... 227

Константинов М.С.
Коммунитаристская критика либеральной концепции моральной нейтральности..... 240

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Олейник А.Н., Кирдина С.Г., Попова И.П., Шаталова Т.Ю.
Академическое чтение: пределы понимания и интерпретации..... 251

Макаренко В.П., Рюмшина А.И.
Читая Джеймса Скотта: государственные факты и мелодия власти..... 266

Наши авторы..... 284

Summaries and keywords..... 286

Contents..... 290

К сведению авторов..... 292

Слово редактора

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ МИЛИТАРИЗМ (статья вторая)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье автор приводит анализ военно-полицейских структур в политике. Здесь центральной становится проблема концентрации государственного насилия. Автор рассматривает историю российского милитаризма и отмечает важность гражданского контроля над институтами насилия.*

Ключевые слова: *военно-полицейские структуры, государственное насилие, милитаризм, государственная политика, гражданский милитаризм, военное реформирование, армия и политика.*

Анализ роли военно-полицейских структур в политике — важное направление разработки теории демократии. Роберт Даль считает, что период с 1980 г. по настоящее время особенно важен для демократической трансформации в мировом масштабе. Одним из главных условий этого процесса является гражданский контроль над институтами насилия [Даль 2003: 371–382]. Государство может использовать все экономические, социальные, психологические и физические средства насилия, но обычно доминируют физические средства насилия — армия и полиция. Вплоть до настоящего времени они используются для подавления демократии. В целях борьбы с этой традицией Даль предлагает: подчинить армию и полицию гражданскому контролю; подчинить гражданских контролеров над аппаратом насилия демократическим процедурам. Однако возможность контроля над армией и полицией зависит от двух факторов: организации аппарата насилия и состояния военной техники; использования средств контроля над ними.

Отсюда вытекает главная проблема: **развитие военной техники и организации увеличило угрозу в XX в. применения государственного насилия**. Профессионализм создает социальную и психологическую пропасть между военными и гражданскими. По мере роста и усложнения военно-полицейских структур затрудняется гражданский контроль над ними. Эти структуры стремятся воздействовать на другие звенья власти — парламент и бюрократию. Поэтому не существует однозначной связи между состоянием военной организации и техники и наличием (отсутствием) демократии.

В любом случае демократические государства заинтересованы в предотвращении военных переворотов. Чтобы лишить военно-полицейские структуры способности к насилию, они используют следующие средства: ликвидируют вооруженные силы или оставляют не-

большую армию с учетом соотношения сухопутных и морских сил; ставят армию и полицию под контроль местной власти; формируют вооруженные силы из людей с демократическими убеждениями; идеологически обрабатывают профессиональных военных.

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [Конституция РФ… 1997: 2]. Как решается в ней поставленная проблема?

Подходы к проблеме

Герберт Спенсер выделял два основных типа государственного устройства: *воинственный*, при котором все направлено на подготовку войны с другими государствами; *индустриальный*, когда нормы, законы и институты направлены на мирное совершенствование экономики ради блага членов общества. Спенсер считал Россию самым удобным примером обществ первого типа (наряду с Дагомеей, древними Перу, Египтом и Спартой).

Через полвека после Спенсера Гарольд Лассуэлл написал эссе о «государстве-гарнизоне»: в результате развития военной техники и наступления эпохи тотальных войн главную роль в государстве начинают играть специалисты по применению насилия; организация экономики и социальной жизни систематически подчиняются потребностям вооруженных сил; доминирующее влияние находится в руках того, кто применяет насилие. Лассуэлл полагал, что практически все государства будут скатываться к гарнизонному типу. По отношению ко всем государствам мира эта теория не подтвердилась, но в отношении СССР оказалась правильной.

Чарльз Тилли тоже рассматривает формирование современных государств через призму противоборства двух тенденций — концентрации капитала и концентрации насилия. В Российской империи и СССР концентрация насилия шла намного быстрее концентрации капитала.

Итак, мнения классиков социологии и политической науки о преобладании в истории России/СССР военного типа организации общества **совпадают**. Обратимся к суждениям некоторых современных исследователей.

Дуглас Норт показал, что армия, церковь и бюрократия — главные действующие лица латино-американского пути зависимости экономики от траектории предшествующего развития. В результате такой зависимости испаноязычные страны навсегда отстали от других стран Запада [Норт 1997]. Движение России по латиноамериканскому пути подтверждено конкретными исследованиями и ему уже дана оценка [Авторитаризм развития… 2005; Шевцова 2000]. Значит, появились теоретические и практические предпосылки для анализа влияния военно-полицейских структур, церкви и бюрократии на социальную жизнь страны.

Полицейская культура России базируется на культах репрессивного закона, военщины, политического сыска. Эти качества государства воспроизводились на протяжении столетий — от Тайной канцелярии до КГБ/ФСБ [Анисимов 2001]. Армия и органы госбезопасности способствовали тому, что госаппарат России/СССР культивировал холопство [Хелли, 1998: 19]. В российском обществе до сих пор господствует репрессивное сознание, отождествляющее экономический и административно-полицейский порядок. Составным элементом такого тождества является «народная любовь к армии и чекистам», недоверие к суду, воздействие на власть через родственно-дружеские и криминальные сети: «В результате молодая Россия (слой современных российских предпринимателей, — В.М.) выступает сегодня … в роли главной наследницы и продолжательницы советского образа жизни эпохи разложения» [Клямкин, Тимофеев 2000: 129]. Стало быть, описание механизмов воспроизводства советского образа жизни тоже входит в предмет исследования.

Советская власть на всем протяжении своего существования усиливала авторитарно-бюрократические тенденции революций. В постсоветской России причиной авторитарных тенденций является связь экономики и политики. Под предлогом модернизации власть транслирует монархически-советскую связь политического угнетения с экономической эксплуатацией людей и природы. Главная драма посткоммунистической трансформации — борьба между сторонниками рынка и рантье. Последние поставили задачей переходного периода сохранить условия для извлечения ренты [Макаренко 2001].

Вся история России/СССР — это процесс многократного образования и распада империи [Геллер 2001]. Но в рамках империй невозможно ни разрешить универсальные проблемы империй (появление класса государственных чиновников, торговля государственными должностями, конфликт центра и периферии, использование финансов и кредита для колонизации новых и удержания за собой прежде завоеванных пространств), ни устранить особенности распада империй: возникающие на развалинах империй государства обладают большой силой самосохранения даже при неблагоприятных обстоятельствах; на протяжении периода распада империй эти государства превращаются в «змеиный клубок интересов», зависимостей и карьер; государство становится самодовлеющей ценностью и теряет способность решения социальных проблем; зато оно удовлетворяет материальные интересы все большего слоя людей, не создающих ни материальных, ни духовных ценностей; по мере распада империй новые правящие клики преобразуют государство в сословный институт [Макаренко 2001]. Под углом зрения «змеиного клубка интересов» можно рассматривать деятельность всех государственных ведомств и институтов, включая армию и полицию.

В эпоху разложения СССР вне критики полностью оставались деятельность органов управления высших уровней, госбезопасность, армия и внешняя политика. После 1991 г. шлюзы открылись. Теперь дипломаты критикуют военных и чекистов, военные и журналисты критикуют чекистов и дипломатов, чекисты критикуют дипломатов и идеологов, бывшие идеологи огрызаются на все стороны, почти все плюются вслед ЦК КПСС, а сыновья стремятся выгородить своих папаш[1]. Накапливается громадный эмпирический и антропологический материал для анализа «змеиного клубка интересов» главных государственных институтов и применения к российским процессам теории политической критики [Уолцер 1999].

Перед перестройкой значительная часть комсомольских лидеров низшего и среднего звена перебежала в органы безопасности и более других воспользовалась (в личных целях) начавшимися в стране преобразованиями [Грушин 2006: 863, 878]. Вера в принцип военной организации как идеал для всего общества привела к тому, что в нулевые годы на всех уровнях управления оказалось непропорционально большое число отставных офицеров. О. Крыштановская ввела для этого термин «милитократия». Высокопоставленные военные и работники спецслужб стали главным кадровым резервом в системе «управляемой демократии».

Стало быть, поставленный вопрос можно конкретизировать: способствуют ли все перечисленные тенденции соблюдению Конституции РФ?

Суждение военного аналитика

Под таким углом зрения можно собрать целую библиотеку. Из нее я возьму лишь пару книг Александра Гольца. Они опираются на исследования Левада-Центра и потому могут считаться социологически репрезентативными [Гудков 2004; Гудков 2011]. В первой книге

[1]Приведу навскидку несколько симптоматичных публикаций: Гриневский 2000; Шебаршин 2000; Филби 2005; Сухомлинов 2004; Бовин 2003; Шлыков 2002; Коржавин 2006; Эдельшейн 2005; Черняев 1997; Микоян 2006.

описаны перипетии военной реформы в России и история российского милитаризма. Во второй книге содержится анализ конкретных аспектов российского милитаризма (гражданский милитаризм, милитаризм российской власти, милитаризм и общественное сознание; милитаризм и армия; милитаризм и конкурентоспособность России). Рассмотрю лишь некоторые аргументы и выводы А. Гольца в соответствии с целью статьи.

Военная реформа и генералитет. Первый министр обороны России П. Грачев отличался глубоким недоверием к начальству. «К руководству российскими Вооруженными силами, — пишет Гольц, — в наиболее критический период пришел смелый, но ограниченный человек без каких-либо убеждений и глубоких знаний. Он твердо знал, что начальство всегда требует или невыполнимого, или преступного. И доблесть видел в том, чтобы уклониться от выполнения подобных приказов» [Гольц 2004: 23]. В том числе от военной реформы.

Министерство обороны стало владельцем гигантских стратегических запасов оружия, военной техники, продовольствия, топлива и промышленного сырья. Грачеву удалось провести через правительство документы, позволяющие Вооруженным Силам избавляться от «излишков» имущества. Начался грабеж, а затем массовое оформление контрактниками жен офицеров и прапорщиков.

В основе всего учебного процесса Вооруженных Сил СССР лежал мифологизированный опыт Великой Отечественной войны. Из него был сделан вывод: Советская армия — идеал и реформировать в ней нечего. Правда, под влиянием политических изменений Россия отказалась от главной задачи Вооруженных Сил СССР — подготовки к ведению глобальной войны на всех направлениях одновременно. Но Россия унаследовала от СССР 85% вооруженных сил и только 60% экономического потенциала. Отсюда был сделан вывод: если грядущая война выйдет за рамки регионального конфликта, Россия должна использовать ядерное оружие первой для нанесения обезоруживающего удара.

В США над стратегическими концепциями трудились не генералы, а ученые-политологи. Они разработали теорию сдерживания, которая легла в основу американской ядерной стратегии. Кремлю потребовались люди, способные оценить эти теории и понять, как они реализуются на практике при создании систем ядерного оружия. Задача была возложена на Институт США и Канады РАН. После изучения вопроса российские ученые-политологи института вступили в конфликт с капитанами военно-промышленного комплекса. Последние грудью стояли за сохранение советской практики, когда разные конструкторские бюро разрабатывали один и тот же вид оружия. В результате в войска поступали однотипные, но разные по конструкции системы.

В «Основах (концепции) государственной политики РФ по военному строительству на период до 2005 года» нет постановки вопроса о демилитаризации силовых структур России. В российской армии идет схватка между кланами сухопутчиков, ракетчиков и спецслужбистов. Эта схватка накладывается на два общих синдрома военно-полицейского сословия: сознание осажденной крепости и поиск врагов (это особенно характерно для деятелей спецслужб); призывной сидром выражается в том, что уже давно в армию призывают не для защиты Родины, а для выполнения подсобных работ. В целом стараниями российского генералитета военная реформа всякий раз заходила в тупик. «В оправдание выдвигалось несколько групп аргументов — отсутствие общей концепции военной реформы, отсутствие необходимого финансирования, вовлеченность армии в политическое противоборство, участие в войне в Чечне» [там же: 103]. Генералы сопротивлялись любым предложениям гражданских реформаторов, обвиняя их в безответственности, стремлении разрушить Вооруженные силы великой державы.

А. Гольц формулирует принципиальное положение: **армия и в условиях демократии в силу своей специфики живет по совершенно недемократическим правилам (единонача-**

лие, безусловное выполнение любого приказа, строгая иерархия званий). Система гражданского контроля над армией призвана разрешить противоречие — существование внутри демократического общества принципиально недемократического инструмента защиты этого общества.

Первый шаг в установлении такого контроля — это жесткое разделение функций и ответственности военных и политических руководителей. Должна быть в принципе исключена ситуация, когда генералитет принимает решение о том, что угрожает в данный момент государству. Военные должны только консультировать высшее политическое руководство, а после принятия решения неукоснительно его выполнять. Но политические руководители не желают нести свою долю ответственности за принятие решений в военной сфере. Если у военных нет права не выполнять приказ политического руководства, то они должны быть уверены, что этот приказ не будет невыполним или преступен. Однако от Карабаха до Чечни Кремль демонстрирует обратное [Жирохов 2012].

Гольц считает армию инструментом для решения политических задач. Однако после очередной неудачи политики не спешат принимать на себя ответственность за провал. Единственная гарантия против ошибок политиков в отношении армии — публичное обсуждение всех случаев использования военной силы. Такая система требует от президента ответственности, а от парламента — вменяемости. Однако военно-политическое руководство России не считает нужным информировать общественность о том, что происходит в военной сфере. «В результате советская военная элита по-прежнему определяет российскую оборонную политику» [Гольц 2004: 115]. Без общественного контроля коррупция еще больше, чем теперь будет разъедать военные круги. Это приведет к тому, что средства, направляемые на Вооруженные силы, и в будущем будут исчезать неизвестно куда. А генералы, как и прежде, будут саботировать военную реформу.

Чтобы приступить к военной реформе, генералы требовали создания всеобъемлющей концепции национальной безопасности, внешней политики и военной доктрины. Но им нужна не доктрина, а несколько строк с перечислением вероятных противников. Тезис о том, что у России нет военных противников, вызвал полное неприятие генералитета. Он занимался поиском глобального противника.

Доктрину ядерного сдерживания Россия списала в США. Эта концепция сформулирована в 4-м НИИ Минобороны, который в течение десятилетий разрабатывал ядерную политику СССР. Осенью 1998 г. этот институт представил в Совет по внешней и оборонной политике документ, в котором констатировалось: в настоящее время наши вооруженные силы утратили военно-технический паритет с традиционным противником (США) и постепенно утрачивают военно-техническое превосходство по отношению к вооруженным силам «третьих» стран. Поэтому надо понизить порог применения ядерного оружия. Это значит, что российские военные стратеги приняли на вооружение американскую и натовскую концепцию гибкого реагирования. Ее основа — избирательное, адекватное угрозе использование ядерных средств. Наличие ядерного оружия — единственное на сегодня материальное свидетельство того, что Россия является великой державой.

Россия поставила рекорд: около дюжины министерств и ведомств обладают военными формированиями (внутренние войска Министерства внутренних дел, железнодорожные войска, войска гражданской обороны, инженерно-технические и дорожно-строительные воинские формирования, войска службы внешней разведки, войска органов ФСБ, федеральных органов государственной охраны, федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ).

Все эти ведомства Гольц предлагает разделить на две группы:

1. Так называемые «правоохранительные органы». В советское время КГБ и МВД представляли карательные органы. Теперь КГБ разделено на ФСБ, СВР и Федеральную службу охраны. Здесь приказы не обсуждаются, и они строились по принципу военных организаций. Большинство членов данных структур не хотят демилитаризации. Служба для них связана не только с тяготами военной службы, но и привилегиями: ранняя пенсия, квартира при увольнении и пр.

2. Все остальные ведомства, деятельность которых фактически основана на рабском труде солдат срочной службы. Без демилитаризации этих структур о военной реформе говорить нет смысла. Генералитет изначально не хотел никаких реформ и стремился просто протянуть время.

Армия и политика. С первых дней существования Российской армии ее руководители жаловались на то, что разные политические силы пытаются заигрывать с военными, чтобы сделать их своими союзниками в борьбе за власть. Поэтому Кремль не проявил желания реформировать армию. Она осталась нетронутой гайдаровскими реформами. На деле Советская армия была одним из главных действующих лиц в политике: попытка путча в августе 1991 г.; Всеармейское офицерское собрание (январь 1992 г.) прямо обвинило Б. Ельцина в развале СССР и потребовало восстановить Советский Союз; но в конечном счете армия выступила на стороне Ельцина (октябрь 1993 г.).

Военное руководство намеренно преувеличивало степень вовлеченности армии в политическую борьбу и связанные с этим потенциальные опасности. Нежелание «реформаторов» трогать армию объясняется тремя факторами: Кремль сам намеревался использовать армию; опасениями, что армия выступит на стороне коммунистической и националистической оппозиции; опасениями, что армия может выдвинуть своего лидера и установить военную диктатуру.

В СССР влияние военных на политику было скромное. Но в исключительных случаях военные участвовали во внутриполитической борьбе: летом 1953 г. преданные Г.К. Жукову офицеры из штаба Московского округа ПВО арестовали Л. Берию — руководителя спецслужб; в 1957 г. Жуков представил Хрущеву самолеты военно-транспортной авиации, чтобы экстренно доставить в Москву всех членов ЦК КПСС и помешать сподвижникам Сталина вернуть власть. Но это испугало Хрущева и он отправил Жукова в отставку.

При Брежневе генералитет имел решающий голос в вопросах внешней политики и безопасности, но не оказывал почти никакого влияния на внутреннюю политику. В СССР существовал контроль над армией — через политические органы до Главпура. Противоречий во взаимоотношениях высшей власти и военных не наблюдалось. Власть брала на себя ответственность за применение силы. Поэтому военные участвовали в грязных делах (расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 г., подавление революций в Венгрии и Чехословакии, давление на Польшу в 1980–81 гг.).

Кризис наступил, когда Кремль попытался использовать армию в подавлении национальных движений в Армении, Азербайджане, Грузии и Прибалтике. Впервые генсек КПСС и министр обороны побоялись признать, что армия действовала по их приказам. Высшее руководство предало армию. А. Лебедь рассказал, что с 1988 г. он не получал никаких письменных приказов, они отдавались по телефону.

Одновременно власть демонстрировала полную некомпетентность в использовании армии. «Секретные приказы, которые отдавали военным, были заведомо невыполнимы. Вводя войска в Баку и Карабах, советское руководство далеко не всегда стремилось урегулировать межнациональные конфликты. Оно, скорее, вело политические игры вокруг них, пытаясь через миротворчество укрепить роль Москвы в торге с республиками относительно степени их независимости» [там же: 151]. Пик кризиса советской системы отношений между политика-

ми и военными — участие армии в попытке устранения Горбачева. В целом военные с одобрением приняли переворот, но когда дело дошло до необходимости использовать силу, они остановились потому, что не верили руководителям ГКЧП и опасались, что на армию в очередной раз возложат ответственность за кровопролитие.

После провала путча армия испытывала глубокое подозрение не к отдельным политикам, а к высшей государственной власти в целом. В свою очередь Ельцин, как и его предшественники, не отдал письменного приказа применить силу против Верховного Совета. Разгром базировался только на личной преданности Грачева. Кремль, коммунисты и националисты пытались использовать офицерство в своих целях. В 1997–98 гг. стало набирать силу «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». Это движение базировалось на принципах: армия — мистический «якорь спасения» и «залог процветания» Великой России; союз коммунистов всех оттенков с националистами, монархистами и прочими сторонниками сохранения советской системы. Это движение было создано Л. Рохлиным. Осенью 1997 г. он направил открытое письмо Б. Ельцину и разослал его во все части. Он прямо обвинил президента в развале армии и в действиях под диктовку ЦРУ, рекомендовал провести офицерские собрания, которые должны были направить коллективные требования в адрес президента, парламента, Верховного и Конституционного Судов. Но голодная и злая на власть армия проигнорировала рохлинские призывы. В июле 1998 г. Рохлин был убит. Его заменил В. Илюхин (коммунист, председатель комитета Думы по безопасности). Но армия продолжала безмолвствовать. В рядах движения не было офицеров, проходящих действительную службу.

Невмешательство вооруженных сил в политику во второй половине 1990-х гг. определялось тем, что офицерский корпус испытывал глубокое недоверие к оппозиции и исполнительной власти. Главные оппозиционеры вполне интегрировались в проклинаемый ими «ельцинский режим». Почему же армия сама не выдвинула харизматического лидера? — ставит вопрос Гольц. Потому что Р. Аушев, А. Руцкой, А. Лебедь полагали: высшая государственная власть ведет себя подло, делает из людей в погонах палачей и козлов отпущения одновременно. Почти все они пытались создать собственные политические организации, подвизались на политическом поприще. Но ни один из них не стал российским Пиночетом, поскольку они так и не поняли разницы между профессиями политика и полководца. Победа на поле боя — завершающий этап работы военного, а победа в губернаторской гонке — только начало другой, еще более ответственной работы. Однако «…многие обладатели лампасов не имели вообще никаких сколько-нибудь устойчивых политических взглядов» [там же: 159]. Пример тому — А. Лебедь, который после занятия поста в 1996 г. спокойно распрощался со всеми, кто писал ему программу, и бросился в объятия людей с прямо противоположными воззрениями. Отсюда дистанция: прочтя программу, невозможно представить, что в действительности будет делать военный. Туманность политических деклараций вызывала подозрения: за ними скрываются истинные диктаторские замыслы.

«Один из главных факторов социальной напряженности в России — это результат непоследовательных попыток реформировать армию, а также провести конверсию ВПК, чему яростно сопротивлялся генералитет и директорский корпус. Но невозможно всерьез рассчитывать, что генерал, получивший неограниченную власть в стране, будет своими руками сокращать армию и военное производство» [там же: 161]. Одновременно ушедшие в политику военные не желали ответственности. Они не хотели уничтожить не только демократию, но и рынок, поскольку это ввергло бы Россию в хаос.

Офицерский корпус не является монолитной массой. У генералов и лейтенантов интересы разные. В армии представлены в тех же пропорциях все политические направления и позиции, существующие в стране в целом. Поэтому власть не опасается генеральской фрон-

ды. Военные и работники спецслужб стали главным кадровым резервом в системе «управляемой демократии». Власть их назначила в политики. Среди семи полпредов в федеральных округах — пять генералов.

Войны в Чечне оправдали отказ от военной реформы. Ельцин повторил ошибку Брежнева и Горбачева, которые видели в самом факте посылки войск в Афганистан и Нагорный Карабах окончательное решение политической проблемы. Первая война в Чечне велась во имя «восстановления Конституции», вторая — ради «борьбы с терроризмом». В обоих случаях военное командование само трактовало, что означает тот и другой термин. Разница между двумя войнами состоит только в том, что в 1999 г. военное командование получило картбланш на использование всех средств, какие оно посчитает необходимым. «Боевые действия в Чечне в том виде, как они велись, стали следствием того, что Российская армия не была реформирована. Отказ от реформы делает эту войну практически бесконечной» [там же: 167].

Аргумент о недостаточном финансировании армии выглядит наиболее доказательным. В 1992–1999 гг. государство ни разу не смогло выполнить военный бюджет. До 2003 г. военные финансисты доказывали: денег не хватает даже на обеспечение необходимым существующих Вооруженных сил и потому военная реформа невозможна. «Но уловка заключается в том, что именно существующие Вооруженные силы и система их финансирования построены таким образом, что они могут поглотить без всякого положительного результата любую сумму» [там же: 169].

После прихода В. Путина военный бюджет за пять лет возрос более чем в пять раз — 109 млрд в 1999 г. до 565 млрд в 2005 г. (с учетом того, что инфляция составляла около 20% в год). Но дела в армии не пошли на лад. Военные избегают абсолютных цифр, а предпочитают вести речь о процентах ВВП. Теперь военные говорят, что военные расходы Ирана и Израиля превышают 5%, тогда как Ельцин в 1997 г. обещал не менее 3,5% ВВП. Существуют несколько «черных дыр», которые позволяют Министерству обороны требовать практически любые суммы:

1. Манипуляция с численностью Вооруженных сил (Гольц приводит цифры, фиксирующие прямую ложь военных). В одних случаях они называют реальную численность, в других — штатную. Точное количество живых людей, а не «мертвых душ», — один из самых больших секретов военного ведомства.

2. Призывная система. До сих пор неизвестно, во что обходится стоимость перевозки новобранцев и отслуживших солдат из одного конца страны в другой, а также содержание сети военкоматов, осуществляющих призыв. Таковы прямые расходы, связанные с сохранением нереформированных вооруженных сил. Есть и косвенные. Государство финансирует немалое число учебных заведений, которые из-за низкого качества образования никогда бы не собрали необходимого количества студентов. Они существуют лишь потому, что дают отсрочку от службы в армии. Есть целая криминальная индустрия из работников военкоматов и врачей, которые предоставляют отсрочку за взятки. Ее размеры в крупных городах составляют 2–5 тыс. долл. По данным Министерства Обороны призыва избегают 87% юношей. Стало быть, речь идет об индустрии, с оборотом в десятки миллионов долларов.

3. Государственный оборонный заказ. Бюджет 2003 г. предполагал израсходовать 45,5 млрд. руб на НИОКР и 55 млрд. на закупку военной техники. Это составляет треть военного бюджета (110 млрд.). Они расходуются без всякого контроля со стороны общественности и даже парламента. В итоге Министерство Обороны само и неэффективно решает, как израсходовать деньги. При этом военное производство есть откровенное надувательство. ВПК периодически обманывает военное ведомство, предлагая ему вместо новой техники модифицированные серийные экземпляры.

4. Не предусмотренный бюджетом рост тарифов естественных монополий (платы за железнодорожные перевозки, газ и электроэнергию). В условиях экономического роста тарифы будут расти и тем самым вытягивать все больше средств из военного бюджета. Военные экономисты не хотят понять это естественное противоречие.

В целом, нереформированное Министерство обороны есть структура, которая способна поглотить любую сумму. При этом денег на военную реформу не будет хватать никогда. Поэтому ни вовлеченность армии в политику, ни война в Чечне, ни финансовые трудности не представляли фатального препятствия для проведения военной реформы. Ни одно из объяснений провала военной реформы не выдерживает критики.

Традиция «всеобщего тягла». Реформа проваливалась из-за противодействия генералитета. В этом смысле российские генералы ничем не отличаются от своих американских коллег, которые тоже вставляют палки в колеса любым попыткам реформы военного ведомства. Существует и ряд других причин.

Руководители и властно-управленческий аппарат России проявляют доверие к генералитету, неоднократно уличенному в корыстном вранье. «Оборона и безопасность» выглядят священной коровой. За термином «оборонное сознание» прячется идеология российского милитаризма, которая более живуча, чем коммунистическая и до сих пор пропитывает все поры российского общества. Даже интеллектуальная элита готова прослезиться при виде парадных «коробок», вышагивающих прусским «гусиным шагом». Большинство граждан уверены, что государство вправе требовать от них огромных жертв для укрепления пресловутой обороноспособности.

Большинство жителей России вдохновляется мифом: армия есть основа государства. Но сомнения в этом высказывались еще в середине XIX в.[2] Армия не является опорной точкой самобытности России. Но военная составляющая государства оказала ключевое влияние на российское национальное самосознание. Официальная пропаганда до сих пор распространяет миф: на протяжении истории Россия была вынуждена обороняться от бесчисленного множества внешних врагов и потому стремление ее защищать — врожденное качество любого достойного россиянина. На деле в 1700–1870-е гг. Россия воевала в 38 войнах и только две были оборонительными. Представление об армии как главном государственном институте — следствие связи между развитием Российского государства и реализацией интересов его служилого сословия. На этой основе сложилась своеобразная финансовая система, в основе которой лежит идея всеобщего тягла.

Петр I многократно усилил традицию тягла. Военная служба — главное тягло и самая тяжелая повинность для всех сословий. Европейские государи содержали наемные армии. Россия заимствовала у Швеции рекрутскую систему и могла содержать огромную армию. Успешные военные реформы шла параллельно с процессом полного и окончательного закабаления крестьян. В итоге созданная Петром I армия практически перемалывала мужское население империи. Почти все налоги использовались для обеспечения вооруженных сил. «Способность «расходовать» любое количество живой силы, чтобы одержать верх в битве, и стала основой русского военного искусства» [там же: 186]. Сбор налогов обернулся тем, что как раз армия отправляла на территории Российской империи основные функции государства. Полковникам предписывалось выполнять полицейские функции. Армия использовалась для строительства крепостей, прокладки каналов, расширения гаваней. От Петра I идет традиция стройбата. Отсюда же идет традиция назначать военных представителями высшей власти на местах.

[2]Например, начальник императорского Главного штаба Н. Обручев считал, что самобытность государства укореняется и развивается гражданской его жизнью, а не военною, иначе царства Чингисханов, Тамерланов и других были бы прочны и монголы до сих пор бы владели Россией.

Эта традиция сохранилась и при советской власти. Вначале большевики в соответствии с социалистическими взглядами пытались формировать добровольческую армию милиционного типа. Но едва встал вопрос о выживании Советской власти, они прибегли к массовой мобилизации. Уже 29 мая 1918 г. ВЦИК принял постановление «О принудительном наборе в рабоче-крестьянскую Красную армию». Со второй половины 1930-х гг. происходит переход к массовым вооруженным силам. С ростом армии одновременно шел возврат феодальных отношений в общество: крестьяне не имели права покинуть село и не могли распоряжаться результатами своего труда. «Безропотный крестьянин — идеальный солдат для армии такого типа. А победа над гитлеровской Германией … на десятилетия ослепила советское военное руководство. В результате более чем на полвека была сохранена в неприкосновенности организационная структура Советской армии времен Великой Отечественной» [там же: 191].

СССР представлял собой огромный военный лагерь, который жил по законам войны. Целью образования и воспитания было растить не свободных людей, а солдат. Однако установка на всеобщую мобилизационную готовность предопределила банкротство советской промышленности.

На протяжении почти 300 лет главной задачей Российского государства было содержание огромной военной машины. Гольц отмечает общие черты германского и российского милитаризма: в основе важнейших политических решений лежат военно-технические расчеты, а не всесторонний анализ с точки зрения государственных интересов, безусловное доминирование военных подходов в отношении народа к любым проблемам; глубокое проникновение военных отношений и ценностей в гражданское общество.

Об этом свидетельствуют следующие явления: генетическая связь петровских указов, николаевских военных поселений, трудармий Троцкого и советских стройбатов; человек интересовал российских руководителей в первую очередь как будущий солдат, а во вторую — как источник финансовых и материальных средств, необходимых для содержания огромных Вооруженных сил. В России высший администратор практически всегда был генералом. На этой основе возникал гражданский милитаризм.

Артур Вагтс, автор классического труда «История милитаризма», разграничивает стремление укрепить обороноспособность и подготовить армию к возможной войне (естественное для любого государства) и милитаризм: «Это различие фундаментально, и оно имеет определяющий характер. Для военного подхода прежде всего характерно стремление сконцентрировать людские и материальные ресурсы для того, чтобы с максимальной эффективностью решать конкретные задачи. Милитаризм же представляет собой концентрацию обычаев, представлений и интересов, которые хоть и связаны с войнами и армиями, но в любом случае требуют гораздо большего, чем просто удовлетворение военных потребностей. Отказываясь от научного подхода, милитаризм опирается на подход кастовый и культовый, на власть и веру. Армия, построенная так, что служит не целям подготовки к возможной войне, а интересам военных, является по своей сути милитаристской». Вагтс указал наиболее опасный источник милитаризма: «Гражданский милитаризм следует определить как безоговорочное принятие военных ценностей, манер, принципов и отношений. Приоритет отдается военным соображениям. Героическое обнаруживается преимущественно в военной службе и в военных действиях, в подготовке к которым и состоит главный интерес государства и на которые должны расходоваться главные ресурсы… Как и милитаристы в военной форме, милитаристы гражданские презирают гражданскую политику, парламентаризм, партии и т. д.» [Гольц 2005: 10]. Таков портрет советских руководителей от Сталина до Андропова.

Второй президент России В. Путин в полной мере проявляет свойства «гражданского милитариста»: безоговорочное предпочтение военных ценностей, манер, принципов и отношений и глубокое презрение к гражданской политике, институту выборов, парламентаризму

и партиям. Он считает иерархическую вертикаль власти, построенную по армейскому принципу, лучшей моделью управления страной. В России до сих пор господствует военно-феодальный принцип: власть в представлении властителя безраздельна, парламент и судебная система низведены до роли марионеток, принцип разделения властей рассматривается как ересь, а принцип единоначалия распространяется и на политическую систему государства.

О милитаризации власти свидетельствуют: отмена выборности губернаторов ради укрепления системы прямого подчинения президенту всего и вся; представление о военной силе как панацее; предпочтение милитаристских стереотипов рационализму; «секьюритизация» (термин введен Д. Трениным) — профессия президента и его окружения определяет отношение к информации. Речь идет о профессиональной привычке к секретности, восприятие тайной стороны любой деятельности как наиболее важной. Вся остальная информация при этом рассматривается как обман и дезинформация. В результате происходит сужение каналов поступления информации, а в худшем — неадекватное ее восприятие. Пренебрегается гласность. Прямое и откровенное заявление о целях и задачах власти противоречит путинскому методу правления страной. При таком подходе Послание Федеральному Собранию есть не что иное, как ловко составленная дезинформация, цель которой — дезорганизовать противника: «По сути дела, российская власть превратилась в подобие человека, который не снимает прибор ночного видения даже днем, а потому и в яркий солнечный день видит мир серо-зеленым» [там же: 20].

На деле носители генеральских звезд не являют собой образец исполнительности и аккуратности. Высокие должности они рассматривают как место «кормления». Коррупция при В. Казанцеве (бывшем командующем СКВО) и В. Шаманове превысила даже российские стандарты. Военные не принесли ничего нового в традиции российской бюрократии.

В 1990-е гг. государственное устройство (т.е. кабинет министров) был разделено на две неравноправные части: 1. Руководители десятка военных и военизированных ведомств входят в Совет безопасности и подчиняются непосредственно президенту. 2. Остальные министерства отвечают за социальную сферу и подчиняются премьеру. Такой «двухъярусный» кабинет существовал в Пруссии и в Германском рейхе. Армия в глаза российских правителей — это символ высшей государственной власти. Такое преувеличение роли Вооруженных сил максимально облегчает генералитету защиту своих интересов.

В основе российской военной культуры лежит представление о том, что достижение победы в войне определяется: 1. Наличием многомиллионной армии в мирное время. 2. Наличием неисчерпаемых человеческих резервов и возможностью постоянно замещать выбывших солдат новым пополнением. 3. Способностью государства с помощью административных средств концентрировать все имеющиеся в стране ресурсы для обороны. При этом руководители военного ведомства не видят никакой необходимости в широком гуманитарном образовании офицерского корпуса.

Народ относится к армии двойственно: никто не оспаривает право государства призывать людей в армию и распоряжаться их жизнью, не неся при этом серьезной ответственности за их гибель; общество не осуждает тех, кто использует любые средства для избегания воинской службы. Этим объясняется то, что по данным ВЦИОМ есть следующие пять институтов, которым россияне в наибольшей степени выражают доверие: президент, церковь, армия, пресса, госбезопасность (на середину 2002 г.). Для большинства россиян армия — это некий символ государства.

Милитаризм представляет собой концентрацию обычаев, представлений и интересов, которые хоть и связаны с войнами и армиями, но требуют гораздо большего, чем просто удовлетворение военных потребностей. Милитаризм отказывается от научного подхода, а опирается на кастовый и культовый подход, на власть и веру. Большинство милитаристов в

политике консерваторы, но в философии антиматериалисты. Они всегда предпочитают расходовать людей, экономя на материалах.

Это противопоставление А. Гольц иллюстрирует борьбой между двумя школами российского стратегического мышления, которая тянется полтора века: 1. Технологи — это военные интеллектуалы, которые полагают, что традиционный российский способ ведения боевых действий (он базируется на расходовании живой силы, выносливости и отваге рекрутов-крестьян) не соответствует более требованиям современной войны. 2. Волшебники полагают, что особые качества российского солдата позволяют компенсировать техническое превосходство любого противника и победить, несмотря ни на что.

В России в 1870 г. технократ Милютин противостоял Драгомирову, Тухачевский — Буденному, Сергеев — Квашнину. «В России «технократы» всегда оказывались в проигрыше, а «волшебники» безнаказанно расплачивались чужими жизнями за собственные иллюзии» [Гольц 2004: 201]. Большинство нынешних российских генералов защищают последний элемент советской тоталитарной системы, унаследованный ею от самодержавия. Военная каста способна на авантюру, которая ввергнет Россию в хаос.

Российская отсталость была источником огромной военной мощи. Считается, что общественное сознание России милитаризовано. Однако социологические исследования показали: с одной стороны, россияне всерьез верят в то, что более сильные государства всячески ущемляют «слабую» в военном отношении Россию, а с другой — не испытывают никакого желания сопротивляться «врагам», более того, заранее готовы сдать в придуманной войне на милость победителя.

В этом ситуации все большее значение приобретает мифологизированная история «великой державы», у которой «было героическое прошлое». Но этот героизм обнаруживается только в «победах русского оружия». Ни в чем остальном России похвастать нечем.

«Используя такую путаницу в умах, — пишет Гольц, — Кремль навязывает населению России собственную картину сегодняшней действительности: он стремится к тому, чтобы массовое переживание исторического поражения СССР, ощущение ущербности России в качестве его наследницы, своего рода комплекс милитаристской неполноценности обернулись верой в то, что национальные интересы могут заключаться только в усилении государства (его военной мощи)» [Гольц 2005: 26].

Режим В. Путина пытается использовать остатки милитаристского сознания россиян для решения нескольких задач: 1. Навязать эрзац национальной идеи, сформулировать которую Кремль неспособен. Вся идея сводится к тому, что Россия обречена в одиночестве противостоять сонму врагов, а в противостоянии все средства хороши. Ностальгия по советским временам держится именно на культе великой войны. 2. Легитимизация самого режима. Граждан убеждают в том, что главным в оценке влиятельности государства является его военная мощь. 3. Армия до сих пор воспринимается как модельный государственный институт.

Процесс разложения армии продолжается все годы правления Путина. Никто из российских генералов всерьез не собирается воевать с американцами, но под прикрытием милитаристской риторики легче всего сохранять существующую структуру армии, а также не имеющую аналогов в мире военную организацию государства, когда помимо Вооруженных сил военная служба предусмотрена еще в добром десятке министерств и ведомств.

По армейской модели проводится внутренняя и внешняя политика. Путин и его окружение намерены модернизировать Россию «сверху», опираясь исключительно на административный ресурс. При таком подходе население страны уподобляется солдатам, обязанным слепо выполнять приказ. А те, кто сомневается в правильности и обоснованности приказа, объявляется трусом, паникером или вражеским агентом. Милитаризм превратился в важнейший элемент российской самоидентификации. Российский милитаризм выражается уже не столь-

ко в избыточных военных приготовлениях и особом влиянии военных на власть, сколько в стереотипах мышления элиты и отчасти народа. Страна в течение трех веков не знала иной организации, крое военной. Теперь она считается правильной и единственно возможной. Такой «гражданский милитаризм» является одним из главных препятствий на пути модернизации.

Анализ показывает, что принадлежность предприятия к военно-промышленному комплексу лишает его возможности создавать и выпускать конкурентоспособную гражданскую продукцию. «Создается впечатление, что, не переставая говорить о возрождении отечественного ОПК за счет новых технологий и инвестиций, нынешнее российское руководство ведет его к гибели» [там же: 48].

Милитаристская риторика служит ширмой, прикрывающей успешное расхищение военного бюджета. Модернизация России за счет милитаризации является совершенно невозможной. «Сегодняшняя идея превращения страны в супердержаву неизбежно обернется переходом к милитаризму нового типа — сырьевого. Для этого власть намерена использовать сырьевой мобилизационный ресурс, который достался ей в наследство от СССР, в качестве источника обогащения «новой» постъельцинской элиты, сформированной по большей части из представителей силовых структур. Роль армии, правоохранительных органов и спецслужб будет главным образом сконцентрирована на том, чтобы обеспечить этой элите постоянный доступ к источникам сырьевых богатств. В результате Россия может превратиться в дикое полицейское государство, подобное южноамериканским банановым республикам. Впрочем, просуществует оно не дольше чем до очередного кризиса перепроизводства» [там же: 48].

Гольц делает вывод: «Сегодняшней власти армия нужна вовсе не для обороны страны, а для решения совершенно других задач. И для их решения идеальна именно архаичная нереформированная армия» [там же: 50].

В настоящее время Вооруженные силы России являются «черной дырой», поглощающей без положительных результатов более пятой части бюджета. Настоящая военная реформа неизбежно подрывает милитаристскую идеологию, которая питает «силовиков» — выходцев из КГБ, которые все более влияют на путинскую политику. В ближайшие 10–15 лет будет продолжаться медленное разложение советской модели. Дореволюционная и советская военная историческая наука находились под жестким государственным контролем, не допускавшим критического анализа. Но надо разрабатывать альтернативную казенной историю и социологию, которой пичкают в военных вузах. Нереформированная армия — один из источников консервативной и националистической идеологии, которая и питает силовиков. Кардинальное изменение военной организации России означало бы полный и окончательный отказ от имперского наследия.

В заключение Гольц предлагает решать несколько задач: разъяснение того, что существующая система военного устройства не может быть реформирована в принципе; просвещение элит — создание с нуля основанной на реальных фактах, а не мифах, военной истории России, включая историю Великой отечественной войны; создание альтернативной системы военного образования при гражданских вузах. По его мнению, средства на это могут дать дальновидные представители финансово-промышленной элиты страны.

Вывод

Вернусь к поставленному в начале статьи вопросу: как решаются в России проблема, поставленная Робертом Далем? Можно сказать совершенно определенно, что государство расходует огромные средства на институты, неспособные выполнять функции, для которых они предназначены. Эти институты превратились в острую социальную проблему, о которой

я писал давно, едва на политическом горизонте появились фигуры типа полковника Алксниса[3]. Анализ ситуации в России позволяет заключить, что речь может идти пока только об осознании, а не решении проблемы. Ликвидации вооруженных сил еще не произошло. Соотношение сухопутных и морских сил еще не стало предметом публичного обсуждения. Армия и полиция подчиняются центру, а не находятся под контролем местной власти. Вооруженные силы не формируются из людей с демократическими убеждениями, поскольку таких людей в российском обществе пока меньшинство. Выработка демократических убеждений среди профессиональных военных пока еще есть дело будущего. Книги Александра Гольца могут служить хорошим введением во множество конкретных аспектов проблемы, характерных для современной России.

Авторитаризм развития… 2005. Круглый стол «Авторитаризм развития: генезис, функции, перспективы». — *Мировая экономика и международные отношения*. — № 5–7.

Анисимов Е.В. 2001. *Дыба и кнут: политический сыск в России*. — М.: Новое литературное обозрение.

Бовин А. 2003. *5 лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника)*. — М.: Захаров.

Геллер М.Я. 2001. *История Российской империи. Т.1–2*. — М.: МИК.

Гольц А. 2004. *Армия России: 11 потерянных лет*. — М.: Захаров.

Гольц А.М. 2005. *Российский милитаризм — препятствие модернизации страны*. — М.: Фонд «Либеральная миссия».

Гриневский О. 2000. *Тайны советской дипломатии*. — М.: Вагриус.

Грушин Б.А. 2006. *Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева. Часть 2*. — М.: Прогресс-Традиция.

Гудков Л.Д. 2011. *Абортивная модернизация*. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).

Гудков Л. 2004. *Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов*. — М.: Новое литературное обозрение, «ВЦИОМ-А».

Даль Р. 2003. *Демократия и ее критики*. — М.: РОССПЭН.

Жирохов М.А. 2012. *Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР*. — СПб.: БХВ-Петербург.

Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. 2000. Смягчать или ужесточать законы? — *Полис*. — № 5.

Конституция РФ… 1997. *Конституция Российской Федерации*. — М.

Коржавин Н. 2006. *В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в 2 кн. Кн. 1*. — М.: Захаров.

Макаренко В.П. 1989. *Бюрократия и сталинизм*. — Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского университета.

Макаренко В.П. 1990. *Революция и власть*. — Ростов-на-Дону: Ростиздат.

Макаренко В.П. 2001. Кавказ: концептологический анализ. — *Социс*. — № 12.

[3]В книге двадцатилетней данности я обращал внимание, что перестроечная критика аппарата КПСС не учитывает консервативную и реакционную часть политического режима, вступившего в фазу демократических преобразований. К этой части относятся кадры профессиональных военных, полиции и госбезопасности, а также пенсионеры указанных структур. Прошедшие двадцать лет это полностью подтвердили [Макаренко 1990: 188–206].

Макаренко В.П. 2002. *Аналитическая политическая философия: очерки политической концептологии*. — М.: Праксис.

Микоян С.А. 2006. *Анатомия Карибского кризиса*. — М.: Academia.

Норт Д. 1997. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*. — М.: Фонд экономической книги «Начала».

Сухомлинов А. 2004. *Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела*. — М.: Детектив-Пресс.

Уолцер М. 1999. *Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века*. — М.: Идея-пресс.

Филби К. 2005. *В разведке и в жизни: сборник статей и мемуаров*. — М.: Эксмо, Яуза.

Хелли Р. 1998. *Холопство в России: 1450–1725*. — М.: Академия.

Черняев А.С. 1997. *1991 год. Дневник помощника Президента СССР*. — М.: Республика.

Шебаршин Л. 2000. *Рука Москвы*. — М.: ЭКСМО.

Шлыков В. 2002. *Что погубило Советский Союз. Генштаб и экономика*. — М.

Шевцова Л. 2000. *От России Ельцина к России Путина (эволюция выборной монархии)*. — Доступно: http://www.ieras.ru/journal/journal4.2000/3.htm. — Проверено: 05.12.2013 г.

Эдельшейн Г. прот. 2005. *Записки сельского священника*. — М.: РГГУ.

Злоба дня: вчера, сегодня, завтра

От редакции

Накануне первой мировой войны Россия была страной высокоразвитого государственного капитализма. Но в ее социальной структуре все более выделялся класс властителей-собственников, унаследовавший все свойства российского государственного феодализма. Это привело к тому, что уже в начале XIX в. Россия начала опережать страны Европы в росте бюрократии. Одновременно увеличивался класс российской буржуазии, связанный с государственным аппаратом. Это обусловило принципиальное отличие социальной структуры России от социальной структуры стран классического капитализма. В России на рубеже XIX–XX вв. сложилась суперклассовая структура: класс распорядителей средствами насилия включал чисто авторитарный слой государственного аппарата и класс властителей-собственников; класс капиталистов — властителей-собственников и чисто буржуазный слой. К авторитарному слою принадлежали царь с ближайшим окружением (не следует путать с царской семьей, члены которой тоже использовали свое положение для личного обогащения) и часть государственного аппарата (вооруженные силы, уголовная и политическая полиция, дипломатические ведомства), которая не имела доступа к экономическим решениям. Класс властителей-собственников увеличивался за счет чисто буржуазного слоя. Таким образом, политическая бюрократия России (правительство) включала в свой состав чисто авторитарный слой государственного аппарата и класс властителей-собственников.

Эта характеристика имеет непосредственное отношение к государственному аппарату царской, советской и нынешней России и порождает следующие свойства ее политической бюрократии: необъективность при отражении социально-экономической реальности; эмпиризм и оппортунизм; административно-политический волюнтаризм и идеализм; властно-административный прагматизм (не имеющий ничего общего с философским прагматизмом); отсутствие политической инициативы и эпигонство политического мышления; индивидуально-групповой макиавеллизм как господствующий тип политической морали (не имеющий ничего общего с искусством управления государством). Указанные свойства выражаются в искусстве внутренней дипломатии.

Концепт искусства внутренней дипломатии можно использовать для анализа российских «революций сверху», периодов перехода от реформ к реакции, от революции к контрреволюции. Вначале публикуется правительственный документ (манифест, декрет, указ) о незыблемости режима, существовавшего до реформ. Параллельно производятся перемещения на высших уровнях власти. На пост, связанный с выработкой внутренней политики, назначается лицо, обладающее способностями демагога и пользующееся репутацией «нейтрального», «центриста» и т.п. Демагог через СМИ поддерживает политические иллюзии населения. Для этого используется эклектическая социально-экономическая и политическая концепция. В ней реформаторские, консервативные и реакционные установки политической бюрократии переплетены с интересами властителей-собственников и связанных с ними социальных групп. Для политических демагогов идейно-политические традиции своей и других стран образуют «склад» таких концепций. В зависимости от конъюнктуры может использоваться любая в самых причудливых сочетаниях с остальными. Поэтому отношение политической бюрократии к истории духовной и политической культуры всегда утилитарно (хотя этот утилитаризм не имеет ничего общего с концепцией И. Бентама). Затем начинается пери-

од обработки общественного мнения. То, что раньше было или казалось «неприемлемым», становится содержанием СМИ и образует временно-официальную идеологию. Для поддержки содержащихся в ней иллюзий осуществляются вербальные и символические преобразования. Одновременно приводятся в боевую готовность вооруженные силы и карательные органы. Их роль в политической системе усиливается. Параллельно в СМИ начинается борьба с временно-официальной идеологией. Особенно с теми людьми, которые отстаивают последовательность и радикальность социально-политических преобразований. Политическая бюрократия всегда стремится сохранить за собой монополию на использование и толкование любой идеологии, утилизирует краткость политической памяти населения, заполняя ее калейдоскопом мнимых политических событий. По мере осуществления всех указанных действий наступает эпоха контрреволюции и реакции. В любой «революции сверху» в истории России можно обнаружить комбинацию указанных действий.

Суть искусства внутренней дипломатии — игра с общественным мнением, поддержка политических иллюзий и осуществление любых изменений в стране лишь в той степени, в которой они укрепляют господство политической бюрократии и государственного аппарата. В этом качестве данное искусство входит в состав политического мышления правительства и связанных с ним кругов интеллигенции.

В нулевые годы в России получила широкое распространение идеологема «особого пути России». Она используется во всех регистрах — от речей президента до школьных учебников. Ее можно считать элементом искусства внутренней дипломатии и временно-официальной идеологии. Хорошее представление об этом дает подборка статей, публикуемых по разрешению «Вестника Института Кеннана в России».

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ: РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ «ОСОБОГО ПУТИ»

А.М. Верховский
Информационно-аналитический центр «Сова»,
Э.А. Паин
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики

Аннотация: *В статье авторы рассматривают весьма распространённую в России разновидность идеологии «особого пути», использующую в качестве доказательства невозможности полноценного демократического развития России идею об особой российской цивилизации. Авторы представляют панораму современных политических сил, использующих в той или иной мере новый национализм — цивилизационный, а также анализируют причины и возможные последствия для России растущего интереса различных политических сил к такому национализму.*

Ключевые слова: *цивилизационный национализм, идеология «особого пути», авторитаризм, неонацизм, этнонационализм, евразийство.*

В статье мы рассматриваем весьма распространённую в России разновидность идеологии «особого пути», использующую в качестве доказательства невозможности полноценного демократического развития России идею об особой российской цивилизации. Почему мы назвали такую идеологическую модель цивилизационным национализмом? Существует множество определений национализма, но если ограничиться теми, которые приняты в политической науке, то можно сказать, что в наиболее широкой трактовке под национализмом понимается такое направление в политике, базовым принципом которого является признание народа (нации) источником власти и основным субъектом политической системы. При этом одни политические силы понимают под нацией этническую общность (этнический национализм), а другие — граждан государства вне зависимости от их этнических, религиозных или расовых особенностей (гражданский национализм). В идеологических же системах вариаций национализма больше. Национализм как идеология постулирует, что человечество то ли по законам природы, то ли в силу социально-исторических причин поделено на автономные единицы, которые отличаются набором объективных характеристик, включая и неизменные или слабо изменяющиеся ментальные особенности. В XIX веке в качестве таких единиц признавали в основном нации, в конце XX века основной социокультурной единицей, хранящей некие особые ментальные фреймы (целостные образы мира) все чаще стали называть наднациональ-

ные общности — цивилизации. Существует неисчислимое множество попыток классифицировать цивилизации по различным основаниям: по религиозному принципу (христианская, исламская, буддистская и другие цивилизации); по макрорегиональному признаку (европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская и др.); по месту в мировой системе (центральные и периферийные), по расовом признаку (например, цивилизации белой расы); по странам (российская цивилизация).

В науке предпринималось множество попыток типологии цивилизаций по сочетанию разных показателей (это типологии Н. Данилевского, Ф. Бэгби и Ф. Броделя, А. Крабера, К. Леви-Строса, А. Тойнби, О. Шпенглера, Э. Хантингтона, С. Хантингтона и др.), однако все варианты подобных типологий грешили отсутствием строгости и практически полной произвольностью предлагаемых сочетаний признаков. По мнению известного российского философа Г. Дилигенского, сама идея цивилизации «принадлежит к числу тех понятий научного и обыденного языка, которые не поддаются сколько-нибудь строгому и однозначному определению. Если попытаться как-то объединить различные его значения, мы, очевидно, получим скорее некий интуитивный образ, чем логически выверенную категорию» [Дилигенский, 1993: 44]. Однако несмотря на всю неопределённость самого понятия цивилизации оно широко используется в российской политике, как правило, в тех же целях, в каких обычно используется этнический национализм. Прежде всего для консолидации общества на основе представлений об общей историко-культурной сущности, а также для противопоставления своей особой, уникальной общности «чужим». В статье мы пытаемся дать панораму современных политических сил, использующих в той или иной мере новый национализм — цивилизационный, а также анализируем причины и возможные последствия для России растущего интереса различных политических сил к такому национализму..

Маятник общественных настроений

В начале 1990-х годов большинство россиян (более ⅔) были охвачены ожиданиями позитивных перемен и возвращения «в семью цивилизованных наций», на торный путь общемирового развития — модернизации, демократии и либерализма. Эти настроения сохранялись сравнительно долго. Лишь к концу 1990-х общественные оценки изменились. В это время уже 67% опрошенных отмечали, что «чужой» опыт нам не подходит, поскольку у «России свой особый путь» [Паин 2004: 97]. К началу 2000-х годов поддержка идеи «особого пути» стала почти тотальной, число ее сторонников возросло до 78% [Андреев 2002: 60]. При этом мало кто из наших сограждан представляет, в чем же конкретно проявляется специфика «особого пути». Их оценки основаны преимущественно на противопоставлении «в России не так, как на Западе». Одновременно в обществе усилились настроения культурной предопределённости: «Россия иначе не может — таков наш менталитет».

Разумеется, перемены в общественных настроениях во многом были обусловлены реальными трудностями адаптации россиян к новой экономике, новой политической системе и новым границам, появившимся после распада СССР. Однако одинаковые социальные оценки не могут рождаться одновременно в головах миллионов людей. Вначале их формирует узкий слой экспертов, которых принято называть интеллектуальной элитой, «производителями новых смыслов», а затем уже эти идеи проникают в массовое сознание.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов властителями дум в России были западнически настроенные (в широком диапазоне либеральных и социал-демократических идей) мыслители. Они оказывали огромное влияние на общественное мнение и гордо именовались «прорабами перестройки». Читающая публика передавала из рук в руки и бурно обсуждала сборник статей с броским названием «Иного не дано» [Иного не дано… 1988]. Его авторы провозглашали неизбежность поворота СССР, а затем и России от сталинизма к демократии, от плановой экономики к рынку, от конфронтационного мышления к союзу с западными демократия-

ми. Как раз в это время в постсоветской России ошеломляющим успехом пользовался философский трактат «Конец истории» американского политического философа Френсиса Фукуямы. В нем провозглашалось завершение многовековой борьбы вокруг политических идеологий и полная, безоговорочная победа либеральной демократии[1]. Вот вам один из вариантов идеи предопределённости исторического пути.

Прошло около 20 лет, и от былой уверенности в неизбежной победе либерализма и демократии в России не осталось и следа. С начала 2000-х годов лишь иногда возникало некоторое оживление либеральной мысли. Но в целом нынешнее состояние либерализма и России может быть описано словами Михаила Ходорковского: «Фактически сегодня мы ясно видим капитуляцию либералов… „Свобода слова“, „свобода мысли“, „свобода совести“ стремительно превращаются в словосочетания-паразиты. Не только народ, но и большинство тех, кого принято считать элитой, устало отмахиваются от них» [Ходорковский 2004].

На освободившееся место идейного мейнстрима всегда есть много претендентов — это могут быть идеи левые, традиционалистские или иные, да ещё в разных сочетаниях. В нашей статье мы будем говорить только о тех из них, которые прямо или косвенно наследуют тем идеям «особого пути», которые известны в России с XIX века.

В этих идеях нет ничего специфически российского, они были заимствованы из немецкой философии того времени. Позднее, уже в начале XX века, Томас Манн сформулировал основные социальные цели и признаки идеологии «особого пути»: защитить национальную культуру от надвигающейся с Запада угрозы механицизма и засилья «массы», а выполнить эту миссию способно лишь авторитарное полицейское государство [Манн 2008].

Стоит отметить, что такая идеология не обязательно предлагается собственной стране. Их можно предлагать и извне, в том числе и России. Ричард Пайпс в книге, опубликованной ещё в 1974 году, в разгар холодной войны, но лишь через 20 лет изданной в России [Пайпс 2004], пишет, что истоки как коммунистического режима в Советском Союзе, так и нынешнего авторитаризма нужно искать в далёком прошлом России. Зародившиеся в средневековой Московии исторические особенности страны передаются по традиции, поскольку вошли в русскую национальную культуру. Главную из таких особенностей историк сформулировал так: «Русским нужен правитель» [Пайпс 2007].

Такие взгляды на прошлое, настоящее и будущее России, естественно, симпатичны сторонникам любого действующего авторитарного режима, но не менее симпатичны эти взгляды и адептам какого-то другого авторитаризма, особенно — антизападного по лозунгам и антимодернизационного по сути. Впрочем, представление о цивилизационной предопределённости (вообще или именно для России) нетрудно встретить и среди тех, кому это представление «невыгодно», то есть среди сторонников свободы и демократии. Такова сила инерции, созданной талантливыми адептами «особого пути» России, начиная со славянофилов и Ф. Тютчева.

С начала 2000-х годов идея культурной, цивилизационной предопределённости «особого пути» России стала активнее распространяться государственными средствами массовой информации. Например, весной 2006 года она была отражена в 12-серийном цикле телевизионных передач А. Кончаловского под общим названием: «Культура — это судьба». Затем получила широкое распространение в официальной российской политике. «Культура — это судьба. Нам БОГ велел быть русскими, россиянами», — это уже из лекции В. Суркова в Президиуме РАН в июне 2007 года [Сурков 2007]. В ней первый заместитель главы Администрации президента России указывает гражданам, что культура определяет вечные особенности политического строя. В российском случае это централизованная власть, при которой роль персон важнее законов.

[1] Статья «Конец истории?» была опубликована в 1989 году в журнале The National Interest, а уже в 1990-1991 годах вокруг нее были развёрнуты дискуссии сразу в нескольких российских журналах. Полный же текст книги этого автора был переведён лишь 2004 году. См.: Фукуяма 2004.

Кремлёвская канонизация идеи особой тысячелетней цивилизации, предопределяющей «особый путь» России, постепенно возводит ее в ранг официального «единственно верного учения», призванного заменить марксизм-ленинизм. Армия штатных и внештатных пропагандистов разрабатывает эту золотую жилу, превращая теоретическую концепцию в политическую технологию. Эта идея прежде всего призвана легитимировать своеобразное понимание суверенитета (при котором, как когда-то в понятии «самодержавие», смешиваются внешняя независимость и внутренний авторитаризм) и чрезмерно персонализированный характер системы политической власти [Сурков 2006].

Эта же идеология должна решать задачи политической терапии. Людям внушается бессмысленность и вредность привычки сравнивать положение России с развитыми странами, поскольку Запад для нас не указ — это другая цивилизация. Внедрение в массовое сознание идей об «особой цивилизации» и ее «особом пути» должно выполнить функцию санитарного кордона, препятствующего проникновению в Россию «чуждых» ей либеральных и демократических веяний. Получается это, правда, плохо, поскольку сравнение себя с Западом — это, пожалуй, самая устойчивая характеристика российской политической мысли последних нескольких веков, вне зависимости от политической ориентации. И все же мечты политических радикалов, таких как политический аналитик Михаил Юрьев, об «идеологическом обеспечении изоляционизма путём создания непреодолимых цивилизационных различий» [Юрьев 2005: 59] не стоит считать утопией. Если нельзя заставить людей отказаться от сравнения России с Западом, то политтехнологам вполне удаётся выстроить идеологический кордон, направляя такое сравнение в сторону негативных оценок и формируя образ Запада как извечного цивилизационного врага.

Поддержанное сверху учение об «особом пути русской цивилизации» победоносно шествует по стране, не встречая значимого сопротивления. Напротив, многие представители либерального лагеря, считающие себя оппозицией нынешнему режиму, фактически поддерживают ту же идею. В конце 2008 года большой резонанс имела статья историка Ю. Афанасьева «Мы — не рабы? Исторический бег на месте: „особый путь“ России» [Афанасьев 2008]. В статье излагаются идеи, очень похожие на те, которые более 30 лет назад предложил Р. Пайпс, а именно: давняя история России, уж по крайней мере с XVII века, определяет и поныне сервильность российской элиты. Разница лишь в том, что Пайпс ищет генотип сервильности в особенностях экономики, а российский историк — в специфике формирования элиты. Примечательно, что Ю. Афанасьев, один из лидеров демократического движения 90-х годов, поддерживавший тогда идею «Иного не дано» как неизбежности победы либерализма в России, сейчас видит совершенно иную предопределённость: авторитаризму в России нет реальной альтернативы.

Почему ныне такой спрос на фатализм? Потому что он спутник застоя — исторической ситуации, при которой правящая элита не хочет, а оппозиционные силы не могут и не знают, как жить по-новому. В эпоху застоя у власти и оппозиции в ходу один и тот же миф о фатальной предопределённости судьбы страны и в этом смысле ее «особом пути».

Для властей создание в обществе атмосферы предопределённости, невозможности изменить ситуацию к лучшему усилиями граждан — важнейшее средство самосохранения.

Какая-то часть либерально ориентированной интеллигенции, отвергая идею «особой цивилизации» как «тысячелетнего величия России», охотно принимает тот же миф в другой упаковке — как цивилизацию «тысячелетнего рабства».

Итак, ныне можно выделить как минимум три основных типа апологетов идеи цивилизационной предопределённости «особого» исторического пути или колеи России.

Первую группу можно назвать охранительной. Это прежде всего представители «силовой ветви» властной элиты. Именно они чаще других ссылаются на культурную предопределённость судьбы России в стремлении легитимировать этой предопределённостью свой по-

литический курс на повышенные полномочия государственной бюрократии в системе управления.

Другая группа — «пессимисты», представленные в большинстве своем деятелями, позиционирующими себя как либеральные мыслители. Для них культурная предопределённость, «особая цивилизация» являются объяснением и оправданием бездействия или неэффективных действий либеральных сил. Именно в этой группе популярна идея: «Россия — страна рабов».

Третью группу составляют наиболее радикальные защитники цивилизационного национализма. Именно их идеи все чаще усваивают за неимением собственных — представители первой группы (политического истеблишмента). Представителей же второй группы («пессимистов») вообще нет смысла относить к носителям идей национализма, в крайнем случае, их можно назвать цивилизационными националистами поневоле. Они, безусловно, не заинтересованы в противопоставлении российской цивилизации любым иным. Они вовсе не считают западную цивилизацию «чуждой» и «враждебной» России. К идее «особой цивилизации» их подтолкнуло разочарование в надеждах на быстрые и заметные перемены в демократическом и гуманистическом развитии России. Все более сомневаясь в возможности модернизации нашей страны, «пессимисты» ищут объяснение этому в особенностях российской цивилизации. Поэтому мы исключаем эту группу из нашего анализа, сосредоточив внимание на разных моделях «прагматического», идеологически ангажированного национализма, и в особенности представителях его наиболее радикальных течений.

Теоретические построения последних базируются на следующих постулатах:

- существует особая русская цивилизация, и она определяет неизбежность не просто ведущей роли государства в политической системе, но и особой роли персоны лидера нации, ее вождя или монарха [см., например: Володихин 2007];
- естественной территориально-политической формой такой цивилизации выступает империя [см., например: Юрьев 2007а];
- ведущую роль в империи должен играть русский народ, и это должно быть так или иначе закреплено законодательно [см., например: Русская доктрина… 2007].

Это идеологическое направление, которое и является основным предметом нашего анализа, в свою очередь, распадается на множество течений.

Политические течения цивилизационного национализма

Разумеется, не все представители этого направления явно декларируют свою приверженность «особому пути», и ещё меньше тех, кто использует сам термин «цивилизационные особенности» для построения своих теорий. Мы выделяем как цивилизационных националистов именно тех авторов и те группы, у которых можно обнаружить перечисленные выше три признака цивилизационного национализма.

«Красные патриоты» — прокоммунистическое крыло цивилизационного национализма. Исторически появилось первым в постсоветской России, в самом начале 1990-х годов (тогда оппоненты именовали их «красно-коричневыми»). Для идеологов этого направления «особая цивилизация» — это империя в границах бывшего Советского Союза (может быть, с теми или иными коррекциями, но СССР видится как основа легитимации будущей России), облечённая миссией победить империю Запада (ее ещё называют «евроатлантической» или «американской»). Такая миссия обусловлена национальным характером русского народа, движимого идеалами коммунизма (вариант: равенства и соборности, удачно воплотившимися в коммунизме) и созидающего новую великую империю. Примечательно, что коммунистические идеалы рассматриваются этой весьма экзотической, но до сих пор широко распространённой доктриной не как заимствования западного марксизма, а как проявления национального «русского духа». С декларации подобных идей начинали свою деятельность многие

организации «красных патриотов». Это ранняя «Память», а затем и множество так называемых «фронтов» борьбы с западным капитализмом начала 90-х — Объединённый фронт трудящихся, Союз офицеров, Фронт национального спасения и др. [Верховский 2007а: 10] Затем та же линия была продолжена в КПРФ и создаваемых ею коалициях с националистами. Однако ностальгия по СССР постепенно слабела, и хотя КПРФ сумела к концу 90-х подмять всех конкурентов по «красно-патриотическому» сектору, политический вес партии начал уменьшаться.

Черносотенцы — крайне правые, православно-националистические организации, подчёркивающие свою историческую связь с аналогичными в идейном плане организациями царской России[2]. В 1905 году сформировалась организация под названием «Чёрная сотня», выступавшая за политическое закрепление доминирующей роли русского православного населения в империи Романовых. Эту же идею поддерживают и их наследники в современной России. В 1992 году ими была создана организация «Чёрная сотня» и основана газета под тем же названием, позже предпринималось несколько попыток возродить дореволюционный Союз русского народа.

Если «красные патриоты» призывают возродить относительно недавнюю советскую империю, черносотенцы выступают за возрождение империи дореволюционной, то есть их проект является гораздо более утопическим. На волне массового отторжения от всего советского в начале 90-х фантастичность этих планов была не столь очевидна, но черносотенные организации (в первую очередь — Национально-патриотический фронт «Память» и некоторые его порождения, включая ту самую «Чёрную сотню») стали быстро слабеть. Черносотенство существует до сих пор, но его организации, в первую очередь — несколько версий объединённого, но уже расколовшегося Союза русского народа, выглядят очень слабо.

Православные фундаменталисты. Одной из видимых причин стратегической неудачи черносотенной пропаганды была ее непонятность широким кругам сограждан: архаичная православная и монархическая риторика кого-то притягивала, но большинство отталкивала. Но по мере роста и интеллектуального укрепления (пусть только относительного) околоцерковной общественности у черносотенцев нашлась новая аудитория, и они сошлись с совсем новыми активистами — православными фундаменталистами. Последние тоже были отнюдь не чужды этническому русскому национализму, но главным для них было другое — битва с Антихристом, проявляющим себя, например, в навязываемых постсоветскими властями в подражание Западу символах (товарные штрих-коды, ИНН и т.п.). Особая же роль России понималась в религиозных терминах: Россия — престол Богородицы, последний оплот веры в мире, погружающемся в апостасию, и т. д. Так на рубеже 1990-х и 2000-х годов сформировалось довольно заметное движение русских православных фундаменталистов [подробнее см.: Верховский 2003]. Руководству РПЦ (против которого в первую очередь выступали фундаменталисты) удалось ослабить это движение, и оно так и не стало (возможно, пока) важным фактором российской политической сцены, хотя и внесло свою лепту в националистическую повестку дня.

[2] Чёрная сотня — в русской правовой литературе XIX века так называлось население, коллективно платившее налоги и делившееся на «сотни», представлявшие собой военно-административные единицы России. Этот термин был использован для самоназвания крайне реакционными, антиреволюционными и антисемитскими организациями России, появившимися во время первой антимонархической революции 1905-1907 годов. К черносотенным относились такие организации, как Союз русского народа, Союз Михаила Архангела, Совет объединённого дворянства, Русская монархическая партия, Общество активной борьбы с революцией и др. Черносотенцы были причастны к массовым погромам еврейских поселений, а также осуществляли физическое уничтожение политических оппонентов. Термины «чёрная сотня» и «черносотенцы» вошли в широкое употребление в русском языке в значении ультраправых политиков и антисемитов. Существенная часть современного русского национализма если не выводит себя напрямую из черносотенства начала XX века, то не отрицает своей идейной близости с этим движением.

Неоевразийцы — ещё одно откровенно антизападническое политико-идеологическое течение, сложившееся в середине 1990-х. Оно неразрывно связано с именем Александра Дугина, политические взгляды которого неоднократно менялись. Но дело, собственно, не в его взглядах, а в удивительной роли, которую сыграл этот человек в становлении русского национализма [Ларюэль 2005: 226-253]. До 1998 года он был ведущим идеологом Национал-большевистской партии. Позже Дугин сумел воспользоваться тем, что некие весьма приблизительные представления о евразийстве[3] — как о двойственной русско-тюркской и православно-мусульманской сущности России — широко распространились в политическом истеблишменте. Взгляды самого Дугина при этом всегда были ближе отнюдь не к классическому евразийству, а к западным «новым правым», что позволяет охарактеризовать эти взгляды как неофашистские. Отказавшись от былого радикализма (отнюдь не полностью, конечно, речь идёт скорее о перемене имиджа) Дугин стал успешно эксплуатировать эти банальные антизападные представления, выдвигая себя на роль интеллектуального гуру уже не для нацболов, а для чиновников различного ранга. Созданные им в начале 2000-х организации «Международное евразийское движение» (МЕД) и «Евразийский союз молодёжи» эфемерны и малолюдны, но список руководства МЕД впечатляет изобилием статусных деятелей [подробнее см.: Кожевникова, Шеховцов 2009]. А главное, его идеи в той или иной мере используют все перечисленные отряды русского национализма, как бы они ни относились к самому Дугину. При всех изменениях его политических взглядов две основные идеи повторяются в его работах как заклинания: необходимость построения Евразийской империи, по крайней мере в масштабах бывшего Советского Союза, и противостояния так называемому «англосаксонскому либерализму» [см, например: Дугин 2009: 5-9].

Неонацистские группировки. Сейчас русские неонацисты — это ориентированное на молодёжную среду и наиболее агрессивное движение. История русского неонацизма уходит ещё в советское время, но и тогда, и в 90-е годы неонацизм был не настоящим, а скорее имитационным. Организации, которые чаще всего заслуживали звание «русских фашистов», даже если сами называли себя фашистами или нацистами, в большинстве случаев не были таковыми. В первую очередь это относилось к Русскому национальному единству (РНЕ), которое в середине 90-х годов подмяло под себя или вытеснило почти все группировки радикальных русских националистов. РНЕ одобряло Гитлера, но культивировало традиционный русский патриотизм. Организация числилась православной, но взгляды лидера и многих активистов были чрезмерно экзотичны для того, чтобы принять такую самоидентификацию и т. д. РНЕ было военизированной организацией, но вовлечённой в сравнительно небольшое (для ее огромного размера — до 15 тыс. человек в лучшие времена) количество насильственных акций. В 2000 году РНЕ развалилось на много мелких организаций — отчасти под давлением властей, отчасти из-за собственной бездеятельности[4].

Крах РНЕ обозначил некую общую политическую тенденцию: тупиковое состояние радикального русского этнического национализма, сложившегося в 90-е годы. Их пропаганда больше не действовала на массы. Она не давала прироста их организациям. Они все больше теряли поддержку избирателей на выборах, к тому же с начала 2000-х годов и сами выборы стали сугубо имитационными, не отражающими реальные общественные настроения. Военизированные структуры утратили смысл — их негде было применить в условиях политической демобилизации общества. И наконец, часть лозунгов националистов в эти годы была

[3] Евразийство — философско-политическое движение, сложившееся в среде русской эмиграции в 1920-1930-е годы. Начало ему положил сборник статей Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского и П.П. Сувчинского «Исход к Востоку» (София, 1921). Авторы провозглашали Россию особым культурно-историческим типом — Евразией», акцентировали внимание на связи ее с азиатско-тюркским миром и противопоставляли Россию Европе, то есть Западу.

[4] Наиболее полная история РНЕ: Лихачев, Прибыловский 2005.

перехвачена властями. В таких условиях радикальный национализм принялся искать новые формы.

Одним из проявлений этого поиска стал быстрый рост движения наци-скинхедов. Зародилось это движение в середине 90-х годов в России и изначально было построено на копировании западноевропейских движений наци-скинхедов. Такое копирование подразумевало: во-первых, изучение и воспроизведение неонацистской идеологии White Power (мнение, что скинхеды — это сплошь тупые хулиганы, было сильным преувеличением уже тогда), во-вторых, освоение внешних проявлений субкультуры западных ультраправых (в одежде, музыкальных стилях, формах и стиле поведения в публичной сфере) и, в-третьих, демонстрацию активности — систематическое (в идеале) уличное насилие против любых «инородцев» (сперва приоритетны были акции против чернокожих, так как так делали в Европе, потом — против выходцев с Кавказа, ещё позже — против людей с внешностью представителей коренных национальностей Центральной Азии).

Активность наци-скинхедов постоянно нарастала, и в начале 2000-х масштаб их преступлений был таков, что его уже нельзя было не заметить. Ещё через пару лет, в середине десятилетия, неонаци стали не просто заметной, но и самой активной и многочисленной частью русского националистического движения. Их перевес был столь очевиден, что с тех пор ни один националистический проект, претендующий на не маргинальную роль, не может без них обойтись [Верховский 2007а: 13-14].

В последние годы проявились некоторые признаки ослабления моды на субкультуру скинхедов, по крайней мере в крупнейших городах страны. Усиливается и давление власти на организации скинхедов, ужесточается их преследование правоохранительными органами. Тем не менее это движение остаётся заметной силой, сохраняющей свой воинственный и анархический характер, проявляющийся в организационной структуре движения. Оно представляет собой множество небольших автономных групп (зачастую менее десятка бойцов), которые поддерживают преимущественно горизонтальные и часто заочные связи друг с другом. Иногда возникают иерархические сетевые организации — такими были «Объединённые бригады 88» в начале десятилетия, сейчас таково движение Nazi Straight Edge. Бывали и попытки создать большие политические организации, самой крупной из которых было Национал-социалистическое общество (НСО), активно выступавшее с 2004 года и на политической сцене (местные выборы, «Русский марш»), и в уличных нападениях и убийствах. НСО, однако, было разгромлено правоохранительными органами в 2007-2008 годах. Сейчас идет процесс запрета последней крупной легальной организации неонаци — Славянского союза (СС). В силу указанных причин неонацистское движение снова возвращается к форме автономных, горизонтальных и законспирированных структур.

Попытки русских националистов сойти с «особого пути»

Ввиду аморфного характера нынешнего неонацистского движения непросто говорить о его идеологии. Но, не претендуя на полный контент-анализ производимых этим движением разнородных текстов (хотя такая работа должна ещё быть проделана), можно определённо сказать, что при переходе от патриотического синкретизма РНЕ к идеологии White Power были утрачены основополагающие признаки русской версии цивилизационного национализма.

White Power — новое для России идейное течение, и оно не поддерживает традиционный лозунг постсоветского русского национализма: назад к империи. Наци-скинхеды не только не выдвигают имперских требований расширения территории, но и не поддерживают идею «удержания территории». Напротив, они заинтересованы в отделении от России этнически («расово» — в их понимании) чуждых территорий: Северного Кавказа. Они позиционируют себя как обороняющаяся сторона — обороняющаяся от «нашествия» иммигрантов и

вообще неславян (редко, но упоминается также и исламская экспансия; неонаци обычно равнодушны к религии, будь они неверующие, православные или неоязычники).

Неонаци все меньше верят в «фюрер-принцип», так как разочарованы в деятельности уже выдвигавшихся фюреров — А. Баркашова (РНЕ), Д. Румянцева (НСО), Д. Демушкина (СС) и т.д. Но, разумеется, они не поддерживают и идей либеральной демократии. Как уже отмечалось, они — стихийные анархисты, и многие из них так себя и позиционируют.

И наконец, само представление об «особом пути» России скинхедам глубоко чуждо. Они ориентируются на White Power и признают необходимым союз (пусть не дружественный, но вынужденный) «белых народов» против всех остальных. Их идеал — этнически чистое в своем самоопределении (существование подчиненных этнических групп допускается) государство в ряду таких же других государств. Более того, они верят, что именно так в идеале должно пониматься «национальное государство» и в Западной Европе. Так, по их мнению, там и было бы, но мешает «проклятая политкорректность». Это не буквальная цитата, но она отражает суть мысли, которую мы не можем дословно процитировать в силу того, что подлинник основан на ненормативной лексике.

В то же время российским неонаци не чужды идеи цивилизационого национализма, но не в классической российской их редакции, а в версии, сложившейся в Третьем рейхе, — как цивилизации белой арийской расы, призванной господствовать в мире. Разница лишь в том, что немецкие нацисты исключали славян, в том числе и русских, из числа арийских народов, а русские неонацисты не сомневаются в необходимости доминирования в России этнических русских (определяемых чаще всего по крови, хотя некоторые готовы смягчить критерии, и сами неонаци вполне могут быть с неславянскими фамилиями).

Движение наци-скинхедов, даже постепенно отказываясь от весьма специфической скинхедской стилистики, все равно остаётся неприемлемым для широкого круга граждан, которые, в принципе, могли бы стать опорой русского национализма. Отталкивают открытые симпатии к Гитлеру, явно видимые иностранные корни движения, ещё более явное равнодушие (а чаще — открытое пренебрежение) к сложившимся уже традициям националистического дискурса — все это требует слишком радикальной перестройки от потенциальных сторонников. Не зря движение неонаци остаётся преимущественно молодёжным, но и в молодёжной среде его рост затормозился.

К началу 2000-х годов в националистической среде ощущалась потребность в другом варианте национализма, приемлемом как для наци-скинхедов, так и для более консервативных в своих поведенческих и ментальных привычках граждан. Эту потребность попыталось использовать Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), появившееся на политической сцене России в 2002 году. Оно предложило русской молодёжи, а затем и не только молодёжи, проверенный ещё РНЕ и популярный продукт в виде лозунга: «Россия для русских». ДПНИ яснее, чем неонацисты, сформулировало образ основного врага русских: формально это иноэтничные иммигранты, а фактически все «инородцы». «Мигрантофобия» стала не только общепонятной, но и легальной версией националистической пропаганды: ее можно было формулировать не в этнических терминах и выступать практически в унисон с множеством чиновников, рассуждающих о необходимости ограничения иммиграции (со столь же прозрачными этническими коннотациями). Первоначально ДПНИ не выступало с какими-либо политическими декларациями, кроме единственной и главной идеи — обеспечения господства этнических русских в стране, и это также обеспечило симпатии к ДПНИ у многих сторонников иных групп и течений русских националистов, включая наци-скинхедов, поскольку такая простота повестки позволяла избегать идеологических расколов, давно признанных одной из главных проблем движения русских националистов. Поначалу ДПНИ проявляло лояльность к властям, что заметно уменьшило давление на него со стороны правоохранительных структур. ДПНИ не выглядело как подражательный, привнесённый с Запада политический феномен, и в то же время лидер ДПНИ Александр Белов справедливо ссылал-

ся на то, что основное требование ДПНИ идентично основному требованию европейских ультраправых, в том числе соответствующих парламентских партий, и это придавало движению солидности. При этом ДПНИ неразрывно связано с предшествующими течениями русского национализма: сам А. Белов — выходец из Национально-патриотического фронта «Память» и до сих сохраняет связи с ним.

В то же время во второй половине первой путинской каденции растущая популярность в России идей национализма превратила их в ценный политических ресурс, который не мог быть оставлен без внимания большинством российских политических партий антилиберальной направленности. КПРФ, которая ещё в 90-е годы осваивала идеи цивилизационного национализма (формально не отказываясь от традиционной для левых сил идеи интернационализма), в 2002–2003 годах переживала подъем этнонационалистической риторики. Либерально-демократическая партия В. Жириновского, почти утратившая всякую идейную окраску к исходу 90-х, в первой половине 2000-х снова стала педалировать идею русского национализма, соединённого с социальным популизмом (и выдвинула на выборах в Думу пятого созыва лозунг: «Мы за бедных, мы за русских»).

А власти к парламентским выборам 2003 года создали сначала избирательный блок «Народно-патриотический союз “Родина”», а затем партию «Родина». Этот проект поначалу можно было считать вполне удачным для его конструкторов, но, несомненно, у них вскоре появились сомнения, не слишком ли он успешен. Триумфальное выступление «Родины» на выборах 2003 года (9% голосов у только-только созданного блока, отнятых в значительной степени у главной оппозиционной силы — КПРФ) продемонстрировало не только популярность ее национал-популистской риторики: ведь и КПРФ выступала по сути довольно сходным образом. Отличие от КПРФ было скорее в форме: «Родина» была откровеннее и выглядела свежо, то есть выборы показали также и популярность идеи новой партии как таковой. Рост партии «Родина» был просто ошеломляющим: по итогам проверки, проведённой Федеральной регистрационной службой (апрель 2006 года), партия насчитывала 135 тыс. членов и являлась второй по величине политической партией в России, уступая только основной партии власти — «Единой России». «Родине», первоначально лояльной властям, разрешалась откровенная национал-популистская риторика, явно оставившая позади и КПРФ, и партию В. Жириновского, слишком рутинно исполнявшего роль главного официального националиста. И этноксенофобная, и оппозиционная риторика «Родины» первоначально сдерживались уже самим фактом связи этой партии с Кремлём. Мы ещё остановимся на объяснении двойственной позиции российской власти по отношению к национализму, а пока отметим, что вовсе не рост агрессивности националистических, ксенофобных идей привёл в конце концов к краху партии «Родина». Это произошло именно в силу того, что партия стала выходить из повиновения. Тогда сами конструкторы этой партии ее и разрушили[5].

Идеология «Родины» с трудом поддаётся интерпретации, так как в одной партии собрались слишком разные люди. Были там и явно новые деятели (О. Шейн), и консервативные

[5] В середине февраля 2005 года лидер «Родины» Д. Рогозин на совещании регионального актива партии заявил о ее переходе в жёсткую оппозицию не только правительству, но и президенту. Этому предшествовала коллективная голодовка членов фракции «Родины» в знак протеста против «монетизации социальных льгот», проводимой российским правительством. В марте 2005 года в ходе избирательной кампании в Мосгордуму Д. Рогозин взял курс на то, чтобы изменить имидж партии «Родина» как «кремлёвского проекта» и «спецназа президента». На пресс-конференции 22 марта он заявил, что партия должна непосредственно заняться организацией протестных акций и «стать выразителем протестного избирателя». В этом отношении партия должна была стать союзником КПРФ, а основным противником партии Рогозин назвал «Единую Россию». В сложившихся в России политических условиях подобные заявления лидера партии были равносильны политическому самоубийству этой организации. Уже летом того же года партию «Родина» развалили в Думе на несколько самостоятельных фракций, а впоследствии лишили возможности участия в избирательных кампаниях всех уровней. Примечательно, что «Родина» была снята с тех выборов по иску ЛДПР, обвинившей «Родину» в ксенофобной пропаганде. А вот в аналогичном и не менее обоснованном иске «Родины» относительно ЛДПР было отказано.

православные националисты (А. Крутов и др.), и социально ориентированные консерваторы (С. Глазьев), и типичные адепты «особого пути русской цивилизации» (Н. Нарочницкая), и деятели, стремящиеся к чистоте расово понимаемого этнонационализма (А. Савельев). Все это многообразие так и не сложилось (да, наверное, и не могло сложиться) не только в единую идеологию, но даже и в общую партийную риторику. Зато четко прозвучал главный месседж «Родины», идентичный месседжу ДПНИ — за этнизацию Российского государства, против мигрантов (под которыми в общественном дискурсе устойчиво понимаются отнюдь не любые переселенцы, а именно «понаехавшие» этнические нерусские в «традиционно русских» регионах).

Пока партия действовала, она активно привлекала оппозиционеров самого разного толка, в том числе и активистов складывающихся сетевых националистических структур. Даже неуправляемые анархические наци-скинхеды рассматривались «Родиной» как приемлемый актив. И здесь возникала естественная конкуренция с ДПНИ, уже претендовавшим на него.

Само ДПНИ тем временам быстро росло, создавая небольшие, но активные ячейки во многих регионах и сотрудничая с полуподпольными неонацистами. Связанное с радикалами, не признаваемое властями, несмотря на всю изначальную лояльность, движение было обречено на дрейф в сторону политизации. Триумфальный первый «Русский марш» 4 ноября 2005 года сделал ДПНИ широко известным и укрепил амбиции, а апогея они достигли после беспорядков в Кондопоге почти год спустя, представленных ДПНИ как собственный успешный проект. Превращение в оппозиционную политическую организацию было почти неизбежным. И как раз в это время, в середине 2006 года, развалилась «Родина», и значительная часть её лидеров и актива стала естественным союзником ДПНИ в этом процессе. Это были представители наиболее националистического ее крыла, отказавшиеся от вхождения во вторую по значению партию власти — «Справедливую Россию». Так возник проект партии «Великая Россия». Ее основой должны были стать в первую очередь ячейки ДПНИ, а лидером — радикальный этнонационалист и тогда ещё депутат Госдумы Андрей Савельев. Но власти не поддержали этот проект и, следовательно, в современных российских условиях обрекли его на провал. «Великая Россия» быстро сошла со сцены, а ДПНИ с тех пор подвергается нарастающему давлению властей. Оно оказалось загнанным в непримиримую оппозицию, сейчас находится в тяжелом кризисе и вряд ли сможет снова стать знаменем русского этнонационализма, каким оно было в 2005-2006 годах. Но его идеи и методы подхвачены другими.

Так, в 2009 году быстро поднялась группировка «Русский образ», фактически повторявшая путь раннего ДПНИ, подчеркивающая свою неоппозиционность и ещё теснее связанная с неонаци. Эта группировка, так же как ДПНИ и «Родина», делает упор на соединение национализма и социально популистской риторики. Подъем «Русского образа» был заторможен только арестом двух причастных к этой организации людей по обвинению в убийстве адвоката и антифашиста Станислава Маркелова, но если и «Русский образ» будет маргинализирован так же, как до него ДПНИ, попытки повторить успех ДПНИ, скорее всего, будут продолжены.

Политически проблематично, конечно, создать движение, которое сможет вырасти и не стать оппозиционным или, по крайней мере, не быть воспринятым как таковое в Кремле. Но опыт политического конструирования, представленный в истории ДПНИ, может оказаться перспективным в идеологическом плане.

Адепты чистого этнонационализма даже выпустили в 2010 году первый номер журнала «Вопросы национализма» под редакцией Константина Крылова, который вообще исключает идеологов империи из числа русских националистов [Крылов 2009]. Об этой коллизии мы ещё поговорим, пока же заметим, что у сторонников чистого этнического национализма есть преимущества по сравнению с другой ветвью цивилизационного национализма — державно-имперского. У этнических националистов есть практически неистребимая горизонтальная

структура, включающая самых разных людей: от бизнесменов и молодых профессионалов до уличных бойцов. И у них есть идея, привлекательная для многих, — сделать Россию «нормальным», «как у всех», этнонациональным государством, в котором доминирующую роль будут играть этнические русские. «Русская доктрина» как наглядный эксперимент по формированию официальной идеологии цивилизационного национализма

Идейный продукт, который производят в России все политические группировки, именующие себя защитниками российской «особой цивилизации», может быть сведён к двум основным разновидностям.

Первая включает в себя сугубо пропагандистские, идеологические тексты, в которых идея цивилизационной предопределённости постулируется без обоснований, по принципу «как известно». Вторая разновидность продукции цивилизационного национализма — это научные концепции. И те и другие построения служат формой идеологического запрета на заимствование или выращивание демократических институтов в России. Мы попытаемся обосновать этот вывод, начав наш анализ с откровенно пропагандистских доктрин.

Одна из них — «Русская доктрина», манифест так называемого «русского консерватизма», идейно сплотивший различные политические круги антилиберальной и антизападной направленности [Русская доктрина… 2007]. Доктрина последовательно презентовалась в разных аудиториях в 2005-2007 годах. В частности, она была предложена несостоявшейся партии «Великая Россия», и та взяла ее за основу своей программы. В какой-то момент даже показалось, что доктрина вот-вот получит официальное одобрение. Она начала всерьёз рассматриваться некоторыми деятелями Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) — одного из трех идеологических клубов «Единой России». Одновременно о доктрине одобрительно высказался идеолог (и будущий патриарх) Русской православной церкви митрополит Кирилл [Зверева 2007]. Но интерес и в ЦСКП, и в руководстве РПЦ к «Русской доктрине» быстро угас, как только стало ясно, что не будет никакой санкции свыше на продвижение столь амбициозного продукта, разработанного вне прямого контроля Кремля.

«Русская доктрина», как и большинство текстов такого рода, созданных в 2000-х годах, чрезвычайно эклектична и сочетает в себе идеи «левые» и «правые», «русские» и «евразийские». Наиболее принципиальной и последовательной позицией этой доктрины выступает негативная консолидация, постоянное обращение к образу врага. Как отмечает известный российский исследователь Г. Зверева, «Русская доктрина» буквально пронизана оппозициями «мы — они», «свои — чужие», «Россия — Запад», «либерализм — консерватизм» и др. Базовые слова этой доктрины — «русская цивилизация», «русский дух», «православие», «национальное русское государство». Все это, по мысли авторов, политические и культурные явления, принципиально не похожие на западные.

Текст доктрины не оставляет ни малейших сомнений в трактовке «особой цивилизации» именно как русской — этнически русской. Авторами доктрины общество «мыслится как живой социальный организм, основу которого составляет государствообразующий русский народ — русские» [там же: 128].

А какое место предоставляется другим народам? В доктрине они называются «инородцами» и им даётся почётный, по мысли авторов, статус «родственников», разумеется, младших, признающих «родоначальника и основателя дома». Таким образом, советскую идею народов как старших и младших родственников авторы позаимствовали, но развили, переведя русских из старших братьев в родоначальники. А вот советскую же концепцию интернационализма доктрина отвергает вовсе — как «игнорирующую иерархию этнокультурных ценностей России». При высоком пиетете к советскому прошлому, к «достижениям советского строя» доктрина отвергает и такую советскую традицию, как федеративное устройство страны. Россия мыслится как унитарное государство («сетевая империя») с вертикаль-

ным управлением («национальное самодержавие») и делением страны только по административному признаку, т.е. без национальных республик.

Перед нами стандартная этнонационалистическая программа, обосновывающая доминирующие права одного народа и одной религии в политической системе государства. При чем же здесь «особая цивилизация»? Цивилизационная оболочка должна, по мысли авторов, не только придать их концепции некое наукообразие, но и вооружить ее дополнительным аргументом в доказательстве предопределённости именно такого пути: «Мы иначе не можем: цивилизация не позволяет». Есть здесь и важный «психологический» момент: многим людям в России в силу сложившегося словоупотребления сложно признать себя националистами, а вот сторонниками «особой цивилизации» — без проблем. И наконец, идентификация «мы» выглядит куда солиднее, если это не «нация» (наций-то много), а цивилизация».

«Русская доктрина» позиционирует себя как политтехнологический проект, программа прихода к власти так называемых национал-консервативных сил. Но именно в качестве этнополитического проекта эта доктрина неосуществима. Она выступает за интеграцию народов России вокруг идеи особой русской цивилизации, но если определять цивилизацию в этническом ключе, количество «цивилизаций» начинает стремительно умножаться. Мы и так уже имеем целую гроздь других обособительных концепций — региональных и национальных цивилизаций. Кавказские (по самоидентификации) авторы пишут о «кавказской цивилизации» [Абдулатипов 1995: 55-58], татарские — о «тюркской», «тюрко-татарской» или «мусульманской цивилизации» [Исхаков 1997: 178-183, 186; Хаким 2005].

В адыгской среде заговорили об «адыгской цивилизации», у чувашей возникла идея «болгаро-чувашской цивилизации», а у якутов — цивилизации народа саха» [Бакиев 1998; Тафаев 2000; Тумусов 1998: 12-14]. Вот вам и единая русская (или хотя бы евразийская) цивилизация.

Заблудившиеся в «матрице»

Идеология цивилизационного национализма в той или иной мере подпитывается теоретическими разработками известных учёных. Один из них — А.С. Панарин[6], академические заслуги которого не подлежат сомнению, а нонкоформизм и научная смелость, неоднократно проявлявшиеся в советские годы, вызывают уважение. На рубеже 1980-1990-х годов, когда в обществе господствовали ощущения отклонения России от пути «нормальной цивилизованности», А. Панарин призывал к «расширению горизонта собственного бытия» и «гуманистическому универсализму». Он выступал против подхода, «расчленяющего единство человеческого рода», за «универсалистскую перспективу общечеловеческого спасения и совместного будущего» [Панарин 1991а: 23; Панарин 1991б: 3-16]. После событий октября 1993 года А. Панарин резко сменил курс и заявил о крахе ожиданий возвращения в «европейский дом». Разочаровавшись в возможности либеральных реформ в России, философ сблизился со сторонниками неоевразийской идеологии и антиглобализма. В это время основной идеей для А. Панарина стала «православная цивилизация», предопределяющая извечный путь России как надэтнической империи, как авторитарного государства, принципиально отличающегося от западных демократий. В обоснование этого фундаментального отличия А. Панарин предложил концепцию двух типов ментальности — западной и восточной (евразийской) [Панарин 2001:128-140; Панарин 2002].

В отличие от политических технологов, которые лишь постулируют некую цивилизационную предопределённость пути России, философ А. Панарин пытается обосновать свою идею. По его мнению, особенности европейского (западного) и восточного сознании принципиально различны и развиваются, не пересекаясь, как параллельные миры. Западный мента-

[6]См. о Панарине как теоретике цивилизационного национализма: Ларюэль 2006: 165-182.

литет — эволюционный, темпоральный (т.е. зависимый от исторического времени). Он устремлён в будущее, ориентирован на *достижительность* и мобильность, поэтому соответствует прогрессистскому мышлению («опередил — отстал»), Восточный же (евразийский) менталитет — больше пространственный и горизонтальный, он обусловливает неспешность евразийских народов, их склонность к патернализму и жизни в больших империях. По сути, эта концепция воспроизводит содержание забытой уже дискуссии эволюционистской и диффузионистской школ в антропологии, которая завершилась признанием локальных цивилизации в качестве пространственного выражения стадиальных типов. В такой трактовке евразийская и западная цивилизации представляют собой всего лишь разные стадии единого процесса. Так оно и было в истории, ведь европейцы в прошлом были такими же «пространственными традиционалистами», как многие народы Азии ныне.

Известный исследователь античности А.Ф. Лосев пишет о статичности эллинского сознания. Оно обращено к прошлому, миром правит судьба, которой подвластны не только люди, но и боги, и, следовательно, не остаётся места для исторического развития. «Золотой век», по представлениям древних греков, позади, мир не движется, по крайней мере, он не претерпевает качественные изменения. Древние греки кажутся людьми, которые «пятятся к будущему», движутся навстречу ему «спиною вперёд» [Лосев 2000]. До эпохи Возрождения Европа не знала понятия будущего. Существовали лишь понятия «потом» и «позднее», но образа будущего как желаемого и планируемого времени не существовало. Все ценности соотносились с традиционным каноном, позитивная оценка человека означала, что он соблюдает правила, установленные отцами и дедами. По сути, лишь в Новое время родившаяся в Европе модернизация обусловила понимание идеи будущего.

Трудно назвать убедительными аргументы другого апологета «особого пути» Светланы Кирдиной. Развивая идеи институциональной экономики, она забрела на тупиковую, с нашей точки зрения, тропу культурного детерминизма и «открыла» два социетальных типа общества или, как она это определила, две доминирующие (социетальные) матрицы. В одной из них «я» преобладает над «мы», я и другой, наоборот, — «мы» над «я». И опять же свойства матрицы, по ее мнению, закреплены навечно. «Именно доминирующая матрица, — пишет она, — отражает основной способ социальной интеграции, стихийно найденный социумом в условиях проживания на данных пространствах, в определённой окружающей среде» [Кирдина 2004: 89-98; Кирдина 2001].

Казалось бы, чего проще найти прародину некой цивилизации, описать специфические условия жизни социума, и все в порядке — гипотеза о стихийно найденных и почему-то навечно закрепившихся способах адаптации доказана. Однако при проверке эта гипотеза оказывается дырявой во всех своих звеньях. Изменяющиеся условия приводят либо к изменению способов социальной интеграции, либо к появлению квазитрадиций, лишь похожих на прежние. И даже простейшая, на первый взгляд, задача определения времени и места рождения доминирующей матрицы чаще всего оказывается неразрешимой.

Многие народы, которые А. Панарин и С. Кирдина относят к разным типам по их «изначальной ментальной сущности», сформировались в одних и тех же условиях. Скажем, финны, по А. Панарину, принадлежат западному типу, это «темпоральные прогрессисты», тюркские же пароды — к евразийскому, они «пространственные традиционалисты». Но ведь и те и другие относятся к одной и той же алтайской семье, сформировались на Алтае и лишь по прошествии веков стали расселяться из Азии в Европу. Финны вкупе с уграми по происхождению — такой же евразийский народ, как русские, которые исторически расселялись в обратном направлении — из Европы в Азию.

Так когда же и в каком регионе сложилась «изначальная сущность» евразийской цивилизации? А если этих начал было несколько, то какие же они вечные? Если однажды народы меняли историческую колею, то что ограничивает возможность таких перемен в другие эпохи?

Идея вечности и неизменности культуры предполагает неизменность и замкнутость жизни. Но такой изолированности никогда не существовало, за исключением разве что некоторых племён в джунглях Амазонки, в пустыне Калахари или в других труднодоступных районах. Народы мигрировали, и в процессе миграции менялись условия их существования. А раз менялись условия, то и народы менялись вместе с ними. Вначале у той же алтайской группы был общим культурный код, единый язык, адаптивность к одним и тем же природным условиям. Но условия жизни в Алтайских горах и условии жизни в Финляндии или Венгрии совершенно разные, и к ним люди по-разному приспосабливались. Однако и обустроившись на новых местах, народы постоянно сталкивались с волнами иноэтнических нашествий и переселений. Вследствие этого множество народов круто изменяли этническую подоплёку своего существования. Например, нынешние англичане и французы сначала были кельтскими народами, потом они романизировались, затем оказались под влиянием германских народов. Однако характер заимствований оказался разным. У англичан от кельтского периода осталось название государства (Британия), от германского — язык. Французы не сохранили свое первичное кельтское самоназвание (галлы), приняли название германских племён франков, но их литературный язык, в отличие от англичан, входит в состав романской группы. Болгары исторически выбрали тюркское самоназвание, но сохранили славянский язык и славянское самосознание. И в таком котле непрерывного культурного этногенеза и трудно объяснимой комбинации разных культурных корней в языке, самоназвании и самосознании народов С. Кирдина хочет найти основу незыблемой матрицы и извечного культурного кода?

Поразительные нестыковки наблюдаются и при попытках локализовать «русскую (евразийскую) цивилизацию» во времени. Например, директор Института российской истории академик А.Н. Сахаров проводит различие между «русской цивилизацией», сложившейся, по его мнению, в X-XIII веках, и «евразийской державой», или многонациональным государством, возникшим к концу XV века при Иване III. В это время должна была сложиться и евразийская цивилизация. Однако в другом своем труде он говорит о возникновении евразийской цивилизации лишь в XVIII веке. Африканист Ю.М. Кобищанов заявляет, что «русская цивилизация» сложилась в XVI-XVII веках, тогда как в XVIII веке ее место заняла петербургская разновидность западной цивилизации», на смену которой позднее пришла «советская цивилизация». Руководители союза реалистов и клуба «Реалисты» ещё только призывают «приступить к формированию евразийской, славяно-тюркской цивилизации» [Шнирельман 2008: 211]. Поскольку критерии выделения русской (евразийской) цивилизации сугубо произвольные и каждый ее конструктор предлагает собственный набор таких критериев, то нет ни малейшей надежды на то, что участники этого увлекательного конструирования когда-нибудь договорятся о времени возникновения особой цивилизации.

Единство и борьба противоположностей в русском национализме

Как уже отмечалось, в русском цивилизационном национализме парадоксально соединяются три разные и, казалось бы, плохо сочетаемые друг с другом идеи: имперская идея (в русском языке — «державничество»), этнический национализм и собственно идея развития и конфликта сверхнациональных цивилизаций.

В теории нации и национализма имперский и националистический принципы являются антиподами уже потому, что национализм как политическое течение предполагает суверенитет народа-нации, тогда как имперский режим — это суверенитет власти (империума). Однако в реальной исторической практике такого жесткого противопоставления двух принципов не существовало. Лишь националистические движения этнических меньшинств могли, и то только на определенных этапах своей активности, придерживаться классических норм национализма. Что касается националистических движений, выступающих от имени этнического большинства империй, то они чаще всего поддерживали идею сохранения державы как тела

нации и ее имперского режима как стержня нации. По крайней мере, в империи Романовых, в поздней фазе ее существования, возникли, как мы уже отмечали, именно такие русские националистические движения (радикальный их вариант — Союз Михаила Архангела, Союз русского народа и др.). И в настоящее время немалая часть русских националистических организаций признает одновременно и доминирующую роль этнических русских в политической системе России, и идеалы имперского ее устройства. Вот, например, пытается теоретизировать обычно избегающий этого занятия лидер ДПНИ А. Белов: «Да, у России — имперская судьба… Русское сознание неизбежно, фатально тяготеет к предельному и запредельному, а значит, русские обречены на экспансию, на расширение границ русского мира… И потому любая государственность, которую русские будут строить, так или иначе окажется Империей» [Белов 2006].

Вместе с тем сохраняются и различия двух принципов. Так, рост этнической подозрительности плохо сочетается со стремлением удержать народы в едином государстве. Лозунг «Россия для русских» абсолютно противоположен традиционному имперскому лозунгу «Все народы — подданные одного государя» (с необходимыми вариациями, если империя — не монархия). В современной политической жизни то и дело вспыхивают горячие дискуссии между имперцами (они же — державники) и русскими этнонационалистами. Державники утверждают, что русский национализм для имперского возрождения вреден и даже ведет к распаду России. Этнонационалисты отвечают, что имперский режим в прошлом высосал из русского народа всю кровь, а ложные наднациональные доктрины лишь мешают созданию этнонационального государства, в котором русский народ будет признан наконец единственным государствообразующим. Кроме того, этнонационалисты упрекают имперцев в нетвердости их этнонациональной идентичности и даже в недостаточной расовой чистоте, дескать, они «полукровки»[7].

Цивилизационный национализм в какой-то мере примиряет обе стороны, выдвигая на первый план общие как для державников (имперцев), так и для русских этнонационалистов ценности, вытекающие из важнейшей для цивилизационного национализма идеи об изначальности базовых культурных характеристик автономных групп человечества. Вот и оба рассматриваемых нами течения исходят из примордиалистского представления об этнических свойствах как якобы навечно генетически прикрепленных к телу народа-этноса, а в числе этих свойств одно из первых мест занимает представление о будто бы извечной склонности русских людей к имперскому режиму и имперскому величию. «Наше тяготение к твердой руке, — пишет М. Юрьев, — обусловлено не столько хаосом в нашей общественной жизни, сколько глубоко укоренённой внутренней потребностью русских людей» [Юрьев 2007а: 169]. Это говорит один из самых радикальных сторонников создания новой империи. Далее, и державники, и этнонационалисты осознают, что имперская идея крайне непривлекательна для большинства народов России. При этом не только для чеченских, татарских, якутских и прочих националистов, добивающихся большей автономии или полной независимости своих республик, но и для правящих элит этих республик. Поэтому в качестве единственного потенциального субъекта возрождения империи и имперцы, и националисты рассматривают этническое большинство. Отсюда вытекает и общая их поддержка идеи политического доминирования в России этнических русских. Ее активно отстаивают представители обоих течений. Но возникает неизбежный спор о том, как определять «русских».

Самый простой вариант — «по крови». Потенциально он может пользоваться большой популярностью, так как именно так понимает термин «национальность» огромное количество наших сограждан, а ещё большее количество, видимо, рассматривает этот вариант наравне с другими («по языку», «по культуре» и т. д.). Этот вариант открыто предлагает, например, Александр Севастьянов, экс-сопредседатель Национально-державной партии России

[7]См., например, полемические заметки: Святенков 2006.

(НДПР), и с ним вполне солидарны все русские неонаци. Если на таком основании строить империю, это будет проект империи, откровенно списанный с модели Третьего рейха, где был апробирован инструментарий его практической реализации [Севастьянов 2004].

Гораздо популярнее сейчас более респектабельный вариант понимания «русскости» — «по культуре». О нем много говорят националистические активисты. Например, один из национал-имперских проектов, более соответствующий нынешним настроениям, представляет Д. Володихин. В нем «правящую элиту России должны составлять русские по культуре, при этом необязательно русские по крови». Однако автор подчёркивает, что «их конфессионально-культурная принадлежность должна быть прочной, очевидной» [Володихин 2006]. Уже в этом проекте российским мусульманам, численность которых в России за полвека удвоилась и продолжает быстро расти, в элите имперского государства места нет, не говоря уж о не менее многочисленных атеистах и агностиках.

Большая проблема определения «по культуре» в его слабой функциональности: непонятно, какие элементы культуры оценивать и как именно. На практике используется произвольная смесь разных элементов при полном игнорировании их взаимосвязей, различий и способов оценки. В этом проявляется политическая маргинальность русских националистов: они настолько ещё не представляют своего прихода к власти, что мало интересуются реальными проектами переустройства (а то, что подаётся как такие проекты, за редким исключением является просто пропагандистской продукцией). Хотя у всех перед глазами наглядный пример нефункциональности определения «по культуре»: власти уже полтора десятилетия не могут толком определиться с тем, кто такие «соотечественники».

Впрочем, для целого ряда теоретиков «особого пути» проблема определения «русскости» не стоит, поскольку они вообще не обращаются к ситуации отдельного человека, мысля исключительно в масштабах народов и цивилизаций. А. Панарин предлагал проект империи, основанный на «незыблемой сущности евразийской цивилизации». В его концепции империя — это надэтническое образование, в котором есть место как православной, так и мусульманской религиям, лежащим в основе «евразийской цивилизации» и, соответственно, евразийской империи, а уж люди как-то должны подстроиться под это единство [Панарин 1997].

В том же ключе рассуждает обычно и Геннадий Зюганов, явно и неявно цитируя более респектабельных адептов цивилизационного национализма и смешивая самые разные подходы к русскому национализму. Вот как представляли Зюганова в качестве кандидата в президенты на выборах 2008 года: «Зюганов неугоден Мировому правительству и команде Путина не только потому, что он коммунист, а потому, что он единственный из кандидатов в президенты русский и по крови, и по духу. В отличие от других кандидатов — западников Зюганов убеждён, что Россия больше чем страна, что она не охвостье Запада, а самобытная русская цивилизация, что субъектом национальных интересов России является не прозападная элита, а российский народ, 83% которого составляют русские. Поэтому русский язык и русская культура являются духовной основой единства России. Нужно объединить здоровые силы, чтобы спасти русскую духовную культуру как триединство науки, искусства и веры от уничтожения. Нужно бороться против выхолащивания нравственного начала и эстетического содержания в художественном творчестве, против подмены добра и зла. Об этом Зюганов написал в своих книгах „О русских и России“, „Святая Русь и Кащеево царство“»[8].

Как ни странно, довольно последовательную концепцию культурного этнонационализма, причём именно имперского толка, разработала РПЦ. Эта концепция была предложена совместно патриархом Алексием II и будущим патриархом Кириллом ещё в 1999-2000 годах, но с тех пор она если и не развилась вглубь, то точно распространилась вширь. Концепция

[8] Никитин В.С. О президентских качествах Г.А. Зюганова: Он соединил в себе две ипостаси — коммуниста и патриота-государственника, сражающегося за спасение России // Официальный сайт КПРФ. 2008. 7 января. Доступно: http://kprf.ru/vibory2008/chronicle/54161.html.

«церковного русского национализма», если так можно выразиться, опирается на определение «русскости» именно по культуре, ни в коем случае не по крови (хотя оговорки про «кровное родство» и т.п. встречаются, конечно, это скорее прорывы отвергнутого, но не забытого биологизирующего подхода к этничности, неизбежного для подавляющего большинства советских людей). «Культура» же определяется просто и вполне однозначно — по религии. Такое определение даёт наиболее инструментальное, весьма широкое и при этом инклюзивное понимание «русскости».

В соответствии с православными канонами все крещёные в Православной церкви являются православными христианами. Множество таковых в России почти целиком покрывает множество тех, кто определяет себя как русских (проценты крещёных и русских по опросам практически совпадают). Но это множество также включает немалое число других граждан — евреев, татар, украинцев и т.д. по самоопределению. Более того, это множество распространяется и за пределы России, составляя явное большинство населения в Украине (последующие расколы не отлучают автоматически крещёных в РПЦ людей от Церкви) и Белоруссии, значительную часть населения в Казахстане, Эстонии, Латвии и далее по убыванию. Даже в Европе и США есть значимое количество так определяемых русских, хотя там РПЦ приходится обращаться уже к иным культурным критериям в ходе общения с другими православными церквами.

Нет, никто в РПЦ не говорит (исключая маргиналов), что понятия «русский» и «православный» тождественны, но это и не требуется, поскольку «цивилизация», во имя которой ведётся это интеллектуальное конструирование, называется все-таки не русской, а российской или православной — в зависимости от требуемого масштаба. Представителям ислама, буддизма и иудаизма (в их наиболее распространённых формах и исключая оппозиционные религиозные меньшинства) предлагается роль младших партнёров.

В ситуации десекуляризации интеллектуального сообщества России в последние два десятилетия эта модель выглядит привлекательной для многих. В том числе и для значительной части высокопоставленных чиновников[9].

Российская власть и программы цивилизационного национализма

Политическая элита России находится на распутье. С одной стороны, русский этнонационализм является для властей заведомо неприемлемой стратегией, так как провоцирует подъем этнонационализмов меньшинств и чреват конфликтами. С другой стороны, национализм чрезвычайно привлекателен как эффективный способ мобилизации масс, тем более в условиях нынешней атомизации российского общества. В роли «полезного национализма» мог бы выступать национализм гражданский, идеальным образцом которого является французский республиканизм, но этому мешает авторитарная сущность власти, всегда и во всех странах ориентированной на эксплуатацию традиционных стереотипов сознания.

Таким образом, цивилизационный национализм является едва ли не единственным средством консолидации общества, приемлемым для нынешнего российского политического режима. Ему остаётся только выбрать, какую разновидность этой концепции использовать.

Здесь, правда, возникает некоторая сложность: сложившаяся властная структура неспособна принять идеологию из рук внешней для нее группы, поскольку такое заимствование придаст «культурному донору» политический вес и сделает его состоятельным конкурентом нынешней власти. Именно поэтому амбициозным планам авторов «Русской доктрины» не суждено было сбыться. По этой же причине и руководство РПЦ тоже не может быть провозглашено основным источником официальной идеологии.

[9]Подробнее о различных аспектах теории «православной цивилизации» см.: Верховский 2007б: 171-188

Сейчас российские власти в соответствии с традициями В. Путина, всегда стремившегося избегать идеологической определённости, свой выбор никак не декларируют, предлагая гражданам ориентироваться по внедряемым государством практикам и символам. Важно отметить и то, что российский политический истеблишмент в его нынешнем виде — это не единая монолитная группа, а конгломерат довольно разных чиновничьих кланов, предлагающие де-факто разные версии цивилизационного национализма. Уже поэтому такая доктрина не может быть цельной и определённой.

Так, весьма непоследовательно отношение власти к имперской идеологии как неотъемлемой части российского цивилизационного национализма. С одной стороны, имперский принцип «удержания территорий» канонизирован в российской политике: В. Путин назвал «удержание государства на обширном пространстве» «тысячелетним подвигом России» [Послание Президента РФ… 2003]. С другой стороны, нынешняя власть никогда не декларировала идеи имперской экспансии, если не считать создания сателлитных анклавов в Абхазии и Южной Осетии, антиукраинских эскапад Юрия Лужкова и высказываний ряда других политиков не первого ранга.

Ещё одно проявление противоречивости «неуловимой» официальной идеологии связано с проблемой использования в официальном дискурсе обобщённого определения граждан России. В этих целях никогда не применяются термины «русские» и «русский народ», за которыми исторически закрепилась этническая коннотация. В то же время представители власти уклоняются и от использования сугубо географического термина «россияне», введённого в официальный дискурс при Б. Ельцине, спичрайтеры которого использовали слово, встречающееся в русской художественной литературе ещё XIX века. Более того, этнические русские коннотации общего определения граждан Российского государства неизбежно проявляются при участившихся попытках властей апеллировать к отечественной истории.

Такие коннотации ныне доминируют не только в учебниках истории и в речах многих деятелей культуры, но и в выступлениях политиков. Единственным средством преодоления этого очевидного противоречия выступает отсылка к надэтническому уровню общности, чаще всего прямо именуемому «цивилизацией». Само собой, риторика цивилизационного национализма все более пронизывает официальный академический дискурс, например, в университетских курсах истории. Широкий общественный резонанс вызвало получение А. Дугиным, одним из наиболее одиозных идеологов цивилизационного национализма, официальной позиции в МГУ, пусть и на социологическом факультете, декан которого давно уже стал скандальным персонажем [Шнирельман 2006: 183-222].

Во второй половине 2000-х годов цивилизационный национализм с его игрой вокруг этнического и надэтнического начал становиться общим местом в речах не только публицистов, но и ответственных государственных деятелей, включая отца идеи «суверенной демократии» Владислава Суркова [Карпенко 2007].

Примечательно, что Дмитрий Медведев до вступления на пост президента России фактически полемизировал с В. Сурковым (не называя его имени) и критиковал изобретённый им термин, заметив, что «понятия суверенитет и демократия — из разных понятийных категорий и сравнивать их нельзя… Если же к слову „демократия“ приставляются какие-то определения, это создаёт странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идёт о какой-то иной, нетрадиционной демократии» [Для процветания всех… 2006]. Однако заняв пост главы государства, Д. Медведев не стал полностью исключать концепцию «суверенной демократии».

При этом отмеченный «странный привкус» понятия не испарился: ценность демократии признается, но при этом отрицаются ее наиболее существенные признаки, ограничивающие персональную власть. А обоснования такого своеобразия опираются на представления об «особой цивилизации», которой внутренне присуща большая, чем западной цивилизации, склонность к авторитарному правлению.

Подход В. Суркова, стоит отметить, строится в целом так же, как подход Русской православной церкви. РПЦ не отвергает достижения модернизации и многие другие универсальные ценности, но отбирает и по-своему модифицирует те из них, которые совместимы с предполагаемым ею набором «изначальных» качеств реципиента — «российской цивилизации».

Таким образом якобы должен возникнуть не уценённый догоняющий проект («Россия а ля Запад»), а свой отечественный и равноценный Западу «цивилизационный проект», способный даже конкурировать с западным в глобальном масштабе.

На практике власти все последние годы совершают сложные маневры в своих отношениях с националистическими тенденциями в обществе.

Власти, с одной стороны, активно культивируют традиционные методы мобилизации общества — мобилизацию военно-героическим прошлым (прославление побед империи) и мобилизацию страхом (образом врага). С другой стороны, возможные при таких методах вспышки милитаризма гасятся, чтобы избежать реальных внешнеполитических конфликтов (как это было в начале второй войны в Ираке или во время спора с Украиной о Керченском проливе в октябре 2003 года) и не позволить усилиться одному из правящих кланов. Исключением в работе этого механизма стала война с Грузией в 2008 году, сильно разогревшая милитаристские настроения масс. Но и в этом случае российские власти старались все же не допустить сильного разогрева внутриполитической милитаристской мобилизации.

Власти, видя крайне высокий уровень этнических предрассудков в обществе, могут идти у них на поводу. После этнического погрома в Кондопоге (30 августа – 3 сентября 2006 года) на высшем уровне зашла речь о необходимости «обеспечения преимуществ коренному населению» (вот вам и поддержка идеи доминирования), а после конфликта с Грузией (осень 2006 года) были введены процентные квоты для работы иностранцев в определённых сферах, в частности на уличных рынках (эта мера на какое-то время вызвала сильный эффект в крупных городах, так что даже Ю. Лужков выступил против инициированного самим В. Путиным решения правительства, но вскорости торговцы легко нашли пути обхода бюрократического ограничения). Но антигрузинские эксцессы той же осени 2006 года оказались слишком скандальны, и через два года, в ходе и непосредственно после августовской войны, вся мощь пропагандистской машины была брошена на утверждение неэтнического характера конфликта — и действительно, в острейшей ситуации прямого военного конфликта этнических антигрузинских акций в России почти не было.

Власти время от времени поощряют определённые группы националистов, стремясь использовать их в политической борьбе и/или создать лояльную и менее агрессивную версию националистического движения, но до сих пор неудачно. Эпопея «Родины» является тому наиболее известным примером. Нечто сходное происходило позже, в 2008-2009 годах, с прокремлевскими молодёжными движениями. В их деятельности вдруг чётко проявилась националистическая компонента, так что порой можно было говорить о сходстве с ранним ДПНИ. Однако после ряда экспериментов эта компонента была почти полностью элиминирована, так как никак не удавалось избежать ее радикализации (в том числе в виде инфильтрации со стороны неонаци) [Кожевникова 2010: 4-17].

Не имея собственной последовательной и цельной концепции «национальной идеи», власть на практике постепенно утверждает концепцию цивилизационного национализма как доминирующую. И наибольшее сопротивление этому процессу происходит, вероятно, от внутренней несогласованности и непродуманности действий самих властей. Извне же противодействие слабо, хотя самое заметное сопротивление, видимо, могут оказать именно независимые от Кремля националисты, пусть слабые и разрозненные, но все же не настолько, как другие идейные сектора оппозиции (если к националистам относить не только ДПНИ, неонаци или деятелей типа Бабурина и Рогозина, но и левых националистов — КПРФ и НБП).

Поскольку такой метод подавления сопротивления, как широкие репрессии, нынешними властями не практикуется, остаются три других — идейная конкуренция, полицейские ограничения и переманивание.

Чиновникам вести идейную конкуренцию с действительно идейными людьми трудно. Хороший пример: российская власть создала новый праздник — День народного единства 4 ноября, посвящённый событиям 1612 года, однако этот праздник, понимаемый в российской исторической мифологии как праздник победы над Западом, был сразу же монополизирован русскими националистическими организациями, ситуативно объединившимися в движение «Русский марш». И теперь сама же власть боится этого праздника, загодя стягивает милицию в российские города и вынуждена изучать, как сводки с фронтов, информацию о состоявшихся или разогнанных митингах националистов, а также организовывать контрмарши «Наших» и тому подобные мероприятия.

Конечно, всегда можно прибегать к полицейским ограничениям. Они сильно помогли в ряде случаев против манифестаций националистических оппозиционеров, но в целом не смогли сломить их активность: даже очень слабое на 4 ноября 2009 года ДПНИ собрало лишь немногим меньше участников «Русского марша», чем обычно, а нацболов, например, ограничениями остановить вообще трудно. Полицейские меры позволили разгромить наиболее опасные банды неонаци в Москве и в некоторых других городах, так что в 2009 году впервые не выросло, а даже сократилось количество преступлений по мотиву ненависти[10]. Но неонацистское подполье остаётся очень активным. Оно стало, с одной стороны, тщательнее соблюдать конспирацию, а с другой — все чаще атакует саму полицию. Похоже, постоянно возникающие новые группы будет уже сложнее ловить. Да и в целом полицейские методы можно рассматривать лишь как вспомогательные.

Переманивание оппонентов, включая прямой подкуп или взятие под покровительство, практикуется настолько широко, насколько это возможно. Но в такого рода играх всегда активны обе стороны. Если власть думает, что она переманивает и подчиняет, то включающиеся в этот процесс оппоненты рассматривают его как переход к тактике энтризма. Они могут при этом мечтать даже о быстром успехе — о постепенном обновлении власти и росте в ней удельного веса национал-имперских сил, готовых в случае возникновения Кризисных ситуаций отвлечь людей от реальных проблем смелыми планами строительства новой империи от Владивостока до Лиссабона. Эта идея изложена М. Юрьевым в его книге «Третья империя», ставшей бестселлером в 2007 году [Юрьев 2007б].

Конечно, мечты Юрьева чрезмерно оптимистичны. Независимые националисты какого бы то ни было толка в сегодняшних условиях России не могут прийти к власти в результате демократических процедур. Очень мала вероятность их прорыва к власти в результате военного переворота, хотя такая возможность и обсуждается в их кругах. Но что вполне вероятно (хотя и не неизбежно, конечно), так это постепенная эскалация экспансионистских, милитаристских и этноксенофобных настроений, в том числе и во властной элите, по мере укрепления и институционализации цивилизационного национализма. Если этот процесс зайдёт достаточно далеко, сложится некая принципиально иная политическая ситуация, при которой вероятность прихода радикально-националистических сил к власти тем или иным способом может существенно возрасти.

Вместе с тем в стратегической перспективе «особый путь» цивилизационного национализма — безусловно тупиковый, противоречащий глобальным тенденциям мирового развития, мешающий модернизации социальных институтов и тем самым подрывающий саму надежду России на достойное место в будущем мировом порядке.

[10] См. подробную статистику в приложениях к последнему годовому докладу Центра «Сова» [Ксенофобия… 2010: 127-141].

Абдулатипов Р. 1995. Кавказская цивилизация: самобытность и целостность. — *Научная мысль Кавказа*. — № 1.

Андреев А.Л. 2002. «Мы» и «они»: к характеристике внешнеполитических ориентаций российского общества. — *Россия в условиях трансформаций* / Под ред. С.С. Сулакшина. — М. — Вып. 21.

Афанасьев Ю. 2008. Мы — не рабы? Исторический бег на месте: «особый путь» России. — *Новая газета*. — 5 декабря.

Бакиев А.Ш. 1998. *Адыгская цивилизация. Автореф. канд. дисс*. — Нальчик.

Белов А. 2006. Имперский марш русского будущего. — *Интернет-издание АПН*. — 13 ноября. — Доступно: http://www.apn.ru/publications/articlel0883.htm. — Проверено: 05.12.2013г.

Верховский А. 2003. *Политическое православие: русские православные националисты и фундаменталисты, 1995-2001 гг.* — М.: Центр «Сова».

Верховский А. 2007а. Идейная эволюция русского национализма: 1990-е и 2000-е годы. — *Верхи и низы русского национализма*. — М.: Сова.

Верховский А. 2007б. Церковный проект российской идентичности. — *Современные интерпретации русского национализма* / Под. ред. М. Ларюэль. — Stuttgart: Ibidem.

Володихин Д. 2006. *Дискуссия в Фонде «Либеральная миссия»*. — Доступно: http://www.liberal.ru/articles/cat/1271. — Проверено: 05.12.2013г.

Володихин Д. 2007. Нам нужна самодержавная монархия, несколько смягченная рядом представительных учреждений. — *Российское государство: вчера, сегодня, завтра* / Под общей редакцией И.М. Клямкина. — М.: Новое издательство, 2007.

Дилигенский Г.Г. 1993. «Конец истории» или смена цивилизаций? — *Цивилизации*. — М. — Вып. 2.

Для процветания всех… 2006. Для процветания всех надо учитывать интересы каждого. Интервью первого вице-премьера Правительства России Дмитрия Медведева главному редактору журнала «Эксперт» Валерию Фадееву // *Эксперт*. — 24 июля. — Доступно: http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/28/interview_medvedev/. — Проверено: 05.12.2013г.

Дугин А. 2009. Ален де Бенуа и «Европейская идеология». — *Предисловие к книге Алена де Бенуа «Против либерализма: к четвертой политической теории»*. — Спб.: Амфора.

Зверева Г. 2007. Русские смыслы для новой России? Опыт продвижения «Русской доктрины». — *Верхи и низы русского национализма* / Сост. А. Верховский. — М.: Центр «Сова».

Иного не дано… 1988. *Иного не дано. Перестройка: гласность, демократия, социализм* / Авторский коллектив: А.Д. Сахаров, Н.Н. Моисеев, Т. И. Заславская, Г.Х. Попов, А.В. Яблоков и др. — М.: Прогресс.

Исхаков Д. 1997. *Проблемы становления и трансформации татарской нации*. — Казань: Мастер Лейн.

Карпенко О. 2007. «Суверенная демократия» для внутреннего и наружного применения. — *Неприкосновенный запас*. — № 1.

Кирдина С.Г. 2001. *Институциональные матрицы и развитие России*. — Новосибирск.

Кирдина С.Г. 2004. Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация. — *Вопросы экономики*. — № 10.

Кожевникова Г. 2010. Ультраправые тенденции в прокремлевских молодежных движениях. — *Русский национализм между властью и оппозицией* / Под. ред. В. Прибыловского. — М.: Центр «Панорама».

Кожевникова Г., Шеховцов А. и др. 2009. *Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица*. — М.: Центр «Сова».

Крылов К. 2009. *17 ответов. Наиболее распространенные вопросы к русским националистам и ответы на них*. — (Место издания и издатель не указаны.).

Ксенофобия… 2010. *Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2009 году*. — М.: Центр «Сова».

Ларюэль М. 2005. Александр Дугин, идеологический посредник. — *Цена ненависти. Национализм в России и противодействие расистским преступлениям*. — М.: Центр «Сова».

Ларюэль М. 2006. Александр Панарин и «цивилизационный национализм» в России. — *Русский национализм: идеология и настроение*. — М.: Центр «Сова».

Лихачев В., Прибыловский В. 2005. *Русское Национальное Единство, 1990-2000. В 2 т*. — Stuttgart: Ibidem.

Лосев А. 2000. *История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития*. — М.

Манн Т. 2008. Рассуждения аполитичного / Пер. с нем. Е. Елисеева. — *Вестник Европы*. — № 24.

Паин Э.А. 2004. *Между империй и нацией*. — М.: Новое издательство.

Пайпс Р. 2004. *Россия при старом режиме*. — М.: Захаров.

Пайпс Р. 2007. Русским нужен правитель. — *Rzeczpospolita, Польша*. С Ричардом Пайпсом (Richard Pipes) беседовал Петр Зыхович (Piotr Zychowicz). 7 ноября 2007 года. — Доступно: http://inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/237696.html. — Проверено: 05.12.2013г.

Панарин А.С. 1991а. От формационного монолога к цивилизованному диалогу. — *Коммунист*. — № 9.

Панарин А.С. 1991б. Возвращение в цивилизацию или «формационное одиночество». — *Философские науки*. — № 8.

Панарин А.С. 1997. Парадоксы европеизма в современной России. — *Россия и мусульманский мир*. — № 3.

Панарин А.С. 2001. Православная цивилизация в глобальном мире. — *Москва*. — № 3.

Панарин А.С. 2002. *Православная цивилизация в глобальном мире*. — М.

Послание Президента РФ… 2003. Послание Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию РФ. 16 мая 2003 года. — *Российская газета*. — 17 мая.

Русская доктрина… 2007. *«Русская доктрина» (Сергиевский проект)* / Под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. — М.: Яуза.

Святенков П. 2006. Империя и ее имперцы. — *Интернет-издание АПН*. — 23 июня. — Доступно: http://www.apn.ru/publications/article9903.htm. — Проверено: 05.12.2013г.

Севастьянов А. 2004. *Время быть русским. Третья сила. Русский национализм на авансцене истории.* — М.: ЭКСМО.

Сурков В. 2006. *Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности. Стенограмма. Ч. 1-2*. — Москва, февраль 2006 года. — Доступно: http://surkov.info/publ/4-l-0-13. — Проверено: 05.12.2013г.

Сурков В. 2007. *Русская политическая культура. Взгляд из утопии*. — Москва, Президиум РАН. 8 июня 2007 года. — Доступно: http://surkov.info/publ/4-l-0-55. — Проверено: 05.12.2013г.

Тафаев Г.И. 2000. *Болгаро-чувашская цивилизация: прошлое, настоящее, будущее*. — Чебоксары: Чувашский государственный университет.

Тумусов Ф.С. 1998. Цивилизация Саха: место в мировом сообществе. — *Тюркский мир*. — № 1.

Фукуяма Ф. 2004. *Конец истории и последний человек*. — М.: АСТ.

Хаким Р. 2005. *Метаморфозы духа (к вопросу о тюркотатарской цивилизации)*. — Казань: Идел-Пресс.

Ходорковский М. 2004. Кризис либерализма в России. — *Ведомости*. — 29 марта. — № 52 (1092).

Шнирельман В. 2006. «Несовместимость культур»: от научных концепций и школьного образования до реальной политики. — *Русский национализм: идеология и настроение*. Составитель А. Верховский. — М.: Центр «Сова». — С. 183-222

Шнирельман В. 2008. Время цивилизации: цивилизационный подход как национальная идея. — *Российская модернизация: размышляя о самобытности*. Под ред. Э. Паина и О. Волкогоновой. — М.

Юрьев М. 2005. Крепость Россия. — *Крепость Россия: прощание с либерализмом. Сборник статей*. — М.: Яуза, Эксмо.

Юрьев М. 2007а. Естественным для русских вариантом государственного устройства является смесь идеократии и имперского патернализма. — *Российское государство: вчера, сегодня, завтра* / Под общей редакцией И.М. Клямкина. — М.: Новое издательство.

Юрьев М. 2007б. *Третья империя. Россия, которая должна быть*. — СПб.-М.: Либиус-Пресс, Издательство К. Тублина.

ИДЕОЛОГИЯ «ОСОБОГО ПУТИ» КАК ОРУДИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

А.М. Мелихов
журнал «Нева»

Аннотация: *Статья посвящена осмыслению идеологии «особого пути», какую роль она играет в современной России. Также, как сам автор подчеркивает в заглавии, рассматривается применимость идеологии «особого пути» в качестве орудия модернизации.*

Ключевые слова: *идеология «особого пути», модернизация, оборонительные идеологии, наступательные идеологии.*

В пионерлагере это было самое страшное обвинение: «Ты что, особенный?» Но если бы этот вопрос услышала наша мама, она бы, несомненно, ответила: «Конечно, особенный!» Те, кого мы любим, всегда особенные, ординарны и взаимозаменяемы только те, к кому мы равнодушны. И мир, а в первую очередь наши конкуренты, с утра до вечера учит нас скромности, поскольку именно высокая самооценка придает нам сил, и в конце концов мы овладеваем наукой ни на что не претендовать, пропускать вперед тех, кто поумнее да покрасивее, чего они от нас и добивались. Но когда вдруг в нас кто-то влюбляется и говорит: «Ты единственный, таких, как ты, больше нет», наша душа отвечает не всплеском скромности — всплеском радости.

Каждый человек и каждый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для всякого живого существа чувство собственной уникальности. Зато когда нас оценивают по какому-то чужому критерию, да еще и выставляют не слишком высокую оценку, — тогда-то нам и хочется отвергнуть и оценщиков, и самое их шкалу: мы начинаем настаивать на своей особости, когда нам в ней отказывают. Но поскольку глобализация все больше стран и народов выстраивает по единому ранжиру, а высокие места в любом состязании достаются лишь немногим, то проигравшим поневоле приходится искать утешения в идеологиях «особого пути», — их расцвет есть реакция на унификацию. И правительства, которые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность, уступая дорогу более услужливым.

Таким образом, эта могучая психологическая потребность столь многих (в сущности, большинства) народов неизбежно найдет удовлетворение в разного рода идеологиях «особого пути» — только одни из них будут оборонительными, а другие наступательными. Оборонительными идеологиями я называю те, которые декларируют отказ от приза, за который ве-

дется борьба, а наступательными — те, которые призывают насильственно захватить этот приз или, по крайней мере, максимально отравить торжество победителей. Уничтожить этот механизм психологической компенсации никому не под силу — попытки его высмеять, изобразить архаической нелепостью могут разве что превратить оборонительные идеологии в агрессивные (направленные в том числе и на своих разоблачителей).

Многие социологические опросы отмечают у россиян симпатию к некоему «особому пути», однако никто даже не ставит вопрос, оборонительный или наступательный характер носит эта симпатия. Лично мне кажется, что в основном пока что оборонительный, но если почаще выводить этот способ самоутешения на чистую воду, то в конце концов удастся превратить его и в агрессивный.

На мой взгляд, гораздо более целесообразно не бороться с неодолимым стремлением (готовность соответствовать каким-то стандартам может быть проявлена только теми, кто этим стандартам уже соответствует либо находится в двух шагах от этого), а использовать его в рациональных целях. Преимущества и соблазны модернизации настолько наглядны и огромны, что декларируемые отказы от нее суть, как правило, декларации лисицы, отказывающейся от недоступного винограда. Идеологии «особого пути» на первых порах чаще всего возникают не как оправдание агрессии, а как прикрытие капитуляции, как утешение в неудачах. И человек, и народ, когда их настигает поражение, говорят себе: «А я и не хотел». И здесь не нужно выводить их на чистую воду, повторяя: «Нет, ты хотел, да только у тебя не вышло. Так что не важничай, а учись у более умных и умелых». Если даже это правда (а это бывает правдой лишь наполовину, ибо любой успех наполовину определяется удачей), все равно она будет воспринята как соль на раны и лишь удвоит и без того всегда присутствующую неприязнь проигравших к победителям.

Поэтому рациональному правительству, желающему осуществить ненасильственную модернизацию, разумнее отводить нарастающую агрессию временными уловками в том духе, что мы-де сами отказались от упущенного приза, потому что это несвоевременно, слишком дорого, противоречит нашим нравственным принципам и т.д. Но мы спокойно все получим своим особым путем — в свое время, без надрывов, без утраты самобытности — все эти припевы давно известны. Нужно только не попадать в сети собственной пропаганды, а собирать силы для новой попытки, которую тоже нужно изображать как собственный, никем не вынужденный и никому не подражающий путь развития.

Разумеется, это дело тонкое, утешения и стимулы правящие должны дозировать очень осторожно и быть всегда готовыми что-то прибавить, а что-то убавить в зависимости от реакции управляемых — при неизбежно сохраняющемся риске внезапного выброса фундаментализма, агрессивной версии идеологии «особого пути». Но полный отказ считаться с потребностью людей в мягком варианте такой идеологии обеспечивает ее жесткие выбросы со стопроцентной гарантией.

АПОЛОГИЯ «ОСОБОГО ПУТИ» И МЕНТАЛЬНОСТЬ РОССИЯН: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Б.М. Фирсов
Европейский университет в Санкт-Петербурге

Аннотация: *В данной статье автор ставит в центр своего изучения ментальные миры современного российского населения. Подчеркивая расплывчатость определения, что такое ментальность; автор анализирует структуру ментальности россиян и какое место в ней занимает идея «особого пути». Опираясь на мнение множества иностранных экспертов автор стремится дать обобщенный взгляд на ментальность россиян «извне».*

Ключевые слова: *ментальность, ментальные миры, идеология «особого пути», риторика «особого пути», идеологическая программа.*

Мы легче миримся с разорением нашего гнезда,
чем с гибелью наших воздушных замков.
Чарльз Диккенс

На протяжении нескольких лет (2003-2006) при поддержке Института Кеннана и Фонда Макартуров я занимался изучением ментальных миров современного российского населения [Фирсов 2003: 3–9; Фирсов 2004: 2–8; Фирсов 2007: 14–27]. Работа эта протекала в несколько этапов. Один из них состоял в глубоком погружении в литературу по поводу понимания ментальности. Вторым этапом было проведение нескольких десятков экспертных интервью, в которых дефиницию ментальности, а самое главное, качества российской (русской) ментальности оценивали на паритетных правах группа «инсайдеров» и группа «аутсайдеров».

Давно замечено, например, что у народов, как и отдельных людей, выдающимися достоинствами часто оказываются не те, которые они любят себе приписывать. Я учел, что многие черты «русскости» («российскости») не раз подмечались людьми, которые могли посмотреть на Россию со стороны (русские эмигранты, зарубежные исследователи-русисты, дипломаты, журналисты). Это еще раз подтвердилось в моем эмпирическом исследовании. Зарубежные эксперты глубже, критичнее судили «со стороны» о ментальных мирах россиян, демонстрируя априорные преимущества внешнего наблюдения перед внутренней саморефлексией россиянами (русскими) свойств их ментальности. При этом тема «особого пути» была одним из обертонов обсуждения свойств российской ментальности. Ссылки на мнения экспертов, как правило, нетривиальные, несущие на себе следы их жизненного и исследовательского опыта, определили жанр этой статьи[1].

[1] Визитные карточки экспертов приводятся в конце статьи.

Следует сказать несколько слов о движении России в историческом времени. Существует устойчивая легенда, близкая по своей природе к мифу, что именно «наше» время переходное, но «прежняя» Россия бывала «всегда» стабильной, нашедшей себя, целостной и гармоничной. «Было ли так когда-нибудь?» — спрашивает В. Кантор и отвечает: такого не было 10 с лишним лет назад на заре горбачевской перестройки. Не могло быть и в пору брежневского застоя, который оказался не чем иным, как перерождением, распадом и разложением советской системы. Переходным оказался хрущевский период, вобрав в себя разоблачение сталинских репрессий, возвращение миллионов узников из концлагерей, попытки вернуться к «ленинским нормам партийной жизни», а заодно обогнать США «по производству мяса, масла и молока на душу населения». Перетряской всей страны была эпоха сталинской коллективизации и индустриализации. Из огня да в полымя швыряли народ продразверстка и НЭП. Не назвать страну стабильной и целостной в период между двух революций и на рубеже XIX и XX веков (не говоря уже о самих революциях). Переломными эти годы называли современники, видя, как капитализация России видоизменяла страну. То же придется сказать о пореформенной России второй половины XIX пека, когда, по словам Л. Толстого, «все переворотилось» и никак не могло уложиться. Таковыми были и царствование Петра I, и период раскола при Алексее Михайловиче, и «смутное время», и период от Ивана III до Ивана IV Наконец, удельная раздробленность, Крещение Руси, время становления русской государственности (862 год) — все указывает на постоянные изменения и замену одного качественного состояния другим [Кантор 1997: 255-256].

Ссылаясь на Ю. Леваду, я напомню о том, что в современной России имеет место периодическое накопление нереализованного потенциала нескольких поколений, принудительно оказывающихся в одном времени, которое они не могут назвать «своим». Так возникают очаги молчаливого сопротивления, которое опирается на инерцию ментальности, не способной к перекраиванию картины мира синхронно с общественными преобразованиями и переменами, в какой бы форме (революция, исторический перелом, рывок в развитии, «большой скачок», реформы и т. д.) они ни выступали. Ибо здесь вступают в силу долговременные ментальные структуры («темницы долгого времени», по Ф. Броделю), которые более всего противодействуют изменениям и сохраняются при смене поколений.

«Переходность является константой российской истории», — так завершит свой тезис В. Кантор. Испокон веку Россия была поставлена перед необходимостью поиска своей идентичности в условиях постоянной смены действий и декораций на сцене, где разыгралась ее историческая драма. Как следствие — многовековая неустойчивость культурного равновесия и постоянное перенапряжение ментальности под влиянием постоянно изменяющихся смыслов жизни, ценностей, реалий окружающего мира.

«Все процессы и фазы истории в России медленнее должны бы протекать», — заметит Г. Гачев и обоснует важный для нас тезис О вечной власти переходности несовпадением шага Пространства н такта Времени [Гачев 2002]. Народ российский тяготеет к «натуральному развитию медленным шагом времени», а государство живет испокон веку со словом «ускорение» на устах, чему всегда, изначально сопротивлялся склад мышления народа, Русский Логос. Потому так трудно и долго ищется, и не находится что-то четкое и повисает в воздухе истории нескончаемыми вопросами.

Ментальность в нашем случае аккумулирует реакции на «черновики истории» и на неудачи с «беловым вариантом», который страна и народ попытались было «написать» путем перехода к демократии и рыночной экономике, но не смогли достичь намеченных целей. «Не свое время», о котором писал Левада, выступает синонимом травматического перелома в образе жизни России, который по-прежнему порождает чувства утраты стабильности, непонимании сути происходящих перемен, вызывает тревогу, апатию и растерянность у менее адаптивной части населения страны.

Гигантская работа себя над собой, работа, которую представляет собой жизнь, — так образно охарактеризовал механизм функционирования ментальности французский историк М. Вовель (1), желая подчеркнуть, что смена картины мира, носителем которой является человек, требует усилий, связана с борьбой за себя и «свой образ». Не будучи в силах справиться с нагрузками времени, человек обращается к прошлому, точнее — к мифологическому представлению о нем, считая, что страну сбили с наезженной колеи, предложив ей новую маршрутную карту, вместо того, чтобы она продолжала идти своей и потому не похожей на другие, «особой русской дорогой.

(2) Риторика «особого пути» (для Европы после 1945 года, попросту говоря, исключенная), в цепком плену которой находится ментальность россиян, мешает движению страны к открытому и динамичному социальному состоянию. Не обращать на это внимание значит жертвовать будущим ради сомнительных, одномоментных выгод, которые заключает в себе возрождение державности и имперского духа, особенно заметное на фоне кризисного переживания истории.

«Возрождение великой державы» стало тем единственным символическим тезисом, на котором сходятся и либералы-западники, и коммунисты-патриоты, и поборники «Святой православной Руси», говорилось в одном из экспертных докладов левадовского ВЦИОМа [Гудков 2002]. Правда, компоненты того, в чем именно заключается смысл национального «величия» державы, могут сильно различаться, как и средства достижения заветной цели. Но общая программная композиция не меняется, демонстрируя известную устойчивость во времени. Прозападно настроенные рыночники условие будущего процветания и мощи нового демократического государства, мировой державы (столь же развитой в экономическом отношении, как и другие члены «большой семерки») видят в рынке. Коммунисты ностальгически вспоминают былую военную мощь, монолит государственного строя, общественную жизнь в СССР. Борцы за Святую Русь уповают на соборность, духовность православной веры. Каждая из таких «идеологических программ» имеет своим стержнем идею «Великой России». Но, употребляя слова «идеологических программ», Л. Гудков не имеет в виду выработку каких-то новых ориентиров и политических целей. Скорее речь идет об артикуляции аморфных массовых представлений и клише, несущих на себе следы сильного влияния нерационализируемых ценностей и излишне нагруженных моральными оценками, внушающими неверие в мысль.

Развивать эти сюжеты не входит в мои цели, но русская идеология продолжает порождать «мистические сущности» вроде «Большой идеи России», которая, по мысли ее проектантов (самой идеи еще нет, есть только представление о том, какой она должна стать), положит начало чуть ли не новой формации, а то и цивилизации. Мне запомнились публицистические очерки Р. Гальцевой в журнале «Новый мир», где она мастерски реконструировала и представила чаемую Россию, какой она видится сквозь призму «Большой идеи» [Гальцева 2002]. Уготовано быть ей постиндустриальной, основанной на некой самодеятельной морали, а также (полностью в духе М. Вебера) связанной с самодисциплиной, напряженным трудом и концентрацией сил. Еще одна опора — фундаменталистский потенциал православия, который теперь уже не кажется исчерпанным, а характеризуется как «праздничное миросозерцание», сумевшее донести до нас «животворную энергетику языческого эроса». Да и роль православия теперь иная — служить не только благим антиподом для всего остального христианства, но также исходным образцом, эталоном для альтернативного западному русского экономического порядка на основе варианта «монастырского социализма» с его отрицанием частной собственности и отказом от всякого имущества. Конечно, эта модель, по меньшей мере, странная, весьма далекая от реальности, но зато «своя».

Стремление преодолеть рыхлое, нестабильное жизнеустройство побуждает россиян конструировать образы желаемого будущего, напоминающие «коктейли» из реальных, идеальных и мифологизированных представлений о дореволюционной России, Советском Союзе

и постсоветской России. Эксперты (обе группы) в принципе согласились с этим, сославшись на состояние многих социальных и экономических институтов в стране. Хороший пример — экономические институты, представляющие собой сочетание (нередко централизованное) рынков, интенсивного бюрократического регулирования с элементами коррупции и личных (подобных клановым) отношений.

Предоставлю слово эксперту из Финляндии Ю. Гроноу (ныне профессору Уппсальского университета, Швеция): «Один мой друг, работавший когда-то экспертом в Казахстане и ездивший оттуда на машине в Финляндию на каникулы, рассказал такую историю. В Казахстане все функционирует: милиция останавливает тебя через каждые 50 километров, но все, что надо сделать, — это опустить стекло и дать им, условно говоря, 50 рублей. И никаких споров, никаких разговоров. В Финляндии это тоже просто и функционально.

Превысил скорость — на следующий день получи по почте штраф (конечно, в сотню раз больший, чем в Казахстане). Тебе даже не нужно встречаться с полицией.

Но в России все не так. Полиция тормозит тебя через каждые 10 километров, прямо как в Казахстане, и всегда начинает спорить, объяснять и выговаривать: где ты поступил неправильно. От тебя ожидают искренних извинений и объяснений, что, мол, на самом-то деле ты обычно не водишь машину так, но дома у тебя больная мать или твоя жена только что покинула тебя, вследствие чего ты был вынужден, как исключение, пойти против правил и т.д. и т.п. Наконец, минут через 20 ты можешь очень осторожно предположить, что раз у вас обоих, похоже, совсем нет времени и что, в частности, у полицейского, вне всякого сомнения, найдется множество куда более важных дел, возможно ли будет разрешить проблему на месте, а не ехать в милицейский участок. Некоторое время поколебавшись, инспектор всегда соглашается, и ты платишь ему 100 рублей и уезжаешь. По дороге то же повторяется несколько раз. Тень русского пути вездесуща!

(3) Идеология «единственно верного пути», каким был путь к социализму, еще не выветрилась из голов россиян, однако фатальную веру в то, что «мы покажем миру, как надо жить», нельзя объяснить только «причудами» советской истории. «Виной» всему являются ментальные механизмы различения «своего» и «чужого». Более точно — акцент на несхожести ведет к апологии «особого пути».

Один из вопросов экспертного интервью формулировался так: ищут ли россияне сходство с иноземцами или пытаются установить несхожесть? От чего зависит выбор алгоритма различения «своего» и «чужого» народа? Оказалось, что принципиальные расхождения по данному поводу у обеих групп экспертов отсутствуют. Приведу несколько примеров их высказываний.

«На самом деле то, что делает иностранцев непохожими и/или непонятными для нас, а нас, в свою очередь, непонятными для иностранцев, связано не с принципиальными ценностями или драматическими различиями характеров и темпераментов. Имеют значение какие-то мелкие, чисто технические схемы, на основе которых мы стараемся взаимодействовать. Эти схемы оказываются разными, что прежде всего бросается в глаза. То есть оттого, что наши гайки не подходят к их винтам на какие-нибудь доли миллиметра, мы обнаруживаем, что будто бы принадлежим к разным мирам» [эксперт М. Соколов, Россия].

«Россияне ищут несхожесть или сходство всегда. Сходство/несхожесть выступает в роли оценочной категории: „Молодец, это — по-нашему!“ Я не раз слышал от своих оппонентов: „Вы мыслите не по-нашему“, „Такая логика — не наша“. Это маркирование получило широкое распространение. Оно служит в российской научной этике заменой аргументов» [эксперт Б. Ланин, Россия].

«В современной (постсоветской) России довольно широко распространено подчеркивание несхожести — не только в народе, но и в интеллигенции. Причем в провинции более „эксклюзивны“, чем в столицах (и в Петербурге более „эксклюзивны“, чем в Москве). Играет роль разочарование Западом у тех, кто путешествовал. Там, как оказалось, не рай и не ад, а

что-то банальное, привычное и, в конце концов, неинтересное. К тому же люди как бы свертывают эти чувства в обратную сторону (говоря языком психоанализа, project them). Это одна из причин всплеска разговоров о „русофобии“» [эксперт Ю. Гроноу, Финляндия].

Итоговое мнение будет следующим: «Россияне часто знают „чужое“ лишь понаслышке. Мне кажется, что их ментальная конструкция — это прежде всего „мы — они“» [эксперт Ж. Нива, Франция].

Другой формой противопоставления своего и чужого является отрицание множественной идентичности. Эмпирическое исследование новой европейской идентичности показывает, что один и тот же человек или группа людей нередко имеют несколько идентичностей. В одном контексте они могут определять себя как европейцев (скажем, в Америке), в другом — как финнов (например, на хоккейном матче в Швеции), в третьем (гостя у друзей из Тампере) — как «мы из Хельсинки». Опасность состоит в том, что исторически во времена кризисов или неопределенности сильные национальные моноидентичности мобилизовать было довольно легко, было легко найти «козлов отпущения», взвалив на них ответственность за все страдания (роль евреев в европейской истории). Русские реже, чем европейцы, признают возможность множественной идентичности. Советский человек вообще никогда не мог представить себя в другой ментальной оболочке.

К такому же выводу, кстати сказать, приходят и исследователи общественного мнения. Сошлюсь на Б. Дубина. Совсем недавно он писал в одной из своих работ [Дубин 2009: 398-399], что подавляющее большинство россиян не чувствуют себя людьми западной культуры или не считают этот момент важным для себя. В то же самое время коллективный «мы-образ» в европейских странах сильно эволюционирует в последние годы в совсем другом направлении. Дубин подкрепляет свой тезис конкретными примерами. Скажем, в Италии, где традиционно была важна и актуальна региональная проблематика, происходит рост значимости универсалистской ориентации на мир в целом и человеческий род. Жители Франции считают, что более всего объединяет культура и ценности (соответственно 46 и 38% опрошенных). Значение «почвы», объединяющей силы истории и территории, подчеркивают лишь 24 и 21% опрошенных. Явно растущая открытость европейских обществ является заметным контрастом по отношению к российскому социуму, закрытость которого далеко не преодолена.

Исследователи, продолжает Б. Дубин, сталкиваются сегодня лишь с симптомами распада закрытого общества. Поскольку решающий сдвиг в сторону открытости России является делом будущего (будем надеяться, ближайшего), постольку российское массовое сознание (общественное мнение) продолжает демонстрировать «очевидное»: двойственный образ Запада как ориентира и врага под влиянием мифологии западничества и антизападничества и связанных с ними синдромов восхищения и зависти, подражания и отторжения [там же: 400].

(4) По моей гипотезе, корни этих аберраций сознания и подсознания уходят в структуру российской ментальности, в глубинах которой под влиянием сложной и противоречивой истории давно созрели не поддающиеся рационализации представления, составляющие образ «умонепостижимой» России. Скажу более определенно: ментальность делает русских адептами особого своевольно понимаемого пути.

Эту связь российской ментальности с историей очень тонко подметила И. де Мадариага, эксперт из Великобритании: «Есть еще один момент касательно России, который кажется мне основополагающим, — понятие воли. Что это такое? Однажды у Ленина я встретила цитату, которую потом никак не могла найти снова, — речь в ней шла о различных значениях слова „воля“ (он-то должен знать!!!). Я не знаю ни одного другого европейского языка, который имел бы два слова — „воля“ и „свобода“, выражающие два разных понятия свободы. В английском есть два слова — „liberty“ и „freedom“, но понятие — одно и то же. Можно говорить о „freedom of the press“ или о „liberty of the press“ (оба выражения значат „свобода печати“). В латыни есть только „liberty“. Но русское „свобода печати“ не то же самое, что „воль-

ная печать“. В слове „вольное“ есть нечто такое, что крайне трудно поддается переводу (см. о трудности перевода „земля и воля“). Если Иван Грозный говорит „я волен“ — это не то же самое, что сказать „я свободен“. Последнее употребляют, принимая приглашение: „I am free to come“ („Я могу прийти“). В данном контексте не скажешь „я волен“. Воля — внутри тебя, свобода дается тебе извне. А ведь у русских есть еще и выражение „внутренняя свобода“, она-то извне не дается. Но в то же самое время существование такого словосочетания — значит, что в головах носителей языка понятие „свобода“, возможно, не содержит признака „внутренний“.

Мне кажется, что такое разделение значения имеет что-то общее с существованием двух форм слова „быть“ в испанском: „ser“ и „estar“. „Ser“ относится к существованию (soy rubia — я белокурая), а „estar“ — к изменяющимся обстоятельствам (estoy enferma — я болен). „Воля“ относится к чему-то, чем ты являешься, „свобода“ зависит от обстоятельств, она — то, что „случается“. То, как использовать эти два понятия, какое из них выбрать в определенном контексте? Русские, безусловно, решают автоматически, не задумываясь в такие моменты об оттенках значения. Тем не менее эти оттенки присутствуют всегда, бессознательно, и добавляют еще одно измерение к ощущению свободы в пространстве, свободы от контроля любого типа, что, как представляется, присуще натуре русских — всех классов и культур — и не является результатом действия законов. Поэтому идея свободы „в соответствии с законом“ не столь уж существенна, как „я свободен“, „я волен“.

Это можно обнаружить и в отношении русских к закону. Екатерина (самая нерусская женщина, какую только можно отыскать) неожиданно для человека, никогда не изучавшего юриспруденцию, выступила приверженцем буквы закона — как проводника к справедливости, а не его духа („Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения“, статья 153). В продолжение веков русские, кажется, предпочитали букве закона его дух как более способствующий примирению и согласию — фактически, это право справедливости, а не формальное право.

Это нашло отражение у Радищева в его „Путешествии из Петербурга в Москву“, в главе „Зайцово“. Герой повествования, судья, встает на сторону крестьян, совершивших убийство, потому что их вынудили к тому невыносимым к ним отношением, оправдать которое абсолютно невозможно. Он никак не мог принять того, что правило закона подразумевает безоговорочное подчинение букве закона. В русской истории известно много случаев, когда право справедливости предпочитали формальному праву».

В расплывчатости определений ментальности и форм ее бытия заключены определенные преимущества, например возможность ухватывать в анализе «нечто», ускользающее от других наук. Не таким ли путем шел М. Вебер, угадывая и открывая «нечто непознанное, но существующее» (речь о духе капиталистической предприимчивости) в проявлениях «очевидного» (протестантской этики)? Ментальность разнородна, хаотична и в то же время стереотипна [История ментальностей…1998].

Подкреплю это наблюдение ссылкой на мнение российского историка и эксперта проекта О. Кена, недавно безвременно ушедшего из жизни: «Под ментальностью понимаются устойчивые (или даже инвариантные) способы интерпретации социального в доминирующей культуре. Петр I, например, для современной российской ментальности является общепринятым позитивным символом. Можно взахлеб цитировать Ключевского и при этом сохранять неотторжимость от совокупности представлений, воплощенных в феномене Петра I. Это и есть ментальность, инвариантная данность, способная уничтожить или ассимилировать всякое сопротивление этой данности — политическое, нравственное, эстетическое».

(5) Представлю теперь обобщенный взгляд «извне» на ментальность россиян. Рискну в этом случае предложить коллективную точку зрения, сложенную на основе синтеза отдельных высказываний Ю. Гроноу (Финляндия), К. Келли (Великобритания) и Ж. Нива (Франция).

1. Мне кажется, что я уловил ноту, которая выполняет роль камертона для этих высказываний. Крах СССР заставил мир думать, кто такие русские, оставшиеся без советской оболочки. Именно тогда стало ясно, что это люди, говорящие на русском языке как родном, погруженные в русскую культуру и наделенные русской идеей (чувством патриотизма, особенно привязанностью если не к историческим корням, то к земле), смотрящие на все «не наше» неодобрительно.
2. «Все началось давно». Современные дискуссии о русскости, судьбе России, русском православном духе и душе и, что более важно, противопоставление Запада и Востока в российской истории и культуре — все это повторения и вновь найденные старые элементы тех старых националистических дискуссий и форм политической мобилизации. Позднее, конечно, были обсуждения большевизма и его роли в русской истории, но даже они осложнялись тем, что российско-советские интеллектуалы (диссиденты), как встарь, ставили Россию и ее роль в истории человечества между Востоком и Западом. Эта идея играла и, несомненно, продолжает играть чрезвычайно важную роль в самопонимании России как в отрицательном плане (мы не европейцы, значит, европейские модели Просвещения и демократии нам не подходят), так и в положительном (у нас есть что дать остальной Европе благодаря такой двойственной позиции между современным и традиционным).
3. «Русским сильно мешает этика кланового общества». Ее корни уходят в патерналистскую систему, где четко различаются «свои» и «чужие». Разные нормы поведения внутри собственной группы или клана, а также по отношению к «чужим», которые к «своим» не принадлежат. Сильное чувство зависти и негодования по отношению к аутсайдерам часто связано с такой установкой: если они гораздо богаче нас, значит, они преступники или мафиози. Это наследие советского времени, однако оно поддерживается и многими нынешними экономическими и социальными структурами.
4. «Разруха в головах». Все тяжело в России, но единственное, с чем нет проблем, — это идентичность. «Мы точно знаем, кто мы», — так часто говорят русские о себе. Их западные собеседники думают иначе, точнее, обращают внимание на «разруху в головах», вызванную необходимостью ужиться с падением роли в мировой политике, исчезновением статуса «великой державы».
5. Астигматизм взглядов русских на мир. В прошлом средний гражданин западной страны считал, что он очень хорошо понимает советскую систему, лучше бедных советских, переживших «промывание мозгов». Средний российский интеллигент из того же недавнего прошлого полагал, что он прекрасно знает заграницу по романам Диккенса и Бальзака (и даже лучше «туземцев», поскольку советский народ «самый читающий в мире», а там погружены в быт, но классическую культуру своей страны не уважают и не понимают). Следы этих отношений влияют на взаимное понимание сегодня.
6. «Кому в Европе жить труднее всех?» «Я категорически не согласен с идеей, — сказал Ж. Нива, — что адаптация для русского человека исторически была более сложной, чем для немца или китайца. Путь от французского крестьянина 1860-х годов (при Наполеоне III) до резни под Верденом, оккупации в 1940–1944 годах, утраты колонии, массовой урбанизации не менее трудный, чем от российского крепостного человека 1860 года до солдата Первой мировой, раскулаченного крестьянина, солдата Великой Отечественной войны и жертвы ваучеров. Конечно, не было во Франции самоуничтожения такого масштаба, как Гулаг, не было блокады Ленинграда. Но сегодняшняя адаптация [россиян] все-таки менее мучительная, это не „геноцид“ (как любят выражаться новые русские националисты, [постоянно] приписывая его Западу)».
7. «Интерес к России падает». За озабоченность собой и невнимание к другим приходится платить. Иные считают, что Россия просто обречена на ненависть со стороны Запада. Это — преувеличение и истерика. В реалиях сегодняшнего мира преобладает дру-

гая реакция. Например, в Англии Россию не столько ненавидят, сколько просто не понимают (дух Кембриджа — это прежде всего неприятие претенциозности и умственной отсталости), и выходцами из России не интересуются.

8. Демократия избавляет от участи оказаться жертвами перемен. Людям приходится адаптироваться к неизбежности социальных и экономических изменений, но нм особо нечего сказать про эти перемены, которые к тому же оказались стремительными и резкими во многих аспектах и с точки зрения многих [россиян]. Впрочем, сегодня это не специфически российская черта. Россию, вероятно, отличает то, что там нет эффективно действующей политической общественной сферы, общественных СМИ и разного рода политических организаций, начиная с партий и заканчивая народными движениями и гражданскими форумами всех типов, где можно было бы открыто обсуждать, критиковать и даже отрицать перемены, прошлое и будущее, и разные этому альтернативы.
9. Две позиции отличают политику нынешней российской власти: первая — «великодержавная», тоска по границам империи, угрозы, конфронтация советского стиля, а вторая, более умная, — культурное сотрудничество, культурный обмен, пусть даже культурный империализм. Однако постоянный комплекс неполноценности русских и русской власти мешает гармоническому развитию второго подхода. «Россия-1» не сознает, что у нее есть «Россия-2», представляющая собой огромный потенциальный запас культуры.
10. Главное преимущество и аргумент в защиту современной России — возможность для ее граждан, особенно для младших поколений, взять на себя ответственность за собственные судьбы. Таков основной аргумент в защиту новой России, который эксперты слышат от многих ее жителей. Все это должно происходить в столь жестких и для многих людей деструктивных условиях, без необходимых систем защиты тех, кто не справляется или неспособен адаптироваться. Если же такие системы защиты и есть, они нередко служат препятствием для дальнейшей модернизации. Ни правительство, ни политические партии, по-видимому, не имеют реально работающих способов решения данных проблем. Следовательно, современная Россия еще будет какое-то время — дольше, чем другие части мира, — пребывать в гибридном состоянии, когда люди сталкиваются с трудностями при поиске ориентиров на будущее.

Заостренность, прицельность, точность замечаний — эти качества экспертных оценок «извне» являются альтернативой бездоказательной апологии «особого пути» развития, без ссылок на примеры, достойные подражания, без инноваций, которые бы стремились взять на вооружение наши западные партнеры и оппоненты. Чем настойчивее российские представители (ученые здесь не составят исключение) подчеркивают особость российского пути, тем активнее им оппонирует западное профессиональное мнение, среда (в том числе научная), с которой издавна поддерживаются и развиваются отношения кооперации и сотрудничества.

В наше время происходит переопределение смысла и вектором отношений между разными странами. Замечу, что оно начинается в ментальных структурах, на дологическом уровне, чем лишний раз подчеркивается важность их анализа. Вместе с тем этот процесс является следствием глобализации, которая заметно и постоянно смещает «традиционные» места» разных стран, их народов и лидеров в представлениях граждан других стран. Их ментальность хранит и обновляет образы «своих» и «чужих», оказывая влияние на международный климат нашей планеты.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ, чьи ответы приведены в тексте статьи:

Юкка ГРОНОУ (Jukka Gronow) — PhD, профессор социологии, Уппсальский университет (Швеция);

Исабель де МАДАРИАГА (Isabel de Madariaga) — член Британской академии (FBA), историк и литератор (Великобритания);

Катриона КЕЛЛИ (Catriona Kelly) — DPhil, профессор русистики, Оксфордский университет (Великобритания);

Олег КЕН (1960—2007) — доктор исторических наук, профессор, Санкт- Петербургский государственный педагогический университет;

Борис ЛАНИН — доктор филологических наук, профессор, Всероссийская государственная налоговая академия (Москва);

Жорж НИВА (Georges Nivat) — профессор русистики (Франция);

Михаил СОКОЛОВ — кандидат социологических наук, преподаватель, факультет политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Вовель М., Гуревич А., Рожанский М. 1998. Ментальность. — *50/50. Опыт словаря нового мышления*. Под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. — М.: Прогресс-Payot.

Гальцева Р. 2002. Тяжба о России. На рубеже столетий. — *Новый мир*. — № 8. — Доступно: http//magazines.rus.ru/novyi_mi/2002/8/gal.html. — Проверено: 05.12.2013г.

Гачев Г. 2002. Космос, эрос и логос России. — *Отечественные записки*. — № 3. — Доступно: http:// magazines. russ.ru/oz/2002/3/2002_03_32.html. — Проверено: 05.12.2013г.

Гудков Л. 2002. Русский «неотрадиционализм» и сопротивление переменам. — *Отечественные записки*. — № 3. — Доступно: http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_09.html. — Проверено: 05.12.2013г.

Дубин Б. 2009. О коллективной идентификации в современной России. — *Пути России. Современное интеллектуальное пространство. Школы, направления, поколения*. Т. XVI. — М.: Университетская книга.

История ментальностей… 1998. *История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах*. — М.: Институт всеобщей истории РАН. — Источник: Левада-Центр. 2009. — Доступно: http://www.levada.ru/press/2009061004.html. — Проверено: 05.12.2013г.

Кантор В.К. 1997. *«...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки*. — М.: РОССПЭН.

Фирсов Б.М. 2003. Ментальные миры современного российского населения. — *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. — № 4.

Фирсов Б.М. 2004. Ментальные миры современного российского населения (статья вторая). — *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. — № 5.

Фирсов Б.М. 2007. Ментальные миры современного российского населения (статья третья). — *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. — № 6.

БЕСЕДА НА ТЕМУ: ЕСТЬ ЛИ МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС У ИДЕОЛОГИИ «ОСОБОГО ПУТИ»?

Л.Д. Гудков,
Б.В. Дубин
Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр)
Э.А. Паин
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики

Аннотация: *Участники беседы высказались по поводу возможности использования идеологии «особого пути» в качестве инструмента модернизации. В ходе дискуссии поднимался вопрос, выступает ли концепт «особого пути», будучи продуктом околовластных кругов, моральной защитой периферийной страны?*

Ключевые слова: *идеология «особого пути», де/модернизация, легитимность.*

Э. Паин: Заканчивая подготовку нашей книги к публикации, я вспомнил об одном коротком выступлении на Шестых Старовойтовских чтениях, которое отличалось «особым взглядом» на проблему «особого пути» России. Большая часть выступлений на чтениях, равно как и большая часть статей этой книги, показывают, что где бы ни появлялась идеология «особого пути», она всегда отражала защитную и антимодернизационную направленность. Но вот писатель Александр Мелихов полагает, что эта же идеология при определенном ее развороте может служить и целям модернизации. В этой связи он высказывает несколько идей.

Во-первых, о том, что понятие «особый» в индивидуальных оценках всегда имеет скорее позитивную, чем негативную коннотацию, характеризуя незаурядные способности, возможности личности («особая личность», «особые заслуги», «особое качество»). Встает вопрос, каким образом идеология «особого пути» сочетается с этой идеей индивидуальной незаурядности.

Во-вторых, писатель говорит, что идеология «особого пути» возникает как сопротивление навязанному кем-то извне однообразию, жизни по чужим правилам. Наверное, можно поспорить с гипотезой о таком происхождении этой идеологии, однако меня больше занимает вытекающая из этой мысли Мелихова проблема взаимосвязи идеологии «особого пути» с современными версиями теории модернизации. Они отказываются от былого эволюционистского взгляда на историческое развитие, предполагавшего один для всех единственно верный

и при этом еще и прямолинейный путь к всеобщему счастью. Напротив, в новых версиях теории модернизации культурное многообразие человечества рассматривается как конкурентное преимущество того или иного народа, страны. Так вот и возникает еще один вопрос для нашего обсуждения: о том, как соотносится идеология «особого пути» с идеей культурного многообразия.

И наконец, третий вопрос, пусть и не поставленный прямо в выступлении писателя, но вытекающий из него. У какой-то части нашей интеллигенции есть нонконформистское стремление найти, разглядеть нечто позитивное в том, что обычно маркируется как негативное. Понятно, что ныне идеологию «особого пути» защищают державники, имперцы всех мастей, так было и раньше на протяжении, по крайней мере, двух последних веков российской истории. Но, может быть, можно найти такой поворот «особого пути», который будет позитивным отнюдь не для консерваторов, а для людей с демократическими взглядами?

Л. Гудков: Давайте начнем с категорий «особенный», «особый». В принципе это оценочные суждения, которые сами по себе не содержат ни позитивной, ни негативной коннотации. Термин «особый» не является характеристикой универсального свойства, не содержит признаков многовариантности и, соответственно, не позволяет установить специфичность какого-то одного варианта в сравнении со многими другими или с некой универсальной моделью, схемой. Для оценивания необходимо принимать во внимание мотивацию того, кто выносит оценку, к кому он обращается, к каким партнерам и по отношению к чему он устанавливает такую демаркацию или оценку. Когда мама говорит: «Ты особенный!» — она выделяет ребенка и оценивает его вполне позитивно («особый для меня среди многих»), не давая при этом негативных оценок другим детям; она не исключает своего ребенка из универсального ряда. Когда А. Дугин или еще кто-то из консервативных идеологов говорит «особый», он, конечно, работает с компенсаторно-защитным комплексом. Оценка здесь направлена против включения страны или субъекта в универсальное поле шкалы достижений модернизированных стран, которые безусловно оцениваются выше отсталых, недоразвитых, испытывающих разнообразные комплексы неполноценности, как Россия в отношении Запада. В этом смысле изоляция («у нас особый путь», «не смейте нас сравнивать с другими») исключает страну — субъекта «самоисключения» из шкалы, в которой он мог быть оценен как недоразвитый или недомодернизированный или еще недо-какой-то. То есть изоляция снимает негативную оценочность. Поэтому сама по себе особость как признак еще не содержит в себе мотивацию. Я поэтому и говорю, что надо всегда брать во внимание мотивы квалифицирующего субъекта.

Э. Паин: Хочу подхватить мысль о двух типах оценок: одна — в рамках универсальных критериев, а вторая — через исключения из них и противопоставления. Когда мать оценивает своего ребенка как особенного, незаурядного, она, как правило, делает это по универсальным критериям. Если в обществе ценится ум, то мать и оценивает по этому критерию своего ребенка («мой самый умный, способный»), если ценится сила, воинственность, ловкость, то по этим же критериям и мать выделяет своего ребенка из ряда других детей. В этом смысле такая оценка принципиально противоположна идеологии «особого пути», которая пытается противопоставить эту особость неким универсальным требованиям. «Мы принципиально не такие». Кстати, и в индивидуальных оценках заметно различие двух типов оценивания. Если бы мать сказала: «Мой сын дурачок, зато тихий (или сильный)», то в такой оценке явно проявлялась бы защитная реакция психологической компенсации. И еще одно. Даже мать оценивает своего ребенка как внешний наблюдатель, а представьте себе, что сам сынок или дочка начнет превозносить себя как незаурядную личность. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что такой человек ощущает некую внутреннюю неуверенность и стремится компенсировать ее самоутверждающим возвеличиванием. Вот и идеология «особого пути» — это всегда самооценка «нас», форма болезненного самоутверждения.

Б. Дубин: Мне не кажется, что сегодня большинство российского населения — ну, может быть, за исключением студентов твоего, Эмиль, университета, Высшей школы экономи-

ки, которых обучают тому, что они самые-самые, и всячески стараются разбудить в них честолюбие, — сверхпозитивно оценивает значение слова «особый». Скорее наоборот. Ю. Левада писал о том, что никакого среднего класса нет, а средний человек есть. В этом смысле — и наши данные это подтверждают — большая часть населения вполне готова быть такими, как все, и позитивное видит именно в этом.

Э. Паин: Да, это подтверждается и другими исследованиями, например Н. Лапина. По его данным, для ⅔ современного российского населения характерен конформизм. Нормативным, «правильным» считается поведение, не выделяющееся из среды, — «быть как все», «не выпячиваться».

Б. Дубин: Поэтому возможность позитивного перенаполнения категории «особый», ее исторического переформатирования здесь и сейчас, в наших условиях, мне не кажется реальной.

Л. Гудков: Говоря о переформатировании, Борис вводит другое измерение — конкуренции, состязательности, сравнения. Там, где «особый» наполняется смыслами «лучшего качества».

Б. Дубин: Это совсем другой угол рассмотрения. Если мы говорим, что все особые, почему бы и России не быть особой, как особая Албания, Германия, США и так далее? Это меняет весь контекст рассуждений. Потому что значение категории «особый» в публицистике наших фундаменталистов, консерваторов — это, конечно, «один, единственный, неповторимый и лучший». А если мы говорим, что «особый» — это механизм соединения нового и старого, чужого и своего для всех обществ, проходящих процесс модернизации, и в этом плане он особый, но каждый раз конкретный и не повторяющийся, то мы предельно деидеологизируем это понятие, что, естественно, вызывает сопротивление со стороны консерваторов, фундаменталистов и т.д., которые хотят считать слово «особый» не подлежащим универсализации. Ну, и маленький комментарий к особости как антимодернизационной идеологии. Я немного мягче стал смотреть на эту проблему. Мне кажется, что это не контрмеханизм, а адаптационный механизм. Механизм смягчения и приведения к уровню возможного для населения, с одной стороны; власти, с другой стороны, и каких-то околовластных групп, с третьей стороны.

Иначе говоря, как писал Левада, «все подневольно втягиваются в изменения». От бабушки до ее правнучка. Правнучек просит шоколадку, и хочешь не хочешь оба включены в процессы изменений. Но каждая группа для себя вырабатывает механизм смягчения требований этого самого процесса модернизации, перестройки и т.д. Для власти нужны такие механизмы. Ей удобна в этом смысле идеология «особого пути», потому что она позволяет то, что позволяет, — уворачиваться от Запада по логике «не учите нас жить», при этом бесконтрольно развязывая руки внутри страны, поскольку, дескать, «ситуация экстраординарная». Для массы тоже это удобно, потому что дает возможность не слишком сильно втягиваться в происходящее и не увеличивать требования к себе. Кто-то недавно сказал, что у нас есть единственная национальная идея — Великая Отечественная война. Но я думаю, что есть другая национальная идея. Она состоит в том, что мы особые. Без объяснения, в чем эта особость заключается. Ибо само ценностное наполнение этого понятия состоит в том, что оно не должно быть конкретизировано. Это момент такого преимущества и превосходства, что он не терпит дальнейших интерпретаций. Мы перестаем быть особыми, когда начинаем рассказывать о том, что же, собственно, нас отличает от других.

Э. Паин: Мы ведь оцениваем не просто словосочетание «особый путь», а конкретную идеологию, имеющую традицию как в Германии, так и в России, и у этой традиции вполне четкие критерии. Критерии противостояния нескольким элементам. Прогрессу как идее совершенствования, которая вроде бы противостоит некой самобытной духовности. Это идея противопоставления власти народа другому типу политического режима — власти персоны. Авторитаризм выступает в качестве неизменного элемента и германской, и российской тра-

диции «особого пути». В российском же варианте к нему добавляется совершенно очевидная традиция имперскости, на которой сходятся, как это ни парадоксально, и этнонационалисты, и чистые державники. И лишь одна группа — скинхеды (неонацисты, исходящие из идеи White Power) — ее не принимает.

Л. Гудков: Термин «особый» лишен самостоятельного смысла и наполняется в зависимости от задачи. Мы почти одни и те же цифры получаем при разной формулировке вопроса об особенностях России. «У нас особенное прошлое?» — «Да!» «Русский народ такой же, как все?» — «Да!» И так далее. 60-65% устойчиво. Это значит, что эти ценностные радикалы блуждают, не будучи помещенными в силовое поле какой-то идеологии, каких-то интересов власти. Идеология (в зависимости от своего содержания) либо включает Россию в общее поле модерна, конкурентных отношений и тогда формирует соответствующие оценки населения, либо исключает Россию из этого конкурентного поля и тем самым работает на интересы самосохранения самодержавной и бесконтрольной власти, которая препятствует развитию, то есть усложнению структуры общества, дифференциации и специализации своих институтов. Собственно, это и обеспечивает более высокую продуктивность, более высокое качество действия (все равно, идет ли речь об экономике, науке, государственном управлении или об армии). Настаивая на «особости», идеологи власти стремятся не просто изолировать страну от мира успешных стран, европейских стран или стран с современной, модернизированной культурой своих институтов, а законсервировать это состояние неразвитости, обеспечивающей власти ее легитимность. За «особым путем» стоят не представления населения, а интересы определенной системы власти, консервирующей всю систему отношений, прежде всего собственные социальные позиции.

Э. Паин: Ну, не только власти. Я бы сказал, элит.

Л. Гудков: Об элите трудно говорить в России. Скорее речь может идти о некой интеллектуальной обслуге власти. Идея Sonderweg возникла в ситуации фиксации отсталости и слабости полуфеодальной Германии в сравнении с Францией или Англией, ее политической раздробленности (вспомним, что это было время, когда «Германия» была национальным мифом, а политическую реальность представляли 300 отдельных немецких княжеств). А у нас эта идеологема появляется всякий раз, когда встает задача перехода от рывка («догоним — перегоним») к ситуации консервации положения вещей и возведения защитного барьера по отношению к Западу. В России идеология «особого пути» возникла в 30-х годах XIX века, в период николаевского застоя, обернувшегося поражением в Крымской войне, затем она опять обострилась в качестве реакции на слишком интенсивный ход модернизации в 1870–1890-е годы (леонтьевское «надо бы подморозить Россию»!) и даже стала частью государственной политики консервативной и насильственной русификации (К. Победоносцев и другие), что, понятное дело, закончилось разгромом в Русско-японской войне. Потом сталинская идея построения социализма в одной отдельно взятой стране. Следующая фаза — момент краха советской идеологии и обострение «нашей самости». И сегодня — новый рецидив, опять-таки в ситуации неудачи реформы. Никакой в этой идее содержательности, «особости снизу» нет. Это продукт околовластных кругов.

Б. Дубин: Давайте подытожим. Мне кажется важным то, что Эмиль сказал про империю. Так или иначе, за идеологией «особого пути» стоит имперский, великодержавный комплекс. Это попытка надставить недостающий рост до представлений о себе как великой державе. Особый путь — это те котурны, на которые человек нормального роста встает, чтобы быть повыше. И оказывается, что это для всех очень важно. По «происхождению» это, конечно, элитная или, лучше сказать, номенклатурная идеология (в России национализм номенклатурный и идеология «особого пути» номенклатурная). Но, видимо, со временем, и сейчас как раз такое время, какие-то остатки этой идеи становятся механизмом согласования между верхами и низами. На каком-то этапе это становится способом закрепления статус-кво, который устраивает всех — и верхи, и низы.

За всеми этими вещами прочитывается соревнование с одной конкретной державой. До поры до времени это была Германия, потом Соединенные Штаты. И в ситуации, когда оседает пыль после битвы, когда начинают разбирать то, что на поле боя, видимо, одним из инструментов согласия является вот эта самая мифологема «особого пути». В этом смысле о верности ей две трети населения говорят так же свободно, не задумываясь, как в другом отношении — желая такой же жизни, как у всех на свете (кто же откажется!) — говорят: «Да нет, мы, русские люди, такие же, как все. Мы хотели бы жить как на Западе. Мы только не хотим работать и отвечать за свои поступки».

Л. Гудков: Это и есть структура русской традиции. Я имею в виду организацию исторического, государственного сознания. Все ключевые точки такого сознания связаны с критическими моментами соприкосновения России как неоформленного, рыхлого, слабо структурированного материала для государственного владения, людского множества с каким-то универсальным целым. Если смотреть по данным наших опросов на исторические темы, то первыми точками «начала истории», то есть теми, которые выступают как моменты национальной идентификации, будут: Крещение Руси (племенное сознание входит в орбиту крупной, православной империи, византийской культуры), далее — правление Петра I, основной вектор которого — превращение Московской Руси в империю европейского типа (попытка включить Россию в Европу), и 1917 год. Это реперные точки национального сознания. Важно, что каждый раз это соприкосновение некой аморфной, не ставшей, не созревшей общности с чем-то более высоким, более сложно организованным, более универсальным воспринималось как начало принципиально новой эпохи. Уравняться с чем-то более высокоорганизованным это аморфное множество может только в форме империи, внешней и принудительной формы организации населения, не общества (которого, в строгом смысле, здесь по большей части истории нет), потому что другой тип организованности — общество, society, Gesellschaft — здесь не мыслится. Поэтому имперское сознание является здесь эквивалентом универсальности и величия. Но это ошибка: универсальность и громадность, или величие, — не одно и то же.

Э. Паин: То есть, анализируя общественное мнение, ты приходишь к выводу о том, что все признаки, символы русской идентификации строятся на противопоставлении «нас» некоему «конституирующему иному». Но ведь все общности так складывались?

Б. Дубин: В нынешние времена это, конечно, противопоставление империи и демократии. Поэтому демократия «у нас» всегда будет (если будет) «особая», потому что для нас важнее держава. Ну и потом понятно, что демократии (не тогда, когда они формировались в XIX веке, а сегодня) — это же не национальная вещь. А внутри империи еще решается вопрос о том, кто мы — русские, российские, или советские, или вообще всеобщие универсальные, мировые.

В идее того, чему противостоит российское как державное, вот еще какой важный признак скрывается: то, что «они», которым «мы» противостоим как особые, уже «готовые». Их время прошло. А мы еще в пути. У нас все впереди. У нас будущее. И Томас Манн, кстати, так и писал примерно до 1918 года: немецкий юноша, вечный студент, который скитается от страны к стране, ходит по всей Европе, — это же немцы, которые ищут себя. А они-то на Западе все уже давно сложились, они на закате. Отсюда «Закат Европы» и так далее.

Э. Паин: Это во всех случаях идеология «виноград зелен». Компенсаторная. В поисках этой компенсации ищется противовес. То есть так или иначе люди, использовавшие эту идеологию, признавали неявно превосходство некоего «конституирующего иного». Более высокий уровень организации, более высокий уровень достижений. И искали в своей особости некую компенсацию. Да, мы отстаем в оружии, проигрываем войны, проигрываем в экономике, но зато у нас есть длинная история, которая у них почему-то уже закончилась, и великая духовность в противовес их унылому прагматизму.

Л. Гудков: У Гейне уже это приобретает иронический смысл. Он издевался над этим. В поэме «Германия. Зимняя сказка» он пишет:

Французам и русским подвластна земля,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтательных грез
Немецкая мощь бесспорна.
Здесь в наших руках гегемония; здесь
Мы все нераздельно слились,
Не так, как другие народы, — они
На плоской земле развились.

Б. Дубин: Вот что мы еще не сказали. Вернее, сказали, но надо назвать это одним словом. Слово «особый», видимо, надо понимать в рамках данной идеологии как некую аналогию избранного народа. Особый — значит избранный. В этом смысле он лучший, неповторимый. И у него особые отношения. Вот только с чем или с кем? А дальше надо социологически прорабатывать, с чем — с историей, с другими странами, между народом и властью. Кстати, что чаще всего в «особость» закладывает российское население? На наш вопрос: «Когда вы говорите об особом пути, что вы имеете в виду?» — люди в первую очередь указывают на особые отношения между властью и народом. У власти вся власть. Зато она опекает население. Население предается власти, но зато может делать то, что хочет.

Л. Гудков: Но власть при этом не просто власть. Она с определенной миссией, санкцией как бы свыше (пусть и приписываемой самой себе). Она — миссионерская. Это власть Третьего Рима, если хотите. Или с коммунистической миссией. Поэтому это очень сильная легитимация власти.

Б. Дубин: Неслучайно, что в конечном счете все сходится на Победе во Второй мировой войне, потому что это одновременно наша Победа, как и наша война, но зато это такое участие во всемирной истории, которого больше ни у кого нет. Мы спасли всемирную историю, мы всю Европу спасли. Вот когда мы оказались выше всех и показали, кто мы на самом деле.

Л. Гудков: Так же как Европу мы спасли от татар.

Б. Дубин: Тут важно, что мы все-таки оказались хоть один раз лучшими.

Э. Паин: Ну, может, не один раз.

Б. Дубин: Ну, или поляков победили.

Э. Паин: Только ли поляков, вот еще и Наполеона.

Л. Гудков: Главное, что это кристаллизирующие моменты национальной идеологии, национальной мифологии, национального величия.

Б. Дубин: Вот недавно я участвовал вместе с молодым писателем Сергеем Шаргуновым в передаче радио «Свобода», посвященной Победе. Все нормально было, в рамках, мы как-то договаривались обо всем. И вдруг в конце он говорит: «А все-таки была такая минута, когда я чувствовал гордость за свою страну. Это август 2008 года, когда мы показали грузинам». Оказывается, что важно «показать» — полякам, прибалтам, грузинам. Это даже не борьба с США.

Э. Паин: Неправда, всякий «патриот» тебе объяснит, что победа над Грузией — это победа над Штатами.

Б. Дубин: Конечно, и наши опросы это показывают. Но важно, что это именно таким способом удостоверяется. Я бы сказал, что параллельно с той сложной линией, которую можно выстроить вокруг тех реперных точек, о которых Лев говорил, я бы взялся выстроить другие точки, где «мы их победили» и благодаря этому оказались выше всех на свете, в том числе «их», наших противников, спасли Европу, мир и т.д. И эти линии — их «преимуществ» и наших «побед» — неким сложным образом были бы соотнесены друг с другом. Это называ-

ется: «мы им показали», «мы им вставили» — и может быть и на спортивных, и на военных полях.

Э. Паин: Необходимо отметить, что это мифологическое сознание может сохраняться наряду с рациональным. Обе формы сознания живут параллельно. Скажем, в оценке власти они сосуществуют, не смешиваясь. В многочисленных социологических наблюдениях это есть. Когда вы оцениваете конкретное качество власти — в экономической, медицинской, военной и других сферах, — оценки оказываются преимущественно негативные и падающие. А когда речь идет о символическом величии — тут власти сам черт не брат.

Л. Гудков: Потому что характер недовольства нынешней властью указывает на то, что в массе есть идеальные представления о власти. Речь идет не о том, чтобы заменить эту власть неким другим устройством. Утверждается именно идеальная структура этой незыблемой власти.

Э. Паин: Вернемся к теме «культурное многообразие и особый путь». Итак, мы пришли к выводу, что «особый путь» — нечто похожее на идеологию избранного народа. Так или иначе, а в России уж точно, это еще и форма национализма, которую можно назвать цивилизационным национализмом. Но ведь многим кажется, что есть сходство между идеологией «особого пути» и вполне легитимным явлением, признаваемым всеми, кто занимается модернизацией. Явление это называется «культурное разнообразие». Недавно я был на конференции, посвященной памяти С. Хантингтона. Экономисты увлечены этим культурным разнообразием, поскольку полагают, что можно оседлать различные виды культурных особенностей и использовать их как культурный капитал.

Б. Дубин: Мы говорили об «особости» как тормозе, защите, барьере. Ты же сейчас предлагаешь рассмотреть ее как ресурс, да? Тут опять надо себя спросить: ресурс чего? Думаю, что под ресурсом в обобщенном виде имеются в виду две вещи — ресурсы активности и ресурсы сплоченности. В России, мне кажется, сегодня нет ни того, ни другого. И наши исследования это показывают. Если не говорить о группах номенклатуры, где тип сплоченности совершенно другой. Там важна принадлежность к номенклатуре, важно из нее не выпасть, и активность ограничивается правилами внутриноменклатурного поведения: ты не должен проявлять излишней активности в подъеме наверх, и тогда тебе «дадут», когда полагается. Но не это наша проблема. А применительно к состоянию социума ни особости как ресурса активизации, ни особости как ресурса сплоченности, по-моему, в сегодняшней России нет.

Э. Паин: Давайте я поиграю в адвоката дьявола и скажу, что в России может быть и то и другое. Во-первых, наше население разнородно в историко-культурном отношении. Пусть, скажем, народы Северного Кавказа не составляют большинства, но у них групповая сплоченность на высочайшем уровне. Правда, этот вид сплоченности еще в большей мере, чем общероссийская разобщенность, формирует как бы зонтик, защищающий от проникновения универсализма, скажем, для восприятия законов как универсальных норм, действующих в данном обществе и обязательных для всех без исключения.

Б. Дубин: Если ты возьмешь еще и криминальные группы или что-нибудь в этом роде, то, конечно, найдешь сплоченность.

Э. Паин: Я к тому и веду, что есть разные виды сплоченности и они, как и активность, могут стать ресурсом модернизации, только если будут сопровождаться ростом правосознания. В противном случае возникает анархическая активность и антиобщественная сплоченность. Хочу также подчеркнуть, что сплоченность и активность не являются неизменными свойствами социума — они поддаются выращиванию, культивированию в разнообразных направлениях. В этой связи еще раз напомню идею писателя С. Шаргунова, о которой Борис уже вспоминал. Ту же идею можно услышать из уст представителей русских националистических сил. Они говорят о том, что источником сплоченности и активности могут стать победы России. И если мы не можем побеждать на ниве высоких экономических достижений, то

вполне способны побеждать на поле военной битвы, пусть пока и небольшие страны, такие как Грузия.

Б. Дубин: В самом деле, различные группы, включая СМИ, сегодня пытаются использовать именно такой ресурс повышения сплоченности. Но это поднимает чрезвычайно серьезны и очень любопытный вопрос, он нас сильно уведет и сторону, по два слова о нем. Все победы, которые СССР, а потом Россия (и даже вероятно досоветская Россия, но не буду сейчас в это углубляться) одерживали, начиная с военных и кончая спортивными, не имели продолжения в жизни нашего общества — с победы оно ничего не получало. Возьмем ли мы победу над Наполеоном или победу 1945 года — всякий раз для социума ситуация «после» в целом оказывается хуже, чем было «до».

Это, с одной стороны, отчасти подтверждает нашу общую идею насчет установки на понижение и использование властью этого механизма, а с другой — бросает новый свет на «пейзаж после битвы». Народ, одержавший победу, не получает новых степеней свободы, активности, новых форм солидарности, а получает, наоборот, новые формы порабощения, новые формы ограничений и т.д.

Л. Гудков: Что мы имеем в виду, когда говорим о сплоченности? Сплоченность может быть разная, в том числе и выступать как ресурс для коллективной или индивидуальной активности, достижения. Допустим, немец, гонконгский или тайваньский китаец, японец, еврей, швейцарец и любой другой из сыновей тех народов, которые можно причислить к модернизированным нациям, скажет: «Я уважаю себя». Но он уважает себя не просто как человека, добившегося успеха, статуса, обеспеченности, признания и т.п., а как человека, в своей жизни воплотившего особенности национального характера — прилежности, трудолюбия, упорства, методического самоконтроля и внутренней дисциплины, ответственности за свою работу. В нашем же случае речь идет о блокировании активности, превращении принудительности работы, навыков халтуры, лени и пассивного смиренного терпения в позитивные качества национальной породы (нам материальные блага не важны, мы духовные, мы больше чем-то высоким заняты). В этом плане «особый путь» — это ресурс консервации власти, функция которой — контроль над действиями, над ресурсами населения. Удержать собственную власть можно, только лишь сохраняя примитивность общественного устройства.

Б. Дубин: Я бы сказал, что и снизу действует такой механизм контроля и ограничения.

Л. Гудков: Понижение сложности, блокирование возможностей развития. Весь фокус заключается в том, что «особость» работает на сохранение власти, она предполагает и сохранение империи как более простого устройства по сравнению с более сложной политической системой, требующей увеличения ресурсов активности и ответственности граждан. Иначе говоря, модернизация нуждается в более сложном устройстве общества, а Sonderweg — это предпосылка удержания примитивного общественного состояния, примитивного устройства.

Б. Дубин: Как ни парадоксально, основные формы социальности, которые есть в России, — это формы, которые ограничивают активность, а не поощряют ее.

Л. Гудков: Само устройство власти принципиально архаично и потому консервативно. В этом смысле идея переключения «особого пути» из ресурса консервации в ресурс усиления конкуренции продуктивна только при условии устранения данной системы власти.

Э. Паин: К этому я и хотел подойти. Есть, тем не менее, возможность использования идеи «особого пути» и некоторых мифологических ее элементов, например мифологемы «великая страна», в качестве фактора активизации общества. В конечном счете, ни одна политическая партия в сегодняшней России, включая и любую либеральную, не откажется от признания того, что мы великая страна. Именно это величие и является стимулом к конкуренции, модернизации. Вот Григорий Явлинский не раз повторял, что, если Россия не хочет оставаться периферийной страной, второстепенной экономикой, она должна включаться в модернизацию. Признаюсь, и я не вижу никакого другого побудительного мотива к модернизации у

элиты и вовлечения в модернизацию масс, кроме использования этой самой мифологемы: «Быть достойным, быть великим, конкурировать на мировом уровне».

Б. Дубин: Такая мотивация может быть реализована только в системе новых институтов.

Э. Паин: Да, реализующаяся в системе новых институтов и наполненная новым содержанием. Тогда окажется, что в России нужно не армию развивать, а высокие технологии. А для высоких технологий необходимы и индивидуальная активность, и новые формы образования, и вся цепь следствий, которая с этим связана.

Б. Дубин: Реформы немецкого университета следовали за поражениями сначала Пруссии, а потом Германии в великих войнах — в наполеоновских войнах и Второй мировой войне. Не армию стали наращивать, а начали реформировать систему образования. Если через становление современных институтов, начиная от образовательных и кончая политическими, то да, идея определенного преимущества, будущего превосходства, которое невозможно без активизации, с одной стороны, и нового сплочения — с другой, то, конечно, бога ради, только где взять именно такую идею величия, а главное — соответствующий институциональный контекст?

Л. Гудков: Я скептически отношусь к этому. Думаю, что в наших условиях попытка эксплуатировать идею величия иллюзорна.

Э. Паин: Даже если будут другие институты?

Л. Гудков: Это очень сильное допущение, потому что посылка «величия» ставит телегу впереди лошади. Сначала какие-то институты, а потом телега — великая и богатая, славная держава. У нас же все наоборот — непременно реализуется лозунг «великая держава», а новые институты станут еще хуже. Поэтому я не думаю, что с этим можно играть. Население, конечно, готово декларировать и манифестировать, ходить с флажками и символами великой державы, но умирать за это не будет без большой палки и заградотрядов. Изменения (реальные, институциональные) возможны только при подключении политики к повседневным, текущим интересам населения. То, чего население хочет сегодня, и хочет по-настоящему, и за что оно голосует, поддерживая Путина, и будет голосовать за любого другого, — это «дайте денег», «сделайте нам хорошо».

Э. Паин: То есть в нынешних условиях кто бы ни говорил об идее великого пути, даже наполняя его новым содержанием, скорее всего, проиграет, потому что слово возьмут, а социально-экономическое содержание оставят.

В окончании беседы давайте подытожим наши претензии к идее «особый путь России» и попробуем сформулировать, почему эта идея не может стать ресурсом модернизации. Я так ставлю вопрос, поскольку мы сообща пришли к выводу, что, как ни крути, приспособить ее для общественного блага нельзя.

Л. Гудков: Несколько ее антимодернизационных особенностей сейчас уже вполне можно сформулировать. Прежде всего, это ее консерватизм, а интересы консервации направлены именно на сохранение нынешнего общественного устройства, то есть положения бесконтрольной власти, которая берет на себя задачи воплощения национального величия, требующего жертв от населения, а также власти, которая берет на себя в этих обстоятельствах заботу о населении (в том числе и заботу о модернизации) и прочее. Она может выставить любые флажки: построение «нового общества», «нового человека», «достижение всеобщего счастья», «равенства и братства» или создание великой державы — все что хочешь. Но важно, что введение модельного оператора «особый путь» блокирует возможности трансформации самой системы власти. Ее разделения, ее контроля обществом, установления рамок ее ответственности.

Б. Дубин: Я бы добавил, что сама эта идея типологически устаревшая. Она не может работать в нынешних условиях, с одной стороны, глубочайшей социокультурной дифференцированности обществ, а с другой — глобальных процессов, которые, хочешь или не хочешь,

заставляют всех действовать в общем поле. От холодильника до политического строя — все включено в общий рынок, в общие политические сообщества. И тут на механизмах фундаменталистского, неоконсервативного, неотрадиционалистского типа мало чего сделаешь, разве что в рамках избирательной кампании, и то только на время. Как политический механизм, а тем более как культурный механизм эта штука не будет работать.

Л. Гудков: Мне кажется, что это фазовое социально-историческое явление, возникающее в условиях запаздывающей модернизации, когда периферийная страна пытается преодолеть свою периферийность. И это способ моральной самозащиты для периферийной страны. В ситуации, когда стране не надо ставить задачи догоняющего развития, идея «особого пути» отпадает как таковая. Тогда принимаются другие модели устройства и сопоставление стран (в глазах их граждан) идет по отдельным и конкретным параметрам — экономики, гражданских прав, политических свобод и др.

Б. Дубин: Это как раз те оценки, по которым нынешнее российское население, судя по опросам общественного мнения, проявляет полное недоверие к власти и дает ей чрезвычайно низкую оценку. Как только мы берем дифференцированные, конкретные характеристики, власть не получает ни одобрения, ни поддержки, ни доверия. А как только речь идет о верховных символах — это пожалуйста. Но идея Sonderweg увековечивает, консервирует этот разрыв — разрыв между большим символом «мы» и нашей повседневной деятельностью, между властью и населением, между Россией и Западом, — в этом смысле она не может быть механизмом динамики. А ведь идея модернизации именно в том и состоит, чтобы (а) найти новые механизмы динамики, (б) научиться работать н условиях конкуренции, (в) породить новые формы сплоченности. Это связанные между собой вещи. Процесс модернизации, по крайней мере в удавшихся образцах, создал некое ноу-хау на соединение этих разных типов ориентации и мотивации. В России пока ничего такого не получается.

Л. Гудков: И еще можно сказать, что многовариантность идеи «особого пути», в позитивном смысле, возникает именно тогда, когда особый путь перестает быть защитно-компенсаторным. Именно тогда, когда мы помещаем страну в поле выбора возможностей и сравнения с другими странами, начинают работать собственно «национальные особенности» как ресурсы действия, потенциал достижения.

Э. Паин: В развитие того, что вы говорили, и я хотел бы дать свою обобщенную оценку идеологии «особого пути», а заодно наконец ответить на свой же вопрос о том, что общего между этой идеологией и вполне респектабельной идеей культурного разнообразия, одобренной, например, Советом Европы и кодифицированной в «Белой книге» по межкультурному диалогу (Страсбург, 2008). Сходство между этими идеями кажущееся. При более или менее детальном сравнении сразу же бросаются в глаза их принципиальные различия. Идея культурного плюрализма исходит из принципа свободного выбора пути развития, а доктрина «особого пути» настаивает на его предопределенности: «мы иначе не можем». Эта идеология во всех своих разновидностях может быть представлена образом того самого советского паровоза, бегущего по строго определенному пути. В советское время конечная станция на этом пути называлась коммунизмом, сейчас ее переименовали в «достижение величия державы». Для большей же части наших сограждан этот путь хоть и предопределенный, но совершенно не понятный, поскольку о нем известно лишь, что он «особый» и точно не западный. В действительности же это вовсе не путь, а запрет на движение в сторону предоставления людям самой возможности выбора модели политического устройства.

Вы оба правы: только у общества, освободившегося от необходимости идти по строго предписанному властями пути, возникает возможность реального проявления культурных и социальных особенностей. И опыт целого ряда эффективных модернизаций показывает, что в этих условиях проявляется или конструируется своеобразие как раз для облегчения процесса внедрения инноваций. В книге под редакцией Э. Хобсбаума «Изобретенные традиции» хорошо показано, что многие явления, которые ныне считаются тысячелетней английской тради-

цией, на самом деле были изобретены в эпоху королевы Виктории и им специально приданы черты национальной традиции. В Японии после экономического кризиса 1930-х годов и особенно после Второй мировой войны многие корпорации представляли свои организационные технологии, новые, изобретенные известными (во всех смыслах этого слова) менеджерами, как возрождение традиций.

Б. Дубин: «Изобретение традиций» как один из элементов модернизации, конечно.

Э. Паин: Но ни в Англии, ни в Японии не провозглашалась идея «особого пути», обе страны развивали универсальные модернизационные процессы, используя в качестве их инструмента свои культурные символы, иногда даже имитируя специфичность и традиционность преобразований для придания им большей легитимности в глазах общества и обеспечения лучшего общественного усвоения инноваций. Другие же страны, выдвигавшие лозунги возрождения самобытности или усиления специфичности в качестве своей политической цели, терпели провал. Один из свежих примеров такой стратегии представляет Судан — единственная страна мира, не только выдвинувшая идею создания особой «исламской экономики», но и пытающаяся на систематической основе ее реализовать. Результат — обвальное падение не только уровня экономического развития (страна занимает 187-е место в мире по уровню ВВП) и уровня жизни, но и рост смертности, голод, усиление авторитарных тенденций в политике и острейшие межрасовые столкновения.

Итак, во всех известных случаях выдвижение идеи «особого пути» в качестве стратегической цели страны выступало как предпосылка ее демодернизации. Напротив, когда сама модернизация становится целью (не временным лозунгом элитарных групп, а действительно национальной идее, результатом осознанных интересов и свободного выбора всего общества), то естественно, без дополнительных деклараций возникает необходимость использования специфических социальных и культурных средств ее достижения.

Мы с вами высказались по поводу возможности использования идеологии «особого пути» в качестве инструмента модернизации, затронув лишь узкий круг тем, связанных с этим вопросом. У читателей есть возможность дополнить, согласиться или опровергнуть наши рассуждения. Разумеется, если они их заинтересуют.

Проработка советского прошлого
и внутренняя колонизация России

ПРОБЛЕМА ПРОРАБОТКИ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО
Стенограмма Всероссийской конференции
23–24 марта 2013 г., Ростов-на-Дону
Донская государственная публичная библиотека

Участники:

Н.С. Авдулов, кандидат исторических наук, профессор (Северо-Кавказский научный центр высшей школы ЮФУ)

М.А. Боровская, доктор экономических наук, профессор (ЮФУ)

И.И. Глебова, доктор политических наук, профессор (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва)

С.А. Денисов, кандидат юридических наук, доцент (Гуманитарный университет, Екатеринбург)

А.Г. Дружинин, доктор географических наук, профессор (СевероКавказский НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ)

А.Н. Ерыгин, доктор философских наук, профессор (ЮФУ)

Б.А. Камкия, кандидат философских наук, доцент (Сочинский институт Российского университета дружбы народов)

Ф.Г. Камкия, кандидат юридических наук, доцент (Сочинский институт Российского университета дружбы народов)

С.А. Кислицин, доктор исторических наук, профессор (Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы)

И.В. Кукулин, кандидат филологических наук, доцент (Научно-исследовательский университет — Высшая школа экономики, Москва)

А.В. Лубский, доктор философских наук, профессор (ЮФУ)

О.Ю. Мамедов, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (ЮФУ)

В.П. Макаренко, доктор философских наук, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Национальной академии педагогических наук Украины (Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ)

Т.А. Марченко, доктор социологических наук, профессор (ЮФУ)

Н.А. Мининков, доктор исторических наук, профессор (ЮФУ)

Ю.С. Пивоваров, доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии наук (ИНИОН РАН, Москва)

В.Ю. Попов, младший научный сотрудник (СКНИИЭ и СП ЮФУ)

А.М. Старостин, доктор политических наук, профессор (Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы)

В.А. Шкуратов, доктор философских наук, профессор (ЮФУ)

В.П. Макаренко: Уважаемые коллеги, разрешите объявить открытой Всероссийскую конференцию «Проблема проработки советского прошлого». Благодарю коллег, приехавших и прилетевших издалека, а также тех, кто пришел пешком из окрестностей. Конференцию проводят Центр политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем и Центр теоретического россиеведения Института научной информации по общественным наукам РАН. В конференции принимают участие факультет социологии и политологии ЮФУ, кафедра теоретической и прикладной политологии факультета социологии и политологии ЮФУ, Исследовательский комитет по политической концептологии РАПН и Донского философского общества, клуб «Интеллектуальный Ростов». Информационная поддержка — журналы «Политическая концептология» и «Terra Economicus: экономический вестник РГУ».

В холле продаются книги издательства «Новое литературное обозрение». Спустя некоторое время к нам придет М.А. Боровская — наш уважаемый ректор. Сейчас уделим небольшое время ***приветствиям***.

Ю.С. Пивоваров: Я здесь в третий раз. На этот раз приглашение закончится чем-то материальным. Мы с вашим ректором подпишем соглашение о сотрудничестве Южного федерального университета с Институтом научной информации по общественным наукам Российской академии наук. А это значит — с большей частью гуманитарного блока Российской Академии наук. Мы с Виктором Павловичем интенсивно сотрудничаем и безотносительно к приездам и отъездам.

Как всегда, выбор темы конференции абсолютно актуален в научном и практическом смысле слова. Это не я выбирал, именно Виктор Павлович определил тему конференции. Сейчас в нашей стране происходит решающий этап выбора обозримого будущего. Прошло двадцать лет, как сменилась система. Эти двадцать лет были достаточным историческим периодом для того, чтобы страна хоть немного пришла в себя и решила, куда надо двигаться. Если выбрать вариант возвращения в сталинское прошлое (у нас много его поклонников), то у нас будет одно будущее, выберем другой вариант — другое. Поэтому важна проработка советского прошлого. По сути, оно еще никуда не ушло, и даже не «еще», а просто никуда не ушло. От проработки, понимания и преодоления «советского» зависит ближайшее будущее нашей страны гораздо больше, чем от конъюнктуры на нефть, газ и законодательство о выборах в парламент. Речь идет о зависимости будущего именно от того типа сознания, который будет преобладать в нашем обществе. В этом смысле конференция является скромным, но очень важным мероприятием по обсуждению тем, выходящих за пределы науки, имеющих общесоциальное значение. Еще раз спасибо за приглашение и за возможность побывать в городе, мною очень любимом с детства.

А.Г. Дружинин: Тема, которую мы собираемся обсуждать сегодня, противоречива, за нее сложно браться психологически. Юрий Сергеевич сказал абсолютно правильно: «советское» с нами. Я как экономический географ хочу это подтвердить. Мы живем еще в советских по архитектурному облику, проектировке и инфраструктуре городах. Нас защищает созданное в советское время оружие. Мы с вами практически все, за исключением молодых лиц, присутствующих в этой аудитории, воспитанники советской эпохи, системы образования, науки. Поэтому это не только прошлое, но и настоящее. Отношение к прошлому в нашем обществе полярно различно. Оно во многом становится фактором дополнительного риска для настоящего и будущего. Тем важнее для нас не политически, не идеологически ангажированный подход к прошлому, не мифологизация его, а тщательное, серьезное научное исследование, разговор, диалог, осмысление того, что было по-настоящему ценным, что соответствовало традициям нашего общества, нашим национальным традициям, а что было отклонением, патологией, и к чему не должно быть возврата. Это действительно очень важная

для нас проблематика. Спасибо Центру политической концептологии, который поднял, сформулировал, организовал эту конференцию, ну и, конечно, нашим уважаемым гостям, всем, кто пришел, проявил интерес к теме. Пожелать хочу успехов конференции. От имени Национальной академии педагогических наук Украины хочу также вручить Виктору Павловичу награду — Почетную грамоту за большой вклад в развитие украинско-российских научных связей (*Аплодисменты*).

В.П. Макаренко: Спасибо! Перехожу ко второй части программы — ***презентации новых книг***. Все начинается и продолжается с чтения. В ноябре месяце 2012 г. проходил VI Всероссийский конгресс политологов. Там присутствовала делегация нашего университета, в том числе и я. Среди прочего Ирина Игоревна Глебова подарила нам три тома выпусков «Трудов по россиеведению», которые издаются под грифом ИНИОН РАН. По застарелой привычке читать все *от корки до корки* я прочел все три тома, в том числе вступительную статью Ирины Игоревны. И возрадовался, и возвеселился, — если перейти на библейский жаргон. Раньше я считал, что категория «проработки прошлого» сформулирована германскими социальными философами, мыслителями для анализа нацизма. Однако Ирина Игоревна обосновала идею о том, что эта категория вполне применима для анализа советского прошлого. Сейчас Ирина Игоревна расскажет нам о трудах по россиеведению.

И.И. Глебова: Уважаемые коллеги, я представляю центр Россиеведения и Институт научной информации по общественным наукам РАН. Центр этот создан недавно, в 2008 году. Свою деятельность мы начали в 2009 г. Издаем труды по Россиеведению. Я привезла три выпуска, готов уже четвертый, но задержка с изданием.

Несколько слов о том, почему россиеведение? Создавая этот центр, мы с дирекцией и коллегами исходили из того, что Россия — это некий особый мир. Не только из-за пространства и размеров, но и из-за того, что здесь сложилась своя среда, герои, значение культуры, язык. Это все не свести в рамки одного типа — западноевропейского или восточного. Известно, что это среда и история, а настоящее сложно и противоречиво. С одной стороны, — очевидная европейская культура, но не европейский тип социально-властного устройства, социальных отношений, функционирования политики, принципов экономического существования. Хотя Россия явно тяготеет к Европе и европейским потребительским стандартам, все-таки это не Европа. Свести все это к Азии, азиатскому способу существования тоже сложно, хотя Россия в постоянной интеграции с Востоком. И это не только почти 300 лет татаро-монгольского ига, о котором все говорят.

Мы решили, что необходима акцентировка другого подхода: Россия — это особый социокультурный тип, и он нуждается в специфических инструментах изучения. По нашему мнению, россиеведение — это не идеология, не некий эквивалент марксизму-ленинизму, который заменил бы идеологический подход при преподавании в высшей школе. Россиеведение — это специфический интегративный подход, который служил бы сцепкой разных взглядов на Россию и позволял бы преодолеть разного рода «центричности»: политикоцентричность, экономикоцентричность и любую другую центричность при изучении России.

Второе — это методология изучения России, те идеи, концепции, предложения, которые позволили бы увидеть и объяснить эту российскую особость. В этом смысле мы не видим в россиеведении что-то из ряда вон выходящее. Западная наука призвана изучать западный опыт, способы его функционирования и возможности развития. В этом смысле мы не держимся даже за название «россиеведение». Мы просто используем астрономическую терминологию, которая сложилась в западной науке и в России.

Труды по россиеведению — это результаты нашего изучения. Для нас ценно, что в трудах участвуют сотрудники ИНИОНа, представители других академических институтов и наши зарубежные коллеги. Мы пытались выстроить, примирить, показать разнообразные вз-

гляды на Россию, ее прошлое и настоящее. Мы строили эти труды таким образом, чтобы каждый из них был посвящен какой-то теме или периоду существования страны.

Первый выпуск мы посвятили революции. Мы считаем, что одна из задач россиеведения — это XX век, переломная эпоха в истории России. Мы старались дать современный взгляд на них, как они изучаются. Второй том посвящен современной России. Центральная тема третьего тома — память. Какой образ сообщества существует в сознании, как мы отвечаем на вопрос «кто мы?», какие ценности, какую базу для этой идентичности дают те концепции истории, которые предлагает наше общество? И мы выпустили дополнительное издание, несколько экзотическое. Называется оно «Институциональная память и постсоветский архив». Мы с коллегами из историко-архивного института устроили семинар, это тоже способ работы нашего центра. По результатам семинара, дополнив его еще материалами, выпустили это издание.

Ю.С. Пивоваров: Я хочу добавить к тому, что сказала Ирина Игоревна, потому что я директор учреждения, в котором действует Центр россиеведения. Мы не держимся за термин «россиеведение», но у него есть историческая связка. Впервые этот термин на русском языке использовал выдающийся русский мыслитель П.Н. Савицкий. Это евразиец, один из столпов евразийства, в 1928 году он жил в Праге. Это перевод с немецкого Russlandskunde. Потом это стало называться Russian studies в английском языке. В этом смысле у нас есть какие-то примеры. Я недавно сказал о Савицком и евразийцах, что эти издания и их авторы не разделяют ни современных, ни даже классических евразийских идей. Тем не менее мы пересекаемся с классическими евразийцами в том, что считаем Россию особым культурно-историческим типом, в ключе Данилевского, Шпенглера, Тойнби. В этом смысле есть термины «ориенталистика» или «китаеведение». Не всегда наука западная может объяснить процессы в странах незападного типа, например, России. Я всегда в лекциях студентам говорю о том, что хотя мы и переводим слово «государство» английским словом state, но за этим кроются совершенно разные субстанции: одна организация власти там, другая — здесь. Отсюда вытекает, что россиеведение — это как раз тема проработки советского прошлого.

Мы считаем, что современная социальная российская наука должна объяснить, что произошло со страной за столетие. Почему вышло так, а не иначе? В чем причины развала Советского Союза? Почему он не смог реформироваться? У нас показывают в сторону Китая. Мне кажется, это не вполне корректное сравнение, поскольку мы не китайцы. Что еще принципиально важно: мы не отказываемся от поиска единой объединяющей теории. Мы — это участники этих трудов, совершенно разные люди по возрасту, профессии, воззрениям. У нас несколько месяцев назад выступал на семинаре Ю.Н. Афанасьев. Помните такого деятеля поры перестройки? Он закончил свое выступление тем, что если сейчас вернуться в 1987 год, то что бы он сделал? Арестовал бы Афанасьева, Попова, Ельцина и всех бы расстрелял, потом что они преступники против России, против российского народа. Мне стало так стыдно это слушать. Он пожилой человек, странное такое русское покорение, по Достоевскому… У нас сейчас совершенно разные меняющиеся люди в этом семинаре. Мы отказываемся вообще от попытки дать единую разъясняющую концепцию. Мы развиваем поссибилитистский, то есть возможностный подход. Это то, что мы сможем понять, если создадим разного рода концепции, которые покажут Россию с одной, другой, третьей и всех остальных сторон. Глубочайшая ошибка нашей эпохи состояла в том, что будто бы одна идеология, одна научная картина мира может объяснить все. Я имею ввиду марксистско-ленинскую идеологию, но могла быть и другая.

Это качество объединяет людей, которые пишут труды по россиеведению. Также мы выпускаем справочник по россиеведению. Туда может записаться любой человек, который считает себя россиеведом, не важно, чем он занимается — географией или историей. И поскольку мы юная информационная организация, мы будем выпускать монографии. К сожалению, нам не удалось привезти том за 2012 год.

В.П. Макаренко: Я уже говорил, что все продолжается благодаря чтению. В январе месяце я прочел книгу под названием «Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России». Мне сразу захотелось познакомиться с ее авторами, прежде всего с редакторами. Она вышла под редакцией Александра Эткинда (он представляет Санкт-Петербургский университет и университет Кембриджа), Дирка Уффельманна (университет Пассау в Германии), Ильи Кукулина (Научно-исследовательский университет — Высшая школа экономики). Илья Кукулин — это поэт, литературный критик, интересный и разносторонний человек. Мне захотелось вступить с ним в оперативный контакт. Я списался с Ильей Владимировичем и пригласил его к нам. Мы все здесь с вами в первую очередь читатели, а он редактор и автор интересной книги.

Есть и личные познавательные мотивы. В 1990-е годы я обратил внимание на работы Александра Эткинда, в том числе на его концепцию внутренней колонизации. Я давно занимаюсь проблемой бюрократии вообще и российской в частности. И обнаружил, что правительственный аппарат обычно относится к своей собственной стране как к колонии. В сборнике «Там, внутри» я нашел множество совпадений с моими работами. Кроме упомянутых трех редакторов в сборнике участвуют еще более двух десятков авторов из разных стран. Илья Владимирович Кукулин представит это издание.

А.М. Старостин. Виктор Павлович, прошло две информации, вопросы можно задавать или это не предусмотрено?

В.П. Макаренко: Можно, даже задним числом.

И.В. Кукулин: Добрый день! В 1900 году в Париже открылась очередная Всемирная выставка, в ту пору эти зрелища пользовались огромным успехом. На выставке за полгода побывало 50 млн. человек. На ней была улица Наций. Это была большая дорога, специально построенная в Париже к этому моменту. Вдоль нее были построены павильоны в национальном стиле, изображающие крупнейшие европейские державы в их национальном стиле, с их национально-характерными особенностями, народными промыслами, экономическими достижениями. К удивлению многих наблюдателей, Россия на улице Наций представлена не была. Там стоял павильон Финляндии, которая была колонией России.

Где была Россия? В известном парижском парке, там были представлены колонии или экзотические страны (например, Китай). В этом месте находился огромный павильон азиатской России. В павильоне были представлены огромные экспозиции, посвященные Сибири, в частности Транссибирской железной дороге. Был также отдел Северного Кавказа и Средней Азии. Никакой репрезентации собственно европейской России на выставке не было. Трактовка этого явления была абсолютно разной, от разных, в том числе и российских наблюдателей. Одни говорили, что Россия представляет себя как собственную колонию, другие говорили — Россия представлена самым большим павильоном. И это была единственная страна, про позиционирование которой на выставке писали по-разному.

Я сейчас пересказываю одну из статей этой книги, написанную американским историком культуры Ириной Шевеленко. Этот небольшой эпизод является окошечком к пониманию российской истории. Россия на протяжении многих веков фактически действовала как колониальная держава, покоряя области, которые затем присоединяла к себе. Но при этом покоренные области не воспринимались как колонии. Попытки завести в России министерство колоний наталкивались на серьезное сопротивление со стороны императорского двора. При этом происходила постоянная путаница внешнего и внутреннего. Например, города в Белоруссии, населенные белорусами и евреями, считались традиционно русскими городами. В публицистике было принято обижаться на то, что евреев там слишком много. Причем, много не столько в абсолютном количестве, сколько в процентном отношении. Русских должно быть больше! — и это сетование фиксирует не какие-то специальные экономические интересы России, а, скорее, растерянность. Город, воспринимаемый как исконно русский, таковым по факту не являлся.

В истории России было много таких феноменов, но самым тяжелым был феномен, связанный с крепостным крестьянством и крестьянством в целом. С русским крестьянством государство обращалось абсолютно как с покоренным народом. У либерально мыслящих людей, будущих декабристов в начале XIX века, а до этого и у Александра Радищева, было сравнение русских крестьян с американскими рабами-африканцами. Но американских рабов в Америку специально везли, а русские крестьяне родились и выросли ровно на том же месте, где и русские властители. Фактически в России применялся колониальный метод управления людьми по отношению к тем, кто формально колонией не являлся, но населял внутреннее пространство империи. В то же время, как писал историк Ключевский, в России ось — центр-периферия. Что это значит? Что столица новая была построена Петром I в конце XVII — начале XVIII века на самой окраине империи. Там был центр, а периферия оказывалась всеми странами, входящими в состав империи. Все однородные феномены, о которых я говорю, связаны с феноменом внутренней колонизации.

Теперь позвольте прочитать аннотацию к этой книге. «Внутренняя колонизация есть применение практик колониального управления и знания внутри политических границ государства. Это особый тип отношений между государством и подданными, при котором государство относится к подданным как к покоренным в ходе завоевания, а к собственной территории — как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания», направляемых из одного центра. Такой тип господства использовался многими империями и особенно характерен для России. Поэтому изучение внутренней колонизации позволяет увидеть в новом свете важнейшие особенности российской политики, общественной жизни, литературы и искусства XVIII–XXI веков».

Этот способ управления применялся в различных европейских державах. Большинство европейских держав складывались как полиэтничные. Франция в ходе своего развития поглотила (и только потом опомнилась) бретонцев и многие другие небольшие этносы. Тем более крестьяне с большим опозданием были признаны такими же французами, как управляющие и дворяне. Существует классическая работа, которая называется «Из крестьян во французы». С другой стороны, существует классическая работа британского историка Майкла Хечтера, которая и дала новый импульс пониманию того, что есть внутренняя колонизация в европейской истории. Эта работа про то, как Англия управляла своими территориями, населенными другими представителями других культур. Хечтер показал, что Британия в истории осознавалась как традиционная колониальная империя, в которой в одном месте метрополия, в другом — колония.

Понятие внутренней колонизации становится все более популярным в истории европейских стран. Однако существует важное отличие России от этих стран. Оно связано с тем, что в России эта практика управления существовала на протяжении многих веков, использовалась как инструмент для фокусирования особенностей. Разрыв между управляющими и управляемыми все время форсировался и искусственно усиливался. Напомню опять же известную работу Янни Коцонис «Как крестьян делали отсталыми». Сама идея, что крестьян делали отсталыми, представляли как отсталых, была очень важна. И здесь Россия является для меня как одного из редакторов-составителей этого сборника европейской страной. Просто Россия — это единственная колониальная империя, дожившая до наших дней. Не знаю, сколько еще она продержится в качестве континентальной империи, на уровне с Австро-Венгрией и Османской империями. Континентальная империя — это империя, которая основные свои владения присоединяет к себе и потом не может отличить, где у нее свое, а где — чужое. Вот Австро-Венгрия и Османская империя — это были те страны, которые таким образом и функционировали.

Теперь хочу еще одну важную вещь сказать. Конечно, внутренняя колонизация при Советском Союзе никуда не делась, но была вывернута наизнанку таким образом, который описал канадский историк Терри Мартин в своей книжке, которая неправильно на русский язык

переведена, «Империя положительного действия» — Empire of affirmative action[1], а должна была быть переведена как «Империя положительной дискриминации». Что это означает? С одной стороны, в Советском Союзе было прокламировано равноправие всех народов. С другой стороны, советские элиты занимались усиленным государственным и национальным строительством. Было провозглашено, что у каждого человека есть своя национальность, подобно тому, как у каждого человека есть пол от природы.

С 1938 года в паспортах уже нельзя было выбирать национальность. До этого был указ 1932 года, что человек может иметь только ту национальность, которую имеют его родители. А люди от смешанных браков должны были выбирать национальность одного из родителей. С этого времени началось, возобновилось и усилилось все большее стремление государства к колонизации собственной территории. Это проявилось и в методах управления другими автономными и союзными республиками, также в использовании своего собственного населения для колонизации Сибири — я имею в виду ГУЛАГ. Кроме того, что он был мучением для миллионов наших сограждан, но это был также самый варварский и насильственный из всех возможных способов освоить экономически сибирские пространства.

Практика управления, которая сложилась на протяжении многих веков, продолжает действовать и сейчас. Мы видим сопротивление внутренней колонизации во многих региональных движениях, которые сейчас есть в России. Как правило, они вызывают дикие скандалы и публичные дискуссии, а иногда и репрессии. Само наличие таких сепаратистских движений внутри русских (например, движение за автономизацию Сибири) совершенно не случайно, но эта проблема не решена.

Еще один важный аспект проблемы состоит в том, что внутренняя колонизация в России оказала большое влияние на русскую культуру, потому что русские писатели выступали в роли антиколониальных. Об этом подробно и много в своих статьях и книгах писал Александр Эткинд. Кроме книги, о которой сегодня идет речь, Александр Эткинд написал отдельную книгу, которая называется «Внутренняя колонизация в России». Вышла она в 2011 году. В настоящий момент осуществляется перевод книги, надеюсь, в конце этого года или в начале следующего она выйдет в издательстве НЛО[2]. Антиколониальным писателем можно считать Радищева и многих других писателей, которые часто совмещали в себе апологию империи и равенство, прославляя движение народов против бюрократического и имперского контроля. Это могло совмещаться в одном сознании, даже в одном произведении, например, в «Капитанской дочке».

Я стараюсь показать, что сила противодействия государственной колониальной политике проявляется у русских писателей и писателей, которые отождествляют себя с русской культурой или с другой культурой, но пишут по-русски. Она проявляется вплоть до настоящего момента. Это можно заметить у Фазиля Искандера, который занимал сложную позицию русско-абхазского писателя. А также у русских писателей, которые пишут сейчас и часто еще не слишком известны.

Теперь скажу о составе книги. Она подготовлена на основе конференции, которая прошла в 2010 году, в германском городе Пассау, это самый юг Германии, граница Германии и Австрии, до XIX века город принадлежал Австро-Венгрии. В этом городе состоялась международная конференция. Ее организаторами являются Александр Эткинд и Дирк Уффельманн, профессор, проректор по учебной работе университета Пассау. На этой основе был создан сборник. Кроме того, написали статьи ряд людей, в конференции не участвовавших; потом

[1] Так сказал И. Кукулин; на самом деле на английском она называется The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939 (The Wilder House Series in Politics, History and Culture). Прим. ред.

[2] Главы из книги: Эткинд А.М. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. — М.: Новое литературное обозрение, 2013 публикуются в этом номере журнала. Прим. ред.

они выразили интерес и приняли участие. Здесь есть работы российских, японских, украинских, немецких, американских ученых и ученых из других стран.

На мой взгляд, здесь очень интересный раздел про Украину и Белоруссию. Потому что в России Украину и Белоруссию на протяжении многих веков отказывались считать отдельными культурами, а украинский и белорусский отказывались считать языками. Зато всячески подчеркивали различия между управляющими и бюрократическими группами России, Белоруссии, Украины, с одной стороны, и подвластными крестьянами — с другой. Это различие оказывалось гораздо важнее, чем различие культурное. В свою очередь, культурные различия форсировались националистическими кругами всех указанных стран. Процесс заслуживает изучения, которое начато в книге.

И последнее, что я хотел сказать. Мне особенно приятно оказаться в Ростове, потому что здесь разворачивался один из интереснейших проектов по внутренней колонизации, захвативший юг России и территорию нынешней Украины. Это так называемый греческий проект Екатерины II, которая планировала юг России и Крым сделать своего рода местным возрождением древнегреческого духа, который свяжет Россию с Грецией, союзницей России, как тогда предполагалось. Реализация греческого проекта повлекла за собой множество разнообразных стихотворений, политических платформ и иных текстов. Она подробна описана в книге Андрея Леонидовича Зорина «Кормя двуглавого орла…», — аллюзия на известную строку Тютчева. Это рассказ об идеологии правящих элит России в конце XVIII — начале XIX века. Описана связь идеологии с литературой, литературные произведения оказывались очень важными для формирования идеологии. В ряде литературных произведений был разработан способ представления юга России и областей, граничащих с Крымом, как новой и одновременно будущей Греции, которая вступит в контакт с культурой Средиземноморья. Таков был способ культурного оправдания, затушевывания и одновременно объяснения внутренней колонизации. Я надеюсь, что ростовские исследователи внесут свою лепту и скажут свое собственное слово в исследование этого процесса.

(*Продолжительные аплодисменты; в них чувствуется душевный подъем аудитории, искренняя благодарность и солидарность большинства аудитории с докладчиком*).

А.М. Старостин: У меня такой вопрос. По-моему, в 2011 году приезжал к нам Л.Д. Гудков. Да, Виктор Павлович?

В.П. Макаренко: Да, вместе Борисом Владимировичем Дубиным.

А.М. Старостин: Он интересный доклад делал по разным социологическим замерам. Меня заинтересовала его теоретико-методологическая база, на основе которой все описывалось. Он отвечает — концепция тоталитаризма. Сейчас я вас слушаю, вы затронули другую тему, тему колониализма. Колониализм — это некий трансфер: насильственный ненасильственный, добровольный. Позволяет ли концепция колониализма вскрыть некие внутренние факторы саморазвития в России?

И.В. Кукулин: В вашем вопросе скрыт целый комплекс вопросов. Первый аспект состоит в том, что вы употребили слово «колониализм», он предполагает некоторые учения…

В.П. Макаренко: Доктрины…

И.В. Кукулин: … доктрину, которая оправдывает колонизацию. Я говорю скорее об управленческих практиках, которые описывались всегда традиционными колониалистскими доктринами. Сейчас они более затушевывались, чем в представленном мною проекте. Что касается саморазвития России, то именно в случае России слово «саморазвитие» является особенно соблазнительным в старом смысле этого слова. Оно скорее закрывает от нас некоторую картину, чем открывает ее. Я сейчас объясню, почему. Потому, что Россия — это страна, в которой на протяжении многих веков по целому ряду особых причин складывались конфликтные отношения между государством и обществом. И эта конфликтность также исторически затушевывалась. Более афористично одну из причин этой конфликтности описал мой научный руководитель Михаил Леонович Гаспаров, который сказал: «На том месте, где у Европы

находится эпоха Возрождения, в России находится Иван Грозный». Я думаю, что под развитием России (подчеркиваю: не саморазвитием, а развитием), скрываются два процесса.

С одной стороны, насильственные процессы трансформации страны, которые предпринимали государственные и бюрократические элиты. С другой стороны, это процессы саморазвития общества, которые блокировались постоянным процессом «социоцида», как его назвал социолог Алексей Левинсон. Речь идет о блокировании любых самостоятельных, независимых от государства движений. На протяжении многих десятилетий и даже столетий граждан старались делать полностью подконтрольными и управляемыми. Напомню вам замечательный фельетон М.А. Добролюбова, который в 1860-е годы был напечатан в альманахе «Свисток». Он описывал, как администрация боролась с крестьянскими добровольными (подчеркиваю это) обществами трезвости, боясь, что это рассадник какой-нибудь секты.

В.П. Макаренко: Сегодня то же самое происходит с волонтерством.

И.В. Кукулин: Конечно. Процесс социоцида исходил от государства и чрезвычайно затруднял саморазвитие общества, потому что трава пробивалась сквозь асфальт. При этом трава наружу вылезала чахлая и, к сожалению, не вся. Такая довольно грустная история.

Что касается методологии, то разные участники сборника придерживаются разных методологических установок. Я говорю сам за себя. Для меня очень важным является составление репрезентации практик. С одной стороны, того, что происходит в литературе, как она моделирует действительность; с другой стороны, того, что происходит в нетекстовой реальности и как происходит постоянное взаимодействие смыслами, процессами смысловыделения между практиками и реальностью. Но лично для меня (я не отвечаю за других авторов сборника) более близка историческая концепция позднего Мишеля Фуко 1970-х-начала 80-х, но с одной существенной оговоркой. Я стараюсь работать со многими процессами на уровне более микроскопическом. Все же Фуко гораздо реже анализировал тексты, гораздо меньше анализировал конкретные практики, а гораздо больше давал общую картину.

Ю.С. Пивоваров: Я не читал этой книги, поэтому мне трудно судить, о чем она. Меня немного смущает само употребление термина «внутренняя колонизация». Это не колониализм, а внутренняя колонизация. И вы только что сказали, что речь идет об управленческих практиках, не более того. Но если мы сравниваем русскую историю с историей Австро-Венгрии и Османской империи, мы увидим различный смысл управленческих практик и отличие от того, что вы говорили.

Во-первых, начнем с того, что едва элита российской империи задумалась о том (и вы это знаете наверняка), как управлять новыми территориями, то сразу (в конце 1810-х годов) вышла книга о колонии, ее написал маркиз Прадо, испанский государственный деятель. В книге были сформированы будущие принципы управления колониями, которые в XIX веке были развиты британцами и французами. Когда они переносили свои системы власти и культурные стандарты на народы, подчиненные им на время. Сперанский тогда был генерал-губернатором Сибири. В 1819 году ему прислали книгу Прадо, и Российская империя отказалась от применения колониальных практик. Она этим не занималась. С момента присоединения Сибири там оставались собственные способы управления. Более того, когда в XIX веке среди латышского и эстонского крестьянства начались движения за переход из протестантизма в православие, с тем чтобы уйти из-под власти немецких баронов, которые командовали ими, Николай I воспрепятствовал этому. Россия никогда не переносила способы управления на подчиненную Среднюю Азию, на Область Войска Донского, во все казачьи регионы. Не переносила также на управление крестьянское, Малороссию правобережную, там раньше начались процессы эмансипации. В этом смысле неверно отождествлять положение американских рабовладельцев и чернокожих в Америке с положением русских бар и крепостных. Потому что это был один этнос, одна культура, возможно, и расколотая. Но речь не шла именно о колониальных управленческих практиках. Здесь возникают другие темы.

К чему я веду? Мне кажется, что эта очень красивая и что-то, видимо, открывающая концепция, может и навредить. Здесь было иначе. Например, в Тифлисе никогда не запрещали говорить по-грузински, как в Праге запрещали говорить по-чешски. Мне кажется, что Россия как империя или некий субъект, который колонизирует нечто, — это иное, чем Османская империя, Австро-Венгрия, Британия, и процессы в России имеют свой характер. Таков мой вопрос.

И.В. Кукулин: Ответ на вопрос обещает быть длинным, поэтому прошу меня остановить, если я выйду за положенное время. Во-первых, по поводу рабов в Америке. Это все претензии к декабристам, это они сравнивают. Я не сказал, что я сравниваю. Я сказал, что реакция на внутриколониальные методы российского правящего класса, российских правящих элит выражалась именно в этом сравнении. Поэтому критика со стороны будущих декабристов в адрес крепостного права шла именно по тому же пути, по которому предлагаете идти вы.

Теперь следующий момент. Я говорю о том, что очень важно одновременно смотреть и на практики и на то, как они осмыслялись культурными и политическими элитами. Вы сначала сказали, что я говорю о практиках управления, не более того. «Не более того» я не говорил. Это практики управления, которые очень многое определяют, их специфику только предстоит выяснять, потому что они действовали по-разному в разных регионах России. С одной стороны, они были различны, с другой стороны, страшно экстраполировались на другие. Теперь о колониальных моментах управления. Повторяю еще раз: от них Россия декларативно отказывалась много раз и не только в лице Сперанского, но и в лице более поздних администраторов. Однако, как показал кавказовед Владимир Бобров, он был заведующим сектором Кавказа Института этнографии Академии Наук, методы управления на Северном Кавказе очень часто были скопированы с методов управления во французском Алжире. В Тбилиси не запрещали говорить по-грузински, но вот в Украине запрещали печатать по-украински. Известное выражение: никакого украинского языка не было, нет, и, я надеюсь, не будет.

Что же касается переноса практик управления, то он иногда бывал довольно неожиданным и требует внимательного междисциплинарного исследования. Например, меня в свое время страшно впечатлил факт: как Россия управляла алеутами на Аляске, которая долгое время была колонией России, потом она была уступлена США? Брали заложников — аманатов. Аманаты — это тюркское слово, обозначающее не только «заложник», но и «доверенный на хранение». Изначально это слово пришло на Русь из Орды. Брать заложников — таков был способ ордынского управления Русью. Потом это слово постоянно использовалось в кавказской политике России. Того, кого брали в заложники, называли аманатами. И такая же практика управления диким народом (как полагали администраторы — диким) была перенесена и на Аляску. Более того, даже с использованием того же самого слова, которое на Аляске вовсе было неизвестно.

Безусловно, в России было огромное разнообразие практик, вероятно, большее, чем в Османской империи и в Австро-Венгрии. Часть из них была самородной, а часть — импортированной. Все это разнообразие сейчас предстоит осмыслить заново. Свести своего рода если не периодическую систему, то, по крайней мере, каталог.

По поводу внутренней колонизации: что она что-то открывает, что-то закрывает… Подобно любой сильной научной метафоре она позволяет что-то открыть, а что-то закрыть. Наша задача, действительно, чтобы мы владели метафорой, а не метафора нами. Мы еще не вышли сильно за ее границы, и мы в книге специально уделили этому место.

А.Г. Дружинин: Во-первых, мне показалось очень интересным выступление нашего московского коллеги. Книги я тоже, к сожалению, не читал, но я знаю взгляды моего коллеги Родомана, который писал о колониализме, о московской неоколониальной войне. Действительно, очень интересно сфокусировано в этом исследовании данные. Проблематика, на мой взгляд, универсальная, масштабная, очень хорошо иллюстрирующая наши практики: полити-

ческие, территориального управления не только России, но и мира в целом. Я исследую эту проблематику тоже параллельно, здесь в Ростове. Я использую другое понятие — метрополизации. Я понимаю под этим концентрацию политической власти и экономического потенциала в крупнейших городах и их способность навязывать свою волю, свои интересы остальной периферии. Это немного другое, но фактически о том же.

Что касается самих идей, которые были здесь озвучены. Мы с вами все здесь представители интеллектуальной элиты, обществоведы. Мы говорим сегодня об осмыслении советского прошлого. Нам как-то очень навязчиво навязывают понимание России как империи. Территории, которые у нее находятся — это колонии. Это идет не только из наших обществоведческих центров, это идет из заграницы. Я очень часто общаюсь с зарубежными коллегами, в частности, французские политологи это тоже говорили относительно ситуации на Кавказе. В том числе Жан Радвани, которого Юрий Сергеевич хорошо знает. Он соседствовал с ним три года на его территории. Что здесь существенно и мне кажется важным? Проблема дезинтеграции России как таковой; это уже не научный концепт, не дискуссия в узком кругу. Мы пережили с вами распад СССР, по-разному можно относиться к той системе, но распад единой страны для многих, в том числе и за границей России, это по-настоящему трагедия, это надо пережить, огромная потеря для русского народа и русской культуры. С точки зрения россиеведения, это тоже надо признать.

Как-то на досуге я задался вопросом: посчитать, каковы экономические последствия выделения Ростовской области из состава России. Много сейчас говорят о том, что есть некая территориальная несправедливость, что валовый региональный продукт приближается к уровню Калифорнии, а мы с вами находимся на уровне Сербии. Что получилось в результате этих расчетов, когда я просуммировал все побочные эффекты? А то, что мы провалимся в своем экономическом развитии на уровень где-то между Албанией и Египтом. Вот представьте! Потери приблизительно в 50% того, что мы сейчас имеем. Я не беру даже сейчас во внимание деперераспределительные эффекты, которые существуют в нынешней России, повышающие уровень жизни. Вот экономическая только цена. Не культурная, не психологическая, не какая-либо иная того, чего стоят эти наши разговоры по поводу колониальной сущности современной России и колонизации. Необходимо другие слова использовать, вот они могут воплотиться в какие-то практические решения. Конечно, Россия не та колония, которой была Великобритания, Швеция. К нашей истории, нашей географии нужно относиться тонко, понимая нашу исключительность, как у любой другой территории, как и любой другой культуры. Вот что я хотел сказать.

И.В. Кукулин: В этом высказывании меня косвенно обвиняют за то, что я один из адептов понимания России как империи. Поэтому скажу о своих резонах: почему я об этом говорю. Мне представляется чрезвычайно важным то, о чем мы говорим. Это не только разговоры, это некоторая общественная работа. Я совершенно не знаю, как и все присутствующие здесь, что день грядущий нам готовит. Мне кажется, вопрос не в том, хорошо или плохо распался СССР. Важно зафиксировать иное: распад был неизбежен при тех практиках управления, которые в нем существовали. С одной стороны, хорошо, что СССР не распался так, как Югославия, со стрельбой. С другой стороны, плохо, что сам процесс его распада породил большое взаимное психологическое, культурное отчуждение, которое препятствует налаживанию связей на новом уровне — горизонтальном. Я думаю, то, что мы обсуждаем, чрезвычайно важно. Что нас в будущем может спасти, независимо от того, что будет с Россией? Я думаю, возможность наладить взаимные связи в обществе по горизонтали, минуя власть, сосредоточенную в Москве для многих людей, которые живут за пределами Москвы. Надо наладить процессы самоорганизации в обществе, при котором и московские ученые не являются гостями от начальства, а равноправными контекстуальными партнерами. Такого рода общественная и научная работа позволит нам понимать наше пространство как интеллектуаль-

ное и культурное, но не интимное, не унифицированное, а внутренне связанное, в котором разные интеллектуальные, культурные узлы нужны друг другу.

Именно такая работа позволяет нам выйти из наследства империи, которой была Россия, которой, к сожалению, остался СССР. Именно такая работа позволит нам воспринимать друг друга в качестве независимых личностей. И независимых научных центров, имеющих право на собственное мнение, которые будут работать по-разному. Мы все разные, и это важно. Вот что я хотел сказать.

А.М. Старостин: Коллеги! Вначале маленькая реплика, а потом к Юрию Сергеевичу у меня будет вопрос. Реплика относительно соотношения управленческой практики и концептов теоретических, которые мы предъявляем. Мне кажется, что мы не находимся на той стадии, когда мы уже можем предъявить некие законченные концепты или практики управления. Пока еще процесс не завершен, пока все варится на «кухне», то есть, еще не готово. Но уже есть группы, которые берут и запускают ту или иную версию. Мы в итоге движемся неэффективно, а как называется такой исторический эксперимент?

И.В. Кукулин: Процесс, о котором вы сейчас говорите, независимо от того, как к нему относиться, в первую очередь связан с тем, что в нашем интеллектуальном сообществе принято фетишизировать практики управления как таковые. Потому что до сих пор в России «все зависит от начальства». Я думаю, было бы гораздо важнее, чтобы плоды нашей научной работы влияние не на практики управления, а на общественную жизнь. На ту самую траву, которая лезет из-под асфальта. На процессы осознания обществом своих возможностей, чтобы управленческие практики уже взаимодействовали не с массой атомизированных индивидов, телезрителей, а с массой людей, которые осознали друг друга, что они друг другу нужны и могут друг другу помочь. Вот почему они друг другу нужны, в силу разности того, что их объединяет, какие они смыслы могут вместе рождать. На понимание этого влияет научная работа.

А.М. Старостин: В связи с вашим обзором и дополнением — вопрос к обоим докладчикам. Теоретическая физика 70 лет занималась поиском единой теории. И, в конце концов, она к ней приблизилась…

В.П. Макаренко: Я думал, физики уже бросили эту затею…

А.М. Старостин: Нет, физика приблизилась к решению задачи, поставленной А. Эйнштейном. Затем четыре типа взаимодействия, которые были потом выделены, их стали попарно как-то группировать. И стандартная теория всего сформировалась. Физики еще не уверены, что это окончательный результат, но его уже можно каким-то образом накладывать на объективную реальность. Если проводить аналогию с историческим процессом, мы видим, что когнитивно процесс исторического познания далек от единой теории. Хотя мы чувствуем, что без единой теории мы этот процесс не будем до конца понимать.

У вас и у вашего работника или сотрудника, руководителя центра, был тезис о том, что мы находимся в такой парадигмальной ситуации и в области теории, и в области эмпирических фактов. Есть ряд направлений, которые трудно состыковать. То есть, они могут рассматриваться как дополняющие друг друга по принципу соответствия, могут быть и другие версии. Наблюдаете ли вы в россиеведческих исследованиях конвергентные процессы, то есть сближение тех или иных парадигм? Или сам материал, который с этой позиции изучается, не готов? Вот мы сейчас слушали сообщение. В нем представлен один из любопытных подходов, но это, скорее всего, западоцентричный подход. Он имеет право на жизнь как инструментальный. Готов ли материал, чтобы доказать этот факт? Состыкуется ли этот подход с теми, которые есть параллельно?

Ю.С. Пивоваров: Вы знаете, я, скорее всего, не смогу ответить на ваш вопрос. Он задан таким образом, что мои мозги не в состоянии состыковать то, о чем вы говорите. Я не шучу, я это серьезно говорю. Во-первых, я думаю, что общей большой теории всего не может быть по одной простой причине. Общая теория может быть в мире неживой материи. Исто-

рия, общество зависит от свободной воли человека. Гуманитарные и социальные науки, в первую очередь, изучают поведение человека, а человек — существо свободное, в том смысле, что есть свобода воли. В этом смысле таких законов в гуманитарных науках нет. Есть традиции, культурные коды, хотя это уже метафора. Есть свобода воли. И как такая общая большая теория может объяснить, учитывать свободу воли…

В.П. Макаренко: Отклонение…

Ю.С. Пивоваров: Да, … и неожиданность ее. Вот уперлись русские люди в декабре 1941 года под Москвой, немцы не взяли Москву. А не уперлись бы — немцы взяли бы Москву. Вот это есть свобода воли. В 1917 году сдали все командующие фронтами Николая 11 — и началась революция… Конечно, были закономерности, которым нас еще в школе учили. Но многолетний опыт историка показывает (мне показывает, я никому не навязываю свою точку зрения): никакой общей теории быть не может. Я очень далек от этого. Само представление об этом — какие-то позавчерашние попытки посмотреть на мир. Если вы спросите меня «кто ты?», я отвечу: я — либерал, государственник, почвенник, западник, славянофил, христианский демократ и социал-демократ одновременно. Мировоззрение современного человека строится как-то по-другому. Я не могу сказать: я за парламентскую республику или за монархию. Мне кажется, что сознание человека (особенно исследователя) построено каким-то другим образом.

Зато я уверен, что современное почвенничество приведёт к русскому национал-социализму. Я в молодые годы сам был почвенником. Занимался славянофилами, и верил во все это. Я прошел через это искушение, на себе понял, в конце концов, что это приведет к какому-нибудь варианту русского национал-социализма. Тупое западничество — перенос американских экономических моделей на русскую экономику — тоже сорвалось. Перенос марксизма на русскую почву тоже взорвался, пришлось что-то менять. Эти вещи уже давно опробованы, но они не могут быть кодами для будущего, ключами для будущего…

В.П. Макаренко: Указующими перстами…

Ю.С. Пивоваров: Вообще наука не занимается подобными указующими перстами. В этом смысле я не знаю, что ответить. Вот что очень интересно, не знаю, обратили ли вы внимание. Илья Владимирович цитировал великого русского ученого Гаспарова, по крайней мере, выдающегося. Что в Европе было Возрождение, у нас — Иван Грозный. Здесь, при всем моем уважении к Гаспарову, заложена тенденция, неправильные ноты. Да, конечно, у нас не было Возрождения. Возрождения нигде не было, кроме Европы, ни в одной другой культуре. Это сугубо европейский феномен. Поэтому мы не можем, хотя бы в мягкой, вежливой форме сказать русскому прошлому, что у него не было Возрождения. Да, русская культура не выработала Возрождения, она выработала что-то иное. Мы можем попытаться ответить на вопрос: почему не было Возрождения и почему был Иван Грозный? Этот вопрос мы можем адресовать целому ряду исследователей, которые хотят понять русский исторический ход путем выявления неких дефицитов. Русская культура — это не каталог дефицитов, это каталог своих нормативных особенностей эпох. К Ивану Грозному как человек и историк я отношусь глубоко отрицательно. Но это был в известном смысле возможный переход русской истории. Из него очень многое вычитывается дальше. Скорее нужно понять это, нежели провозглашать: в России не было Возрождения.

Или ваша метафора: трава из-под асфальта. Значит, власть — это асфальт, а общество — трава? Я думаю, это не так. Власть такой же органический продукт общества, как и культура. То есть, сейчас, хм-м (*с иронией*) мы будем дискутировать до ночи. (*Обращаясь к А.М. Старостину*): Это вы спровоцировали, господин профессор. Пусть за меня ответит Илья Владимирович.

И.В. Кукулин: Поневоле приходится использовать такие лобовые метафоры. Я асфальтом называл не собственно власть, а результат воздействия власти на общество. С другой оптикой, безусловно, власть неотделима от общества. Та концепция, которая описана в нашей

книге, показывает, какие методы общество противопоставляло власти. В результате этого противопоставления и происходит такой же силы столкновение, столкновение живого и неживого, травы и асфальта. Что же касается каталога дефицитов, для меня то, что вы, Юрий Сергеевич, говорите, является серьезной научной проблемой, она очень актуальна. Мне кажется, мысль, что в России не было Возрождения, достаточно значима и неотделима от другого вопроса: что было? Вот, безусловно! И что в истории России позволяло тому, что все-таки современную русскую культуру мы можем считать либо европейской, как я думаю; либо равномочной европейской, как считают другие коллеги? Что привело к тому, что современная русская культура оказалась настолько сильной?

Я полагаю, что запреты не способствуют развитию культуры. Мне кажется, это произошло за счет некоторых ресурсов развития культуры и общества, которые были, которые до сих пор не изучены. Существуют только отдельные фрагменты. У меня, например, одним из таких фрагментов в изучении является ранняя работа В.О. Ключевского «Добрые люди древней Руси». Абсолютно классическая работа, всем здесь известная. Но как элемент, такое исследование того, что у нас было. Элемент очень значимой парадигмы, который, может быть, актуален сегодня.

В.П. Макаренко: Разрешите высказаться по общему вопросу. Одна из целей деятельности нашего Центра состоит в том, чтобы привлекать в Ростов-на-Дону возрастную когорту 40-45-летних ученых. Илья Кукулин — блестящий представитель той крохотной части поколения, которая в 1990-е годы в сфере гуманитарных наук, одной из самых махровых советских сфер, — когда в там называемом «российском обществе» возник полный швах и полный крах — за 10-15 лет сумела выйти на международный уровень. Здесь несколько раз был Антон Олейник — российско-канадский и канадо-российский экономист, социолог, политолог. Илья Кукулин также принадлежит к этой когорте. Независимо от обстоятельств эти люди сделали себе имя в международной науке. Они пробились сквозь асфальт. Эти крохотные былинки уже стали деревьями. Мне чрезвычайно приятно, что я могу здесь сослаться на то, что в армии называется принцип сержанта: «Делай, как я». На мой взгляд, все присутствующие здесь (особенно молодежь) должны учиться у этих 40-45-летних коллег, поколение которых представляет Илья Кукулин. Мне это чрезвычайно радостно, это вдохновляет. Мы можем только восхищаться, когда приходит другое поколение, когда видишь таких зубастых, энергичных, прекрасных, интеллектуальных ребят. Ведь в Ростове (как и везде) махровой публики с претензией на интеллектуализм тоже хватает. А коллегам из моего поколения я хотел бы напомнить строчки Ильи Сельвинского:

> К чему нам ум церковных старост,
> Рачительных и грузных бирюков?

Большое спасибо, Илья Владимирович! Одновременно обращаю внимание на совпадение ума церковных старост с поведением волков…

А.Н. Ерыгин: Начавшаяся презентация работ интересна сама по себе. Необходимо вникнуть, внимательно изучить эти работы, это само собой ясно. Но я соединил выступление Ирины Игоревны с выступлением Юрия Сергеевича, поскольку они представляют россиеведческий подход. Они дают один взгляд и представляют другое поколение. Действительно, международные и новые имена молодого поколения — это хорошо и просто замечательно. Но хорошо бы не забывать и замечательное старое. Потому что оно также имеет свой международный и всякий иной вес. А в науке, по хорошему счету, не имеет значения, сделано или не сделано имя в науке в официальных структурах. Сегодня оно предстоит в скромном каком-нибудь мальчике, который что-то здесь скажет, а нам всем: и старым, и средним, и совсем молодым; придется к этому отнестись иначе.

Ситуация приобретает проблемный, теоретический характер двух представленных различных новаций в области изучения России. Подход Юрия Сергеевича и Ирины Игоревны представляет нам некоторый наднациональный, надцивилизационный подход, в рамках которого Россия мыслится как целое — исторически и во всех своих проявлениях. Мне особенно импонирует у Юрия Сергеевича тот аспект, где свободная человеческая воля показывает себя как основное направление, которое в человеческой жизни все-таки есть. Есть оно — есть и человеческая история. Нет ее — все объективные наши процессы можем бросить на свалку, нам они окажутся ненужными.

Илья Владимирович говорит очень интересно о внутренней колонизации России. У него были предшественники в области исторической географии, исторической науки. Я в данном случае говорю о нем как представителе этой группы. Но возникает вопрос. Есть новые неиспользованные модели, близкие к тому, о чем он говорил. Виктор Павлович будет делать доклад, не знаю, скажет он о них или нет. Напомню о модели первичной географической экспансии, которые использовал М.К. Петров. Он не использовал слова «колонизация», зато приоткрыл немного большее понимание. Стоит убрать слово «внутренняя колонизация» и сказать о каких-то миграционных процессах и темах управленческих практик. Соотношение высших и нижних, попыток восстановить империю, вооружиться против нее, — они как-то повисают в воздухе. Но главное — повисает в воздухе та исходная модель, в силу которой Россия берется не как целое, а как фрагмент, часть, например, как внутренняя колонизация. А потом от нее плясать, выходить на Англию, Францию, на что-то другое колониальное; сравнивать, противопоставлять, говорить о разнообразии. О том, что впереди много возможностей для изучения. Все прекрасно, кроме одного.

Возьмем простой факт, который уже прозвучал. Юрий Сергеевич раньше прореагировал на слова Гаспарова о России без Возрождения, но России с Иваном Грозным. Во-первых, даже России с Иваном Грозным менее полутысячи лет. Если вся концепция, которую мы увидели в этой книге, полезна и ценна в своих частных проявлениях, представляет нам эту Россию, то так и надо говорить. Что это взгляд на какую-то Россию, избранную, отделенную от России. А другая Россия насчитывает более полутысячи лет. И эта Россия не фигурирует. Стыковка как раз-таки этих двух Россий и происходит в эпоху Грозного. Но как блестяще показал Леонид Баткин, и в Европе Возрождения не было. Настоящее Возрождение было только в Италии. Весь комплекс его работ и работ его школы направлен на обоснование этой идеи. Я хочу напомнить, что не только у России не было Возрождения, его не было и в Европе. Если его не было и в Европе, то это уникальный исторический тип. Если это уникальное явление, то как мерить такие же уникальные вещи посредством этого? У России не было такого Возрождения. Но давайте пригласим сегодня специалистов по истории, истории русской философии, специалистов по древнерусской культуре. Если хотя бы один из них услышал, что здесь говорится, они бы ахнули от научной необразованности всего того, что здесь звучит. Как это в России не было Возрождения? Много работ показывает, что возрожденческие элементы, тенденции, линии были и в Белоруссии и в Украине. Это, так сказать, внешняя привязка, не надо жестких радикальных высказываний. Не было — было; в какой степени — в слабой. Но было, это в науке доказано. А было ли что-то аналогичное Возрождению в смысле значимости культурного социального мировоззренческого явления в России? Это Возрождение иного рода. Разве этого не было? И разве соответствующая культура, разве Рублевская троица не появилась? Так чем же это Возрождение хуже того, которое было в Италии? Да ничем. Оно не хуже и не лучше. Оно — наше русское Возрождение с восточно-христианским оттенком, восстанавливающее личность в ее полноте и ценности.

Из двух подходов, в этих книгах обозначившихся, мне явно импонирует россиеведческий общетеоретический подход, очень мягкий, очень научный в строгом смысле этого слова, допускающий множество всяких вариаций, без жесткого настаивания на каких-то восточных, западных, евразийских вариантах. Он больше обеспечивает наднациональный, надцивилиза-

ционный взгляд на Россию как целое в ее исторически-временной и содержательно-культурной полноте, чем подход фрагментарный, выбирающий из России что-либо и выставляющий его как важную метафору. Она ценна и многое здесь было сказано великолепно, под многим можно подписаться. Но как крупная теоретическая модель для понимания России — это явно вещь другого рода, не допускающая общего взгляда на Россию.

В.П. Макаренко: Юрий Сергеевич, Илья Владимирович, вы будете отвечать на эти возражения?

Ю.С. Пивоваров: Нет. Главное, чтобы другие говорили.

В.П. Макаренко: Прекрасно, что все завязалось и заполыхало. Надеюсь, это превратится в ровный пожар, на который стоит посмотреть. Турецкий писатель Орхан Памук пишет, что он любил смотреть, как полыхают ветхие дома старого Стамбула. Это было целое культурное явление в этом городе — ходить любоваться на пожары. Но как говорил мой студент: «А нищим пожар не страшен, взял котомку и пошел в другую деревню». Разрешите предоставить слово Сергею Алексеевичу Денисову, Екатеринбург, Россия, Гуманитарный университет. Должен сказать, что мы с Сергеем Алексеевичем коллеги. Он тоже занимается изучением бюрократического или административного общества, написал интересную книжку, которую я целиком, к сожалению, еще не проштудировал, но непременно это сделаю, спустя некоторое время. Хочу также напомнить, что в ноябре месяце у нас из Екатеринбурга была Елена Германовна Трубина — главный докладчик на семинаре «Город как объект теории». Постепенно завязываются теплые связи с Уралом.

С.А. Денисов: Я вынужден сделать маленькую поправку, мы с Виктором Павловичем не очень договорились. Я не смогу представить издания в сфере гуманитарных наук Урала. Расскажу о трех книгах, которые написал. Первая называется «Административизация правовой системы. Влияние обособленных управленческих групп на правовую систему общества». Вторая — «Общая теория административного государства», обе вышли в 2010 году. Все издано в Екатеринбурге, в нашем гуманитарном университете, который я представляю. Хочу пояснить, зачем они нужны. Я юрист по образованию, в юриспруденции есть теория государства и права. Объект ее исследования самый широчайший, происхождение правовой системы государства, начиная с самых основ до современных явлений. Отсюда ясно, какое разнообразие обществ, государств, правовых систем надо оценить. Ни один историк с этим не справится. Это такой очень абстрактный и поверхностный подход, когда все огромное многообразие надо очень сжато описать. И возникает проблема: как мерить будем?! Какими единицами будем измерять все это многообразие, чтобы его описать и структурировать? Я хотел вспомнить старый советский мультфильм, там удава мерили слоненками либо попугаями. И я бы хотел обратить внимание на то, что само измерение имеет ценность. Помните, удаву понравилось мерить себя в попугаях, он сказал — «я буду гораздо длиннее так, в попугаях». Всем известна старая советская попытка поделить все многообразие по формациям — рабовладельческой, феодальной, буржуазной и социалистической. При таком делении получалось, что советское общество, о котором мы сегодня говорим, гораздо длиннее. Она оказывалось на вершине цивилизации. Такое измерение имело идеологический вывод. Когда формационный подход зашел в кризис в 1990-е годы, возник опять вопрос: как мерить? Историки сказали, что великих рабовладельческих государств не бывает, все это выдумки марксизма.

Здесь я начинаю впадать в психологизм. Как говорят женщины, «я отдала тебе лучшие годы своей жизни». А я лучшие годы своей жизни был чиновником — в армии и после армии. То есть, в лучшие годы моей жизни я был чиновником, всегда представлял этот социальный слой. В науку я пришел в 1980-е годы, когда появилась работа Виктора Павловича о бюрократии. Это соединилось: моя классовая принадлежность к чиновникам и его книга. И я подумал: а давайте попробуем померить все это многообразие по тому, какое место в определенном обществе и в правовой системе государства занимает управленческий слой. Получилась примитивная дихотомия. Бюрократия — это социальная прослойка, которая служит бур-

жуазии, что наше поколение хорошо знает. Другая противоположность получается там, где управленческий слой возвышается и превращается в самодержавный. Жалко, что нет доски, я бы представил эту дихотомию. Я делю это пополам. С одной стороны, у нас управленцы превратились в господствующий класс, выше их нет ничего. А в западном обществе управленцы всего лишь социальный слой. Дальше я использую диалектико-материалистический подход, воспитан на марксизме. И буду достраивать эту систему. Откуда она берется? Берем экономику: за счет чего господство управленцев у нас? За счет государственной собственности. А в западном обществе господствуют частные собственники. У нас в административном обществе получается распределительная система; в капиталистическом — рынок, конкуренция и т.д.

У юристов есть понятие народ, который не может быть сувереном как субъект власти. В административном обществе нет народа, есть население, занимающее определенную территорию. Это масса, которую ведет управленческая элита. При капитализме появляется гражданское общество, которое контролирует бюрократию через политиков, через выдвиженцев, и подчиняет ее себе. Следующий показатель: административное общество порождается административным государством, которое всегда недемократическое. Оно не может быть демократическим, потому что над всеми и ведет всех. Мы говорим, что современный Запад — это частнособственническая демократическая система. Но я думаю, это необязательно. Пиночет показал, что частнособственническая система может быть недемократической. Тут различия в надстройке уже получаются. Административное общество порождает административную и правовую систему, которая служит управленцам. Юристов здесь, наверное, нет, я не буду рассуждать о ней. Общими чертами в романо-германской правовой системе были частное право и публичное право. В административном обществе развито публичное право. Если кто-то помнит ленинские слова в письме, которое юристы наизусть изучали раньше: нет ничего частного у нас, все публичное. Вот одна сторона. С другой стороны, в частнособственнических системах, наоборот, развито частное право, гражданское право. Публичное там в подчинении у частного права. Вот такая дихотомия получилась.

Понятно, что это веберианские модели. Это не реальность, это дихотомия, черное и белое, север и юг получается. С помощью этой дихотомии можно описать весь окружающий мир, неважно — Китай, Голландия или еще что-нибудь. Оно либо черное, либо белое; либо административное либо частнособственническое. В этом многоцветном мире могут быть какие-то пропорции, присутствовать та или другая модель, усиление одной из них. Если мы возьмем сегодняшнюю Америку, то там, в первую очередь, сильны частнособственнические моменты, но административные элементы тоже присутствуют. А если возьмем Россию, то все согласятся, что здесь всегда будет дихотомия. Но за исключением истории, тут уже нужны факты. Что было с Киевской Русью? Какой там элемент присутствовал — частнособственнический, купеческий, которому надо было караваны водить по рекам или княжеский? Я не историк, но все-таки думаю, что частнособственнический элемент там присутствовал. А если верить сведениям, что князей пригласили для того, чтобы они просто помогали решать частнособственнические вопросы? Потом получается усиление княжеской власти, явный пошел уклон в административную сторону. Новгород и Псков откололись и представляли частнособственническую систему, то есть, там были все элементы. Московская Русь уже административная, мы сейчас говорили о колонизации, об особом положении управленцев, которые уже ведут страну. И Ключевский говорил, что они строили под себя свои княжества, приглашали население с юга. Господство административного элемента явно усилилось. Если кратко пробежать по истории России, то с помощью этой дихотомии легко сказать, что февраль 1917 года — это попытка уйти в частнособственническую систему. Далее большевики создают классическую и даже развитую административную систему и советское общество. Что такое Ельцин? Как можно сказать сейчас, это неудачная попытка перейти к частно-

собственнической системе. Что такое путинское государство? Попытка вернуться к административной системе.

Модификации подвидов этой системы могут быть самые разнообразные. Я читал выступления докладчиков на предыдущих конференциях, Ирина Игоревна говорила там о «дворцовом обществе». Она сравнивала его с петровским государством. Петровское государство — это для меня административное государство, которое мобилизует все население на решение задач. А дворцовое государство имеет тенденцию к частнособственническому государству. Когда дворяне превращаются из служивых людей в частных собственников, хозяйственников.

Дальше обращу внимание на следующее. У меня внутри две тенденции. С одной стороны, я как гражданин имею определенное мировоззрение и какое-то чувственное отношение, а как исследователь я считаю, что ни в коем случае нельзя сказать, что одна система хорошая, а другая — плохая. Если вспомнить идеи Маркса об азиатском способе производства, то это фактически административное общество. Административное советское государство, особенно 1960-70-х годов напугало весь мир и показало, что административная система может модернизироваться, а не является застойной. Маркс сказал, что с административным обществом и государством можно покончить. А оно вылезло в большевистской модификации, под прикрытием марксизма. И напугало весь мир. В 1960-70-е годы американцы испугались, пол Азии было на стороне СССР. Фукуяма говорил о «конце истории», что закончилось административное государство. Но посмотрите сегодня на Китай, которого уже опять все боятся. Китай — это административное общество и государство, он всегда был таким, никогда частнособственническим не был. До ХУ1 века Китай показывал свою экономическую эффективность и мощь. И сейчас известно, чем закончится. Конечно, мы говорим: у них кризис будет, им плохо будет. Это нам так хочется, посмотрим, как на самом деле будет.

Фактически получается, что история дает как бы две модели, борющиеся между собой, которые по-разному решают одни и те же проблемы. Например, Запад решал проблему индустриализации своим экстенсивным путем, через частную собственность; Россия — своим путем, путем давления на крестьянство, мобилизации всех и вся на решение данной проблемы. И для того периода это решило проблему. Китай сегодня тоже решает своими гибридными методами, когда на административное общество прививается частнособственническая система. Под колпаком у компартии, пожалуйста, занимайтесь своим предпринимательством. Голову мы отрубить в любое время можем, как курице.

Подхожу к завершению. Я административные общества иногда сравниваю с фермерским хозяйством. Вот ферма, которая с утра пашет на свиней и коров, заботится о них, убирает за ними навоз и несет им пищу. Кто здесь хозяин, кто кому служит? — непонятно. В административных системах также сложно понять, кто кому служит. Видимо, я не очень понятно рассказал, но я думаю, будет повод почитать. Все эти книги я отдаю Виктору Павловичу, они будут в библиотеке, а Виктор Павлович мне что-нибудь свое подарит.

(*Продолжительные аплодисменты*)

В.П. Макаренко: К нам пришла Марина Александровна Боровская, наш уважаемый ректор (*Аплодисменты*). Пожалуйста, Марина Александровна, как вам удобно, сидя или стоя.

М.А. Боровская: Большое спасибо! Я стоя, потому что с большим почетом и уважением отношусь к сегодняшнему мероприятию. И знаю, что сегодня день политолога, да?

В.П. Макаренко: Не исключено…

М.А. Боровская: Правда же? Сегодня с утра в новостях по радио «Маяк» было сказано, что сегодня день политолога. Честно говоря, я впервые слышу, не знала.

В.П. Макаренко: Значит, впервые празднуют.

М.А. Боровская: Правда?! Вот видите. Я тоже очень удивилась, в первый раз слышу. Понимаю, что сегодняшнее мероприятие было запланировано и укладывается в этот день. Наверное, будет и задача поддерживать этот праздник регулярно. Надеюсь, что сегодняшняя

конференция сможет обрисовать для научного сообщества те задачи и идеи, которые мы могли бы реализовывать на практике. Мы понимаем, что советский период жизни России имеет целый ряд системных важных и серьезных решений. В результате длительного советского периода развития нашего государства поменялась не только система управления, но и система организации. Это позволило изменить подходы в мировом сообществе. Поэтому то, что делают коллеги сегодня, обсуждая этот опыт и пытаясь выбрать для изучения и анализа те подходы в социальных системах и в управлении социальными системами, — мне кажется, что это серьезное, хорошее, комплексное исследование. Не надо забывать достижения и завоевания, которые в разные периоды жизни были в экономике и в социальной системе нашей страны. Формируя и развивая опыт для решения новых задач, мы должны опираться на системные решения, которые были в нашей стране. Я хочу сказать сегодня, что и система образования, проходя новый путь модернизации, тоже нуждается в качественном и грамотном отборе тех решений, которые были в советской системе высших школ. Этот отбор заставляет серьезно задуматься о том, как решаются сегодня проблемы качественного образования. Действительно, пришедшие в систему российского образования методы ЕГЭ и другие методы, — улучшили ли они систему российского образования? Мы понимаем, что попытка примерить на себя опыт других систем — это не лучшая практика. Нам важно осознавать это. Любая модернизация и обновление должно начинаться с серьезного изучения опыта прошлого, чтобы действительно улучшать эту систему. Помимо научных заслуг и успехов вы связаны с подготовкой молодых кадров. Поэтому надо внимательно относиться к системному представлению знаний, которые мы доводим до молодежи. Я надеюсь, что во всех сферах науки и образования научные коллективы постепенно подойдут к тому, что учебно-методическое обеспечение тоже должно быть системным. Мне бы хотелось, чтобы учебники, по которым будет обучаться молодежь, были сформированы мощным научным коллективом и научным сообществом, которые действуют в соответствующей сфере. Я надеюсь, что решения вашей конференции будут исполнены в течение года. Хочу пожелать вам такого совместного системного изучения, которое можно будет ввести в учебный процесс. Может быть, историкам есть смысл сделать историю Юга России, которая будет основываться на научных фактах? Думаю, в обществе социологов и политологов такие решения тоже не помешают. Неплохо было бы взвесить весь советский опыт и совместно изложить его в учебно-методических трудах и изданиях для молодежи. Мне кажется, это будет серьезным результатом вашей сегодняшней конференции и вашего комплексного опыта. Я благодарю Александра Георгиевича Дружинина и Виктора Павловича Макаренко за приглашение на эту конференцию и ее организацию. К сожалению, я не смогла услышать пленарную часть докладов, но надеюсь, что я смогу познакомиться с материалами, которые у вас появятся. Благодарю всех, желаю вам успешной работы и хочу, чтобы ваши решения были ориентированы на процветание и развитие нашего будущего. Спасибо!

(*Аплодисменты*)

Ю.С. Пивоваров: Очень важную вещь сказала Марина Александровна по поводу истории Юга России. Я председатель экспертного совета ВАК по истории. Президент РФ тоже поставил перед нами — людьми, имеющими отношение к исторической науке, — задачу написать учебник. Сейчас идет дискуссия, я не буду касаться этой темы. Наверное, учебник будет создан. С одной поправкой, безусловно, регионы России, республики должны иметь то, о чем говорите вы. Один единый учебник истории будет сначала касаться школы, а потом, надеюсь, и до ВУЗов дойдет. Но один общий учебник от Владивостока до Калининграда не сработает. Так что ваш ректор высказывает очень важную точку зрения. Я буду ссылаться на мнение ректора одного из семи федеральных университетов (*Аплодисменты*).

Н.С. Авдулов. Виктор Павлович, вы очень ценные рекомендации высказали. Как нам надо учиться и подходить к изучению нашего прошлого. К вашим рекомендациям я всегда прислушивался. Но есть еще рекомендации. Для меня лично важными являются подходы и

работы по истории советского периода Вадима Кожинова. Прежде чем изучать прошлое, надо хорошенько изучить источники, подвергнуть их критическому анализу. У нас в университете этим занимается известнейшая школа профессора Пронштейна. Я думаю, что такого подхода и наследия больше нет нигде. Полагаю, что эту школу забывать нельзя. Второй этап — это историография. У Кожинова дается перевод всех известных на то время течений, школ, направлений, мыслей по этому вопросу. Разбор этих направлений детальный, с чем он согласен, с чем не согласен. Затем он на основе источников формирует свое понимание, не претендуя на абсолютную истину. Когда мы обсуждаем ту или иную тему, то складывается впечатление, что здесь больше игры ума. И мы представляем продукты игры ума, а не результат изучения источников вчерашнего дня, других концепций, из которых вырастает какое-то приближение к истине. Поэтому такие встречи полезны, нужны, необходимы. Пусть даже здесь много игры ума, но они обостряют наш ум (*Аплодисменты*)

В.П. Макаренко: Конечно, Кожинов — авторитет, но стулья ломать не надо. Здесь есть профессиональные историки, которые смогут мастерски возразить тем концепциям, которые развивает Кожинов. В том числе сказать о его способе анализа источников и выводах из этого анализа. Пусть об этом скажут сами историки в своих докладах. Большое спасибо за одно из предложений, толкающее нас в сторону концепций Кожинова и подобных ему «спецов». Но на таких «спецов» надо завести племя своих «спецеедов», если воспользоваться жаргоном сталинского времени. Есть же различные подходы, о чем прекрасно говорит и пишет Илья Владимирович в своих выступлениях и статьях.

Теперь разрешите приступить к **первому заседанию**. Посовещавшись между собой, мы определили следующий порядок: вначале выступает Виктор Макаренко, затем Илья Кукулин, а затем Юрий Пивоваров. Такой порядок. Но мы постараемся несколько его…

А.Н. Ерыгин: …нарушить…

В.П. Макаренко и Ю.С. Пивоваров (*в унисон*): Наоборот! (*Общий смех*)

В.П. Макаренко. ***Эффект ретроспективы и проработка советского прошлого: эвристический потенциал концепции М.К. Петрова.***

Термин «эффект ретроспективы» принадлежит М.К. Петрову, а термин «проработка прошлого» выработан в дискуссиях германских мыслителей и историков для описания определенного отношения к нацизму. Начну с Петрова.

В 2011 году я выпустил книжку «Научно-техническая контрреволюция: идеи М.К. Петрова как источник мысли». В феврале 2012 г. было обсуждение книжки. Я работаю дальше. Написал новые главы. Фрагменты из них образуют содержание моего доклада.

Если верить Маяковскому, проблема проработки советского прошлого наступила на второй день существования советской власти. В поэме «Хорошо» есть строчки:

> Ленты по мосту вызмеив
> Гонку свою продолжали трамы
> Уже — при социализме.

Поэт описывает ситуацию, которая сложилась на следующий день после штурма Зимнего дворца. Значит, Маяковский работал в предположении, что смена всего социального бытия следует за переходом власти из одних рук в другие. Хотя многие свидетели этих событий писали, что никто не заметил перехода власти из рук в руки. Присутствующие здесь историки могут это подтвердить. Есть и особая проблема: насколько поэт Маяковский был искренен в своем восприятии этого события десять лет спустя, т.е. тогда, когда советская власть уже укрепилась?

Но я на этом останавливаться не буду. Здесь сидит литературовед, пусть он выскажется, если сочтет это достойным внимания. Историография прошлого, в том числе советского,

неисчерпаема. И в обозримом будущем она будет пополняться. Ждать единомыслия или надеяться на него бесполезно. В этом я вполне солидарен с Ильей Кукулиным. Но без определения позиции в этой бесконечной дискуссии не обойтись. А поскольку я — патриот Ростова-на-Дону, постараюсь положить свой кирпич в углубление творческой связи между ростовчанами и москвичами.

Михаил Константинович писал об эффекте ретроспективы, который существует во всех очагах культуры на любых уровнях и в любых формах знакового общения. Эффект ретроспективы — это комплекс ограничений человеческого знакового общения, которое относится к объяснению или социализации. Акт общения не обладает однозначностью и вероятностью восприятия нового именно в том смысле, в котором ему хотел сообщить объясняющий. Вот Илья Владимирович вынужден был разъяснять, что он имел в виду. Этому было посвящено определенное время. Возникло как раз то явление, о котором писал Петров. Прошлое не обладает однозначностью, это современники пытаются приписать ему это качество. При анализе эффекта ретроспективы надо искать опоры на слова-предшественники, включая всю глубину текста и учитывать глубину оперативной памяти (7 плюс минус 2 знака, больше мы не в состоянии запоминать). Все истории пишутся с ориентацией на пики цитирования. Революции завершаются переписыванием истории в рамках новой парадигмы и в ее терминах. Интерпретация истории дисциплины видит в прошлом то, чего там не было. Все дисциплины накапливают знания, не считаясь с ментальными ограничениями человека. Таковы основные моменты эффекта ретроспективы.

Моя задача — выявить в творчестве Петрова сюжеты, важные для применения эффекта ретроспективы в проработке советского прошлого. При этом я буду исходить из иронического определения Петровым философии как иллюзии эффекта ретроспективы. Философия — это неиссякаемый и слабопарадигматизированный фонтан меняющихся слов вокруг неизменных и вечных проблем. Вот этот «фонтан слов» я превращаю в рабочую метафору анализа.

Прежде всего сошлюсь на недавно опубликованные записки известного писателя-ростовчанина Виталия Семина. Как-то мы затрагивали эту тему, когда ехали в автомобиле с Юрием Романовичем. Повесть Семина «Семеро в одном доме» мало уже кто помнит. Когда она была опубликована в «Новом мире», я служил в армии. Тогда же я ее прочел в первый раз и навсегда этого писателя полюбил. Сергей Чупринин, бывший выпускник РГУ, а теперь главный редактор журнала «Знамя», в предисловии к запискам Виталия Семина пишет, что в советской провинции жилось гаже, чем в столице. Он имеет в виду Ростов-на-Дону как раз в то время, когда здесь работал Михаил Константинович. Чупринин пишет: «Удушать таланты здесь умели так, что никто даже и предсмертного хрипа не услышит». И вот В. Семин описал вонючую среду в ростовской писательской организации, а также разборы персональных дел в партбюро КПСС РГУ. Попутно дал портрет Ю.А. Жданова, который вы (*обращаясь к С.А. Кислицыну*) почему-то не учли в своей книжке о Жданове. Интересна характеристика известного советского философа Ю.А. Жданова не менее известным советским писателем В. Семиным. Я ее воспроизводить сейчас не буду, это займет много времени. А резюме сообщу.

Ю.А. Жданов принадлежал к советскому идеологическому аппарату. В постсоветское время он упорно защищал все сталинские шаблоны мысли и поведения. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы один раз прочесть книжку Жданова «Взгляд в прошлое: воспоминание очевидца». Кто-то из университетских мне сказал: «Это не взгляд в прошлое, это взгляд из прошлого». В этом есть большая доля правды. Поэтому я думаю, что стоит прислушаться к Виталию Семину, его характеристике Жданова. К тому же Жданов многократно заявлял и писал о себе как о гегельянце. Но вдвойне интересно, как советский писатель воспринимал советского философа. Жданова приглашали в Ростовскую писательскую организацию, он там делал доклады, проводил какие-то беседы. И вот восприятие писателя, причем это было на-

писано по свежим следам. Писатель Виталий Семин определяет ум философа Жданова как множество свойств.

Первое — отсутствие чувств, второе — машинный язык, третье — повествование с апломбом о банальных вещах. Четвертое — квалификация высказываний советских вождей (в данном случае изречений Сталина) как гениальных истин. Пятое — использование анекдотов или, как я их называю, историй из бюрократической рутины, для убеждения слушателей. Шестое — отрицательная квалификация писателей и поэтов (Жданов имел в виду Солженицына и Мандельштама), репрессированных советской карательной машиной, а также продуктов их творчества и героев их произведений. Седьмое — злопамятность под видом идеологической чистоты. Восьмое — дегуманизация трудов классиков мысли и философских категорий. Девятое — пренебрежение к людям и бытовым условиям их жизни. Наконец, стремление выглядеть демократом.

Думаю, каждый может согласиться или не согласиться с этой характеристикой, дополнить ее или пожать плечами. Но вряд ли стоит недооценивать значимость высказываний Сергея Чупринина, Виталия Семина и Юрия Жданова для извлечения нехитрого следствия: общие типы советских людей (описанные в работах Левада-Центра) существовали и в Ростове-на-Дону, в РГУ и среди коллег Петрова по философскому цеху. Такова первая предпосылка.

Вторая предпосылка для ответа на вопрос является творчество самого Петрова[3]. В его повести «Экзамен не состоялся» скрыта главная идея повести: советская идеологическая система в три раза хуже идеологии Победоносцева. Возникает вопрос: не являются ли члены этой системы трижды Победоносцевыми? Этот вопрос ориентирует на определенную оценку, как минимум, трех явлений: идей самого исторического Победоносцева; идей советской философии; моды на ностальгию за советским прошлым, которым переполнены нынешние средства массового оглупления. Так бывший консультант ЦК КПСС и выпускник РГУ А. Бовин предлагает называть нынешние средства массовой информации.

В этом смысле повесть Петрова злободневна, поскольку позволяет описать ряд явлений сегодняшнего дня *(Аплодисменты)*.

И.В. Кукулин. Методологические проблемы применимости термина «проработка прошлого» к обсуждению советской истории.

Термин «проработка прошлого» — это перевод немецких слов Vergangenheitverarbeitung, которые выработаны для другой ситуации, для оценки прошлого в послевоенные годы в Западной Германии. Когда мы говорим о переносе данного термина, возникает процесс корректинга. Подобные вопросы возникали много раз. Например, когда российские ученые или ученые из других культур обсуждали с помощью аппарата теории феминизма ситуацию с положением женщин, женскими репрезентациями в современном российском обществе и т.д. Это не раз порождало реакции такого рода: «Выработанные на Западе методы неприменимы к российской действительности, ибо Россия совсем другая». Я думаю, иллюзия полной инаковости России весьма преувеличена из-за долгой принудительной научной изоляции. Причем, изоляция не была полной, но достаточной для того, чтобы затруднить методологический обмен.

Существуют обширные дискуссии о том, применимы ли выработанные в англоязычной среде методологические подходы к Франции и Британии. Эти дискуссии плодотворны, так как помогают понять меру универсальности понятий и методов. Я имею в виду первую часть сегодняшнего заседания, когда обсуждались те ассоциации, которые влечет за собой применение английского термина state к немецкому Staat. Именно поэтому в последние годы большое значение приобрела история понятий, разработанная великим немецким историком Райнхартом Козелеком и его учениками. Мне кажется намного плодотворнее обсуждать его

[3] Дальнейшее содержание доклада В.П. Макаренко уже опубликовано в журнале. См.: http://politconcept.sfedu.ru/2013.2/10.pdf

разработку, чтобы не ругаться о применимости или неприменимости к России концепций, выработанных в других странах. Надо вести именно разговор о том, в чем применимы, а в чем неприменимы эти понятия к России. И таким образом корректировать концепцию Козелека. Это позволит нам, российским исследователям, включиться в международный диалог о жизненно важных вопросах современного мира. Включиться не только научно, но и социально-нравственно.

Концептуальной основой моего сегодняшнего доклада являются две концепции: 1. Работы французской исследовательницы Барбары Кассен по историко-политической риторике. Они не переводилась на русский язык. Но появилась первая ласточка — перевод ее небольшой статьи на сайте gefter.ru. 2. Работы современного германского историка Лутца Нитхаммера, одного из пионеров устной истории в Германии и во всем мире. Я искренне рекомендую всем присутствующим — историкам, политологам и социологам его работу «Вопросы к немецкой памяти».

В настоящее время в научном сообществе обсуждается вопрос о том, что делать в научном и нравственном смысле с травматическими, шокирующими или катастрофическими эпизодами советского прошлого, с памятью о репресиях, ГУЛАГе. Сама постановка этого вопроса встречает сопротивление со стороны нынешних политических элит. Например, министр культуры не раз высказывался о том, что не надо было его ворошить. Правда, до назначения министром он был депутатом Государственной думы. И высказывался в том духе, что «вы еще вспомните, что было при Иване Грозном». Президент России Владимир Путин тоже не раз говорил, что не надо нам навязывать комплекс вины. В этом и проблема: что происходит с комплексом вины, зачем вспоминать про травматические эпизоды, как работать и как не работать с термином «проработка прошлого»?

Я бы хотел поставить эпиграфом такого обсуждения строфу из давней песни барда Ю. Кима.

Зачем былое ворошить?
Кому так легче будет жить?
Новое время по нашим часам!
Пойдем лучше в гости:
У наших соседей
Родился чудный мальчик!
Назвали — Чингисхан.

Прежде чем непосредственно обсуждать применимость термина «проработка прошлого» надо проговорить терминологические и методологические ограничения. Использование или неиспользование тех или иных терминов всегда имеет методологические коннотации. Я предпочитаю не использовать слово «народ» иначе как в этнографическом смысле, так как в российском политическом языке оно слишком мифологизировано и принудительно наделено возвышенными коннотациями. Они были хорошо спародированы в стихотворении Дмитрия Александровича Пригова

Народ он делится на не народ
И на народ в буквальном смысле
Кто не народ — не то чтобы урод
Но он ублюдок в высшем смысле
А кто народ — не то чтобы народ
Но он народа выраженье
Что не укажешь точно — вот народ
Но скажешь точно — есть народ. И точка

Еще один опасный термин — «свидетель эпохи». Это специально анализирует Нитхаммер. В его книгу включено интервью российской исследовательницы Щербаковой, члена общества «Мемориал». Нитхаммер говорит: сам термин «свидетель эпохи» лишает нас права на критическую оценку. В большинстве передач на историческую тему то, что было на глазах очевидцев, подается как непреложная истина. Специалист-историк оказывается как бы и не нужен. Телевидение вечно все упрощает, но меня не оставляет ощущение, что выпихивание на первый план очевидца мешает нашей работе. Потому что в результате такой человеческой памяти предстает в весьма примитивном виде. В наших исследованиях мы всегда стремились показать, что память по своей природе не обладает единством. Что у нее много разных функций, помимо собственно запоминания. Что при работе с ней некоторые функции памяти следует рассматривать комплексно, а в некоторых случаях даже противопоставлять друг другу. Значит мы имеем дело не со свидетелем эпохи, а с участником истории, взгляд которого всегда опосредован теми событиями, теми поступками и той самооценкой, которую он давал себе именно как участнику событий. И сейчас важно об этом говорить, потому что мы видим, почему не верна мысль о неких «свидетелях эпохи».

Прошлое имеет свойство не кончаться, оно рядом с нами. Подобные явления есть и в Германии, а в России мы их видим на примере споров о Сталине. Например, когда общественный фонд, организованный крайне правым политическим деятелем Виктором Логиновым, запустил в разных городах России «сталинобусы» — автобусы с изображением Сталина. Или когда ставится вопрос о переименовании находящегося здесь неподалеку Волгограда. При этом опросы Левада-Центра показали, что респонденты, которые даже высказывают положительное отношение к Сталину, не хотели бы жить при Сталине. Очевидно, Сталин выступает здесь в роли фигуры, интегрирующей некие смыслы. Какие? Это требует исследования. Но уже ясно, что эта символически интегрирующая фигура влечет за собой и определенное представление о том, как можно людьми управлять, что можно с людьми делать в интересах той или иной идеологии. Поэты-шестидесятники много говорили, чтоб Сталин не встал, но за Сталиным прошлое (Стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина»).

Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить,
утроить у этой плиты караул,
чтоб Сталин не встал
и со Сталиным — прошлое.

О том же писал Чичибабин. Но сейчас ассоциация такого рода менее актуализирована в общественном сознании.

В.П. Макаренко: Сейчас, наверно, уже никто не знает Чичибабина. *(Обращаясь к аудитории)* Не знает? Где он родился и жил?

Ю.С. Пивоваров: В Харькове.

В.П. Макаренко: Вот видите, только мы с вами, наверное, и помним…

И.В. Кукулин: Существует очень важный тест, который, скорее, известен специалистам в области истории психологии, нежели истории политической мысли. Это интервью знаменитого немецкого психолога Густава Юнга, которое он дал через три дня после капитуляции Германии. Оно было опубликовано в газете Die Weltwoche 11 мая 1945 года. Это интервью вызывает сегодня смешанные чувства. Ведь Карл Густав Юнг на протяжении многих лет поддерживал германский нацизм, и только в конце войны начал его резко осуждать. Несмотря на такой поворот позиций, в этом интервью он высказал глубокую мысль. Его спросили, что будет с Германией. Что будет с обществом? От отвечал так: У меня лечатся два больных невротика, они явные антинацисты, и говорят, что за всей благопристойностью еще жива нацист-

ская психология со всей ее насильственностью и жестокостью. И он говорит, что предстоит изгнание бесов из послевоенной Германии. Что такое изгнание бесов? Дело в том, что — говорит он — нацистская пропаганда описывала русских и вообще противников Германии как людей невероятно жестоких и иррациональных. Действительно, работал такой механизм психоанализа, как проекция. Это приписывание противникам Германии тех, как выражался Юнг, «демонов», которые существовали в общественном сознании. Сейчас очень важно, говорил Юнг в этом интервью, избавиться от ощущения немцев как жертвы. Оно стремительно формировалось в последние годы войны из-за того, что на территории Германии уже шла война. С востока — советские войска, с запада — войска союзников, а сверху непрерывно бомбила авиация. От этого возникло ощущение жертвы, причем жертвы невинной. Немцы считали, что виновата партия, а не армия и не немецкое государство. Предстоит изгнание бесов и признание себя связанными со всем тем, что произошло, говорит Юнг. Эта связь должна нам помочь и только через эту связь, через это понимание того, что все общество оказалось поражено этой виной, мы можем как-то исцелиться.

Но что тут важно? Виктор Павлович упомянул работу Карла Ясперса «Вопрос о виновности». Это курс лекций, который был прочтен в Гейдельбергском университете в 1945-1946 годах. Самое главное, что интервью Карла Юнга и некоторые другие тексты такого рода были обращены к тому поколению, которое привело к власти Гитлера. А также к тем, кто пришел с фронта, потерпев поражение. Это непосредственное предъявление претензий высказано в пьесе «За закрытой дверью» выдающегося немецкого прозаика и драматурга Вольфанга, который написал ее в 1947 году. Главный герой унтер-офицер Бекман обращался к генералам, которые проиграли эту войну. Он жаловался: мне постоянно являются во сне сестры, жены, дети тех солдат, которые были убиты под моим началом. Они спрашивают: Где мой муж? Где мой брат? Где мой сын, унтер-офицер Бекман? А вы теперь мне ответьте на этот вопрос. Вот эти люди, вернувшиеся с фронта, и подраставшие дети тех, кто голосовал за Гитлера, они все больше и больше предъявляли им претензии. Однако это происходило не сразу. После войны этот призыв поддержали только интеллектуалы, но не все германское общество, несмотря на старания, в первую очередь, американских оккупационных властей, продемонстрировать, что произошло.

В американской зоне оккупации была такая социально-воспитательная мера: постоянные экскурсии всех слоев общества в концлагеря. В зоне советской оккупации была создана ГДР, жители которой были обеспечены, так сказать, доктринальным антифашизмом. Было сказано, что фашизм остался в прошлом, которое никогда не должно вернуться. ГДР была застрахована тем, что там у власти находятся социалисты, связанные с СССР. При этом на уровне повседневного сознания жители ГДР ощущали себя захваченными и эксплуатируемыми СССР. В частности, когда советский космический аппарат спустился на Луну и выбросил там вымпел с красным знаменем, тогда среди жителей ГДР, при перешептывании на кухнях использовалось фольклорное двустишие:

Ohne Butter, ohne Sahne
Auf der Mond die rote Fahne
Без масла, без сливок
А на луне — красный флаг[4].

В ФРГ вопрос о памяти фашизма, памяти о коллективной вине был на время оттеснен вопросами физического выживания, надо было отстраивать страну. Все это поразило ощущение, казалось, что ужасы фашизма остались в прошлом. На этот вопрос бывшие жители Гер-

[4] В статье Корей Росс «Восточные немцы и берлинская стена: общественное мнение и социальные изменения до и после закрытия границы в августе 1961 года» подробно описана эта частушка.

мании в 1950-60-х годах не отвечали. Что они не покупали вещи казненных евреев. Что никто не имел отношения к перераспределению собственности, награбленной германской армией в оккупированных странах. Об этом написана замечательная книга двух (жаль, не переведенная на русский язык) немецких психологов, супругов Митчерлих «Неспособность скорбеть» (*Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens Александр Митчерлих и Маргарета Митчерлих-Нильсен)*. В значительной мере ощущение расставания с прошлым началось в 1968 году со студенческих волнений, которые частично отражали волнения во Франции. Они проходили и в Германии, но совсем под другими лозунгами.

В России при советской власти жило несколько поколений. Когда мы говорим про «проработку прошлого» России, мы обращаемся к ныне живущим людям. Они — наследники нескольких поколений, которые поддерживали советскую власть пассивно или ругали начальство про себя, но считали, что против лома нет приема. Это порождает ощущение коллективной исторической пассивности, которая выражается в формулировках: «Мы тогда не жили, мы не можем судить…пожили бы вы тогда, поняли бы…» Здесь нужен очень важный поворот в «проработке прошлого, который является частью истории уже не в Германии, а Израиля. Сколько у меня еще времени?

В.П. Макаренко: Я не фиксирую, а слушаю.

Ю.С. Пивоваров: У всех по два часа!

И.В. Кукулин: Возможно, некоторые из присутствующих знают, что в 1961 году в Иерусалиме проходил судебный процесс над одним из палачей еврейского народа Адольфом Эйхманом, который после войны скрылся в Аргентине. Он был выдан израильской разведке и привезен в Иерусалим. Надо сказать, что в России мало известно, насколько тот процесс был важен именно для Израиля. Потому что очень многие евреи, спасшиеся от уничтожения нацистами, не могли об этом разговаривать вслух. Это была слишком тяжелая травма, они старались про все забыть. Процесс над Эйхманом был первым масштабным мероприятием, многое было проговорено вслух. Во время процесса постоянные репортажи из зала суда для ведущего журнала Time вела Ханна Арендт. Она написала об этом книгу «Банальность зла». Но кроме того, что вошло в книгу, есть еще ее полемика о юденратах с выдающимся философом и историком культуры Гершомом Шалемом, жившим в Израиле. Юденраты — это еврейские советы, созданные в гетто для управления евреями. В их состав входили евреи, которые были готовы сотрудничать с немцами за то, чтобы прожить немного подольше. По принципу: ты убит сегодня, а я — завтра. Ханна Арендт очень резко высказалась о членах юденратов, даже более резко, чем следовало говорить о людях в безвыходной ситуации. Гершом Шалем сказал ей, что мы не можем поставить себя на их место, и слава Богу. Они были в невыносимой ситуации. В ответ на это Ханна Арендт сказала важные слова. «Если не брать на себя ответственность за суждения, мы не можем вступить в диалог с прошлым, мы окажемся от него отрезанными». Мы обязаны взять на себя право давать нравственные оценки поведения людей в прошлом, понимая, что мы такие же люди как они. Мы могли бы оказаться на их месте. Иначе мы не можем вступить в этот диалог.

В беседе с Лутцем Нитхаммером Ирина Щербакова сказала: «Вы представляете очень объемный взгляд на немецкое прошлое». Он, действительно, единственный человек, — даже лучше сказать не единственный, а первый, кто попытался сравнить память о нацистской эпохе у жителей ФРГ и ГДР. Он старался понять, как вообще люди, которые были апологетами нацизма, жили после нацизма и чувствовали себя. Он сказал: «Я никогда не думал, что я не смог бы стать нацистом. Всегда помню, если бы я жил в это время, я мог бы поддаться всеобщему увлечению и этими экстремистскими идеями». Мы тоже могли бы быть такими же.

Одна из важнейших предпосылок «проработки прошлого» в германском случае — это Нюрнбергский процесс. Его материалы широко публиковались. Они и по-русски изданы в 1957 г.

Но в России состоялась иная история. Еще со времен Ленина палачи уничтожали других палачей. От этого в памяти репрессии воспринимаются как природный катаклизм или повторение абстрактного или абсолютного зла. Еще одна важная вещь состоит в том, что в России, как и в Германии, в действиях палачей могли быть совершенно разные мотивы. Сейчас это необходимо исследовать. Были люди, которые все сваливали на начальство. «Это была моя работа». Были палачи, которые были движимы (как они тогда полагали) высоким освободительным пафосом. Пример тому — известный деятель Михаил Мясников, один из участников убийства царской семьи. Потом он бежал за границу, работал в Париже. После войны был выманен советской разведкой в Москву и казнен.

Самая большая проблема связана с многопоколенческим процессом прошлого. Он устроен вот как. Фактически с основания СССР советская пропаганда отождествляла общество и государство, а интересы общества отождествлялись с интересами государства. Сделать это удалось благодаря такой конструкции сознания, которую Гефтер называл «завет с историей». Подобно союзу библейских иудеев с Богом, советское общество заключало завет с историей. Предполагалось, что это приведет в рай советское общество, все народы Советского Союза. Материальным воплощением такого прогресса является большевистская партия и лично товарищ Сталин. Из-за этого насильственная модернизация многократно объявлялась «успехами общества». Поэтому объявление партии антиобщественной и нелегитимной вызывает вопрос, который, как я полагаю, является некорректным, хотя распространенным. Зачем жили три поколения при Российской власти, если все, что они построили, в определенном смысле не нужно?

Мне кажется, игнорирование этого вопроса в 1990-е годы привело к тяжелым психологическим последствиям, которые мы пожинаем до сих пор. Я полагаю этот вопрос некорректным, потому что насильственная модернизация — все эти построенные заводы и пароходы — вовсе не была «успехом общества». То были достижения государства, а не общества. Достижения общества заключались в другом: обеспечение семьи, устройство быта, сохранение горизонтальных связей, хотя в извращенной форме. Но были и потери в обществе, не связанные с государством: постепенное размывание трудовой этики, — не трудовой дисциплины, а именно трудовой этики. Отношение к результату собственного труда, сохранение патриархальной модели семьи, которая сейчас оказывает влияние на российское общество и вызывает истерические протесты несуществующей в России справедливой юстиции. Постоянная надежда на блат и ксенофобия. Эти моральные потери во многом вынужденные. Частью они унаследованы от имперского прошлого и законсервированы с того времени, но от того не менее болезненные.

Еще один важный вопрос. Многолетнее существование в условиях репрессивной власти вызвало явление, которое историки и политологи называют «самовиктимизация» (комплекс жертвы). Этот вопрос хорошо изучен на примере восточно-европейских народов, а не России. Он связан с особенностями возникновения восточно-европейского национализма: чешского, венгерского и т.д. Указанные общества ощущали власть как не свою. Они требовало создания своего моноэтнического государства. В условиях такой самовиктимизации говорить о том, что люди должны вспоминать о том, что они были не правы — очень трудно.

Приведу свежий пример, не российский, а польский: дискуссия вокруг книг живущего в Америке польского историка еврейского происхождения Яна Гросса. Он много пишет и публикует в Польше книг, подчеркивая, что его книги не научные, а этико-публицистические. Он пишет о сотрудничестве поляков и нацистов во время второй мировой войны в деле истребления евреев. В частности, он описал страшный эпизод, — как поляки вырезали все еврейское население в польской деревне Едвабне. Нацисты к этому не имели никакого отношения. Очень важная дискуссия по книге Яна Гросса состоялась в газете «*Речь Посполитая*» — одной из главных польских газет.

Польский историк Анна Скибинська — гораздо сдержаннее по тону, чем темпераментный Ян Гросс — отвечает на важный вопрос корреспондента. Почему Ян Томаш Гросс не может рассказывать об этих вещах так, как это делаете вы? Вам не кажется, что он делает серьезным историкам неблагодарную услугу? Он пользуется вашими исследованиями ради того, чтобы на их основе делать свои преувеличенные выводы и вызывает у поляков отторжение. Нет! — отвечает Скибинська — я очень ценю Гросса. Благодаря ему об этих серьезных проблемах спорит все общество, о них пишут многотиражные газеты, снимают телевизионные программы. Благодаря Гроссу книги о польско-еврейских отношениях публикуются тиражом не в 500 экземпляров и не ограничиваются дискуссией узкого круга специалистов.

У меня нет претензий к Гроссу — говорит корреспондентка — потому что он хотя бы пишет. Речь идет о том, как он пишет. Его радикальные выводы не побуждают поляков к размышлению, а возбуждают и вызывают только возмущение.

Это метод, на который он имеет полное право — говорит Скибинська — в наших условиях только то, что вызывает споры, совсем не обязательно может вызвать широкую общественную дискуссию.

Зачем нужна такая дискуссия? Те, кто читал газеты в период перестройки, — я обращаюсь к людям, которые постарше, — помнят, что тогда много обсуждали сначала фильм «Покаяние», потом быстро переехали на то, что покаяние по-гречески обозначается термином метанойя, что означает изменение ума. В 1990-е годы об этой терминологии говорить перестали. И здесь я возвращаюсь к началу своего выступления, а именно: действительно ли нам навязывают комплекс вины?

Есть замечательная книга английского религиозного писателя Клайва Льюиса «Письма баламута». В ней описана переписка двух чертей, в буквальном смысле слова. Находящийся в аду старый черт пишет письма своему племяннику, который работает на земле персональным чертом-искусителем. Как поработить душу молодого человека, который выдан ему в качестве подопечного? Там есть замечательный эпизод, где этот молодой человек совершил простительный грех. Дальше черт-инструктор пишет ему: «Пусть эта свинка поваляется в своем раскаянии». Что это означает? Человек должен черту внушить представление о раскаянии как навязанном действии, не требующем никаких индивидуальных реакций.

Теперь перехожу к размышлениям Барбары Кассен. «Проработка прошлого — пишет она, — связана с учреждением нового политического сообщества». Подчеркиваю: не новой политической элиты, а осмысления себя как сообщества граждан, которые требуют нового гражданского самопонимания. Связано это с тем, что память об общих проблемах и катастрофических эпизодах прошлого является коммуникативным процессом, который может существовать как коммуникативное поле, а не как индивидуальные воспоминания. Однако в случае России это достаточно сложно. Потому что Россия — и я настаиваю на этом — является имперской множественностью обществ. Упомяну эпизоды, которые обсуждались в дискуссиях об общероссийском учебнике истории в различных медиа. А именно: в Татарстане память о завоевании Казани Иваном Грозным неизбежно будет совсем другой, чем в Москве. Я вижу из этого другой выход, чем создание единого общенационального учебника, какими бы благими намерениями не руководствовались его авторы.

Я полагаю, что учебник должен представлять память именно как коммуникативный процесс, открывающий множественность и конфликтность видов памяти о прошлом. Конфликтующие памяти имеют право на сосуществование, потому что это сосуществование не является шизофренией и не плюрализмом, как любили говорить в 1990-е годы. Необходим постоянный диалог, в котором выясняются не только взаимные претензии, но и то, что народы дали друг другу в результате долгой и мучительной притирки.

И еще одна важная вещь. На мой взгляд, проработка прошлого не связана ни с каким обещанием внутреннего экономического процветания. Но не исключено, что в будущем проработка прошлого может принести какой-то социальный или экономический успех. Многие

общества отказались от проработки прошлого. И они являются вполне благополучными. Япония минимизировала проработку прошлого после второй мировой войны. Турция до сих пор отказывается признать вину правительства…

В.П. Макаренко: За исключением Орхана Памука…

И.В. Кукулин: Не только за исключением Орхана Памука. Недавно в Турции убили армянского журналиста. На следующий день десятки молодых турецких интеллектуалов вышли на улицы со значком «Я — армянин!». Однако турецкое общество и государство до сих пор отказываются признать вину за геноцид армян и ассирийцев (не будем их тоже забывать) в 1915-1916 годах.

Повторяю, все это общества достаточно экономически процветающие, особенно Япония. Но здесь я хотел бы обратиться к недавнему письму, которое опубликовано на сайте телекомпании BBC. Японская женщина-историк получила образование в Австралии. В Японии история XX века изучается так, как в России литература XX века. В конце 11 класса часто вообще эта тема съедается, поскольку все готовятся к экзаменам. И на весь учебник истории XX века, на историю поражения в войне Японии отводится всего несколько страниц. Хотя там все написано. Это приводит к тому, что японские политические элиты часто совершенно неадекватно оценивают бурную реакцию стран, против которых действовала японская армия во второй мировой войне. Аналогичные истории происходят в Австрии, которая после второй мировой войны выставила себя как «страна-жертва нацизма». Однако на сохранившихся фотографиях, когда нацистские войска торжественно вступают в Вену, мы видим огромные толпы людей, вздымающих руки в нацистском приветствии. Короче говоря, отказ от проработки прошлого ведет к отложенным воздействиям, которые внешне не являются катастрофическими, но приводят ко все более тяжелым последствиям общественных ситуаций. Австрия — это устойчивый успех ультраправых на выборах, который пугает всех приезжающих в эту страну людей ксенофобской риторикой.

Мне кажется, для России крайне важна проработка прошлого, хотя Россия будет явно отличаться от Германии. В России травмы имеют многослойный характер, копились десятилетиями. Помимо собственно ГУЛАГа существует катастрофическая проблема Гражданской войны, во время которой фактически половина людей стреляла в другую половину и наоборот. Травмы Гражданской войны можно видеть и в Ростове. На библиотеке Южного федерального университета висят две таблички: здесь находился штаб белых; здесь находился штаб большевиков. То есть, это все было на узком пятачке. Люди готовы были истреблять друг друга до последнего. Эти травмы до сих пор не проговорены.

И последнее. Я замечаю сейчас, что советское в среде молодежи воспринимается как нечто безвозвратно утраченное. Оно становится виртуальным представлениям о России, которую мы потеряли. Для людей 1980-х годов виртуальной утраченной историей была Россия, которую мы потеряли до 1913 года. Если даже мы будем восстанавливать представление о русской истории как непрерывной, то она все будет равно изборождена кровавыми ранами, метафорически говоря. Их придется исцелять, но по-другому. Реальную историю своего общества пересоздать невозможно. Благодарю за внимание! *(На последних 5-7 минутах в зале слышен гул и брожение. Бурные овации)*.

В.П. Макаренко: Большое спасибо, Илья Владимирович! Юрий Сергеевич сам назовет название своего доклада.

Ю.С. Пивоваров: Я без названия. Буду краток, потому что чувствую — зал устал. Слишком много уже было сказано. Хорошо, что выступаю последним, потому что Виктор Павлович и Илья Владимирович говорили совершенно о другом.

Вначале скажу о проработке советского прошлого. Если дословно переводить этот термин с немецкого языка Vergangensheitverarbeitung, то он означает переработка прошлого. Что касается проработки, то я вспоминаю проработку на комсомольском собрании. Перера-

ботка — это что-то другое. Переработка — это какая-либо перерабатывающая промышленность.

Теперь по поводу советского и по поводу прошлого. Во-первых, я считаю советское не прошлым, а настоящим. Мы находимся в советском: в советской системе, в советском режиме, как угодно. Речь не идет о прошлом, речь идет о настоящем. Здесь возникает серьезная проблема.

И.В. Кукулин: Да!

Ю.С. Пивоваров: Теперь по поводу немцев, их проработки прошлого. Я просто хочу вам напомнить, в какой ситуации это было. В Германии тогда стояли американские, английские и французские войска. Немцы проиграли войну, комплекс вины, комплекс поражения — это все понятно. В 1942-ом году было принято окончательное решение по еврейскому вопросу, они решили ликвидировать европейское еврейство. После этого начались массовые бомбардировки Германии американскими и английскими летчиками, у Сталина тогда не было такой авиации. Советские войска были далеко на Востоке. Наши союзники бомбили детские дома, родильные дома, то, что у нас называется детские сады. Я знаю ряд немецких профессоров, родившихся в те годы. Они выжили в этих бомбардировках. То, что сделали союзники с Германией, не менее чудовищно, чем фашистские зверства. Я не апологет. Просто мы должны понимать, что такое бомбардировка Дрездена, одного из самых красивых городов. И надо иметь в виду, что удар был нанесен по восточной Германии. До войны она была более развита, чем Западная Германия. Это уже после войны западная Германия ушла вперед. Там все было сложно.

8 мая 1985-года президент ФРГ Рихард фон Вейцзеккер произнес речь о том, что 8 мая не только день поражения Германии, но и день освобождения. Это вызвало многолетнюю полемику. Уже в 1985 году западные немцы были не готовы согласиться. А между тем Вейцзеккер — это христианский демократ, либеральный просвещенный человек. По сегодняшний день у меня есть немецкий знакомый профессор. Он говорит: «Юрий, хватит говорить, что немцы против евреев, давайте о чем-нибудь другом поговорим. Сколько мы, немцы, спасли евреев от Гестапо?». В Германии на эту тему написаны книги. А как повели себя западные немцы, когда воссоединили Германию? Весь комплекс вины они перенесли на восточных немцев. Это тоже очень серьезные проблемы. С ними надо быть крайне осторожным.

Франция до сих пор не решила вопрос о коллаборационизме начала 1940-х годов. Ведь сами французы, а не немецкое Гестапо, арестовывали евреев и направляли их в германские концлагеря. А ситуации во французских колониях? Короче говоря, ни в Париже, ни на оккупированной немцами территории никакого саботажа не было. Французы стыдливо прикрывали свой коллаборационизм.

Я хочу сказать, что проблема переработки прошлого страшна и деликатна. Всегда, когда мы сравниваем СССР с Германией, надо помнить — немцы потерпели поражение в войне и были оккупированы. Советский Союз не потерпел поражение в войне и не был никем оккупирован. Советский Союз сам распался и народы Советского Союза сами сбросили с себя коммунистическую стену. Это принципиально иная ситуация.

Теперь о том, почему я говорю, что мы живем в советской системе? У меня есть статья, которая называется «Советская посткоммунистическая Россия». Мы живем в посткоммунистической России. Оказалось, что коммунизм, коммунистическая идеология иллюзорна, ненадежна и всегда кончается везде одним и тем же. Это сформулировал русский поэт Бродский:

Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан.

Все кончается примерно этим. Ни один политический эксперимент не удался. Сейчас мне скажут: а в Китае можно проводить… Я не китаец, но думаю, что и там все закончится примерно тем же. Что я имею в виду, когда говорю: советское существует и сейчас?! Что такое советское для меня? Это прежде всего вопрос: каковы были главные цели у коммунистической или социалистической революции? Я их кратко перечислю: отказ от религии (предполагалось, что к 1936 году будут ликвидированы все религии и церкви), собственности, права, семьи, государства в любом смысле этого слова. СССР — это название несуществующей страны, это не слово Россия или что-либо подобное. Первая советская Конституция 1924 года впервые в истории человечества закрепила государство, не имеющее границ. Потому что там прямо сказано: любая республика в Африке или где-то еще готова войти в состав Советского Союза. Связанность государства территориальными границами — основа любого национального государства. Значит, отмирание государства связывалось с некой неслыханной и невиданной в истории человечества цивилизация. Причем, для меня главное в этом советском — безрелигиозность.

Что же значит не религиозное и не христианское государство? Отказ от идеи первородного греха. Может это вам покажется странным или диковинным. Мы — обществоведы, а не теологи. Но это отказ от того, что зло коренится во мне тоже. Это то, что лучше всего сформулировал философ Сартр: «Ад — это другие». Виноваты они — буржуи, жидомасоны, Антанта, вредители — не важно. Такова построенная на этом цивилизация. Это цивилизация, построенная на насилии — чуть ли не единственном решении всех вопросов. А также цивилизация, построенная на упрощении. Плеханов не зря назвал Ленина гением упрощенчества. Что такое минимализм? Это упрощение ситуации до предела. Весь мир поделен на красных пролетариев и белых буржуев, поскольку пролетарии — это носители прогрессивной истины. Я окарикатуриваю, конечно. Но!..

На мой взгляд, советское пережило два принципиально различных этапа развития. Первый советский режим я называю «Коммунистический режим-1 (один)». КР-1 — здесь своеобразная аллюзия. Что это такое? Это ленинско-сталинский режим всеобщей переделки. Когда все вещи, о которых я говорю, были вброшены прямо в общество вброшены. Виктор Павлович упоминал работы Александра Эткинда. В одной из них Эткинд приводит потрясающую вещь, хотя я нигде не могу найти подтверждение этого. У большевиков был опыт создания не только Института Крови для выведения нового состава крови (опыты Богданова). Они действительно положили Ленина в Мавзолей потому, что хотели его потом оживить. Надежда Константиновна приходила в Мавзолей и говорила: «Я в старуху превратилась, а ты все такой же молодой. Когда мы встретимся, ты не узнаешь меня». Это не слухи, это известные вещи. Они хотели оживить Ленина, для этого положили его в Мавзолей. И даже велись работы где-то на Юге, в обезьяньем питомнике…

И.В. Кукулин: Сухуми!

Ю.С. Пивоваров: …в Сухуми пытались скрестить человека с обезьяной…

В.П. Макаренко: Это у Шишкина прекрасно описано…

Ю.С. Пивоваров: И Эткинд об этом тоже пишет. Курировал все эти проекты Троцкий. Самым важным до атомного проекта был проект переделки природы человека. Хотели город и деревню соединить, мужчин и женщин. Это был режим — полный передел. Мой тезис таков: КР-1 погиб, не выдержал ударов нацистов, в 1941-42-ом гг. То были годы фактического разгрома Красной армии. Сегодня нашли документы, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря 1941 года немцы выбросили десант в Нескучном саду в Москве, это 4 км по прямой до Кремля и на Воробьевых горах — 7 км. Задача была войти в Кремль, арестовать Сталина и на этом кончить войну. Пошел полк НКВД с Лубянки и разгромил немецкий десант. Ситуация была на волоске. Все могло кончиться тогда, потому что Сталин мог находиться в этот момент в Кремле и все могло закончиться на этом. Я считаю, что ленинско-сталинский режим не выдержал испытаний войны.

Но в его недрах располагался другой режим, который я называю «Коммунистическим режимом-2» (КР-2). Для меня Великая Отечественная война является не только подвигом русского народа, который уничтожил нацизм и спас Родину. То была эмансипационная, самоэмансипационная война для русского народа от тотального режима переделки всего и вся. Благодаря войне возродилось какое-то самосознание. Оно укреплялось в течение восьми послевоенных лет. После смерти Сталина окончательно стало ясно, что режим изменился. Здесь говорили, что в России не было Нюрнберга. Да, но зато в России был XX съезд. Я думаю, что это одно из самых замечательных событий в русской истории за ее тысячелетие. Причем, в моих устах эта похвала звучит странно, поскольку я никогда не был связан с КПСС. Но для меня здесь нет противоречия.

XX съезд не стал русским Нюрнбергом. Можно сказать: «Как можно сравнивать?!» А все же можно. Дело в том, что Нюрнберг провели союзники. Никакие немцы никогда бы не провели никакого Нюрнберга. В Германии после Нюрнберга начался ряд процессов, когда судили МИДовцев, людей из министерства промышленности, врачей и т.д. Немецкие адвокаты очень жестко защищали, немецкое общество защищалось. Здесь неважно, по какой причине руководство КПСС решило действительно заняться покаянием. Почитайте выступление Хрущева — это покаяние, насколько это было возможным. Открытие лагерей — это отказ от массового террора как основной меры политики, экономики и т.д. И это также заявление о том, что мировая война закончилась. Они по существу закончили горячую войну. Война стала холодной, все менее и менее опасной. Я должен сказать, что с научной точки зрения затею XX съезда очень точно определил известный американский исследователь Мартин Малия…

В.П. Макаренко: Абхазского происхождения…

Ю.С. Пивоваров: Он говорит, что десталинизация означала защиту партии от произвола любого первого секретаря. Когда Хрущева сместили, номенклатура как коллективная единица превратилась в нового высшего руководителя системой. Была уничтожена сердцевина сталинской системы — Сталин. Начался новый период — период номенклатурного господства, но и не только. Что такое 1950-60-е годы? Это не только господство номенклатуры и отказ от массового террора как основного способа управления обществом, это также зачатки и попытка воссоздания российского гражданского общества. Это подъем русского искусства, кино, театра, поэзии, литературы; подъем диссидентского и правозащитного движения и многие другие элементы, которые можно описывать.

А что такое номенклатура? Это то, что создал Сталин в 1920-м году, когда провел реформу управления страной, и были созданы так называемые учетно-распределительные отделы. После этого родилась система номенклатуры. В чем же ее суть? В том, что впервые в истории человечества появился класс управляющих, который не обладал собственностью. Класс, который не опирался на собственность. Номенклатура была пролетарием, в этом смысле победил пролетариат. Как вы понимаете, такая ситуация долго продолжаться не могла. Дело в том, что коммунистическая идеология не поняла двух важных вещей. Первое: в обществе должна быть правильно организованная система трансляция власти. От одного человека власть переходит к другому. У коммунистов не было никакого закона о трансляции власти, поэтому смерть каждого генсека была маленькой гражданской войной.

Второе — тема трансляции собственности. Собственность должна передаваться от одного к другому. Как? Большевики сказали, пусть собственности вообще не будет, она общенародная. То есть, этой темы вообще нету. Знаете, был такой Каданников, который создал автомобиль ВАЗ и был зампред Совмина. Он в своих воспоминаниях пишет, что когда он работал на FIATe, он подумал: «Я создам такой же завод fiat у себя. Они вот свой завод передадут внукам, детям; а мой сын не будет этим владеть. Я подумал, это неправильно». То же самое пишет Черномырдин. В России на рубеже 1980-90-х годов прошла номенклатурная революция. Номенклатура, отбросив мешавшую ей коммунистическую систему, по существу пришла к власти окончательно, овладела собственностью и разделила ее. Но в период 1990-х го-

дов, когда вторгались Березовские, Абрамовичи, их поставили на место. И по существу советская система сохраняет все эти качества и сегодня.

Например, не случайно нынешние властители говорят, что главное историческое событие — это война. Они не скрывают этого. Они безразличны к революции, коллективизации. Хотя Молотов говорил, что для нас победа в коллективизации была важней, чем победа в войне. Сегодняшний режим не случайно видит свои корни в Великой отечественной войне, именно тогда сформировался, по моей терминологии, КР2. Но это не тот режим, который Ханна Арендт и вслед за ней сравнивали с нацистским режимом. В этом и заключается проблема. Если нацистский режим был таким и мы его описали, то мы его знаем; а советский, не погибнув в войне, превратился в иной. По существу, мы являемся наследниками этого иного режима. Который, безусловно, советский.

И еще один момент. Дело в том, что в рамках советской системы произошло превращение России из сельской страны в страну городскую. Россия стала поголовно грамотной урбанистической цивилизацией. Россия вступила в modernity, современность. Человек переходит в города. На днях в Центре Россиеведения ИНИОН выступал известный режиссер Кончаловский. И он мне сказал: «Да какие это города? Плохие это города». Но не в этом дело. Плохие в том смысле, что не очень уютные. Дело не в этом. Человек уже живет в новом социальном времени, живет как современный человек, а не как человек традиционного общества. В этом смысле проработка советского прошлого для меня является проблемой.

Я убежден в том, что современный русский человек, рожденный советской системой, и в целом советская система означают нечто совсем другое, чем нацизм для немцев. Гитлеризм продержался всего двенадцать лет, и мы не знаем, что с ним делать. А здесь семьдесят четыре года — и нет никакого поражения. При Гитлере не была отменена частная собственность. Частная собственность была. Наоборот, если ты был членом нацистской партии, ты фактически, когда началась война, не мог быть руководителем. Численность Гестапо по отношению к численности НКВД была в сотню раз меньше. На деле в нацистской Германии было больше свободы, чем у нас. В 1943 год один из немецких профессоров получил премию Прусской академии наук (это типа нашей академии наук СССР) за опровержение основ арийской физики. Мог ли в 1948 году какой-нибудь Вавилов, которого к этому времени убили, получить золотую медаль Академии наук СССР за то, что он опроверг основы советской науки? Тот же Ясперс, о котором сегодня говорили, потеряв кафедру, у себя дома устроил семинар. Мог ли Бердяев или Флоренский устроить такой семинар в СССР? Понятно, этого не могло быть. Было нечто схожее — террор, господство партии и прочее.

В этом смысле я считаю, что мы продолжаем жить в советском. Это не прошлое. Я не оправдываю и не радуюсь. Я хочу сказать, что это не прошлое, а настоящее. То, что происходит сегодня, это реализация очень многого, что накопилось в 1950-е, 60-е, 70-е и продолжается до сих пор. К сожалению — для людей либерального толка. В том виде, о котором говорил предыдущий оратор, для переработки или проработки прошлого я сейчас просто не вижу ни возможности, ни оснований. Дело в том, что советское — это создание современной урбанистической России. Другой, к сожалению, нету. И нам не к чему апеллировать. Вот в чем проблема. Я совершенно в этом смысле не пораженец. Нужно поднять руки и катиться по рельсам, на которых сейчас находится Россия. Как ученые, мы должны иметь это в виду. У нас все-таки особый случай. Нацизм не был процессом осовременивания человека; советский коммунизм стал им. Конец 1960-начало 70-х годов вообще в истории России были самым благоприятным временем. Происходит рост экономики, рост науки, постепенная эмансипация общества. Мы не должны недооценивать эффект потенциала гражданского общества. В этом смысле я с трудом представляю, как мы все вслед за немцами этим займемся. Я не представляю, что и немцы бы этим занялись, если бы их не поставили в эти условия, а потом не интегрировали в Европу. Вопрос заключается в том, что нас никто никуда не хочет интегрировать. Мы по-прежнему одиноки. Без союзников на Востоке и на Западе. В России от-

вратительная антизападническая риторика. Но я вам должен сказать, что есть и высокомерие Европы по отношению России и неуважения Запада к национальным интересам России. Тем не менее нас никто никуда не берет и в ближайшее время не возьмет.

А что касается единого учебника, то это учебник для 12-летних детей. Если мы им будем давать концепции, они сойдут с ума и ничего не поймут. Студенты, может быть, школьники 16-17 лет уже поймут, но сейчас речь не об этом. Я не сторонник инициатив В.В. Путина, вообще не его дело лезть в преподавание, президент должен заниматься другим делом. Но такова русская традиция. С другой стороны, я не могу себе представить огромную страну, где будут абсолютно разные учебники. Тогда на чем будет базироваться консенсуальность общества? Я не сторонник единого учебника, но и то, что все будет отдано на откуп властям, регионам — Уфе, Москве, Ростову… Тогда не будет общероссийской идентичности (*Овации*).

Н.С. Авдулов: Илья Владимирович, наш президент говорил, что хватит навязывать вину нашему народу за прошлое. Один деятель первой половины XX века одного государства, как помнится, говорил: «Я освобождаю вас от химеры по имени совесть». Эти утверждения идут в одной плоскости и по одной линии…

И.В. Кукулин: Мне кажется, нужно развести и сопоставить то и другое. Сходство состоит в том, что один человек является главой страны и берет на себя полномочия выносить нравственные суждения от имени всей страны, которой он руководит. В дальнейшем начинаются отличия. Потому что освобождение от химеры, называемой совестью — это индульгенция на будущие преступления. Как писал Высоцкий в песне от лица нацистского солдата:

> Не надо думать — с нами тот,
> Кто все за нас решит.

Что касается нынешних высказываний по поводу чувства вины — тут ситуация иная. Впрочем, сейчас и оппозиционные деятели (например, журналист Олег Кашин или Герман Садулаев) говорят, что не надо копаться в прошлом потому, что сейчас гораздо важнее решить, как идут дела в настоящем. Один из аспектов этой проблемы осветил Юрий Сергеевич. Настоящее — это и есть наше прошлое, в котором мы должны разбираться. Они неотделимы друг от друга.

Вторая проблема заключается в том, что мне кажется очень важным то последнее, что сказал Юрий Сергеевич. Я думаю, не в школе и не посредством школьных учебников определяется идентичность. Хотя этим словом я стараюсь не пользоваться при анализе отношения общества к прошлому. За учебниками и даже за некоторыми политическими решениями стоит общественный консенсус или отсутствие оного по отношению к истории. В России сейчас консенсуса нет. Его отсутствие не может быть компенсировано учебником и даже множеством учебников. Оно все равно остается отсутствием консенсуса. Необходима общественная работа.

Я позволю себе одну реплику по поводу того, что сказал Юрий Сергеевич. Мне представляется, что эта работа необходима не для того, чтобы нас приняли в Европу или не приняли в Европу. Она необходима в первую очередь России, независимо от того, есть ли у нее союзники или нет.

Ф.Г. Камкия: Хочу выразить благодарность участникам, организаторам конференции, особенно докладчикам. И у меня вопрос скорее ко всем. Возможен ли консенсус относительно истории, если общество не определилось в консенсусе относительно образа будущего? Мне кажется, эти вещи должны быть связаны.

И.В. Кукулин: Я полагаю, что ситуация устроена наоборот. Общество не определится относительно образа будущего, пока не разберется с прошлым, если (как сказал Юрий Сергеевич) оно настоящее. Мне кажется, одна из важнейших общественных проблем современно-

сти такова: под воздействием политических элит происходит чрезвычайное сворачивание горизонта планирования. То есть представления о будущем, как это сказать….

В.П. Макаренко: Я это называю отсутствие проспективного мышления.

И.В. Кукулин: Я бы сказал — минимизация представлений о том, что может быть в будущем. Минимизация любого планирования. Переход от стратегических решений к сугубо тактическим. Отказ от обращения к памяти как к коммуникативному процессу, от разноречивости взгляда на прошлое. Только после того, как будет налажена демократическая дискуссия, станет возможным планирование будущего, потому что планирование будущего не есть дело единое. В обществе всегда существует рынок проектов будущего. Эти занимаются партии, футурологи и фантасты. Люди должны выбирать. И эти проекты будущего применяются и на выборах и в характере движений. Такова проблема всего современного мира. Но в России она усилена благодаря разного рода неблагоприятным политическим условиям.

Ю.С. Пивоваров: Я тоже отвечу на этот вопрос. Хочу продолжить то, о чем говорил Илья. Вот вы говорите о будущем. Сегодня вся борьба вокруг исторического материала и все споры о Сталине — это только разговор о будущем. Споры идут не о Сталине. Сталин — это некий псевдоним определенных поступков побед, поражений, но не более того. Речь идет о том, какое у нас будет национальное будущее. Был такой англо-американский поэт, он получил Нобелевскую премию, который сказал: «Не только настоящее является под воздействием прошлого, но и прошлое находится под воздействием настоящего». И это вовсе не кокетливая фраза. Дело в том, какое прошлое себе Россия выберет. Что она скажет по поводу сталинских репрессий, что она скажет по поводу 1930-40-х годов. Я не говорю, хорошо это или плохо. Важно, что именно скажет. Здесь есть два опасных момента: 1. Закрыть на все глаза и сказать: я не виноват; так было; я тогда не жил. 2. Но есть и вторая опасность. Есть довольно известный поэт Юрий Кублановский. У него был более известный друг Иосиф Бродский. Однажды Кублановский написал Бродскому стихотворение, там есть такая фраза:

Друг, я спрошу тебя самое главное
Друг, я спрошу тебя самое главное:
Ежели прежнее все — неисправное,
Что же нас ждет впереди?
Скажешь, мол, дело известное, ясное.
Красное — это из красного в красное
В стынущей честно груди.

Вот есть такая опасность, которую поэтически передал Кублановский. Если мы скажем, что все советское неисправное, — это конец всему. Вот такое и будет будущее, если наша история все время догоняющая, опаздывающая, неправильная. Если же мы прочтем русскую историю по-другому, другими глазами, прочтем ее как историю нормативную… Было или не было Возрождения — не в этом даже дело, можно спорить, но это наша история, наша тысячелетняя история и другой быть не может. Я не вижу другого подхода. Бросание из крайности в крайность ни к чему не ведет. Нельзя все ставить на точку постоянного самобичевания. Здесь нужно быть в высшей степени осторожным. Как говорил ваш ректор, все мы здесь с вами преподаватели и в преподавательском процессе, конечно, должна быть золотая середина. Иначе, — а что получится тогда иначе, я не представляю.

В.П. Макаренко: У меня есть вопрос. Моя жена Тата, когда я ей зачитываю отрывки исторических книг, убегает от меня как черт от ладана. Как я могу относиться к нашей истории иначе, — например, к той истории России, которая написана князем Петром Долгоруковым?

Ю.С. Пивоваров: Зависит от того, как смотреть на историю — через «Двенадцать стульев» или тексты Салтыкова-Щедрина. Да, конечно, метко, хлестко сказано, но это далеко не вся правда. К тому же это очень однобоко.

И.В. Кукулин: Я бы хотел несколько возразить, мне кажется, что это разговор об очень важных вещах, поэтому я позволю себе вклиниться. По поводу того, что прошлое все неисправно. Вот был мальчик, поэт Леонид Киселев, погиб совсем молодым. В десятом классе поместил в «Новом мире» подборку, где были строки:

> За долгую историю России
> ни одного хорошего царя.

Ему отвечал кто-то из академиков наших исторических, что все не так плохо. А вот то, что прошлое все неисправное, возникает от ощущения того, что самое главное из всей истории России и вообще всего, что происходит в истории — это решения начальства. Может, сейчас я спровоцирую дискуссию, значит, у меня такая судьба. Я полагаю, что с начальством в России действительно не повезло. По какой причине? Сейчас это обсуждать не буду. Этот предмет разговора интересный, но, к сожалению, не для нас. Я полагаю, что в истории России было много хорошего, связанного не с политическими решениями и не с политическими репрессиями. Полезно провести инвентаризацию того, что у нас есть. Я повторяю еще раз, что работа Ключевского, опыт Древней Руси, хотя и давний, был началом такой инвентаризации. В России всегда была много хорошего, связанного с культурой, наукой. Иногда это процветало, иногда подвергалось таким репрессиям, которые описаны в известной повести Лескова «Левша». Я думаю, что истории талантов, которые оказались частично загублены, а частично расцвели, еще не собраны и не изучены.

В.Ю. Попов: Вопрос к Юрию Сергеевичу Пивоварову. Советский период — это осовременивание России и русского человека, но можно ли считать его отчасти демодернизацией? Возьмем идею колхозов. Она восходит к идее больших агропромышленных комплексов, которая возникла в США в конце XIX — начале XX века. Ваш тезис каким-то интересным образом входит в конфликт с трендом, который можно назвать ликвидацией современности в России. Это совокупность идей архаизации, традиционализма, сохранения традиций. И надо еще разобраться, что именно понимается под традициями. Я ощущаю перспективу конфликта сторонников идеи ликвидации, а в их лагере часто есть люди, которые оценивают позитивно именно советское прошлое. Вот этот конфликт идей советского как осовременивания и идеи советского как традиционного. Об этой перспективе вы могли бы что-либо сказать?

Ю.С. Пивоваров: Я понимаю, что вопрос принципиальный. Но так случилось в русской истории, что именно через страшный сталинский режим и гораздо менее страшный и даже приемлемый хрущевский, брежневский периоды произошло рождение русской modernity, русской современности. Это значит, что произошла варварская модернизация. Осовременивание действительно произошло в отрыве от высокой культуры. Мы собственную культуру практически полностью уничтожили, убили, выслали, запретили. Оно произошло вне религиозных рамок. Я могу вам сказать, когда спрашиваешь западных профессоров, которые преподают: в чем отличие между студентом из бывшей ГДР и бывшей ФРГ? Ум и талант примерно одинаков. Но студентов из бывшей ГДР называют «Те варвары с востока». А почему? Мы 40 лет жили в нерелигиозной ситуации. Речь не идет о том, что верующие практикующие католики или протестанты не жили в контексте христианском.

И современный русский человек тоже каким-то образом складывался. Конечно, его мировоззрение чудовищное, это обрывки каких-то устаревших представлений, и в этом смысле это демодернизация. Я говорю об ином, о вещах более массового типа. Массовое поголовно грамотное урбанистическое общество — таков результат советской системы. С всеобщими социальными и медицинскими гарантиями, пусть низкого качества. Недооценивать

это нельзя. Недооценивать не в том смысле, что как здорово это было, что мы должны все это учитывать. Сейчас, напротив, это разрушается, идут какие-то другие процессы. Конечно, все гораздо сложней, чем предложенная мной схема, ведь невозможно все это представить.

В этом-то и вся трагедия для нас сегодняшних: назад в прошлое мы не пойдем, но это прошлое является нашим настоящим. Нацизм кончился в Германии, а советское никуда не ушло, оно осталось здесь. Не случайно у власти стоит когорта офицеров госбезопасности, я прекрасно понимаю психологию этих людей. Потому что сам из этого поколения. У меня судьба почти путинская. Мне тоже после окончания учебного заведения предлагали работать в разведке в Германии. Я мог уехать в Германию в Потсдам. Но я отказался и пошел в аспирантуру, понимая ментальность этих людей. И на самом деле: они действительно не знают, что делать. Все может развалиться, ко всему прочему.

Еще один момент, о чем говорит Илья: Европа — не Европа. Германия оказалась в системе европейских и евроатлантических связей, и восстановление шло менее болезненно. Это как если болеть в больнице или болеть в степи. Проблема заключается в чем? Мы одиноки. Мы геополитически оказались заложниками в этой мировой ситуации. Сегодня весь водный ресурс Сибири работает на развитие экономики Китая. У нас нет промышленности, мы уже стали экономическим придатком Китая. Вот где проблема возникает. Запад совершенно не хочет учитывать наши интересы. По всем мелочам нас кусают. Например, тема получения виз. Сейчас не только американцы, но и немцы говорят то же самое. Это все такие мелкие придирки. Главное в том, что в нас не видят партнеров. Не видят людей, с которыми можно разговаривать. Но нам никуда не деться от советского периода. Вот как современная Франция — это детище эпохи Наполеона III: дома были построены тогда, основные законы были приняты тогда. Мы — детище советской России, нам из этого не вырваться в ближайшее десятилетие. Я бы хотел, но не вырваться.

В.Ю. Попов: Вы сказали очень важную фразу: «Я отказался…» Вот если бы вы сказали, почему вы отказались, это был бы узловой момент для всей конференции *(Зал разразился смехом, даже нервным сдавленным хохотом)*.

Ю.С. Пивоваров: Могу рассказать. Я родился в 1950-м году в Москве. И к нам после 1956 года стали приходить люди, не родственники, а так — переспать и поехать дальше. Я уже в 8 лет все понял. Абсолютно! Я знал, что никогда не стану членом КПСС. Мы в молодые годы, в МГИМО, где я учился, создали подпольный антисоветский кружок, в который входил нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров. Мы хотели заниматься антисоветской деятельностью. Меня арестовывал постоянно КГБ с 1971 по 1988 год. Могу сказать, что я был законченный антисоветчик.

И.В. Кукулин: Есть несколько уровней в дискуссии, которая сейчас завязывается. Я хотел бы прокомментировать: для меня самое важное в этой истории — реакция общества. Потому что безобразные истории происходили всегда. Я решал для себя вопрос: как студентам отвечать? Студенты говорят: Генрих VIII и английская Мария Шотландка, она же кровавая Мэри, погубили кучу народу. А в России Иван Грозный. Почему история отличается, почему в Англии одна, а в России другая? Потому что в Англии это вызвало серьезную политическую реакцию. В России она была подавлена жестокими мерами. Я хотел бы также дезавуировать одно из своих резких высказываний. В России не то, чтобы не повезло с начальством, а для меня чрезвычайно важно отказаться от взгляда на историю, по которому в центре стоит политика и политические решения. Они являются только частью.

Ю.С. Пивоваров: Конечно!

И.В. Кукулин: И еще одна важная вещь, которую я хотел сказать: о модернизации. В отличие от Юрия Сергеевича я полагаю, что в истории России было несколько моделей модернизации. Мы пожинаем плоды большевистской модернизации, но она была не единственной. Есть странная статистика. Надо посмотреть процент неграмотных, но не только при советской власти, но и в конце XIX — начале XX века…

В.П. Макаренко: Это делал Борис Николаевич Миронов в двухтомнике по социальной истории…

И.В. Кукулин: Да-да! Количество неграмотных быстро сокращалось. После революции оно резко выросло. Большевики ликвидировали ту неграмотность, которая была порождена гражданской войной, которую они сами и развязали. И была другая модернизация, чем та, которая происходила до революции. У нас было минимум две модели модернизации, но я полагаю, что неявным образом их было больше. Произвести учет этих моделей модернизации — такова наша задача как историков.

А.В. Лубский: А как вы относитесь к идее о том, что России не повезло с народом?

И.В. Кукулин: На самом деле я не знаю *(Смех и гудение междусобойных разговоров)*.

Б.А. Камкия: Меня, как и всех, касается стабильность. Конечно, роль истории в этом громадная. Как бы не впасть в какую-то крайность. Не так давно я общался с англичанином. В разговоре был такой эпизод. Он меня удивил тем, что не сказал, а ведь наша страна пережила еще более страшные трагедии, страшную историю. Возможно, мы сегодня смотрим на свою историю сквозь призму европоцентризма?

Ю.С. Пивоваров: Я думаю, этот англичанин ничего не понял и ничего не понимает. Не то, что англичанин или француз, он конкретно не понимает. То, что произошло с Россией в XX столетии, — величайшая трагедия. Меня уже много раз ругали в разных местах, но это не мои слова, это слова Солженицына, которые он очень точно сказал: «Россия проиграла XX век». Как не крутись, мы, русские, должны признать, что мы проиграли XX век. Сторонники коммунистической идеи вынуждены это признать, сторонники белой идеи, федералы, почвенники, безусловно, все. Но мне хочется ответить на вопрос, что России с народом не повезло…

А.В. Лубский: Это шутка!

Ю.С. Пивоваров: Нет, это не шутка.

А.Н. Ерыгин: Достоевский что сказал?

Ю.С. Пивоваров: По поводу — повезло России с народом или нет. Был такой человек Струве. Мне кажется, он уже упоминался сегодня. Незадолго до своей смерти году в 1939–40-м, в письме госпоже Кусковой. Помните, такая была дама? Он ей написал: У нас привычно ругают кого? у нас можно ругать, кого угодно — церковь, царя, бюрократию, интеллигенцию, офицерство, кого угодно. А так называемое простонародье ругать нельзя. Руки оторвут. Вот, как народ решит. Захотел украсть у барина, не знаю, курицу, сжечь дом — сожжёт. А не захочет — не будет. Сегодня красные — хорошо...Завтра белые? Тоже прекрасно. Почему же у нас тогда никто об этом не скажет? Струве был большой патриот. Не важно, что он этнический немец. Он большой русский патриот. Народ священный…церковь, царя, интеллигенцию — все ругать можно, а народ нельзя. Это серьезная проблема.

А.В. Лубский. ***Этическое и идеологическое в интерпретации советского прошлого***

К советской истории применимо модное ныне противопоставление истории как «science» и истории как «art», строгой науки и нарративной логики историописания. История как строгая наука предполагает, что в рассудочном историческом знании не должно быть ничего того, что не относится к предмету познания; в нарратологии, наоборот, историческое знание рассматривается как проекция экзистенциальной интенции и воображения самого историка.

В настоящее время в исторической эпистемологии сформировалось такое направление, как радикальный конструктивизм. Его представители считают, что мир прошлого вне различных социокультурных практик не играет никакой роли в производстве исторических знаний, и поэтому историческое прошлое сводится ими к множеству случаев установления социокультурных конвенций относительно тех или иных исторических событий и ситуаций. Исторические знания, полученные в соответствии с определенными социально санкционирован-

ными понятийными схемами, проходят социокультурный селективный отбор, который осуществляют различные социальные группы, прежде всего группы давления на производителей исторического знания.

В рамках радикального конструктивизма история, лишенная статуса строгой науки, сводится к нарративной логике историописания. В исторической эпистемологии нарратив как особая форма и способ презентации исторической реальности оказался предметом особого внимания, благодаря лингвистическому повороту в историческом познании. Этот поворот актуализировал различия между научным историческим исследованием как производством исторических фактов и историописанием как рассказом, в котором воображение историка на основе конфигуративного замысла упорядочивает исторические факты и наполняет их значением и смыслом, исходя из культурно-символического контекста. В этом плане исторический нарратив, содержащий правдоподобные высказывания фактического характера, является продуктом культуры и языка познающего субъекта, которому заранее известен финал исторического повествования, стягивающий все сюжетные векторы его рассказа в общий фокус. Поэтому исторический нарратив является не столько описанием исторической реальности, претендующим на адекватность, сколько «инструкцией» по определению и пониманию прошлого.

Непосредственно с радикальным конструктивизмом в исторической эпистемологии связано такое течение в нарратологии, как нарративный идеализм. В рамках этого течения исторический нарратив, в отличие от описания и объяснения прошлого, рассматривается, с одной стороны, как его интерпретация, т.е. нахождение единства в разнообразии, с другой — как презентация в виде гештальта, автономного по отношению к исторической действительности. Исторический нарратив как интерпретация и презентация, обращаясь к прошлому, не корреспондирует с ним, а обозначает его с помощью языка познающего субъекта как средства интерпретации исторической реальности, и добавляет к картине прошлого все то, в чем нуждается историк для его осмысления и представления.

В нарративном идеализме прошлое — это не текст, который переводится историком в нарратив, а повод для создания исторического нарратива как метафорического заявления, служащего связующим звеном между прошлым, которое в нем описано, и структурами, конвенционально используемыми в культуре, для того чтобы наделять значениями и смыслами незнакомые события и ситуации. Поэтому исторический нарратив относится не к прошлому, а к историческому дискурсу по поводу конкурирующих исторических интерпретаций. В рамках нарративного идеализма различные интерпретации истории согласуются не через соотнесение их с фактами, а с аргументами текстов нарративов, и поэтому допускается, что исторический нарратив обладает своего рода правом насилия над исторической реальностью. В этом смысле исторический нарратив как конструкт исторической реальности — это образ возможного прошлого и его концептуальное предпочтение.

В условиях нарративизации советской истории особое влияние на конструирование ее образов в настоящее время оказывают различные риторические и идеологические стратегии, используемые авторами для усиления «эффекта объяснения». При этом можно выделить четыре риторических стратегий объяснения советского прошлого посредством построения сюжета: героизация, драматизация, трагизация и демонизация; посредством идеологического подтекста — три стратегии: консерватизм, национализм и либерализм. Риторические и идеологические стратегии способны возбуждать массовое историческое сознание значительно сильнее, чем академические исторические изыскания, придавая ему конфронтационный характер.

Кроме того, образы возможного прошлого и их концептуальные предпочтения складываются как проекции различных исторических дискурсов: метафорического, метонимического, синекдохического, иронического. Метафорический дискурс представляет текст как мифологическую структуру. В метонимическом — текст понимается как отражение реальной дей-

ствительности. Синекдохический дискурс рассматривает текст как фрагмент более общей системы, а иронический — как возможность стилизации и пародии другого текста.

В связи с этим исторические знания о советском прошлом могут быть всегда «размонтированы» и преобразованы в другие интерпретации. При этом существенное влияние на производство знаний и отбор «истинных описаний» оказывают насилие, власть, деньги, авторитет, репутация ученых, их способность пойти на сделку с властью и собственной совестью, множество существующих конвенций, убеждение, уговоры, внушение, риторика. Этим обусловлена актуальность понимания этических и идеологических акцентов в интерпретации советского прошлого.

В последнее время история как как «art» и нарративная логика историописания становится, с одной стороны, «опиумом для народа», с другой — «идеологией, обращенной в прошлое». Это касается и современной России, в которой интеллектуалы, не договорившись о будущем страны, продолжают бескомпромиссно спорить о ее прошлом. При этом они стремятся не только спорить, но и приватизировать историю России, создавая различные ее «коллективные образы» прошлого, поскольку, как говорил Дж. Оруэлл, кто распоряжается прошлым, тот распоряжается будущим. Любой «коллективный образ» прошлого — это паттерн условный и абстрактный. Но эта абстракция воплощается во вполне конкретных вещах: в публичных политических и нравственных оценках исторических событий, государственной политике, межнациональных отношениях.

В советское время история СССР рассматривалась с научной точки зрения как формационный прорыв к вершинам социального прогресса, с нарративной — как героическая эпоха. Для самосознания большинства граждан постсоветской России история Советского Союза неотделима от ее собственной истории, правда, без особых претензий на то, что СССР был «вершиной» прогрессивного развития человечества и эпохой героических свершений. Российское государство объявило себя правопреемником СССР, и отчасти поэтому оно оказалась удобным объектом для ряда соседних стран, на который можно возложить историческую ответственность за все свои исторические и современные «беды». Для этого достаточно отождествить сегодняшнюю Россию со сталинским СССР и указать на нее как на источник своих национальных трагедий.

Россия, со своей стороны, нашла особый способ облегчения ноши, возложенной на нее историей. Вместо попыток научного осмысления истории XX в. происходит ее нарративизация, в рамках которой наблюдаются две крайности: с одной стороны, возрождается, с небольшими изменениями, советский державно-патриотический миф об отечественной истории как череде славных героических свершений, а с другой — происходит либеральная демонизация советской истории.

В связи с этим возникает проблема этического и идеологического в интерпретации советского прошлого. При этом можно выделить две сферы взаимодействия истории и этики: первая связана с использованием результатов деятельности историков (исторических знаний) прежде всего в политике и повседневной жизни; вторая — с производством исторических знаний и поведением историков в академическом сообществе.

Рассматривая проблему этического и неэтического в той сфере, которая связна с использованием исторических знаний следует отметить, что этические императивы существуют не сами по себе, они дают о себе знать, когда встречаются два или более субъектов. Уже то, что этические императивы актуализируется только в «местах встречи» субъектов, делает их относительными, ибо то, что безнравственно для одних, очень даже нравственно для других

Отечественные историки, утратив топику «советского марксизма», сохранил и прагматику, и стилистику его интеллектуальной работы. В свое время В.И. Ленин считал, что «нравственно все, что служит построению коммунизма, делу революции». Надо полагать, что «все» включает и научную деятельность историков. Поэтому сегодня, например, для некото-

рых историков нравственно «все», что способствует этнической мобилизации (национализму), великодержавному патриотизму (консерватизму) или выходу России на цивилизационный путь развития (либерализму).

Кроме того, следует подчеркнуть, что сами по себе научные исторические знания не бывают нравственными или безнравственными. Они становятся таковыми (в русле конкретных этических ориентаций), когда их начинают использовать в определенных целях. Так, боевой темой современной российской историографии является сталинский режим в СССР. Одни (с позиций радикальных либеральных ориентаций) считают, что неэтично историкам писать о Сталине в «хороших» тонах, имея в виду аморальность сталинского режима. Другие (с позиций прагматически консервативного этатизма), наоборот, считают неэтичным писать о Сталине в плохих тонах, имя в виду превращение СССР в мощную индустриальную державу.

Сейчас на Западе этическим императивом и признаком хорошего тона является говорить об идентичности тоталитарных режимов в Германии и СССР. При этом западные интеллектуалы и политики исходят из либерального понимания тоталитаризма и его универсальных признаков, сформулированных еще в 50-х гг. прошлого века. При этом они не обращают внимания на разную природу тоталитаризма в СССР и Германии, на то, что в нашей стране был — используя модное выражение — «суверенный» тоталитаризм. Не берется в расчет и историческая судьба тоталитаризма в СССР и Германии: Германия проиграла войну, и искоренение тоталитарного наследия в ней носило не столько органический характер, сколько было навязано победителями. Этим во многом объясняется менее негативное, например, отношение к Гитлеру в Австрии или Восточных землях Германии, а также позитивное отношение значительной части современного российского общества к Сталину, хотя большинство россиян не хотело бы жить в сталинскую эпоху. В таких ситуациях этично, неэтично — это проблема индивидуального выбора и прагматических оценок сталинского режима.

Неэтичность в другом: неэтично игнорировать «чужую» историческую память, делая вид, что ее не существует вовсе, огульно объявляя ложными те факты и толкования, которые за ней стоят. Не этично превращать страдания и несчастья собственного народа в род нравственного преимущества перед другими народами, якобы (или в действительности) не так сильно пострадавшими, использовать эти страдания как политический капитал, конвертировать их в списки претензий к соседним странам и народам.

Рассматривая проблему этического и неэтического в той сфере, которая связна с производством исторических знаний и поведением историков в академическом сообществе, отметим, что неэтичным выглядит в историческом познании методологический сепаратизм. Этот сепаратизм сопровождается, с одной стороны, гносеологическим ригоризмом, т.е. решительным неприятием представителями той или иной парадигмы других возможных способов познавательной деятельности, а с другой — признанием в качестве универсального только своего способа изучения исторической реальности.

В результате историческая наука начинает походить на коммунальную квартиру, а научное сообщество — на «интеллектуальных пауков в банке», которые не хотят понимать друг друга и отчаянно сражаются, доказывая научную несостоятельность соперника. При этом борьба концепций трансформируется в борьбу личностей, их самолюбий, и тогда в ход идут отнюдь не моральные средства, такие как напрасные обвинения, ложь, клевета, высокомерная издевка. Практикуется также замалчивание результатов, полученных «противной стороной», игнорирование ее успехов. Сторонники одной концепции насмехаются над аргументами другой, изображают идеи своих оппонентов, да и их самих в неприглядном свете, величая их фальсификаторами или лжеучеными. При этом стороны очень часто начинают апеллировать к вождям и президентам как арбитрам в научном споре.

В этом плане неэтично отказывать другим, кто мыслит иначе, в праве на стремление к истине. Не этично навязывать свою версию советской истории, даже если она «проверена и

одобрена» государством в качестве единственно правильной и не подлежащей научной фальсификации.

Неэтично также специально производить исторические знания для их использования в далеких от науки целях. В этом плане неэтична деятельность историков, связанная с осознанной фальсификацией прошлого.

Осознанная фальсификация в деятельности историка — это сознательный отказ от поиска истины в историческом познании или сознательное искажение исторических фактов и их тенденциозная трактовка в целях, не имеющих отношения к исторической науке. Мотивы осознанной фальсификации в историческом познании могут быть самыми разнообразными: 1) политическими и идеологическими, связанными с легитимацией политических режимов или идеологических проектов; 2) личностно-психологическими, основой которых выступает желание самоутвердиться, получить общественное признание путем подготовки сенсационных «разоблачений» или «открытий» в исторической науке, способных перевернуть существующие представления о советском прошлом; 3) коммерческими, обусловленные стремлением приобрести не только славу, но и деньги.

Можно выделить также внешние и внутренние причины осознанных фальсификаций в «проработке» советского прошлого. Внешние причины осознанных фальсификаций, или когнитивных измышлений, заключаются в том, что в условиях политизации или этнизации советской истории спрос на научную историю в локальных сообществах всегда значительно меньше, чем спрос на исторические мифы, выступающие средством национальной интеграции или этнической мобилизации. Фальсификации советской истории и связанные с ними разного рода сенсационные «открытия» в историческом познании, закрашивание «белых пятен» в истории привлекают обывателя своей доступностью и анти-академическим шармом.

Кроме того, различные фальсификации советской истории очень часто становятся политическим ресурсом: политики то и дело используют отдельно взятые исторические факты и их пристрастные интерпретации для обоснования своих популистских амбиций и политических действий. Поэтому неэтично превращать историю советского общества в инструмент для достижения сиюминутных политических целей, «дубинку» в руках людей, которым, в сущности, нет дела ни до национальной памяти других народов, ни до трагедий, пережитых их собственными народами, ни до прошлого вообще.

Внутренние причины осознанных фальсификаций истории обусловлены такими негативными, в том числе и с этической точки зрения, тенденциями в современном историческом познании, как: 1) ангажированность, 2) антрепренерство, 3) нашествие «околонаучного маргинала».

Историческое познание всегда носит ангажированный характер, поскольку еще ни одному историку не удалось, как говорил М. Вебер, избавиться от идолов собственного сознания, или, как сейчас говорят, фреймов восприятия прошлого. Однако существует другая ангажированность исторического познания, которая проявляется в предвзятом отношении к историческому прошлому, обусловленному сознательно выбранной идеологической или политической позицией.

Ангажированность исторического познания сопровождается производством исторических знаний, носящих идеологическую или политическую окраску. В результате история превращается в первом случае в проекцию идеального будущего, а во втором — в «политику, опрокинутую в прошлое». Такая ангажированность формирует порой диаметрально противоположное отношение к советскому прошлому.

Советский период некоторым представляется вообще выпадением из человеческой истории и лакуной в культуре. «Я воспринимаю то, что произошло с этой страной в результате Октябрьской революции 17 года как выход из времени, из истории и из жизни», — говорил известный советский интеллектуал М.К. Мамардашвили 1990 г. на французском радио. Другим советская история представляется органическим периодом российской истории, матери-

альными и духовными достижениями которого надо гордиться. Третьи предлагают сделать советскую историю предметом открытой национальной дискуссии. Четвертые — поводом для коллективного покаяния. Пятые рассматривают советскую историю как предмет произвольных толкований или сырье для непрестанных фальсификаций.

Среди российского руководства, стремящегося использовать различные интерпретации советского прошлого в качестве символического капитала власти, также нет единства в понимании советской истории. Так, на встрече с делегатами Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и общественных наук в 2007 г. Президент РФ В.В. Путин, предлагая державно-патриотическую интерпретацию советской истории, отмечал: «Что же касается каких-то проблемных страниц в нашей истории — да, они были. Так они были в истории любого государства! И у нас их было меньше, чем у некоторых других. И у нас они не были такими ужасными, как у некоторых других. Да, у нас были страшные страницы: давайте вспомним события начиная с 1937 года, давайте не будем об этом забывать. Но и в других странах было не менее, пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на маленькую страну в семь раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную [войну], как это было во Вьетнаме, допустим. У нас не было других черных страниц, таких как нацизм, например. Да мало ли чего было в истории каждого государства и каждого народа! И нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины, — о себе пускай подумают. Но мы для себя должны не забывать об этом — и мы не будем об этом забывать».

Спустя год, Президент РФ Д.А. Медведева, сторонник либеральной интерпретация советской истории, в «Послании к Федеральному собранию» подчеркнул: «В России на протяжении веков господствовал культ государства и мнимой мудрости административного аппарата. А отдельный человек с его правами и свободами, личными интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как средство, а в худшем — как помеха для укрепления государственного могущества. Повторю, так было на протяжении веков… Поэтому принятие в 1993 году Основного закона, провозгласившего высшей ценностью человека, его жизнь, его права и собственность, стало беспрецедентным событием в истории российской нации».

На следующий год в «Послании к Федеральному собранию» Президент РФ Д.А. Медведев подчеркнул, что «престиж Отечества и национальное благосостояние не могут до бесконечности определяться достижениями прошлого». «Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей. Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчиненную сугубо прагматичным целям. Вместо прошлой построим настоящую Россию – современную, устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделении труда».

М. Джилас, говоря об идеологической ангажированности истории, отмечал, что идеолог, если и не пишет непосредственно в пользу власти и движения, всегда держит в уме их «высшие интересы». К этому его обязывает сама природа идеологии – ее действенная роль в изменении чуждого мира, в усилении своего течения и сохранении своего устройства. Вот почему в идеологически написанной истории значительное место занимают интерпретации – прошлое «загоняют» в «истину» движения и потребностей власти.

Об идеологической ангажированности наглядно говорят, например, названия разделов в ряде современных российских учебников истории: «Поиски обретения свободы»; «Крестьянство на Голгофе»; «Партийный диктат и культура»; «Партия — ядро тоталитарной системы»; «Промышленная модернизация в тоталитарном исполнении»; «Крах плановой экономики»; «Мировая революция и мировая война»; «Советско-германский сговор»; «Советская тюрьма народов». Идеологический компонент здесь обнаруживается со всей очевидностью: это — идеология либерализма. У государственников-консерваторов названия другие: «Русь», «Россия», «Российская империя», «СССР», «Новая Российская государственность».

Большую роль в «проработке» советского прошлого играет политическая ангажированность. При этом в зависимости от развития политического режима в России возможны различные варианты интерпретации советского прошлого. В случае усиления авторитарных тенденций, неизбежным будет глорификация Сталина и его режима, как вершителей индустриализации и победы. В случае либерализации нынешнего режима, возможно сосуществование двух радикально отличающихся версий оценки советского прошлого (государственнически-консервативной и радикально либеральной).

В связи с этим государственная историческая политика в России, скорее всего, будет сохранять некий привкус амбивалентности, когда курс на реставрацию советской героики и великодержавного патриотизма будет сопровождаться непринципиальными идеологическими реверансами и уступками в адрес тех общественных групп, которых не устраивает ни «хороший Сталин», ни «Великая Победа», приведшая к экономическому триумфу побежденных.

Антрепренерство в историческом познании связано со стремлением некоторых историков браться за решение любых познавательных задач и искажать полученные результаты в угоду заказчику. Антрепренерство часто обусловлено «этосом» государственной или этнической сервильности, определяющим институциональные каноны познавательной деятельности историков. В этой деятельности на первый план выходит не стремление к истине, а удовлетворение запросов со стороны государства или этнических групп в ракурсе исторического «прозелитизма», т. е. стремления «обращать других в свою веру».

В связи с этим следует указать на некоторые черты современной государственной исторической политики в России, которая базируется на четырех политических/идеологических постулатах, артикулируемых ее авторами и промоутерами: во-первых, история является объектом политической борьбы (в том числе, и международной), значит, ее нельзя оставлять только историкам; во-вторых, поскольку «все делают это», то проводники исторической политики, разными средствами (от финансовых до административных), маргинализируют неугодных им историков и поддерживают выгодную им версию прошлого; в-третьих, эксплуатируется тезис о внешней угрозе, перед лицом которой «наши» историки должны сплотиться и мобилизоваться на защиту «нашей» истории, которая является объектом нападок извне; в-четвертых, используется тезис о «недостатке патриотизма» в школьной истории и учебниках, что ведет к необходимости пересмотра содержания школьной истории, ее унификации именно с целью гражданского воспитания; в-пятых, поскольку нам нужны не бездумные патриоты, а думающие, то изучая советскую историю, школьники должны знать разные точки зрения и учиться думать.

«Нашествие околонаучного маргинала» — это появление в сообществе историков дилетантов без специальной профессиональной подготовки, но жаждущих признания и претендующих на «переворот» в исторической науке. Типичным примером их продукции является «фолк-хистори» — своего рода номинация для обозначения претендующих на научность литературно-публицистических трудов, а также идейно-теоретических концепций на исторические темы, созданных с позиций негационизма как разновидности исторического ревизионизма, при котором «новая» концепция строится на полном отрицании предшествующих теорий и выборочном использовании подходящих фактов.

В связи с этим историки обращают внимание, например, на сенсационные разоблачения В. Суворовым агрессивных планов Сталина накануне Великой Отечественной войны, которые появились в России в начале 90-х гг. XX в. «Ошарашивающая истина» преподносится автором в гипертрофированной, экзальтированной форме. Если «неготовность», то обязательно «полная», «нехватка» — «чудовищная» и «катастрофическая», «трусость» — «всеобщая», «академии, ученые, учебники, эксперты» — обязательно «все в мире». Книги В. Суворова проникнуты весьма специфическим отношением к источникам, которое можно выразить формулой: «что надо, то и вижу». Соответственно, все то, что не укладывается в заданные концепцией рамки, этим автором просто не замечается. Тенденциозный отбор фактов, потре-

бовались автору для иллюстрации уже готового и сформулированного им еще до начала «исследования» вывода: коммунистический Советский Союз — самая агрессивная страна в мире, готовившая насильственное распространение коммунизма по всему демократическому миру. Если бы не превентивный удар Гитлера, пожертвовавшего судьбой Германии в неравной борьбе с колоссальным монстром РККА, весь мир был бы порабощен Сталиным.

Представьте себе российского обывателя. Все знают, что была тяжелейшая Великая Отечественная война, что Германия являлась агрессором и Советский Союз лишь через полтора года смог переломить ход военных действий, а затем одержать победу. Однако нюансы — удел специалистов. И вдруг на обывателя, как обухом по голове, сваливается «открытие» — неудачи советских войск в 1941–1942 гг. связаны с тем, что СССР готовился к нападению на Европу и не ожидал превентивного удара. Все эти «открытия» снабжены ссылками, цитатами из авторитетных источников и т.д. Как быть обывателю? Ошарашивающая «истина», переворачивающая систему привычных представлений, — обязательный атрибут такого рода концепций.

Разумеется, у каждого автора не только может, но и должен быть свой взгляд на советскую историю. Но он не должен строиться на «понравившихся» фактах и навязываться остальным в качестве истины в последней инстанции. В противном случае борьба за историческую Правду превращается в войну идеологий и политических языков, в которой не может быть победителей и побежденных. Стремление к исторической Правде должно стать полем порождения смыслов, расширяющее пространство интерсубъективных значений. Современная историография советского прошлого должна заниматься не столько его «проработкой», сколько стать пространством интерсубъективных значений, открытым для новых смыслов.

А.М. Старостин. ***Метод М. Ферро и проблемы изучения советской истории***

Проблемы, представленные на обсуждение конференции «Проблема проработки советского прошлого» вызвали у меня интерес не только как у ученого, философа, претендующего на новации в философско-методологической сфере («философская инноватика»), но и как у эксперта в области политики, который, работая в Президентской академии, должен предлагать определенные рекомендации в политико-управленческой сфере. А также как у гражданина, погруженного в очень сложный, конфликтный социально-исторический ценностно-смысловой контекст усилиями СМИ, политтехнологов, партийных идеологов и общественных деятелей нашего времени — Времени, как долгое время говорили, транзита. А ныне социально-политическая лексика обновляется и говорят не о трендах, а о турбулентности и лиминальности.

Сразу же хочу напомнить, что известным русским поэтом Александром Полежаевым применительно к нашему Отечеству, которое время от времени попадает в зоны турбулентности и лиминальности, уже 200 лет назад были высказаны поэтически образные, но очень точные, касательно отношения к нашему историческому прошлому, слова:

Была страна под небесами,
Была великая страна –
Страна чудес, … но времена
Враждуют страшно с чудесами!

Понятное дело, что ностальгическое представление о «стране чудес» значительно усиливается и охватывает большие массы людей в периоды разорительных и мучительных социальных преобразований и сразу после них. В XX веке эти потрясения накрывали Россию трижды: страшная волна Первой мировой, Гражданской войн и иностранной интервенции; не менее опустошительная волна Второй мировой и изматывающей «холодной» войны; и, наконец, современный период, начавшийся с Перестройки и все еще идущий по сценарию — тра-

ектории, которые в конце 80-х годов метафорически были обозначены как: «перестройка — перестрелка — перекличка». В каждом таком водовороте вряд ли уцелело бы какое-либо еще государство. А Россия была в центре, в воронке. Еще в начале 20-х гг. XX в. знаменитый Герберт Уэллс, много размышлявший о прошлом и будущем человеческой цивилизации, писал: «К 1920 г. Россия являла собой еще невиданное до сих пор зрелище современной цивилизации, пришедшей к полному краху». И еще, о конце периода, связанного с Первой мировой войной: «Вследствие ее было убито множество людей. Мир обеднел, все страны пришли в расстройство, а Россия была совершенно разорена». А впереди были еще не менее двух разрушительных потрясений. В итоге все «скелеты в шкафу», которые в развитых странах хранят, а то и лелеют столетиями, в России выбрасывались на общее обозрение по меньшей мере трижды. Перемешались все их кости и имена их хранителей. Неоднократно злодеи становились героями, а герои объявлялись злодеями. По много раз переименовывались города, улицы, да и страна в целом. Менялись праздники. Горели и исчезали по несчастью или умыслу архивы и миллионы документов и свидетелей. А смысловые ключи к пониманию множества документов утеряны или находятся на грани утери. И это не меньшая проблема, чем ключи к пониманию древних культур.

Я говорю об этом постольку, поскольку число идеологизированных и политизированных историков у нас не стало меньше. И хотя мы за короткое время смогли освоить немалое число новых для нас доктринальных и документальных исторических источников, но историческое профессиональное и массовое сознание не поднялось на новый уровень. Даже известные авторы, претендующие на объективность, слишком спешат с итоговыми выводами, не давая себе труда «отремонтировать» старую машину по производству исторических знаний. Вот небольшой фрагмент из научно-популярной 700-страничной книги известного историка Роя Медведева. Резюмируя сказанное на этих страницах, он подчеркивает: «Одни авторы перечисляют только достижения, другие только пороки советской модели социализма. Следует быть более объективными. Советский союз был уникальным государством с необычной общественной системой. Многие цели и задачи, которые ставились перед нами в программах КПСС, были не только разумными, но и благородными. Однако этими целями нельзя было оправдать примененные лидерами КПСС порочные или даже преступные средства. Такие средства не только дискредитировали цель, но и делали ее недостижимой».

Интересное суждение, в особенности относительно преступности средств. Особенно интересное, если более четко соотнести в историческом времени благие намерения и «преступные» (с чьих-то оценочных позиций — чьих спрашивается?) средства. Получается, что периоды наибольшего задействования «преступных» средств давали наиболее существенное продвижение к благим целям. Иными словами, можно доказывать (и это, разумеется, делается другими, не менее известными историками) противоположную теорему. Но самое главное, что ни те, ни другие, не предлагают новые фундаментальные концепции, которые помогли бы углубить наше понимание собственной (и не только) истории. Гораздо ближе к истине стоят представители науки, опирающиеся на ироничный фольклор, например, такой:

Первое правило переходного периода истории: на каждого историка найдется историк такой же величины с противоположным мнением.

Второе правило переходного периода истории: и оба они неправы.

Но какая же дорога ведет к «Храму исторической истины?» — Ответ на данный вопрос не прост, и он связан с реконструкцией эволюции системы исторического познания. А коль скоро мы выходим на вопросы, связанные еще и с историческим образованием и распространением исторических знаний, то — с углубленным их изучением, причем сопряженным с развитием исторического познания.

Вспоминая работы профессора А.В. Потемкина по истории философии и эволюции философского знания, правомерно говорить и о диатрибической традиции не только в философии, но и в историческом познании.

Реконструкция эволюции системы исторического познания и сознания в первую очередь опирается на исследования в области философии истории. Ибо здесь прежде всего обращается внимание на основания главных парадигм в познании истории. В их числе субстанционалистская трактовка, релятивистское понимание истории, экзистенциальное вопрошание о смыслах истории.

В качестве парадигмальных новаций, которые выявляются с помощью инструментария философской инноватики, следует указать на историческую диатропику в рамках глобально-эволюционного подхода, а также применение синергетических и математических моделей к анализу социально-исторических систем. Впрочем, и возможности уже известных парадигмальных подходов могут быть углублены и дополнены. На наш взгляд, следовало бы также реконструировать концепцию социального — информационного кодирования М.К. Петрова, обещающую выход на более существенные обобщения в области социально-информационной картины мира, что обещает и реализацию идеи ноосферы и так же, в свою очередь, перевода исторического развития и исторического познания в глобально-эволюционный контекст.

Существенным дополнением понимания сложности и многомерности исторических процессов (политическая история, экономическая история, социальная история в глобальном, региональном и локальном преломлении) и их погруженности в социально-информационное пространство выступает изучение эволюции исторического образования и исторического массового сознания (включая и проблему «исторической памяти»). В этом аспекте я бы подчеркнул значимость «метода М. Ферро». Как известно, Марк Ферро — известный французский историк, представитель знаменитой историографической школы «Анналов» и соредактор одноименного журнала. Специализировался в 60-е гг. XX в. на советской истории, защитив докторскую диссертацию о русской революции 1917 г. С начала 80-х гг. XX в. широко известна его книга «Как преподают историю в разных странах мира» (В нашем переводе — «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» — издание 1992 и 2010 гг.). Он показал исключительную роль исторического образования и деятельности СМИ в формировании этих феноменов. В частности, применительно к историческому образу недавнего прошлого, который изучался М. Ферро в более чем 50 странах мира, с помощью «Метода М. Ферро» установлено существенное влияние на образ прошлого страны, нации, крупной общности таких ценностных факторов, как: этноцентризм, идеоцентризм, лидероцентризм, событийный центризм. М. Ферро показал на примере, в том числе преподавания истории в ряде бывших республик СССР, наличие тенденций аберрации (искажений) исторической памяти в виде существенного преувеличения исторической значимости «успешных» событий (военно-политические победы, экономические и социальные достижения) и преуменьшение или исключение из событийного поля поражений, потерь, большой цены успеха. А также подчеркивание решающей роли страны, нации, этноса в «Большой истории», что иногда в нашей культуре обозначают в виде ряда ироничных метафор («Глобус Украины», «Россия — родина слонов» и т.п.).

В частности, в Предисловии к указанной книге М. Ферро указывает на несколько примечательных примеров:

«Все общества Юга деколонизируют свою историю, и часто теми же средствами, какими пользовались колонизаторы, т.е. конструируют историю, противоположную той, что им навязывали прежде. Сегодня у каждой нации есть несколько историй, накладывающихся одна на другую и сопоставляющихся одна с другой».

И далее: «Истории, независимо от ее тяги к научному знанию, присущи две функции: врачевание и борьба… Что касается функции истории как борца, то тут на ум приходят прежде всего манипуляции, практиковавшиеся в СССР. Долгое время предавался забвению Троцкий, а говорилось только о Сталине. Затем имя Сталина исчезло или почти исчезло, а Троцкого стали цитировать часто, но лишь для того, чтобы осудить. С началом перестройки вновь

появился Бухарин, стали мягче писать о Троцком, вспомнили Мартова… Еще более радикальна эволюция образования в США. Она состоит в переходе от идеологии melting-pot (Америка, как «плавильный котел», в котором перемешиваются народы, превращаясь в единое целое) к идеологии salad-bowl («салатница»), согласно которой каждая культура сохраняет свою самобытность. Однако несмотря на все изменения, существует своего рода матрица истории каждой страны: это доминанта, запечатленная в коллективной памяти общества. И очень важно знать суть этой матрицы».

Тенденции исторического образования, показанные М. Ферро еще в 80-е гг., мало поменялись к нашим дням. Показательны в этом плане материалы большой дискуссии о преподавании истории Второй мировой войны в разных странах мира. Здесь, в дополнение к уже известным со времен М. Ферро феноменам, отмечались такие вещи, как заметные проявления фальсификации истории. К примеру, в докладе известного финского историка Йохана Бекмана подчеркивается: «Фальсификация истории имеет определенную географию. Такие страны, как Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Украина искажают историю Второй мировой войны сообразно собственным интересам. К тому же относится непрерывная психологическая война против России и русских. Цель этих действий заключается в стремлении уничтожить всё, что может напоминать о Советском Союзе, — т.е. уничтожить Россию. Агрессивные атаки против русских имеют прежде всего психологический смысл, поскольку их объединяет одна задача — заставить русских испытывать вину, растерянность и гнев против руководителей своей страны».

Что касается острых проблем отечественного исторического образования, то наиболее характерные из них — это: работа по «заемным» когнитивным лекалам (соросовские программы); безмерное расширение числа рекомендуемых для преподавателей и учащихся учебников; а также ничтожное число учебных часов, отводимых на изучение Второй мировой войны (4 часа за все годы обучения) и других наиболее значимых исторических событий. Например, федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений, утвержденный Минобрнауки РФ (список действует до 2014 г.) насчитывает 108 учебников.

Понятна озабоченность Президента РФ и его рекомендации о значительном сокращении подобных списков и выработке более четких, сбалансированных подходов к историческому образованию и ориентации на более четко сформулированные цели образовательного процесса в области отечественной истории, включая и советский ее период.

Заключая сказанное применительно к реконструкции советского прошлого, подчеркнем, что образы его задевают интересы ряда влиятельных социальных и политических групп, которые лоббируют действия, направленные на аберрацию восприятия и фальсификацию недавней истории.

Своеобразным «противоядием» против подобных исторических аберраций выступает метод полицентричной подачи в репрезентации исторических образов, основанный на информировании (в политкорректных формах) массового субъекта о существовании параллельных и альтернативных образов одних и тех же процессов и событий.

Привычки и навыки полицентричного исторического восприятия позволяют снизить эмоциональный накал в историческом восприятии и сформировать более сбалансированное, взвешенное отношение к прошлому.

С.А. Кислицин. ***Инакомыслие и оппозиция в советскую эпоху***

Я сделаю доклад по моей свежей книге. В ее основе лежат взгляды трех человек: Юрия Андреевича Жданова, Михаила Александровича Шолохова и Сергея Сырцова о реалиях советской жизни. Однако на момент написания своих произведений Шолохову было не так много лет. Поэтому крайне сомнительно, чтобы столь юный человек мог обладать достаточным объемом информации и умением ею оперировать, не говоря уже о жизненном опыте. Я

придерживаюсь здравого скептицизма и считаю, что даже гениальность может иметь свои пределы. Поэтому надо сделать попытку разобраться с вопросом: не стоял ли за спиной юного писателя кто-то ещё (и кто именно) кем может данная личность(-ти) являться, или всё же дело обстоит в писательском таланте автора «Тихого Дона? Такой подход не является новаторским, поскольку указанный факт был подмечен уже давно.

В.П. Макаренко: Насколько точна дата рождения Шолохова?

С.А. Кислицын: Никаких неточностей или ошибок быть не может. Именно поэтому создается впечатление, что за фамилией Шолохова скрывается какой-то другой человек, старше и опытнее. Тем самым создается своеобразное «наложение биографий». Тем не менее, следует отметить тот факт, что Шолохов был в советской России очень влиятельной фигурой. Он был фактическим «главой Дона», занимал достаточно высокий партийный пост на «всесоюзном уровне». Я хотел бы сделать автобиографическое уточнение на основе воспоминаний одного из доцентов, с которым я в советское время работал на одной кафедре. Он говорил: «Влиятельнее Шолохова на данный момент на Дону нет никого». Поэтому любые возникающие замечания и любая критика в адрес донского писателя пресекались на корню. В ответ на любую попытку «усомниться» в законности и компетентности Шолохова один из партийных секретарей сказал: «Таких, как вы у нас тысячи, а Шолохов один». Разговор на этом заканчивался.

Безусловно, это было связано с тем, что помимо «Тихого Дона» Шолохов зарекомендовал себя как ярый коммунист, приверженец и последователь советских идей. Причем, последователь искренний и яро увлеченный, а не подхалим. Именно поэтому советское руководство было к нему столь благосклонно. Но несмотря на это Шолохов был всё же инакомыслящим человеком, правда, в рамках советской системы. Одним из доказательств служит тот факт, что писатель очень уважал Н.С. Хрущева, но почти в открытую презирал Брежнева.

Начну с того, что роман «Тихий Дон» — один из первых фактов инакомыслия Шолохова. Как известно, автор не скрывал (и даже не делал попыток) скрыть «подвиги» Красной армии и всей советской верхушки, а иногда от имени своих героев позволял слова критики в их адрес. За что сам был нещадно этой самой верхушкой раскритикован.

Итак, первый факт инакомыслия: роман «Тихий Дон», который если не являлся прямой критикой советского режима, то уж явно не способствовал укреплению позиций власти, ибо представленные в нем персонажи-коммунисты если и не выглядели нелепо, то уж явно не способствовали, как говорят сейчас, «поднятию рейтинга» советской верхушки.

Второй факт инакомыслия — письма Шолохова Сталину, в которых он открыто сообщал о бедственном положении крестьянского класса (это явление впоследствии будет названо «голодомором») и критиковал процесс коллективизации. На что Сталин, в свойственной ему резкой манере, ответил: «Не лезь не в своё дело, это политика».

Третий факт инакомыслия — Шолохов едва не стал жертвой «чисток» 1930–х годов (лучше всего данные события описаны в книге Козлова) из — за того, что выступал в защиту глав некоторых райкомов.

Четвёртый факт состоит в том, что в романе «Они сражались за Родину» писатель снова позволял себя критику сталинского режима, так как не мог согласиться с методами правления Сталина, хотя, безусловно, уважал его как выдающегося политического лидера.

Пятый факт — открытое осуждение расстрела протестной демонстрации новочеркасских рабочих. Причем выступил в гневной, открытой форме: «Какое право вы, как партия рабочих, имели для расстрела этих людей?».

Но в конечном счет Шолохов не был оппозиционером. Он был представителем писательской фронды и не имел желания менять советскую систему.

Теперь о Юрии Андреевиче Жданове. Я категорически не согласен с тем, что Жданов был сталинистом. Жданов не был сталинистом потому, что он избирательно критиковал сталинский режим, но вслед за Шолоховым отдавал должное исторической роли Сталина. Жда-

нов также не был согласен с некоторыми аспектами деятельности вождя всех народов. За что изгнан в Ростов, где он был назначен ректором Ростовского госуниверситета. Данное назначение благотворно повлияло на наш ВУЗ: в скором времени РГУ стал пятым лучшим университетом страны. Его нововведения также благотворно повлияли на работу философского факультета, который при нем был создан. Жданов был партийным человеком. Он отрицал свою принадлежность к либеральной диссидентской мысли, активно выступал за партийность «настоящую», за «партийность как материалистическое понимание истории», «партийность как экономический детерминизм». Выступал за социалистическую культуру во всей широте данного понятия.

Иначе говоря, Жданов придерживался более «левого политического курса», чем современная ему партийная верхушка. Жданов был диссидентом «левого толка». Инакомыслие его заключалось в следующем. Его сталинские взгляды носили более личный характер, то есть не годились для массового употребления, как взгляды Шолохова. В отношении науки он придерживался взглядов В.И. Вернадского. Однако Жданов столь же критически относился и к современной демократической власти в России. Он находился с ней в открытой морально-нравственной оппозиции, но, как и Шолохов, не считал необходимым вступать с ней в деятельный конфликт по причине своего возраста.

Сергей Иванович Сырцов — представитель политической интеллигенции, «политический импрессионист». В отличие от Жданова и Шолохова он находился в открытой оппозиции к власти, за что впоследствии был расстрелян. Кроме того, он был одним из персонажей «Тихого Дона» в первой версии романа, что неудивительно, так как во времена Гражданской войны он активно занимался расказачиванием на Дону. Однако в своем манифесте в 1925 году, который был посвящен данной проблеме, он попытался расставить все точки над «i». Именно поэтому я считаю, что неправильно утверждение о геноциде казачества. Такие предпосылки действительно имели место, но как раз-таки данное выступление Сырцова доказывает обратное.

Один из аспектов инакомыслия Сырцова заключался в том, что он в своей партийной деятельности придерживался линии Рыкова, а не Сталина. Сырцов почти в открытую выступал против верхушки власти. Например, в вопросах коллективизации Сырцов практически параллельно возражал Сталину. Когда Сталин призывал ускорить процесс, Сырцов говорил совершенно противоположные слова. В узком кругу этот политический деятель призывал сменить политический курс и даже сместить главу партии с его поста. Его весьма революционное заявление заключалось в том, что Сырцов открыто заявил о невиновности Зиновьева в убийстве Кирова. Разумеется, за такие слова он был арестован, подвергнут пыткам и расстрелян. Я думаю, самым печальным является тот факт, что Сырцов впоследствии так и не был реабилитирован. О нем отзывались крайне негативно. А по сути дела он был человеком своего времени и совершил не больше и не меньше ошибок, чем любой другой советский политический деятель.

Из всего сказанного вытекает общий вывод. Описание жизни и деятельности трех героев доказывает, что есть некая общая основа в формировании оппозиционного и инакомыслящего течения и взглядов. Следует также иметь в виду, что формирование подобных взглядов является процессом творческим, мало уловимым и потому не всегда поддается должному осмыслению в силу выше перечисленных факторов. Не следует рассматривать революцию как «войну всех против всех» и относится к её современникам, как к «паукам в банке». Как и в любом другом историческом событии там были свои герои, «антигерои», но они были прежде всего людьми, поэтому нет необходимости сталкивать их лбами, навешивая на ярлыки «хороший», «плохой» и пр.

Т.А. Марченко: В любую эпоху есть свои пауки в банке. Поэтому нет необходимости в оценочных суждениях, необходимы исследования, и данный доклад является примером тако-

го исследования. В нем были представлены соответствующие факты. Я думаю, доклад был социологически осмыслен.

Ю.С. Пивоваров: Большевики намерено уничтожали население страны. Не имея возможности грабить колонии, они занимались грабежом собственного народа. Ленин, Сталин и все остальные были палачами собственного народа. Они вели политику криминала, уголовщину.

С.А. Кислицин: Я думаю, не совсем правильно говорить, что большевики издевались над собственным народом. Подобные прецеденты были и в других странах. Ленин был не палач, а скорее фанатик собственных идей. Независимо от того, кто пришел к власти, всё равно были бы применены насильственные меры: у противоборствующей «белой» стороны были точно такие же планы расстрела и высылки семей большевиков и других, несогласных с ними. Позицию гражданской войны надо рассматривать с её же позиций, а не с позиций современности.

Ю.С. Пивоваров: Я отношусь к гражданской войне с позиции «белых»». Я думаю, невозможно сравнить Троцкого и Деникина. В 1930–40-х годах не было никакой войны и предпосылки для расстрелов и ссылок.

В.П. Макаренко: Надо сменить тему беседы, перейти от оценок личностей к анализу концепций, соответствующих теме дискуссии. Я думаю, докладчик совершил серьёзную методологическую ошибку, вовлекая нас в обсуждение вопросов, не относящихся к теме переработки советского прошлого. Ошибочно переносить концепции истории КПСС на почву современных реалий. Короче говоря, весь доклад можно определить как апологетику официальной советской историографической концепции. Ясно, что данная концепция обладает политическими следствиями. Не мешает об этом задуматься, в том числе при обсуждении судеб трех фигурантов советской истории, о которых рассказал докладчик.

И.И. Глебова. ***Память против истории: использование советского прошлого в России 2010-х.***

Виктор Павлович сказал, что наша дискуссия уходит в песок. Она не нужна и не показательна. В ней мы не достигнем согласия. Действительно, то, что происходит здесь и происходило после обсуждения, — это и есть актуализация той проблематики, которую называют проблематикой памяти. Это и есть срез того, что происходит в нашем обществе. Это и есть «войны памяти», в которых, как показывает опыт, в нашем обществе сейчас примирение невозможно. И это во многом характерно для нашего общества.

Вообще, проблематика памяти не есть история. Память — это не о том, как и что было. Память — это не о вчера, память это о сегодня. Память — это диагностика современного общества, его болезней, травм, идентификации, легитимации. Память — это то, как общество представляет свое прошлое, как определяет то, что оно хочет или не хочет знать. Память определяет, травматично прошлое или нет. Процитирую знаменитого историка, который занимается проблематикой памяти: «То, что люди помнят о прошлом, а также то, что они в нем забывают, является одним из ключевых элементов их неосознанной идеологии». И это верно.

Память — это проблема сегодняшнего дня, память находится на стыке собственной истории и общественно-исторических представлений. Память находится на стыке воображения и прошлого, того, как оно представлено в сознании людей, в публичной сфере, в сфере СМИ, политики, искусства. Всё это вместе формирует нашу память, информационные и художественные образы, которые ничем не объяснить. Исследователи говорят, что сейчас произошла телевизация памяти. Память — это вопрос представления, вопрос ценности и идентичности. Татьяна Александровна сказала, что когда мы будем говорить о ценностях, мы тоже не придем к согласию. Это разговор субъективный и ненужный. Это ценностные суждения. Память — это о ценностях и идентичности.

Память — это коллективный проект. Такая идея возникла в середине 1920-х годов, французский историк и социолог М. Хальбвахс придерживался данной идеи. Он сказал, что социальные группы строят свои образы и выстраивают согласованные версии прошлого. Группа образуется этим прошлым. Само общество — это его прошлое, и мы можем говорить, что сообщества нет, если в нем нет консенсуса по базовым ценностям, которые зафиксированы в прошлом. Сейчас мы можем сказать, что в России общества нет. Есть конгломераты обществ, есть большие общества, есть некая среда, которая достаточно индифферентна по отношению к проблемам прошлого. Но есть самоопределение по поводу прошлого, которое отражается в памяти, в этих принятых проектах. Это неизбежно в массовых обществах, потому что в массовых обществах история перестает быть профессиональной. История имеет функцию некого влияния на память, некой коррекции памяти или некоего оздоровления памяти. И это очень важно, это характеристика коррекции общества. Того, насколько история мыслит за собой эту функцию, насколько эффективно её выполняет, насколько общество позволяет историкам выполнять эту функцию.

Это некие признанные воспоминания, которые рождаются в обществе; это могут быть официальные или теневые воспоминания, которые выдавливаются, уходят. Это стала известно в отношении нашей памяти в 1990-2000-е годы. Выяснилось, что официальная советская картина памяти — война, героизм, отсутствие негативных элементов прошлого — не сходятся с той картиной событий, которая присутствует в памяти неофициальной. И она представлена как теневая. Когда человек выходит в общество, он начинает мыслить по официальной картине. А как выглядит неофициальная картина?

Первое в сознании людей — это коллективизация как опыт массового террора, опыт массовой репрессии. Здесь 1937 год занимает далеко не первое место и рассматривается людьми как репрессия против элит, как внутриэлитарный и поверхностный конфликт. Главное — коллективизация идет как память о раскулачивании. Такова память крестьянской России, которая в этом процессе была переформатирована, искорежена, разорвана. Эта память воспринимается как травматичная, теневая, её нельзя выносить на публику.

Следующее — это война, но не в героически-победном ореоле, а как такой же тяжелый, травматичный опыт. Как опыт лишений, потерь, утрат и выживания, опыт смертей, который тоже не выносится на свет дня.

Существует различные культуры памяти, они отличаются от общества к обществу. Сама эта проблематика возникла при изучении немецкого прошлого, памяти жертв, памяти о Холокосте. Как раз здесь появились термины, о которых мы вчера говорили. Проработка прошлого — это проработка травматического опыта. Это не замалчивание и примирение, а рассказ, вызывающий ужас и скорбь. Это самокритический рассказ, в который вовлекается всё общество, это публичные дебаты о травматическом прошлом. Обществом это было воспринято как травма. Сама проработка есть изобретение обществом вакцины против варварства. Опыт, с которым нельзя примириться, ставит проблемы морально-нравственного выбора: что есть добро и зло?

Есть более высокий термин из арсенала культуры памяти: преодоление травматического опыта. Преодоление травматического опыта — это взгляд, отношение к прошлому как необремененному оправданиями. Этот опыт связан с возникновением понятия стыда, вины, коллективной вины и коллективной ответственности, преодоление себя, но не преодоление прошлого. Именно такую высокую планку предложили немцы. Можно сказать, что планка для них оказалась слишком высока, что они с ней не справляются, они то преодолевают её, то нет, то жалеют жертв войны, то свою нацию определяют жертвой. Эта планка в немецком обществе замкнута.

Память — это социальная функция истории, вопрос социального существования истории, вопрос, с какой именно историей идентифицирует себя общество. Это вопрос о том, ка-

кую историю оно хотело бы иметь. Когда мы говорили сегодня об истории, мы говорили о неких воображаемых проектах, с которыми мы бы хотели солидаризироваться.

Что касается советского прошлого и опыта советской памяти, то, безусловно, это не история как цепь событий, а историческая память, которая сделала советского человека. Можно сказать, что это память власти, с которой солидаризируется советский человек. Отказ от прошлого — такова первая советская традиция.

Вторая традиция возникла в сталинские времена, в 1930–40-е годы. Это конструирование прошлого прежде всего для легитимации системы под нужды власти. Есть несколько терминов для описания этой традиции: монополизация прошлого, национализация, агрессивное подчинение властью прошлого. Пространство памяти — это пространство борьбы общества с властью за свою самостоятельность.

Есть такой термин — политическое использование прошлого. Можно сказать, что в советское время весь опыт работы с прошлым свелся к политическому использованию прошлого. И мы это видим сейчас. Советские традиции все еще живы, они работают и в 1990-е и в 2000-е годы. Сильно сузилась зона публичности. Общество изменилось, в нем есть энергия. И она уходит в зону памяти, прошлого. Это становится способом самоопределения, что традиционно для России. Вспомните западников и славянофилов. Они же определяли повестку дня, а говорили о прошлом. Таков традиционно русский взгляд на прошлое.

Я хочу предложить схему моего представления о том, что происходит в нашем обществе с памятью и по поводу памяти. Если с этой позиции посмотреть на происходившее в 1990–2000-е годы, то очевидно, что мы пережили несколько этапов нашего прошлого. Вначале были 1980-е, это эмансипационный и встречный взрыв: либерализация общества и либерализация власти совпали в этом пространстве. Этот взрыв связан с раскрытием истории, её разгерметизацией, появлением разных сил с разными взглядами. Когда говорят о переработке прошлого, то речь идет о снятии запретов на травматическое прошлое. Оно является таковым, потому что травмирует людей, является опасным для общества. И чем проще мы даем ответы на поставленные вопросы, тем примитивнее становится общество.

В.П. Макаренко: Наше обсуждение входит в регрессивную фазу. Она состоит в том, что будем ограничивать время. Попрошу не выходить за рамки 20-ти минут. Я буду следить за временем и выполнять репрессивную функцию.

С.А. Денисов. ***Советское общество как идеальная реализация модели административного общества.***

Я буду говорить о более простых вещах, чем говорилось ранее. Когда я вас слушал, я представлял себя заблудившимся в лесу: куда идти, где восток, где запад, ничего не вижу, всё перепутано, там и здесь страшно, здесь страшно. А я как теоретик пытаюсь всё упростить, понимаю, что это примитивизм, меня можно за это критиковать. Но я воспитывался всё-таки на ленинских трудах и всё время вспоминаю его фразу: «За деревьями желаете увидеть весь лес».

В.П. Макаренко: Но это не его слова, это русская поговорка *(смех)*.

С.А. Денисов. Да, я признаю, что вырос именно в той науке, и всё, что здесь говорили, — повторяли Маркса или Ленина! Я постараюсь нарисовать примитивную картинку, о которой начал рассказывать вчера. Я предлагаю дихотомию, в этой дихотомии я вчера нарисовал образ административного общества. Это научная модель, я сочинил модель административного общества, где мой класс, из которого я вышел, стал господствующим. Моя сегодняшняя задача — посмотреть, насколько советское общество соответствует идеальной картине административного общества.

Модель административного общества появляется в Китае. Китай представляет собой общество, в котором успешно реализовалась административная модель. В пользу этого говорит тысячелетняя история Китая, в процессе которой они выжили. Продуктивно данная мо-

дель работает в человеческой истории. Поэтому советское общество можно сравнивать с Китаем и другими странами Востока и говорить о том, что из себя оно представляет. Дальше я иду по пунктам и сравниваю свою модель с советским обществом. Надеюсь, историки меня поправят, если отступлю от фактов.

Первый пункт — форма собственности. Госсобственность обеспечивает как раз господство управленческого класса. Только отличие в том, что такой степени тотальности госсобственности ни одно общество в мире не знало, когда даже невозможно было определить, кому принадлежали квартиры. А ведь в конституции писалось, что это народная госсобственность, может быть, это всё — таки не госбюрократическая, а народная? Я продолжаю верить в построение народной собственности.

Далее. Когда большевики пришли к власти, они пытались создать народную собственность, фабрики были захвачены рабочими. Но вот что получилось: зарплата выросла в несколько раз, производительность и дисциплина упали, и возникли задачи советской власти: хватит советской демократии, вводим диктатуру, хозяйственную бюрократию. Можно сказать, что попытки реализовать народную собственность предпринимались, но показали, что общество не готово к тому, чтобы собственность сделать народной.

Теперь сравним тотальную редистрибуцию (распределительную политику) в СССР с восточным, азиатским типом. Маркс с Энгельсом говорят, что главное ведомство на Востоке — это финансовое, потому что производство организовано общинами, и возник вопрос: как отнять часть продукта, земельную ренту земельную у общины? При советской власти этой проблемы не возникало потому, что производство находилось в руках государства. Процесс отнятия у работника произведенной продукции не представляет никакого труда, поскольку сам работник присоединен к продукту временно. Продукт не переходил в собственность рабочего коллектива или самого работника, а оставался в руках государства. Соединили технику с рабочим и продукт остался в руках государства. С крестьянами было тяжелее. На вопрос: как отнять продукт? — научились отвечать с помощью колхозов. Кроме того, вся редистрибуция была направлена на поддержание господства самого административного класса. Надо защищаться от внешнего агрессора, огромные средства идут на поддержание внутреннего порядка и на пропаганду.

Дальше я хотел бы обратить внимание на то, что характер распределения был основан на интересах самого административного класса. И хотя административный класс жил очень скромно, привилегии были. В отличие от административного общества в древнем Востоке или Средневековье специфика советского периода всячески скрывалась. Специфика советской собственности состояла в том, что она была корпоративной, а не частной. Её распределение шло по должности: чем выше должность, тем выше твой социальный статус. Принцип иерархии распространялся не только на управленческий аппарат, но и на население всей страны. В книге Кондратьевой подробно описано, как распределялись блага внутри самого рабочего класса. Хотя большевики провозгласили равенство классов, фактически были установлены страты: у работников ВПК были одни привилегии, у крестьянства привилегий было меньше всех остальных.

В.П. Макаренко: Самое важное в ее книжке то, что полицейские были приравнены к врачам.

С.А. Денисов: На мой взгляд, советская власть использовала все известные в мире опыты эксплуатации, которые только возможны, но не эксплуатацию человека человеком (за исключением армии). Например, форма эксплуатации крестьян носила характер практически крепостнический. Крестьянину невозможно было уйти со своей земли на фабрику для получения более серьёзного заработка. Следующий элемент эксплуатации — способ заинтересовать в труде. Этот элемент был развит при Хрущеве, благодаря косыгинским реформам. Ещё один замечательный способ эксплуатации, который в древнее времена был служением Богу, — это построение коммунизма.

К формам эксплуатации можно отнести также патернализм, который типичен для административного общества. Он тоже хорошо работал в СССР. Фактически этот патернализм воспитал то население, которые мы с вами продолжаем сейчас иметь. Ведь если отвлечься от советского времени, то не Путин захватил власть, а население сказало: хочу хозяина. Люди оказались не способны выживать, они не в состоянии быть свободными. Но разве могут быть свободны люди, которые воспитаны в патерналистском обществе? Я думаю, значительная часть административных обществ выживают за счет природной ренты (как древние империи вроде Месопотамии), к которой можно отнести и рабочих как бесплатную рабочую силу.

Теперь я хочу обратить внимание на то, что везде, где исторически проявлялись административные государства, они выигрывали соревнования с частно-собственичеством за счет мобилизации и кумулятивного эффекта. Если перейти от экономики к социальной опоре, то административное общество держится на административном классе, образованном, организованном, экономически мощном. Но я думаю, что здесь мы преувеличиваем как бюрократоведы. Я полагаю, что известная доля принадлежит тому обществу, о котором мы говорили, которое нуждается в хозяине, опекуне и не способно к самоуправлению. Это население является опорой современного общества, потому что в случае конфликта такое общество будет говорить о том, что безвластие плохо, что свобод нет, но всё равно, дайте нам одного хозяина, пускай правит страной.

В.Ю. Попов: Сергей Алексеевич, я хочу уточнить. Вы сказали, что первоначально большевики хотели создать народную собственность. Мне кажется, здесь неточные данные, что рабочие захватывали сами предприятия. Для меня это было полной неожиданностью. Ведь Ленин в работе «Что делать» говорил партии не сближаться с рабочими, поскольку среди них существуют хаотические настроения.

А.Н. Ерыгин: К 1917 году эту работу закрыли, если вообще знали.

В.Ю. Попов: В 1917 году Ленин написал работу «Государство и революция», в которой именно эту практику рабочих приветствовал. Но этому произведению предшествовала дискуссия Ленина с Люксембург, Коллонтай, которые говорили, что не нужно относится к рабочим как к массам…

В.П. Макаренко: Подожди, Вадим, ты путаешь. Ты сейчас ссылался на работу «Государство и революция», а дискуссия с Коллонтай и ей подобными была в 1920-х годах, при жизни Ленина. Люксембург к тому времени уже не было. Правда, оставалась кобыла Роза Люксембург, но и то в виде героини романа Андрея Платонова *(общий смех)*.

В.Ю. Попов: Я говорю о том, что Люксембург написала работу про профсоюзы и стачки, где она говорит, что нельзя относиться к рабочим так, как относился к ним Ленин, то есть как к массе. У Ленина была четкая установка: что мы наверху сидим и контролируем власть.

В.П. Макаренко: Нет, это ты упрощаешь...

С.А. Денисов: Заводы захватывались, другое дело, что это была иллюзия! Я хочу обратить внимание, что мы никогда не поймем, что хотел этот класс, то есть элита. Когда я пришел в 20 лет в милицию, у меня не было стремлений, у меня был инстинкт власти. Когда Ленин захватил власть, неясно, хотел ли он пользу стране принести?! Но инстинкт власти у него был мощный. Никто не думал, что большевики долго продержатся у власти. А они создали мощную структуру, мощный госаппарат, мощную армию восстановили вопреки всем своим обещаниям, и удержали власть.

В.А. Шкуратов. ***Советский Союз как параллельная языковая реальность***.

Коллеги, я психолог, а происходящее дает пищу для размышлений. В немецком языке существует разделение между Erleben и Vergangenheit, «проживаемым» и «прошлым». Мы здесь проживаем, но не можем отделиться от некоего прошлого, не можем сделать его прошлым. Ещё один немецкий термин Durcharbeitung, проработка, является психоаналитическим. Это термин Фрейда. Здесь идет речь о том, что существует некий избыток комплексов, кото-

рый непрерывно воспроизводится. Задача психоаналитика состоит в том, чтобы заставить пациента «отреагировать» — проговорить, а затем выйти из цикла непрерывных повторений, за которыми стоит некий комплекс — перегруженность аффектами нашего опыта. Этот метод применяется к индивидуальным пациентам. Но какая-то модель психоаналитического реагирования применяется и к обществу. Я буду говорить не о клиотерапии, хотя клиотерапия это тоже терапия. В целом исторические концепты двусторонни: они травмируют или наоборот. Я буду говорить о том, что выражается в языке. то есть об СССР как параллельной языковой реальности, но слово «реальность» буду употреблять не по Марксу, а по Жаку Лакану. А реальность там самая непонятная: «-само». Это такой психический регистр, который все имеют в виду, но вкладывают совершенно разные смыслы.

Советский Союз имеет значение как территория и как государство, но порождаемые нашим языком смыслы диверсифицированы. Психоаналитик стал бы анализировать конкретный опыт индивида, но поскольку я не психоаналитик, а занимался историей психологии, то перейду к схемам реагирования и комплексам, которые имеют более универсальный характер.

Здесь необходима двойная оптика: есть языковые средства, которые подходят для проработки современности; есть такие же языковые средства для отражения наших комплексов в плане антисовременности. Это два проблемных дискурса. Поэтому оптика получается объемной. Что такое наши современные дискурсы? Это достаточно понятно. А вот что такое наши несовременностные дискурсы? Я на этом и остановлюсь. Я их назову просто и банально: это Средневековье. Советский Союз как параллельная языковая реальность есть средневековье. Что я понимаю под средневековьем? Это антропокультурная, а не социоэкономическая формация. Она дуалистична. В ней существует верх, жесткий идеологический верх религиозного или квазирелигиозного характера. И в ней существует низ. А низ — он народный, это тело. Он отчасти фольклорный, карнавальный. Они сообщаются, но все же весьма жестко разделены.

В.П. Макаренко *(обращаясь к В.А. Шкуратову):* Володя, я смотрел на тебя, вспоминал-вспоминал, на кого ты похож. Наконец, вспомнил — на Бальмонта.

В.А. Шкуратов: Спасибо! Но я вспоминаю Бахтина. И перейду к персоналиям, но начну не с Бахтина, а с Люсьена Февра, одного из основоположников истории ментальности, и его знаменитой книги «Проблема неверия в XVI веке». Там он описывает все феномены карнавальной культуры, но интересно, *как* он их описывает. Он их описывает как современный человек. Говорит, что средневековую ментальность нам до конца не понять. Она в себе. Мы можем отчасти её описывать, до конца она непонятна. Потому что у них иные физиологические условия, иной образ жизни, а мы современные люди. Вот это очень интересно. Книга Февра вышла в свет в Париже, в 1942 году. Условия не самые комфортные.

В.П. Макаренко: Я верно тебя понимаю: книга Февра вышла позже, чем свои концепции сконструировал Бахтин?

В.А. Шкуратов: Нет, Февр написал её раньше.

В.П. Макаренко: Ну да, в 1930-е годы он её писал.

В.А. Шкуратов: Да, а вышла она в 1942-м году в Париже. Он подходит к средневековью со стороны либерального европейца XX века. А теперь обращаюсь к Бахтину. В его книге «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» критике Февра посвящено 5 страниц. Бахтин утверждает, что Февр ничего не понял, не понял, кто такой средневековый человек. Бахтин не говорит, почему у него сложился такой вывод, но вполне понятно, откуда он берет свои аргументы. Бахтин живет в советском средневековье. Его книжка полна таких аллюзий.

В.П. Макаренко: Да, это верно.

В.А. Шкуратов: Там содержится описание празднование праздника первого мая 1262 года в городе Аррасе. Каков этот праздник? Сначала проходит торжественное заседание, то

есть, звонит колокол, прихожане с серьезными лицами идут в церковь, слушают проповедь. Потом народ расходится по более интересным местам. К вечеру всем уже хорошо: кто шатается, кто упал под стол, кто лежит в канаве. Начальство сняло свои облачения и тоже пирует в своих кельях и кабинетах. Безусловно, это аллюзия советских праздников. Несомненное сходство. Но что интересно: Бахтину достаточно хорошо в этом обществе. Хотя он гоним советской властью, он калека, он голодал, но постоянно обличал Февра с позиции цивилизованного человека XX века. За то, что тот не понял свободу, которую скрывает данное общество. А у Бахтина есть свой «фольклорный» низ. Он туда уходит, он в нем скрывается.

Теперь перехожу ещё к одному персонажу. Вот Николай Александрович Бердяев и его работа «Новое средневековье», опубликованная в 1924 году. В ней описан православный синдикализм и итальянский фашизм как главная движущая сила Европы. Интересно отношение Бердяева к Европе и к покинутой Родине. Европа ему активно не нравится. Для него слово «демократия» ругательное. Понятное дело, большевизм ему тоже не нравится, но он ему более близок. Бердяев прямо так и говорит: России суждено место в новом сражении между дьяволом и архангелом Бога. Ему нравится, что Россия получила некое эсхатологическое место в истории, ему нравится Средневековье. Он так и говорит, что современности конец, и это очень хорошо, потому что современность — это разложение человечества. Почему большевизм кажется ему более родственным, чем западная демократия? Потому что он находится в одних координатах со способом мысли Бердяева. Большевизм он называет сатанократией и правлением дьявола. Но дьявол будет справлять эту последнюю битву попущением Бога, и поэтому они находятся с Богом в одних координатах.

Бердяеву очень не нравится язык науки. Он считает язык рационалистической психологии признаком упадка мышления. Если взять вертикальную аксиологию, то вертикаль «верх — середина — низ» не современная, она платоно — аристотельско — птолемеева. Бердяев откровенно говорит, что оккультные науки ему ближе, чем современные. И в этой аксиологии выражена позиция естественного человека, его взгляд на мир. Верх-низ-середина; вверху — бог, внизу — ад, посредине — человек, который является полем сражения между Богом и дьяволом. А в современной картине мира этой аксиологии не может быть, потому что совершенно бессмысленно спорить, что выше: земля или солнце. Бердяев видит, как эта средняя точка на древе мира вытягивается и превращается в горизонталь. То есть, человеческий взгляд на мир секуляризируется, становится практичным, избавляется от аксиологии — и Бердяеву это чрезвычайно не нравится.

Теперь перехожу к третьей части моего сообщения: почему в России так получается? Почему в России средневековая картина мира (т.е. определенный комплекс) оказывается устойчивой? Может, я скажу здесь еретическую вещь, но с моей точки зрения Россия опоздала к столу раздачи научных дискурсов.

В.П. Макаренко: Это аллюзия на Ленина, в ранней работе он писал, что Германия слишком поздно села за стол капиталистических яств.

В.А. Шкуратов: Нет, извините, я не по Ленину.

В.П. Макаренко: А кто тогда? Это цитата из Ленина.

В.А. Шкуратов: Я говорю о научно-языковых средствах, а не о капитализме.

В.П. Макаренко: Ну, хорошо, извини.

В.А. Шкуратов: С моей точки зрения, так называемый научный объективный язык науки является национальным языком Запада. Наука, какой она сформировалась в Новое Время, естественно имеет национальное происхождение. А России достался замечательный кусок литературного пирога. Но поскольку российские приоритеты и амбиции, геополитические и культурные, были столь велики, то наши идеологи стали отстаивать наши русские приоритеты в области этих самых дискурсивных средств. Это отзывается до сих пор. Но видимо, русскому человеку и России следует примириться с тем, что писать статьи по физике или химии лучше все-таки на английском. Знаете, у меня есть знакомые, такие совершенно вестернизи-

рованные русские, которые живут на Западе. Я слышал от них такие вещи, что не хочу я писать статью по-русски, это такой расплывчатый язык…

В.П. Макаренко: Все европейцы так говорят…

В.А. Шкуратов: Да, английский получается значительно лучше. Но это касается естественных наук. Гуманитарные — совершенно другое дело. Потому что гуманитарный язык исходит из национальных смыслов. И эти смыслы преодолеть нельзя. Если мы их выдавим, то гуманитарная наука вообще исчезает. Возникает острая антиномия: то ли нам лишаться своей национальной идентичности в гуманитарной области (а гуманитарность, естественно, поддерживает идентичность), то ли нам входить в некоторую общую струю. Естественно, я очень люблю могучий и великий русский язык, но, повторяю, этот великий и могучий язык постоянно насыщает нас некими аффектами. Он в своем существе является средневековым. На этом я закончу.

Ю.С. Пивоваров: Я с восхищением прослушал Ваш доклад. И вот что хочу сказать: работа Бердяева «Новое средневековье», как и «Философия неравенства» — это для него работа проходная, не мейнстримная. Бердяев в вашем изображении представлен в период запоя, ну, запил человек, а потом снова стал трезвенником, в семью вернулся. В этот период он в Москве голодал, ему тяжело было. В этот момент все писали. Кончилась война в стране революция, разруха, ему казалось, что всё кончилось, потом, когда он во Франции оказался, всё стало нормально, стал писать нормальные вещи. Стал там очень модным, популярным, как Маяковский в советской поэзии, так и он стал представителем религиозной философии, его везде приглашали, всё было хорошо.

В.А. Шкуратов: Я думаю, его не очень хорошо понимали, его принимали за экзистенциалиста

Ю.С. Пивоваров: Он сам себя таким считал, он считал себя персоналистом. Поэтому я думаю, что эта часть Бердяева общенародная, понимаемая. Теперь по поводу ваших друзей, которые не хотят писать по-русски, поскольку русский язык такой-сякой. Я вот о чем подумал: о чем могут писать физики и математики? Там слов нет, там одни формулы. Они одинаковы для всех, пижоны они просто. Во-вторых: как они могут, живя на Западе, писать по-русски? Они же в западные журналы пишут.

В.А. Шкуратов: Нет, они пишут для русских журналов.

Ю.С. Пивоваров: Для русских… Я могу сказать, что я не имею естественно — научного образования, но я абсолютно точно знаю, что, например, все наши журналы, которые издает издательство «Наука», со страшной силой популярны в Америке. Теперь относительно того, что у нас язык средневековый. Я думаю, это не так. Если бы здесь были филологи, они бы Вам тоже сказали, что это не так. Что русский язык является современным со времен Карамзина. Этот язык дает нам возможность создавать не только литературу, но и выражать свою мысль на общественно-политические темы. Что мне показалось очень ценным в Вашем докладе — это конец, когда вы сказали, что проблема России заключается в том, что она пользуется прежде всего социальными науками, наработками Запада. А эти наработки являются способом самопознания. При переносе на неевропейскую почву возникает проблема, но это не значит, что она нерешаема. Например: в свое время некто по фамилии Кузен написал человеку по имени Гегель письмо с вопросом: нельзя ли вашу философию изложить попроще, покороче и по-французски? Гегель ответил: нет, нельзя попроще, покороче и по-французски.

Смотрим на XX век… И ничего. Французские философы, которых вы знаете в сто раз лучше меня, стали писать так, что уже немцы повесили нос, не знали, что делать… То есть, Франция в XX столетии взяла реванш у немецкой философии. В таком же смысле можно говорить о России. Русский язык — это один из европейских индоязыков, прошедших ту же самую школу модернизации и осовременивания, что и все современные языки. Я вообще думаю, что язык — это единственное (в отличие от нефти и газа) богатство, которое мы уже ни-

когда не потеряем. Я не знаю ни одной нации, которая бы не потеряла свой великий и современный язык.

В.А. Шкуратов: Ну, русская литература, да…

Ю.С. Пивоваров: Я думаю, не только русская литература, но и русская гуманитарная наука. Вот вы всё время упоминали Ключевского. Это участь абсолютно всех историков мирового уровня, который создал специальный язык для исторического дискурса. Язык, который ничем не уступает своим современникам из Германии и Франции. Я не думаю, что Россия — страна какого-то запоздавшего развития, что она отсталая, что советская власть была подобием Средневековья. Мне кажется, это красивые и очень абстрактные представления о том, чем она была. Она была совершенно другой. Это прорыв, а не отступление назад и не уход из истории. Это новое, невероятно сложное, пока что ещё всеми нами не понятое явление. А если сказать, что это своеобразный рецидив Средневековья, в какой-то персоналистской отставшей стране, то тогда и говорить не о чем, потому что ничего иного быть не может. Это был разрыв с прошлым, полный разрыв. А то, что были некоторые моменты воспроизведены — они всегда воспроизводятся всеми обществами. Есть концепция политической культуры, и она показывает, что в любом обществе, кроме американского и английского, процентов 10 языка XVII–XVIII веков. Я думаю, ваша концепция очень красива, что ее стоит взять на вооружение и поучиться. Но вот, например, историк рядом сидит, он видит совершенно по-другому. Я понимаю, что наши видения дополняют и обогащают друг друга.

В.А. Шкуратов: Юрий Сергеевич, во-первых, оптика двойная: я Вам представил один план, во-вторых — современность. Но я просто о ней не говорил. Теперь эта схема имеет терапевтическую функцию, речь идет не об объективности, а о некотором нашем внутреннем мире. Но я Вам по поводу немецкой и французской философии всё-таки возражу: у меня есть такая привычка: я читаю время от времени «Критику чистого разума» Канта…

В.П. Макаренко: В качестве молитвенника? Каждый день?

В.А. Шкуратов: Да, но не всё время. Сначала я читал в переводе Лосского, а когда вышел двухтомник, параллельный текст, изданный Институтом философии РАН, проблемы снялись сами собой. Я её стал читать и по-немецки. И знаете, там есть места в «Трансцендентальной дедукции чистых понятий», где ОДНО предложение по 200 слов. Но русский переводчик с такими предложениями не справляется, он начинает эти слова терять…

В.П. Макаренко: Делить?

В.А. Шкуратов: Да, просто членить. Англоязычный переводчик тем более не справляется. И если мы почитаем англо-американское кантоведение, то там Кант очень понятен. Понимаете, это же дайджест…

В.П. Макаренко: Дайджест?

В.А. Шкуратов: Да, когда вы начинаете осиливать его на его же языке, возникает вопрос: что это такое вообще? Потому что по нормальным правилам ксенолингвистики предложение в 200 слов не может быть. Там нарушаются все правила сложного высказывания. Субъекты, предикаты, всё такое. Я придерживаюсь своей версии, ее Герцен высказал, по-моему неправильно. Что Сартр — это всё-таки лирически-философская эссеистика. Это не систематизированная мысль, которую вы найдете у Канта. У Гегеля сложное построение некоторых мыслительных конструкций. А вот английская аналитическая философия… Виктор Павлович ее хорошо знает, это такая комбинаторика.

А.Н. Ерыгин: Я продолжу то, о чем сказал Юрий Сергеевич. Я в целом придерживаюсь той же позиции в оценке советской власти, которую он высказал. Россия времен Советского Союза — это не традиция. Это модерн, а какой модерн — это другой вопрос. Теперь о параллели немецкой и русской философии. Относительно Канта и Гегеля могу сказать, что тоже пользуюсь тем же самым переводом, и также заметил несоответствие переводов. Но если эту разницу повести дальше, например, сравнить классический перевод «Пролегемонов» В. Соловьева с переводом Лосского, то не надо выстраивать наших с вами

собственных дополнений к тому, как обстояло дело у настоящего Канта. Перевод В. Соловьева — это блестящий текст, который читается на одном дыхании, как и тексты самого Соловьева, несмотря на то, что это всё же перевод Канта. Что касается Лосского: возьмите любую его работу: их же читать невозможно! Лосева тоже читать невозможно! Николай Ануфриевич был, конечно, хорошим мыслителем по существу дела, но писал он, как и многие наши философы, очень тяжело. Отсюда и перевод «Критики чистого разума».

Теперь второй момент: возьмите «Науку логики» Гегеля, которая считается зубодробительным упражнением для любого даже на русском языке. Но стоит взять её на немецком, как ситуация сразу меняется. Предложения короткие, в отличие от того, что вы говорите, нормальная речь, которая легко понимается. Элементарные формулы, элементарные тезисы. Переводчик наворотил так, что трудно себе представить. Возьмите «Лекции по философии истории», наши общие, так сказать, забавы времен 1960-х годов. Где ещё можно придумать более жуткий перевод, чем тот, которым мы обладаем? Если взять подлинники этих лекций, то совершенно нормальный текст, кроме некоторых случаев, лекция есть лекция. Но они элементарно прочитываются. Когда читаешь наш сегодняшний перевод «Философии истории» — просто диву даешься: тот ли это Гегель, который писал «Науку логики»?!

Теперь по существу языков. Я поддерживаю высказанную в общих чертах точку зрения Юрия Сергеевича. Но не потому, что это он высказал, она существенно отражает положение дел. Давайте возьмем концепцию Петрова: мы начинали семинар с доклада, который представил Виктор Павлович. Если в представленную им концепцию добавить элемент, касающийся самой языковой реальности, на которой существует наука, то мы обнаруживаем совершенно четкий, зафиксированный на фактах, хорошо проверяемый вывод: наука держится не на современных языках, а на греческом и латыни. И кризис современной парадигмы науки как раз с этим и связан. Мы разбежались по разным дорогам. Вот эта ситуация и рождает кризис, который Гуссерль искал в других причинах. Но оба они выходят на одно и то же. Крах единого глобального феномена науки — это факт, который никуда не денешь. По Петрову, он связан он с языковыми реалиями.

Теперь по поводу английского языка. Здесь доля правды у Юрия Сергеевича есть. Я думаю, он согласится: скорее, ребята играются. Это больше всего напоминает игру элитных, вырвавшихся вперед ученых. Настоящая наука и философия существуют на том же языке, на котором человек родился и мыслит. Есть поистине уникальные случаи, когда двуязычие становится нормой. Но всё равно, как бы ни был гениален человек, он мыслит на своем родном, национальном языке. Прав Юрий Сергеевич во второй части: какой бы не была основа, пусть даже англоязычная, но в классических языках науки (французском, итальянском, русском, немецком) она уравнивает эту ситуацию. И англоязычные основы спокойно соединяются с этими вещами. Поэтому я думаю, эта поправка была хорошей.

Ю.С. Пивоваров: Скажу несколько слов в подтверждение того, что говорил. Я дважды участвовал в проектах перевода очень сложных текстов. Есть работа крупнейшего юриста XX столетия Ганса Кельсена «Чистая теория правды». Он неокантианец, а для юриста XX века это всё равно, что работы Канта. Я участвовал в её переводе на русский язык. Для того чтобы перевести, нам пришлось создать новый русский юридический язык. Кельсен был австрийским евреем, затем эмигрировал в Штаты. Там под его руководством группа американских юристов, хорошо знавших немецкий язык, пыталась перевести. Не получилось потому, что русский язык находится в системе континентального права. И второй опыт перевода — я переводил Карла Шмита, государствоведа Третьего Рейха. Это гениальный человек, типа Хайдеггера. Шмитт, как и Хайдеггер, придумал свой политический язык, которого не только не было ни на одном языке, его не было и по-немецки. Поэтому я сначала должен был долгие месяцы консультироваться с немцами, чтобы они мне объяснили, что это по-немецки означает. Я сделал перевод на тройку. Гениально перевел Шмитта Филиппов, известный московский социолог. Он смог перевести этого даже для немцев плохо понятного Карла Шмитта

на русский путем создания нового русского политико-философского языка. Но переводы Шмитта на английский тоже не пошли, поскольку русская традиция находится в рамках немецкой традиции. То есть, здесь проблемой оказывается не только язык. Русские и немцы намного ближе в этом плане (потому что мы шли за немцами и учились), чем англосаксы, у которых самостоятельная традиция.

В.А. Шкуратов: Юрий Сергеевич, немецкий и русский — это рефлексивные языки, а английский и французский — аналитические.

Ю.С. Пивоваров: Я согласен!

А.Н. Ерыгин: Да, совершенно верно!

В.П. Макаренко: Вставлю тоже реплику. Мы три недели назад обсуждали перевод проблем политической философии и возникли такие же сюрпризы. Прозвучавший сейчас мотив вынуждает поразмыслить: может быть, нам устроить семинар, в котором обсуждать дельные предложения Александра Николаевича, Юрия Сергеевича, Владимира Александровича? Может быть, начать не с общей проблемы, а на основе переводов конкретного источника?

В.А. Шкуратов: Знаешь, ведь *транслейшенс стадиес* может оказаться нам не по зубам…

В.П. Макаренко: Вот уже второй раз в течение месяца возникает эта тема. У нескольких человек, здесь присутствующих, уже есть опыт перевода на русский работ закордонных коллег. Вырисовывается какой-то микроколледж. Спасибо за подсказку участникам сегодняшней дискуссии.

Н.А. Мининков. ***О проекте введения исторического единомыслия***

Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить на этой конференции, а также всех докладчиков, особенно наших гостей, за очень интересные доклады. В отношении своего доклада скажу: у меня будут кое-какие переклички с тем, что говорила Ирина Игоревна. Разве что с большим уклоном в сторону в такую проблему, которая сейчас приобретает значительное общественное звучание: школьное образование.

Еще со времен М.Е. Салтыкова-Щедрина (некоторые произведения его ныне признаны частью чиновников от образования вредными и опасными для молодого поколения граждан нашей страны) известно, что если начальство озаботилось о патриотизме народа, а также, можно добавить, о его нравственности, духовности и тому подобных высоких материях — «значит, проворовалось».

Подобная забота за последние годы наблюдается постоянно, причем идет рука об руку с нарастающим валом известий о воровстве и коррупции, в том числе на самых верхах властной вертикали, принявших невиданные размеры даже для много повидавшего за тысячу с лишним лет нашего отечества. Наглядным выражением такой заботы стало внедрение в школьное образование «Основ православной культуры», при том, что такая дисциплина, как астрономия, «сокращенная» два десятка лет назад, так и не нашла своего места в современной российской средней школе. Позднейшим из таких выражений стало стремление внести коррективы в курс русской литературы. В частности, это относится к объявленным нежелательными для школьной программы произведениям. К ним отнесены «Письмо к Гоголю» В.Г. Белинского, а также «Отцы и дети» И.С. Тургенева, под сомнение поставлены «Гроза» А.Н. Островского и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, или такие произведения, без знания которых трудно было бы представить некоторые существенные черты истории и культуры России XIX-XX вв.

Несколько ранее была поставлена задача создания нового и единого для всей страны учебника истории. Такой единый учебник в качестве сути российского исторического процесса должен был выставлять последовательное формирование и развитие государства. В результате изложение должно строиться в соответствии с единой концепцией, при тесной взаи-

мосвязи всех этапов его развития. Кроме того, в нем должно не допускаться внутренних противоречий и оснований для двойных толкований. И, пожалуй, самое главное, что этот учебник должен быть проникнут уважением ко всем страницам нашего прошлого. Такого учебника еще нет. Однако прообраз его в прошлом году появился, он представляет собой учебник для учителей истории, созданный авторским коллективом под руководством В.Э. Ширянца и научного редактора С.С. Сулакшина. По своей структуре данное произведение делится на главы, соответствующие основным этапам отечественной истории. В свою очередь, каждая из глав делится на несколько разделов, в которых переплетен объяснительный и фактический материал. Не обошлось без освещения некоторых вопросов историографии. В заключительной части глав — особый раздел «Осторожно, россиефобия».

Все эти разделы присутствуют в главах шестой — восьмой, относящихся к истории России XVI-XVII вв. Вся шестая глава посвящена истории царствования Ивана Грозного, причем сам царь оказался в центре внимания авторов. По-видимому, подобное построение главы было бы уместно не в стандартном учебнике по отечественной истории, но в литературе, которая историю страны дает через историческую биографию ее царей, императоров и вообще носителей высшей власти. Однако такое построение главы дала авторам возможность сформировать такую направленность главы, которая ставит своей задачей не изложение и анализ фактического материала, но полемику, причем не с научными оппонентами, но с идеологическими противниками.

В историографической части шестой главы, посвященной Ивану Грозному, это в полной мере проявилось. Оказывается, что в отечественной историографии, по неуклюжему авторскому выражению, уже «с начала XIX в. сложился едва ли не антигрозненский пасквиль». Авторы, наверное, не ведают, что самая резкая критика Ивана Грозного имела место до XIX в. и содержится в труде князя М.М. Щербатова «История Российская с древнейших времен». Истоки же этой критики лежат еще в русской исторической мысли второй половины XVI в., и были высказаны князем А.М. Курбским. Таким образом, еще до Н.М. Карамзина традиция негативного отношения к первому русскому царю уже существовала. Но продолжение этой традиции в исторической мысли России после смерти выдающегося историографа авторами объясняется воздействием его труда «История государства Российского». Совершенно очевидно, что такое объяснение сложных процессов в развитии отечественной историографии выглядит более чем примитивным. Но далее — еще больше. Негативное отношение к царю авторами объясняется тем, что XIX в. был временем «популярности идей конституциализма». Связь между критикой Ивана Грозного и этими идеями весьма сомнительна, поскольку критическое отношение к этому царю высказывали далеко не только те, кто стремился к введению в России конституционного строя. При этом вовсе не только в дореволюционной, но и в советской историографии, а также в современной, такая негативная оценка, и в первую очередь опричнины, также имела и имеет самое широкое распространение. В том числе она содержится и в той литературе, которая приведена в списке из конца главы. В этой связи негативное восприятие Ивана Грозного вполне органично для отечественной исторической мысли, для русской культуры вообще, тогда как апология этого царя является маргинальным ее направлением, в котором удивительно видеть такую личность, как К.Д. Кавелин. В доказательство же органичности апологии Ивана Грозного для русской культуры авторами утверждается, что царь «в народной памяти» почитался «в качестве святого». В самом деле, в русском фольклоре имеет место положительное восприятие царя и некоторых его деяний, в том числе в фольклоре донских казаков. Но речь шла в фольклоре вовсе не о его святости, идея эта носит скорее не народный, но церковный характер. В то же время к народной культуре относится также самое суровое осуждение «царя-собаки» с его «кромешниками» и «злодеем Малютой Скурлатовичем», что имеет место в русском фольклоре. Однако об этом авторами не упоминается. Зато приводится утверждение, приправленное для придания наукообразности специальной терминологией, что в будущем «такой же индикативной фигурой

в столкновении западнической и почвеннической парадигм станет И.В. Сталин». В таком случае совершенно очевидно, что апология московского средневекового тирана нужна авторам для обоснования апологии советского диктатора новейшего времени, оставившего страну с атомной бомбой. Но еще, кроме того, и с голодающей деревней, с возрождением крепостничества в его колхозной форме, с низким уровнем жизни населения, с огромным количеством заключенных, с железным занавесом, отделявшим народ от цивилизованного мира. В этом идеологическая направленность историографического экскурса. Но в нем нет ничего от научного анализа действительного развития исторической науки, в том числе историографии эпохи Ивана Грозного.

Авторы исходят из того, что «дифференциация на опричные и земские владения носила формальный характер, но она отражала факт существования идеи о нетождественности понятий «государство» и «государственное». А потому о вотчинной природе российского государства не могло идти речи». Почему из посылки о «нетождественности понятий» делается вывод об отсутствии в России времени Ивана Грозного состояния вотчинного государства, совершенно не ясно. Утверждения В.О. Ключевского в 43 лекции «Курса русской истории», Г.В. Плеханова в «Истории русской общественной мысли», современного исследователя И.П. Ермолаева в монографии «Становление Российского самодержавия. Историк и условия его формирования: Взгляд на проблему» (Казань, 2004) о существовании в России вотчинного государства значительно более убедительны, чем обратное и невнятное утверждение в учебнике. Как отмечал И.П. Ермолаев, в Московском государстве «вотчинный правитель просто-напросто не признает за подданными этого права и считает их не субъектами, не гражданами общества, а вполне зависимыми от государства (т. е. фактически от него) единицами, „винтиками“ государственного организма». Заявляя: «В вотчинном государстве нет ни официальных ограничений политической власти, ни законоправия, ни личных свобод, т. е., фигурально говоря, это более «деспотическое государство, чем сама «деспотия»», И.П. Ермолаев поддержал мысль Г.В. Плеханова. По словам И.П. Ермолаева, понятие ««вотчинный режим» лучше всего определяет тот политический строй, который сложился в России к концу XV в. и определил ее развитие в XVI, XVII и последующих столетиях». Взгляд с позиций существования в России времен Ивана Грозного неизжитых традиций вотчинного государства значительно больше дает для понимания особенностей устройства власти и взаимоотношений ее с разными слоями населения, чем бездоказательное отрицание вотчинного государства, как это делается в учебнике.

Столь же неясно даются демографические показатели, относящиеся к оценке численности населения России. Утверждается, что «к концу XVI века население Московского царства насчитывало 9 млн. человек. Причем основная часть населения была сосредоточена на северо-западе (Новгород) и в центре (Москва) страны». Это не дает представления о процессах, имевших место в демографии этого столетия и свидетельствующих об общих тенденциях в развитии России. Так, в первой половине XVI в. действительно имело место экономическое развитие страны и рост ее населения. Однако с последней четверти столетия обозначился экономический кризис, который, начиная с исследований Н.А. Рожкова, признается как очень глубокий. В пособии упоминается об этом кризисе, правда, очень вскользь и в следующей, седьмой, главе, посвященной Смутному времени. Но и при этом прослеживается стремление оправдать царя. «Темп, взятый Иваном Грозным, оказался слишком стремительным для Московского государства», — написано в учебнике. Иначе говоря, Грозный царь хотел блага для своей страны, но только лишь не рассчитал ее возможностей. При этом ни слова нет ни об известном в историографии «запустении Центра и Северо-Запада», ни, тем более, о не менее известном опричном погроме Новгорода в январе 1570 г. Без серьезной характеристики экономического кризиса и демографического запустения в стране этого времени невозможно правильно понять процессы, которые привели к Смуте. И политика Ивана Грозного, который вел двадцатипятилетнюю Ливонскую войну, прямо вела к уходу населения из наиболее раз-

витых территорий страны от постоянно возраставшего податного гнета, что вполне прослежено в историографии. Также она вела к росту населения на южной окраине, а к концу века и рядов донского казачества, по существу, того самого населения, которое приняло в событиях Смуты самое активное участие. Но связь между политикой Ивана Грозного и Смутой в учебнике не отражена.

Удивительным представляется построение восьмой главы, посвященной истории России XVII в. Видно это начиная с самой ее формулировки: «Русский религиозный раскол и Московское царство XVII столетия». Конечно же, сама по себе церковная реформа в царствование Алексея Михайловича, проводившаяся царем вместе с патриархом Никоном, а также раскол как реакция на нее были и в самом деле исключительно значимыми социокультурными явлениями не только второй половины этого столетия, но и последующего времени. Вместе с тем сводить все богатство внутренней и международной жизни страны к расколу совершенно неправильно, поскольку не дает представления об этом богатстве.

Так, за пределами авторского внимания оказался период царствования Михаила Романова, когда происходили некоторые важные процессы, которым в историографии традиционно и вполне правомерно уделяется значительное внимание. Это процессы экономического развития, с которыми был связан выход из кризиса, тянувшегося с последнего периода царствования Ивана Грозного. Также это был период, когда нарастали социальные противоречия, и особенно в городах, между посадским населением черных и белых слобод, что послужит в первые годы царствования Алексея важнейшей причиной городских восстаний. Это также кризисное состояние войска, которое потребовало уже после неудачной Смоленской войны 1632–1634 гг. создавать полки нового строя. Это также нарастание кризиса податной системы, основанной на сошном письме, что вело к поискам выхода из этого кризиса путем введения в тридцатых годах «живущей четверти», а с 1679 г. замену сохи подворным обложением. Упомянуто о продвижении русских землепроходцев в Сибирь, что за первую половину XVII в. было заметным явлением в жизни страны. Имеется при этом самый краткий очерк о С. Дежневе, деятельность которого протекала при царях Михаиле и Алексее. Но из него о подвиге выдающегося землепроходца почти ничего узнать нельзя, несмотря на существование литературы о нем. Зато есть фраза о том, что «нашлись инициативные люди, взявшие великую миссию расширения на Восток границ православной цивилизации в свои руки». Это совершенный нонсенс, если иметь в виду, что к мотивам, которые двигали продвижение казаков-землепроходцев в Сибирь, подобное совершенно не относилось, и о православии и его продвижении думали они менее всего. В то же время нет экономического и социокультурного анализа предпосылок продвижения их на восток, хотя на эту тему существует литература. Ничего нет о положении на южной окраине страны и на ее южных рубежах, что во многом определяло общее ее положение и стало одной из причин поражения в Смоленской войне. Это оборона южной окраины от крымских татар, а в дальнейшем строительство Белгородской черты, кроме общего упоминания о ней, а еще позже, в конце XVII в., Изюмской черты. Ничего нет также о героической борьбе донских казаков за Азов и об Азовском осадном сидении 1641 г.

Более тщательно и подробно рассмотрены явления времени царствования Алексея Михайловича. В то же время обращает на себя внимание отсутствие упоминания о том, что в его царствование произошло завершение процесса юридического оформления крепостного права, что выразилось в главе 11 «Суд о крестьянех» Уложения 1649 г. Между тем, это сказалось не только на положении крестьян. Необходимость сыска беглых вызвала изменения в судебной и розыскной системе. Однако в седьмой главе авторы упоминали крепостное право. При этом справедливо подчеркивалось: «Крепостничество, само по себе, вряд ли возможно было номинировать в качестве национальной ценности». В этом правильном заявлении диссонансом выглядит только оговорка «вряд ли». Более верной была бы другая оговорка — «несомненно». Но далее следует вдохновенный гимн авторов тому же крепостничеству: «надо по-

нимать, что его установление определялось объективной необходимостью государственного существования. Государству нужен был воин и налогоплательщик, механизм рекрутинга которых и предоставляло собой крепостное право». С одной стороны, правильно, поскольку и в самом деле крепостное право крестьян и вообще всеобщее закрепощение сословий было условием существования государства в России. Это признавали и основоположники указной теории формирования крепостного права, и исследователи конца XX в. В.Б. Кобрин и А.Л. Юрганов, ставившие вопрос о цене за объединение, которое пришлось заплатить русскому обществу и проводившие мысль, что негативные последствия объединения русских земель были очень значительны. Но, с другой стороны, государство как ценность стоит для авторов на несравненно большей высоте, чем свобода в качестве ценности. Отсюда такое объяснение ими крепостничества, которое выдержано в духе его апологии. Оно соответствует аргументации чиновников, выступавших против отмены крепостного права.

Авторы уделили значительное внимание связи между расколом и Разинским восстанием. Конечно же, выявлять влияние раскола на это крупнейшее в России XVII в. народное восстание необходимо. Но значительно важнее выявить связь между полным закрепощением крестьян и этим восстанием, о ходе и развитии которого в учебнике вообще содержится слишком мало сведений, так же, как и о богатейшей историографии восстания, хотя в его изучении за последние два десятка лет обозначились принципиально новые подходы. Если же брать только старообрядческие мотивы Разинского восстания, то сущность и характер этого события понять будет невозможно. Известно также, что С. Разин посещал Соловецкий монастырь. Но судить на этом основании о связях между восставшими и соловецкими старцами невозможно, нет для этого сведений. Несомненно, что на восстание значительно большее влияние оказывал не далекий Соловецкий монастырь, а обстановка на Дону, сложившаяся к шестидесятым годам. Но об этом, как и об изменениях в положении донского казачества, в учебнике ничего нет.

Вызывает удивление, что положение об отсталости России от западноевропейских стран в раннее новое время вообще отнесено в раздел «Осторожно, россиефобия». Известно, что это положение очень широко распространено в отечественной историографии, в российской общественной мысли. Факт этого отставания очень хорошо осознавали современники, в том числе Петр I, для которого мотив преодоления отсталости был важнейшим движущим мотивом проведения реформ. Выходит, таким образом, что, согласно авторской логике, Петр I тоже был «россиефобом»? Еще интереснее приведенное в этом разделе доказательство отсутствия отставания. Указано на «наличие более 200 тыс. наемных рабочих на мануфактурах, транспорте и промыслах». Но не говорится о степени распространения принудительного труда, что составляло важнейшее социальное отличие русских мануфактур XVII–XVIII вв. от мануфактур в странах Западной Европы, где мануфактурная промышленность развивалась целиком и полностью на основе вольнонаемного труда. Количественный показатель, относящийся к численности вольнонаемных рабочих, может быть внушителен сам по себе. Но вне историко-экономического контекста этот показатель мало о чем говорит и не позволяет судить о сущности такого сложного явления, как характер мануфактурного производства в России, и еще более сложного — соотношение между уровнем развития России и западноевропейских стран. Впрочем, сами авторы несколько выше признают совершенно очевидный факт: «положение в российской экономике наглядно демонстрировало отставание России от передовых стран Западной Европы, гораздо раньше ставших на путь модернизации своих экономик». Это совершенно справедливо. Но тогда, выходит, что авторы сами себя зачисляют в россиефобы?

Все сказанное выше не значит, что из трех глав учитель ничего не может взять для подготовки к уроку. Но ярко выраженная ориентация авторов на начала этатизма, монархизма и православной религиозности как на определяющие ценности, откровенное их антизападничество крайне обедняет содержание учебника и делает концепцию его не соответствующей

уровню современного развития исторической науке, когда они стремятся навязать человеку и обществу рассмотренной ими эпохи русской истории свое видение мира.

Еще более опасным представляется создание в духе этого учебника единого учебника для средней школы. Опыт создания такой единой учебной литературы был неудачен. Стоит вспомнить «Краткий курс истории ВКП(б)» при Сталине или единые учебники советского времени. Подобная затея привела в конечном счете к конфликту между советским обществом на последней стадии его существования и исторической наукой. В результате значительная часть общества, знакомая с исторической наукой только через подобные учебники, стала воспринимать саму историческую науку как придаток официальной идеологии, которая в тот период терпела крах. Неизбежным следствием такого положения стало то, что значительным общественным вниманием стали пользоваться далекие от исторической науки сочинения, которые в наукообразной форме несли идеи, не соответствовавшие данным науки. Поэтому начальственная затея с новым единым учебником истории может вновь привести к чему-то подобному. Историк, осознающий свою ответственность за судьбы своей науки, не может не быть обеспокоен появлением подобной затеи.

Своего читателя, российского учителя, авторы предупреждают: «Осторожно, россиефобия». При этом представляется необходимым предупредить учителя, возможного читателя этого учебника: «Осторожно, демагогия».

Ю.С. Пивоваров: Я Вам очень благодарен за доклад, потому что я заведую кафедрой в МГУ, а напротив меня находится кафедра Ширянца, Сулакшина, Якунина…

В.П. Макаренко: Я знаю, кто такой Сулакшин. И эту тройку авторов тоже знаю.

Ю.С. Пивоваров: Я должен сказать, что Сулакшину нужно обратиться к хорошему психиатру *(смех)*. Это бывший депутат, но человек неопасный. Якунин и Сулакшин утверждают, что есть «Ассоциация российской политической науки». А Российскую ассоциацию политических наук, когда я был её президентом, они назвали прозападной, существующей на деньги Рокфеллеров и Ротшильдов. Они создают российское политологическое общество, пытаются на якунинские деньги купить «Полис» — главный политологический журнал, поскольку у него денег нет. Они проповедует всю эту ерунду. Крупнейшие политологи уже резко выступили против этой кампании.

Н.А. Мининков: Я беру только XVI–XVII век…

Ю.С. Пивоваров: Ширянц — специалист по русской консервативной мысли второй половины XVII века. Но он в последние годы тоже с ума сошел. Видимо, потому что нерусский. И русским должен быть больше, чем этнический русский *(гул согласия)*. Они с Сулакшиным составили такой дуэт, от которого трясет уже далеко не либеральный русский университет *(гул согласия)*. Вещь это очень опасная, громадное влияние и громадные капиталы. Якунин — глава Российских железных дорог. И они будут все это продвигать *(гул согласия)*. Вы еще вежливо и интеллигентно с ними поступили. То, что они говорят и пишут, просто бред!

Н.А. Мининков: Вот что бывает, когда историей начинает заниматься сапожник или железнодорожник!

А.Н. Ерыгин: Молодец, хорошо сказал! *(смех, реплики…)*

В.П. Макаренко: В дополнение к Юрию Сергеевичу хочу сказать: прошлым летом я прочел книжку, которую написали эти трое авторов. И озадаченно чесал затылок: стоит на это реагировать или не стоит? Потому что стиль письма целиком соответствует концепции внутреннего шпионажа как элемента бюрократического управления государством. Про это я писал детально в своих книгах. И я до сих пор раздумывал, стоит или не стоит. Большое спасибо, Николай Александрович и Юрий Сергеевич, что Вы меня вдохновляете на сочинение нового текста *(аплодисменты)*. Кроме того, в последние годы создан ряд структур типа Института стратегических исследований при президенте РФ. Недавно я познакомился с людьми, там работающими, и их продукцией. Все это хуже советских агитаторов…

А.Н. Ерыгин: Дай мне пять минут, у меня одна страничка!
В.П. Макаренко: Одна страничка?..
А.Н. Ерыгин: Я взял только тезисы.
В.П. Макаренко: Хорошо, но не больше, а то народ пугается, говорит, что ты…
А.Н. Ерыгин: Нет-нет, я обычно говорю долго, но теперь буду говорить кратко!

А.Н. Ерыгин ***Крах «азиатского способа производства» в России: зигзаги мысли и маскировка реальности.***

Азиатский способ производства — тема двух больших дискуссий в советской науке. Если мы желаем заняться проработкой советского прошлого всерьёз, то эта тема весьма показательная. Таков мой первый тезис.

Второй тезис: зигзаги мысли в России — тема богатая, но далекая от ясности и определенности. Она таит любопытный парадокс: я его обнаружил в 1960-е годы, во время второй дискуссии. Ее участников я узнал, будучи ещё студентом. И сделал свою первую публикацию. Она называлась «О значении исследований Плеханова для понимания сущности азиатского способа производства». С тех пор держу эту тему в сознании.

Так вот, поразительная вещь: как только кто-нибудь в советской науке начинал говорить об азиатском способе производстве вообще или о его трактовке Марксом, приводились любые примеры, но одновременно исчезал СССР и Россия. Но как только начинали говорить о взглядах Маркса на Россию, на её способы производства, на её ход движения, — исчезал азиатский способ производства. Что угодно, феодализм, первобытный строй, что угодно появляется, азиатского способа производства нет. Я подумал: с чего бы это? Плеханов мне приоткрыл глаза: в 1918 году он закончил блестящую работу по истории русской общественной мысли. Первый огромный том посвящен способам производства, основам русской истории. Там ответ простой: азиатский способ производства и способ России (он пишет в 1919 году) продолжает существовать. Вот мой основной тезис.

Но если в 1918-м году азиатский способ производства существовал в России, то какова его судьба? Витфогель в своих работах описывает административную систему или общество с восточной деспотией и азиатским способом производства как основой этого общества. Это та же самая реальность, которая во все советские годы существовала в нашей стране. Это общество одного и того же типа. Такова загадка.

Мой ответ на нее таков: нет, это неправда, это ложь. Это ложь и в отношении нелюбимого мною азиатского способа производства и в отношении советского строя, который сформировался в 1930-е годы. Здесь далеко ходить не надо, можно сослаться на то, что говорил вчера и сегодня Юрий Сергеевич. Он сказал: перед нами Коммунистический режим-1, затем Коммунистический режим-2 и современный строй. Это один из вариантов описания советской реальности.

К этому можно добавить, что это не средневековый строй, а прорыв в будущее, это общество модерна. Тогда спрашивается: куда делся азиатский способ производства? Ответ простой: давайте не фантазировать, не придумывать за Маркса то, что он вложил в понятие азиатского способа производства. Плеханов великолепно прослеживает два критерия: 1. Сращенность промышленности и сельского хозяйства (такова характеристика примитивных обществ). 2. Отсутствие частной собственности на землю.

Маркс пишет: наличие сельских общин с этой сращенностью порождает чаще всего восточный деспотизм. Но не только. Детали сейчас меня не интересуют. Маркс писал также о крестьянах как основе, над которой возникает что-то вроде деспотизма. Но не деспотизм. Можно сравнить, сопоставить. Если мы так понимаем Маркса, ответ элементарный: в 1929 году грянул гром. Первый раз русские общины задрожали. Они устояли против Столыпина, против Советской власти, но в 29-м году начался великий перелом. За 30-е годы колхозная система уничтожила почву азиатского способа производства.

Второе: произошла индустриализация. Появилась крупная промышленность, которая оторвалась от сельского хозяйства, выбросила в города советское население и создала то совершенно новое население, которое основало совершенно новый социальный фундамент, на котором формировалась административная система нового образца.

Но для чего я здесь излагаю такие примитивные вещи? Как ни странно, мои студенты и высокобровые профессора часто путаются в простых вещах и не замечают этой простоты. Простое всегда кажется подозрительным для ученых. А вместе с тем оно открывает глаза. Вторая причина: я всё это затеял для ответа на вопрос: почему Петров написал повесть «Экзамен не состоялся», почему он так изобразил советский строй? Макаренко всё это хорошо написал, не буду повторять. Почему же в 1960-е годы Петров с такой силой пытался представить советскую Россию не просто индустриальной, городской, урбанистической страной модерна, а страной самой передовой науки? Его концепция онаучивания общества — это одна из самых мощных моделей урбанистических концепций. Эта концепция предполагала гласность и свободу. Она переродила бы наше общество, если бы утвердилась. Но человека отправили на условные Соловки. Хорошо, что Жданов приютил Петрова на наших Соловках. Петров остался живой и работал, его труды выходят, мы можем их читать.

Почему Петров считал Советскую Россию — при всех ее административных чертах — не обществом восточного типа с азиатским способом производства, а первоклассной европейской страной с огромными способностями и ужасными недостатками? Первоклассной европейской державой, которая стояла на гребне передового развития, соперничая с Соединенными Штатами и уверенно догоняя, а может быть, имея возможность перегнать их? Почему он придерживался этого взгляда? Эту загадку я оставляю здесь неразгаданной. Расскажу о ней на Петровских чтениях 30–31 мая.

В.П. Макаренко: На это я могу отреагировать украинской поговоркой: «Не дав Бог нашому теляті та й вовка зъісти». Не буду сейчас в дискуссию вступать по поводу марксовой версии азиатского способа производства, но меня удивляет: зачем ломиться в открытую дверь? Дорогой Александр Николаевич, в 1986 году В.П. Илюшечкин, известный востоковед и историк, выпустил книжку «Социальная структура и общество древнего Китая». В первом разделе этой книги он детально разобрал взгляды Маркса и Энгельса на Китай и показал, что они не являются оригинальными и целиком зависят от историографии XVIII–XIX века. Во втором разделе книги показано, что эти взгляды не соответствуют современной исторической науке. Почему ты не прочел эту книжку, прежде чем строить свою халабуду?

А.Н. Ерыгин: Отвечаю сразу, во-первых, книга лежит на полке, во-вторых, ничего там такого, о чем ты говоришь, с такой мощной силой не связано…

В.П. Макаренко: Вся теория формаций, элементом которой является азиатский способ производства, там подвергнута…

А.Н. Ерыгин: Витя, послушай, я же не делаю ответ на твой вопрос! На полке книжка у меня стоит, труды Илюшечкина знаю, это хорошие труды, но не идеальные. Я имел 5–6 минут, поэтому не ссылался на авторитеты. Но главный ответ такой: Илюшечкин написал это в 1986, а я еще в 1966, будучи студентом…

В.П. Макаренко: Да ну? Тогда с ним свяжись и поспорь…

А.Н. Ерыгин: Да зачем мне спорить, с ним связываться! Был Васильев, у которого более солидные взгляды, чем у Илюшечкина!

В.П. Макаренко: Но зачем ломиться в открытую дверь?

О.Ю. Мамедов. ***Проработка прошлого: советская системность против постсоветской фрагментарности.***

Уважаемые коллеги, я никогда не знал, что Александр Николаевич Ерыгин обладает таким страстным темпераментом оратора, что он сорвет мне все лавры!.. Почему же я решился выступить, хотя представляю другую область знаний, в отличие от гуманитарных? Я эконо-

мист, поэтому, может быть, будет полезен взгляд со стороны. Но если бы здесь были экономисты, они бы с ума сошли. Они бы ничего не поняли, я бы их водил сюда целыми ротами, что бы они слушали всё это. Я уже говорил нашему коллеге Кислицину, что от всех экономистов пахнет солидолом. Они бьют по колесам нашей экономики на слух. И вы видите, как она идет.

В.П. Макаренко: Они смазчики, что-ли?

О.Ю. Мамедов: Да! А между тем им надо знать то, о чем вы говорите. Если бы я по образованию не был историком, я бы ничего не понял, но я ушел в экономику. Для облегчения я вам буду демонстрировать текст, если удастся увидеть. Мне кажется, это позволяет улучшить восприятие.

Уважаемые коллеги, проработка или переработка прошлого — это фундаментальный элемент общей методологии социального знания. Благодаря которому научное обществознание противостоит спекулятивному и этим отличается от него. Проработка прошлого в равной степени актуальна для экономики. Правда, она об этом не ведает, но для экономистов это очень актуально. Собственно, только такой проработкой занимается научное обществознание. Которое тем самым реализует социальное познание. Самая гениальная фраза: «Мы знаем только одну науку — науку истории». В то же время эта общность не должна застывать, чтобы понять развитие прошлого в рамках традиции. Это в каждой социальной науке. Различие в понимании прошлого каждой социальной науки диктуется вовсе не прошлым, не совокупностью исторических фактов, а только одним: предметной спецификой данной области социального знания которое диктует, в свою очередь, специфику, формируемых здесь объяснительных концепций.

Я хотел бы привлечь ваше внимание к трем моментам: особенностям античной методологии проработки прошлого; общенаучным принципам такой проработки; общеметодологическим аспектам проблем переработки прошлого на примере экономического знания и экономической науки. Позвольте мне высказаться об особенностях отечественной методологии проработки прошлого.

Проработка прошлого сложна сама по себе. Но в советско-российском обществознании (мы уже не советское, но ещё не российское) возникла ещё одна дополнительная проблема, которая имеет административное значение. С тех пор как ВАК, подобно неведомому Демиургу, разделил специалистов на языки, с тех пор историки, социологи, политологи, культурологи, экономисты стали представлять не разумно обособившееся части единого социального знания, а некие самостоятельные науки. И пока они будут так думать, нам единого социального знания не добиться. Мне кажется, это стало одной из причин, которая погубила отечественное обществознание: по-своему повторилась библейская история о строительстве Вавилонской башни, когда строители стали говорить на разных языках, и перестали понимать друг друга. Более того, внутри каждой специальности были введены паспорта, которые возвели дополнительные перегородки. С тех пор каждый наш обществовед съежился до разрешенной ему строчки в паспорте специальности. Вот почему нужно мужество, чтобы социологам прийти к экономистам, а экономистам к историкам, политологам, и так далее. Ходить надо к другу! И демонстрировать в интернете, а вы, экономисты, слушайте.

Позвольте сказать несколько принципов о научной проработке прошлого. На мой взгляд, проработка прошлого реализуется в рамках семи методологических императивов. Прошлое всегда сильнее настоящего и будущего. Ибо это единственная уже состоявшаяся история. Это единственная реальная действительность. Тогда как настоящему ещё надо закрепиться в прошлом, чтобы утвердиться объекты и субъекты социального познания, а будущему вообще состоятся. Во-вторых, прошлое сильнее настоящего и будущего, ибо вся методология познания строится уже на основе состоявшегося, и концептуальные трактовки прошлого. Трактовки можно изменить, но историю изменить невозможно. Это означает, что историк — единственный обществовед, который твёрдо стоит на почве фактов. Тогда как предста-

вители всех других отраслей социального знания балансируют между прошлым и будущим, настоящим и будущим, и чем больше элементов настоящего и будущего, тем больше домыслов и спекуляций. Ещё один момент: закон трансформации прошлого. Чем отдалённее от современности прошлое, тем оно сильнее мистифицируется. И ещё несколько моментов: мистификация прошлого всегда вращается в его системности, то есть, приобретает такие качества, которые, может быть, в реальности никогда не существовали. Например, когда мы думаем о советскости, она всегда предстает в нашем сознании системой. Дальше: настоящее всегда воспринимается сознанием современников как фрагментарное, разорванное, несистемное. И на этом поле прошлое всегда имеет конкурентное преимущество с настоящим. Наконец, ключом проработки прошлого является закономерности развития экономики — единственно объективного в структуре социального. Поэтому попытка понять прошлое вне экономического подхода, не опираясь на знание экономических закономерностей и тенденций, обречена на спекулятивность. Другое дело, что экономисты тоже мало озабочены прошлым; они не знают истории, они далеки от философии, политологии и культурологии, не могут помочь своим коллегам. Они сами нуждаются в помощи.

Теперь выскажу свои соображения об общеметодологических аспектах проблем проработки прошлого на примере экономической науки. Прошлое можно изучать только тогда, когда оно действительно стало, ушло в основание общественного устройства. Например, уже триста лет насчитывает традиция сосредоточения отечественных экономистов на ситуации в российской экономике, на ситуации в российской экономической науке и на положении российского экономического образования. Экономисты зациклились на этих ситуациях, но плоды этой сосредоточенности удивительны.

Всякий раз позиции ведущих экономистов страны оказывались настолько противоположными, что возникало вообще сомнение в научном характере экономического знания. Думаю, это присуще и другим областям социального знания. Другой момент: уход прошлого в основание ещё не означает его исчезновения. Оно таится в углу и образует угрозу воскрешения при определенных условиях. Например, все присутствующие прекрасно знают, что в прошлом веке произошли две мировые экономические катастрофы: Великая депрессия ознаменовала гибель капиталистической организации производства; социалистическое преобразование завершилось крахом антирыночной организации российской экономики. Однако причины этих катастроф принципиально различны: Великая депрессия была стихийным результатом развития капитализма; наша катастрофа имела рукотворное происхождение, будучи результатом принудительного впихивания гигантской экономики в догматически трактуемую теорию непосредственного экономического производства. То же самое сделали со всеми другими сферами. И политику впихивали в определенные границы, всё было впихнуто в жесткие рамки. Но западные коллеги извлекли уроки из этого. По причине страха повторения Великой депрессии они крайне осторожны в своих концептуальных рекомендациях. А нашим экономистам страх повторения рукотворных катастроф чужд. Не знаю, насколько избежали этого представители других отраслей социальных знаний.

Наши экономисты с прошловековым задором строят новую идеологическую лавку российской экономики, настаивая на уже однажды погубившим российскую экономику суперэтатизме и запрещая неведомый им либерализм. Не аналогична ли ситуация и в других областях социального знания? Между тем пора уже понять, что у экономики свои императивы развития и надо прислушиваться к самой экономике. Ещё один момент: расхождение между временем в экономической теории и временем в хозяйственной практике. Если теория этого не осознала, она застревает на прошлом. И пока она его не познает, она не может двигаться дальше. В этом отличие познания. Общество реально уже может уйти от сознания, в котором оно пребывало, но теоретики не могут перепрыгнуть и заняться новым, поскольку прошлое становится условием движения вперед теоретического знания.

Я хочу сказать, что существует множество рецептов, как повысить эффективность экономики. Но в реальности главным является совершенно другое: наша гигантская экономика требует всего. Точно так же, как и наше общество, экономика после революции не пошла в стойло непосредственно общественного производства, точно так же и сегодняшняя экономика не пойдет туда, куда её насильно впихивают.

В заключение я хотел сказать, что переработка прошлого — профессиональное занятие ученых. Мы это делаем ради истины, а не для переработки памяти. Пусть народ и дальше будет пребывать при всех своих иллюзиях и мифах. Нас это не касается. Наша задача — познать прошлое, а пойдет оно на пользу народу, — это совершенно другая вещь. Я почувствовал, что вы работаете с общественным сознанием, но почти не слышал обращения к общественному бытию. Это опасный путь к спекулятивности. Он сильно подрывает научные отросли экономического обществознания. И, ещё одно: главная проблема, на чем настаивал Виктор Павлович, и ради чего затеяна была эта конференция — репрезентативное, фактологическое измерение прошлого. Вот эта сторона концепции может опираться только на репрезентативную фактологию, но об этом я почти ничего не услышал.

С.А. Денисов: Я хотел поблагодарить нашего докладчика, потому что он высказал важную идею, которая для обществоведения является принципиальной: все разошлись по своим квартирам. Это колоссальная проблема современного общественного сознания. Ещё одна идея: только интегрированное знание, которое базируется на выводах разных наук, может дать объемную картину. Не менее важно то, что вы и Виктор Павлович сказали об исторической науке.

О.Ю. Мамедов: Действительно, история как сумма состоявшихся фактов неизменна. По существу, познание только комбинирует, отстаивает приоритет. Но это уже другое. Сама история никогда не будет меняться. И то, что состоялось, когда-нибудь всё равно найдет адекватное отражение.

Реплики из зала: Может быть, она никогда и не найдет.

В.П. Макаренко: Опять меня вынуждают заниматься ликбезом. Дорогие коллеги, к настоящему времени существует, как минимум, три конкурирующих концепции факта. Я их не буду перечислять. Достаточно было бы прочесть классический труд Людвига Флека о генезисе научного факта. Эта работа является поворотной в методологии и понимании самого факта. А здесь говорят о фактах, не оговаривая, что конкретно имеется в виду. И сваливают в эту корзину исторические факты. Юрий Сергеевич, может, вы меня поддержите?!

Ю.С. Пивоваров: Я вас хочу поддержать со всей большевистской принципиальностью. Вы знаете, был такой историк французский Фернан Бродель?

В.П. Макаренко: Конечно!

Ю.С. Пивоваров: Как молодежь говорит: культовый философ. У него есть выражение: события — это пыль…

В.П. Макаренко: Пыль повседневности, точно…

Ю.С. Пивоваров: Это сказал человек, который как раз занимался повседневностью. События — это пыль. Есть ещё хорошее высказывание Шпенглера по поводу истории: история — это всё равно, что высшая математика, её нельзя исчислить. И очень хороша строчка у Б. Пастернака:

> История не в том, что мы носили,
> А в том, как нас пускали нагишом.

Здесь вспоминали Ключевского. Ключевский — это человек, который всё время думал по поводу истории, это толкователь истории, это философ истории и прочее, и прочее. А факты придут потом. Вспомните, как нас в школах, а потом учили в ВУЗах учили о 2-ом съезде РСДРП. Нам казалось, что вся история русской революции — это съезды РСДРП. Но если

взять другую оптику, то они вообще незаметные явления истории того времени. Где-то, какие-то люди, зачем-то собрались, что-то обсуждали… Никто про них знать не знал, какую роль они играют… То есть, это не просто события и факты: история обязательно предполагает взгляд. Или, как говорил Эйнштейн: самая практическая вещь на земле — это хорошая теория. Я абсолютно убежден, что без теоретического глубокого осознания истории ничего не получится. Я абсолютно убежден, что информационный и цивилизационные подходы абсолютно неадекватны современному человеку. И его желанию понять прошлое. Нужны какие-то иные критерии. Скажем, персоналистский подход, когда человек ставится в центр всего. *(Обращаясь к В.П. Макаренко)* Я имею в виду двухтомник А. Зубова, о котором вы говорили. В нем сделана попытка понять советскую историю. Ведь это самое главное.

Именно на этот подход нападают всякие Степан Степанычи Сулакшины и им подобные. Поэтому я думаю, что история это не только факты. Давно вышла замечательная книжка замечательная Леонида Милова «Великорусский пахарь». В которой написано о том, что наши предки пили, ели, потом страниц двадцать заключения. Ради этого всё написано. Не ради рациона питания крестьянина…

Реплика из зала: Это великая книжка.

Ю.С. Пивоваров: Это великая книжка… Там сами выводы потрясающее, которые открывают совершенно новое видение российской истории. Ещё я прошу обратить внимание на книгу не специалиста по русской истории, по фамилии Кульпин. Может быть, кому-то знакома. Он изучал русскую историю как человек экономики, демограф. И совершенно другой взгляд на русскую историю. Которую мы не найдем ни в классической историографии, ни дореволюционной, ни в советской, эмигрантской и прочее-прочее. То есть, очень многое зависит от взглядов на одно и то же событие. И когда я говорю, что в 1930-е годы всё уже состоялось… А мы ничего не знаем: что состоялось, в каком соотношении, в какой иерархии состоялось? Причем, очень многое, что нам не было видно тридцать лет назад, сейчас начинаешь видеть. Я, например, только в 1993-м году, когда прочел проект Конституции, который сейчас у нас есть, понял, что они готовят ту Конституцию, которая уже была в 1906 году (а до этого почти за сотню лет её написал Сперанский). То есть, в 1930-е годы нельзя было понять, что такое так называемая Конституция. Каждая новая эпоха требует нового прочтения. Нужен новый контекст. Новое событие, которое показывают.

Действительно, кто знал, что Россия рухнет в 1917-м году? По существу, выигранная война. Хороший, свободный тыл без карточек. Что за проблема? И вдруг Россия рухнула. Нет ни одного историка серьёзного, который бы, проанализировав всё, сомневался бы в этом. Известный историк написал в Казани в работе 1921 года «Кризис исторической науки»: «Вся наша теория раньше обосновывала, почему наше государство поднялось. Сперва, мы должны объяснить, почему оно рухнуло». И, между прочим, российская дореволюционная наука постсоветская и эмигрантская ещё до конца не разобрались с ситуацией революции, что там произошло, не говоря уже о событиях 1991, 1993 и конца 80-х годов. Здесь, к сожалению, одной нефтью или предательством Шеварднадзе не обойдешься. Так почему Россия XX столетии дважды рухнула? Что такое? Ни с того ни с сего — бах и нету?! Было всё плохо, но не было так, чтобы кранты…

В.П. Макаренко: Уважаемые коллеги, мы сейчас должны завершить нашу конференцию, хотя почти треть докладов осталась не заслушанной. Благодарю всех за содержательное участие и за активность. А также укоряю тех, к кому это относится, за незнание некоторых элементарных фактов, из-за чего дискуссия вынуждена идти извилистыми ходами и попадать в тупики. Пусть те, кто их предлагает, выдумает для интеллектуальных тупиков красочные названия. Мы их используем в наших следующих заседаниях.

Главы из книги: Эткинд А.М. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России

Аннотация: *Книга Александра Эткинда «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России» (М.: Новое литературное обозрение, 2013г.) рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Автор подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей. Двигаясь от истории к литературе и обратно, А. Эткинд дает неожиданные интерпретации критических текстов об имперском опыте, авторами которых были Дефо и Толстой, Гоголь и Конрад, Кант и Бахтин. Ниже публикуются главы 8 и 9 из книги.*

Ключевые слова: *внутренняя колонизация, империализм, самоколонизация, ориентализм.*

Глава 8. Внутренние дела

В недавней статье Уиллард Сандерленд [Sunderland 2010: 120] задаёт вопрос, почему в Российской империи так и не было создано Министерство по делам колоний. Этот вопрос звучал и раньше; Август фон Гакстгаузен, впервые задумавшийся над ним, предлагал империи создать Министерство колоний, «как в Англии, хотя и в несколько другом смысле» [Haxthausen 1856, v. 2: 76]. Но и его предложение запоздало. Ответ на вопрос, почему в России не было Министерства колоний, состоит в том, что такое министерство здесь было, одно или два.

Интеллектуалы у власти

Девиз на гербе графа Льва Перовского, министра внутренних дел Российской империи (1841–1852), гласил: «Не слыть, а быть». Незаконный сын графа Алексея Разумовского, министра просвещения (1810–1816), Перовский заслужил свой графский титул, занимая высокие должности в администрации эпохи Николая I. Девиз ему составил Владимир Даль, военный хирург, ставший автором многотомного словаря русского языка, а также глава Особой канцелярии министерства, работавший лично на Перовского [Мельников-Печерский 1873: 310]. Чтобы «быть», министр окружил себя писателями и учёными, которые знали толк в обманчивом искусстве «слыть». В интеллектуальной истории России люди 1840-х годов обыч-

но представляются высоколобыми идеалистами, знатоками и сторонниками немецкой романтической философии [Berlin 1978]. Сотрудники Министерства внутренних дел принадлежали к другому сорту людей. Не романтические ежи, а политические лисы, эти интеллектуалы знали, что такое власть, и умели демонстрировать свою ценность тем, в чьих руках она была. В их времена знание приносило власть над природой. Наука создала вакцины, навигационные приборы, паровые машины и добилась других успехов, оценить которые могли все, но понять — лишь специалисты. Столь же глубокие, специальные знания о населении — на языке этих интеллектуалов, о народе — должны были помочь власти благотворно действовать на народ в интересах империи. Очевидные явления, заметные публике, несущественны для искусства управления. «Быть» отличалось от «слыть», но разницу между ними знали только профессионалы.

В 1840-х и 1850-х годах Министерство внутренних дел приняло на службу ведущих русских философов, востоковедов и особенно много писателей[1]. Это была группа блестящих интеллектуалов, рядом с которой бледнел преподавательский состав Московского и Петербургского университетов. Империя входила в новый век современной, рациональной бюрократии. Дворянство нуждалось в экспертах, и дворяне становились экспертами [Weber 1979: 973]. Министерство внутренних дел контролировало огромные сферы управления империей, включая полицию, здравоохранение и цензуру [Lincoln 1982]. Оно управляло всеми связями между империей и ее частями: назначало губернаторов, посылало ревизоров, составляло карты, отвечало за дороги и управляло религиозными и этническими меньшинствами. Хотя власти над имениями у министерства не было, оно составляло правила для помещиков. Обычаи аристократического управления уже казались устаревшими, но заменить их было сложно. Камерализм, немецкая наука об управлении, ввела в оборот статистику населения, учёт бюджета и рациональный подход к экономике, но практика сильно отличалась от теории [Wakefield 2009]. Журнал Министерства внутренних дел, выходивший под редакцией философа Николая Надеждина, все чаще заполняли статистические таблицы, детальные карты, технические чертежи и даже психиатрические истории болезни. Отец Перовского учился статистике у знаменитого Шлёцера. Теперь министерство пыталось внедрить эти методы на практике, организуя Статистические комитеты в губерниях; в таком комитете в Вятке успел поработать Герцен и вспоминал позже о «статистической горячке», овладевшей тогда умами. Но литература и этнография, немногим отличавшаяся от литературы, лучше отражали ключевые аспекты имперского опыта, чем зарождающаяся статистика. При Перовском и после него большая часть высших чиновников министерства все ещё были интеллектуалами широкого профиля [Orlovsky 1981: 11]. Даже по критериям XIX века многие были самоучками-дилетантами: врач написал словарь русского языка, философ занимался этнографией, офицер разведки создавал религиоведение, а востоковед цензурировал прессу. Сами размеры империи, огромность ее проблем и крохотный штат министерства требовали писателя, лучше всего романтика-сентименталиста с широким кругозором, бойким пером и героической склонностью к упрощениям. Как писал от имени своего героя-чиновника один из сотрудников министерства, сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, «я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа» [Салтыков-Щедрин 1936, т. 10: 71].

Отец Перовского, Алексей Разумовский, был украинским казаком, племянником тайного мужа императрицы Елизаветы. Получив домашнее образование, он стал министром просвещения. Разумовский женился на богатейшей наследнице в России, из рода Шереметьевых. Дочь его конюха родила от Разумовского десять детей, в том числе и будущего министра вну-

[1] Философами были Николай Надеждин, Константин Кавелин, Юрий Самарин и Петр Редкин, ориенталистами — Иван Липранди, Василий Григорьев, Павел Савельев и Яков Ханыков, писателями — Павел Мельников, Иван Тургенев, Иван Аксаков, Владимир Одоевский, Владимир Соллогуб, Михаил Салтыков-Щедрин, Евгений Корш, Николай Лесков и другие.

тренних дел. Карьера Перовского и его братьев была вдвойне необычной для консервативной империи: малороссийские помещики на вершине власти, к тому же и не дворяне. Тем более интересно, что она кажется запечатленной или даже предсказанной в одном из самых популярных романов. В «Иване Выжигине» (1829) Фаддея Булгарина главным героем является незаконнорожденный отпрыск аристократической семьи, владевшей огромными поместьями в Украине. Иван Выжигин проходит путь от нищенства, проституции и участия в тайной секте до высоких постов в империи. Соперничество между правоохранительными структурами империи было делом обычным, но Булгарин придал ему литературное измерение. Начав со службы в наполеоновской армии, в России польский интеллектуал Булгарин стал агентом жандармского управления, для которого написал тысячи страниц докладов и доносов [Рейтблат 1998].

Незаконнорожденные родственники императорской семьи (их называли русскими Монморанси), братья Перовские заняли места на самом верху российской власти. После высшего поста в Министерстве внутренних дел был министром уделов и управляющими Кабинетом его величества до своей смерти в 1856 году. Его старший брат Николай, участник дипломатической миссии в Китай в 1805 году, стал крымским губернатором. Василий Перовский стал генерал-губернатором Оренбурга, откуда руководил серией колониальных предприятий, которые начались провалом, но закончились колонизацией Средней Азии. Близко стоявший к литературе и ещё ближе — к императорской семье, в 1839 году он читал ее членам самый кощунственный текст русской поэзии — лермонтовского «Демона», который останется под цензурным запретом ещё несколько десятилетий [Герштейн 1964: 69–73]. В 1870-х годах Лев Толстой планировал написать о Василии Перовском целый роман.

Младший сын Разумовского, Алексей Перовский стал писателем Антонием Погорельским. Светский человек и автор нескольких повестей, он запомнился своей сказкой «Черная курица, или Подземные жители», в которой главному герою даже во сне видятся министры. Самый младший из братьев, Борис, стал учителем будущего императора Александра III. Сергей Уваров, министр просвещения, был женат на сестре Перовских. В годы правления Николая I клан братьев Перовских вёл борьбу с кланом сестёр Пашковых, которые вышли замуж за министра юстиции и двух председателей Государственного совета [Корф 2003: 73].

Братья Перовские сотрудничали на нескольких уровнях. Алексей, друг Пушкина и других литераторов, связывал братьев с литературной элитой. Он помог Владимиру Далю определиться на службу к брату Василию — оренбургскому губернатору; потом Даль перешёл на службу в Министерство внутренних дел ко Льву Перовскому. Другие чиновники, например Василий Григорьев, проделали обратный путь — из Петербурга в Оренбург. Вводя новшества, империя опробовала их в колониях, а потом применяла внутри страны, и одна семья управляла обоими пунктами на траектории колониального бумеранга. Поклоняясь разуму и закону, эта группа экспертов на службе империи неизбежно породила своих диссидентов. Сын старшего из братьев Перовских, Николая, стал губернатором Санкт-Петербурга. Его дочь, Софья Львовна Перовская, организовала убийство Александра II и была повешена в 1881 году.

Большую часть пребывания Перовского на посту министра его аппарат возглавлял Карл фон Пауль — член общины моравских братьев, чьи необычные представления о дисциплине привели к постоянным столкновениям с губернаторами, которые подчинялись его надзору [Шумахер 1899: 109]. Кажется, эти представления были не чужды и министру. ещё до своего назначения, в 1830-х годах, Перовский, работавший в Министерстве уделов, ввел коллективный труд — «общественные запашки» — в удельных поместьях, которые принадлежали императорской семье. Этот режим заставлял принадлежащих короне крестьян, многие из которых были староверами или инородцами, не только платить подати, но и совместно работать на полях. Позднее Перовского подозревали в том, что он использовал систему, выработанную в военных поселениях; но в отличие от немецких колоний и военных поселений Перовский

вводил «общественные запашки» через наёмных управляющих. В духе капитализма управляющие получали процент с выполненных работ, но крестьянами управляли с помощью телесных наказаний. Несколько позже Министерство государственных имуществ, которое возглавлял граф Павел Киселев, применило метод Перовского к государственным крестьянам; это нововведение будут одобрять советские историки, видевшие в нем предтечу колхозного строя [Дружинин 1946]. Ранее Киселёв возглавлял администрацию «княжеств», входящих в состав современной Молдавии и Румынии; он тоже принёс внешний опыт в управление внутренними территориями. Министерство Киселёва оплатило Гакстгаузену его путешествие по России и тем самым его открытие общины. Одновременно, в начале 1840-х годов, Перовский обратил особое внимание на еврейские общины-кагалы, собрал о них подробные сведения и в 1844 году составил законоположения о евреях-земдевладельцах и коробочном сборе. В те же годы Перовский ввёл в управлявшихся им удельных имениях круговую поруку крестьян при платеже оброка. Это был ранний опыт введения общинного принципа сверху, который потом был перенесён в реформистские законы, освобождавшие крестьян от помещика и ставившие их в зависимость от общины, подобной кагалу.

В Министерстве внутренних дел идея общины была популярна среди философов и юристов, хотя специалисты по сельскому хозяйству из числа сотрудников уже понимали, что общинное землевладение препятствует продуктивности [Lincoln 1982: 123]. Ликвидировав власть помещика, освобождение крестьян в 1861 году оставило общину основным механизмом социального и финансового контроля на селе. Хотя сами проекты реформ были составлены уже после ухода Перовского с должности министра, многие их авторы были его людьми в министерстве. Лев Перовский и сам был богатым землевладельцем, который нанял для своих поместий англичанина-управляющего. В ожидании реформ он по дешёвке скупал крестьян в центральных губерниях и переселял их в свои южные поместья; но в отличие от героя «Мертвых душ» Перовский перегонял живых крестьян.

Руководя министерством, Лев Перовский налаживал современную администрацию в государстве, которое лишь недавно (в 1837 году) отменило посты генерал-губернаторов во внутренних губерниях, сохранив их в пограничных губерниях и в двух столицах[2]. Ликвидация военного руководства внутренними губерниями, одновременная с созданием (тоже в 1837 году) Министерства государственных имуществ, означала переход от чрезвычайного положения, равномерного на всей территории империи, к полицейскому государству, руководимому гражданской администрацией. Развивая научные методы управления — статистику, массовое прививание оспы, ревизии и так далее, Перовский превратил свое министерство в центральный институт внутренней колонизации, обустраивающий жизнь подданных на огромных пространствах империи. Отвечая за правовую, административную и сельскохозяйственную реформы, министерство приняло на себя реформаторские функции, основанные на идеях Просвещения и новых социальных дисциплинах, но сдерживаемые масштабом империи, сословной структурой общества и страхом революции. Имперская администрация внутренних и пограничных губерний наделялась цивилизационной миссией, подобной тем, что осуществляли классические империи в своих заморских колониях. Как описал эту задачу сенатор Кастор Лебедев:

> В мирное время мы завоеватели собственных земель, а во время войны мы должны опасаться и защищаться от этих наших подданных <…> Избави, Боже, от беспорядков внутренних! Возгораемых материалов так много, что пожар может объять все пространство <…> Все эти крепостные, все эти обобранные крестьяне и инородные, церковные, мелкопоместные владель-

[2] Генерал-губернаторы, учреждённые указом Екатерины от 1775 года, обладали чрезвычайными полномочиями. Военные, назначаемые царём были равны столичным министрам, что порождало многочисленные конфликты. Гражданские губернаторы были подчинены МВД и назначались министром. Имперское управление Польшей и Кавказом потребовало статуса наместника, который был выше генерал-губернаторского.

> цы и эти беспоместные крестьяне и разночинцы, срочные арестанты, бессрочные отпускные, все это обнаруживает неустройство и беспорядок [Лебедев 1888: 356–358].

Неусыпные усилия министерства были направлены на конфессиональные и этнические сообщества. В бытность свою министром Перовский заказал «карту… всем оконечностям государства, с показанием различными красками и тенями, кроме раскольников, всех иноверцев и иноплеменников» — от чуди до камчадал и от Риги до Оренбурга — «не говоря уже об обширных пространствах Сибири» [Липранди 1870b: 111]. Империи всегда питали страсть к картам, которые служили моделью для будущих завоеваний так же, как и изображением уже завоёванных территорий [Brubaker 1992; Suny 2001; Stoler 2009]. Перовского не интересовала стандартизация политических прав и экономических благ в имперском пространстве; наоборот, он приветствовал разнообразие колоний, если их можно было контролировать, наносить на карту, облагать налогом. Имперское пространство наполняли воображаемые сообщества, красочные и экзотические: это они были единицами имперского управления. Министерство брало на себя ответственность за нанесение на карту верных границ между этими разноцветными группами, за распознание их истинной сущности и приведение отношений между этими сущностями к гармонии ради общего блага. Как писал Надеждин в 1831 году, «освещение […] разливается из средоточия; но окружность становится ощутительно цветнее» [Надеждин 2000, т. 2: 747]. Это важная черта империи, отличающая ее от национального государства. Национальное государство стремится к гомогенности прав, благ и культур на своей территории; практикуя непрямое правление, империи не только не имеют такой амбиции, но приветствуют эстетическое (а также, в контролируемых границах, политическое и экономическое) разнообразие на периферии. На протяжении века этот культурный — сегодня бы его назвали мультикультуральным — аргумент становился все более важен как оправдание самого существования империи.

Особо опасные секты

В 1843 году Иван Липранди организовал при министерстве Комиссию по делам раскольников, скопцов и других особо опасных сект. Испанский дворянин, Липранди основал российскую контрразведку и руководил ею во время оккупации Парижа, изучал восточные языки и историю, возглавлял государственную политику в отношении неправославных русских и призывал полицейскими мерами усмирить славянофилов, которых считал сектой. Он дружил с Пушкиным и стал прототипом его рассказов [Гроссман 1929; Эйдельман 1993]. На свой страх и риск Липранди возбудил политический процесс против кружка столичных фурьеристов, в котором министерство обрело свою самую знаменитую жертву: Достоевского. Знаток и противник национализма, Липранди писал как истинно имперский мыслитель:

> К несчастью, или счастью, Европы, мысль о природных границах и соединении народностей заронена в народах… Сама по себе она величественна, живуча, как бы удовлетворяет естественным влечениям человеческой природы и жизни Государства, но в практике… обагрит Европу потоками крови. Турция и Австрия будут первыми очистительными жертвами этой великой, но фантастической мысли; затем перевернёт она всю Европу и наконец перекинется за пределы ее в остальные части света [Липранди 1870a: 234].

Поскольку «разные земли одного и того же племени» часто более враждебны друг к другу, чем к «чуждой расе» (столетие спустя это назовут «нарциссизмом малых различий»), Липранди предсказывал неудачу объединению Германии и освобождению Италии. Потому же и Российской империи нужно было опираться не на панславянские чувства, а на власть информации и принуждения. Поскольку «племена» и «расы» для него значения не имели,

Липранди видел свою задачу в том, чтобы исследовать и использовать другие, менее очевидные единицы имперского управления. В соответствии с этой логикой предметом его забот стали религиозные сообщества. Используя полицейские отчёты и доклады миссионеров, Липранди сделался одним из первых и лучших специалистов по русскому расколу. Он разделил раскол на секты, обозначив некоторые из них как «опасные», а другие как «особо опасные». Общее количество их последователей Липранди оценил в 6 миллионов, что было примерно в 10 раз больше, чем по предыдущим оценкам. Интересно, что предположение о взаимной ненависти между сходными обществами не распространялось у Липранди на секты. Напротив, он утверждал, что многие из этих разнородных общин объединены в тайную «религиозно-конфедеративную республику» — государство в государстве, внутреннюю колонию совсем особого рода. Там, внутри, были свои столицы, свои средства коммуникации и даже тайный язык, записать который было поручено министерскому лингвисту, Владимиру Далю. Тайный характер сект оправдывал усилия ведущих интеллектуалов министерства, направленные на их выявление [Липранди 1870b: 107]. Новооткрытая «конфедеративная республика» наносилась не на географическую, а на богословскую карту, но нуждалась в полицейском контроле. Липранди писал о таких страшных грехах сектантов, как «кровосмешение, мужеложство, сообщение женщин с женщинами», об их идее, что «домашние вещи принадлежат всем». «Не чистый ли это коммунизм?» — восклицал Липранди [там же: 80–85]. К тому же он подозревал, что раскольники находятся в сообщении с дворянскими вольнодумцами, составляя межсословный заговор, который был кошмаром для российских властей, начиная со знаменитого процесса издателя Николая Новикова в 1792 году[3].

Липранди с размахом изобретал новые реалии. На неслыханной религиозной основе он объединил миллионы людей в сплочённое политическое сообщество — республику внутри империи, по своей природе враждебную империи. Если нельзя полностью уничтожить это подпольное сообщество, считал Липранди, его можно ослабить. Чиновник с правами следователя, Липранди предлагал создать сеть агентов среди сектантов и вольнодумцев с тем, чтобы, «сделав с ними личные, т. е. частные связи, ловко расположить их ко взаимной злобе». Он считал необходимым «тайное и ловкое наблюдение за раскольниками», поскольку «раскол есть важное государственное зло» [там же: 131].

Липранди составил это «Обозрение» в то время, когда внедрял своего агента в группу интеллектуалов, глава которой — Михаил Петрашевский — служил переводчиком в Министерстве иностранных дел и был впоследствии, после имитации смертной казни, сослан в Сибирь. К этой группе принадлежал и Достоевский. С помощью своего агента Липранди хотел нащупать связь между петербургскими западниками и раскольниками из народа; как раз эту связь установить не удалось, так что петрашевцы стали побочными жертвами полицейской теологии. Одновременно Липранди пытался начать ещё более крупное дело в том же духе — суд над московскими славянофилами, которых называл «раскольниками в гражданском отношении», ещё одной особо опасной сектой. Славянофилы действительно связывались с раскольниками; Хомяков, например, участвовал в богословских диспутах с раскольниками в Московском Кремле. Но либо Перовскому, либо самому императору новое дело показалось слишком громким, и его остановили.

Репутацию Липранди подмочили ещё и слухи, что он брал взятки от богатых скопцов, и в 1855 году его сменил провинциальный чиновник Павел Мельников (Печерский), позже известный как автор романов о расколе. Следуя за Липранди, но позволяя себе поэтические вольности в официальных бумагах, Мельников говорил о расколе как о болезни на прекрасном теле Российского государства. Подобная сифилису, болезнь станет смертельно опасной,

[3] Липранди опубликовал свой трактат под названием «Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в политическом их значении» в 1870 году с датой «1855». Однако интеллектуальным кругам Петербурга этот текст был известен уже в 1851 году; видимо, тогда он и лёг на стол Перовскому [Анненков 1989: 510].

если возглавляемые Мельниковым изыскания не получат новых субсидий: «Русский раскол… превращается в язву государственную, которая для политической жизни России со временем может стать опаснее всевозможных ополчений Запада и союзных им поклонников ислама. России не страшна Европа с Азией — страшней ей она сама, если не уврачуется явившаяся на теле ее язва» [Мельников 1910: 228]. Ненадолго оказался в Министерстве внутренних дел и ещё один специалист по русской религии, Афанасий Щапов, бывший профессор-историк и будущий сибирский ссыльный. Он тоже верил в могущество раскола, но глубоко ему симпатизировал. Николай Лесков, молодой тогда журналист, сам занимавшийся тогда расколом по заказу Министерства просвещения, записал яростный спор «слишком нерешительных мельницистов» со «слишком решительными щапистами», который проходил в министерстве. Первые считали, что каждый раскольник — сторонник разврата, а вторые — что он «чуть-чуть не маленький Фурье» [Стебницкий 1863: 39]. Конкурирующие нарративы, созданные двумя ведущими специалистами по расколу, консервативным Мельниковым и радикальным Щаповым, соперничали во влиянии на интеллигентную публику. Но в бюрократическом мире Министерства внутренних дел они дополняли друг друга. Идеи о политической природе раскола, которые формулировал Щапов, только оправдывали полицейские меры борьбы с ним.

Новый союз

В гоголевском «Ревизоре» главный герой претендует на роль, которая на самом деле принадлежала чиновникам Министерства внутренних дел. Они регулярно инспектировали отдалённые губернии, сталкиваясь там с хаосом, невежеством и коррупцией. Любопытно, что среди прочего Хлестаков хвалится дружбой с Пушкиным, приводя этим в трепет городских чиновников и их дочерей. В 1843 году службу в Министерстве внутренних дел начал Иван Тургенев. Под началом Владимира Даля будущий писатель работал над проектом сельскохозяйственных реформ. Одним из первых произведений Тургенева стала записка «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине» [Тургенев 1963, т. 1: 149–175]. В 1845 году Тургенев, богатый землевладелец, вышел в отставку, сосредоточившись на своем первом шедевре — «Записках охотника» (они публиковались по частям начиная с 1847 года). «Записки охотника» больше повлияли на внутренние дела России, чем десятки министерских меморандумов. В 1852 году Тургенев был арестован за некролог Гоголю и, проведя месяц под арестом, был выслан в свое родовое имение. Впоследствии почти все его романы из российской жизни были написаны в Западной Европе. Энциклопедия потом утверждала, что «„Запискам охотника“ принадлежит такая же роль в истории освобождения крестьян, как „Хижине дяди Тома“ Бичер-Стоу в истории освобождения негров — но с той разницей, что книга Тургенева несравненно выше в художественном отношении» [Венгеров 1902: 99].

В 1848 году на службу в министерство определился ещё один интеллектуал, молодой юрист Иван Аксаков. Ему была поручена поездка в Бессарабию с целью изучить жизнь удалённой, но могущественной общины раскольников. Там, в степях, он начал писать поэму «Бродяга», главным героем которой стал странствующий и рассуждающий крестьянин, отдалённый предшественник «Очарованного странника». Возвратившись на следующий год в Петербург, Аксаков был арестован в связи с расследованием по делу славянофилов, которое вел его начальник Липранди. По личному распоряжению Николая I следствие в отношении Аксакова было прекращено, а сам он отправлен ревизором в Ярославскую губернию [Сухомлинов 1888]. Для недавнего арестанта это было слишком по-гоголевски. Один из центров раскола, Ярославль, поразил Аксакова. Как исследователь и ревизор, он писал отцу: скоро «Россия разделится на две половины»: «берущие взятку будут православные, дающие взятку — раскольники» [Аксаков 1994: 177]. В одной из волжских деревень Аксаков с коллегами сделал сенсационное открытие, обнаружив новую общину — бегунов. Они считали грехом ночевать на одном месте две ночи подряд, отрицали деньги, семью и собственность, а также лю-

бые контакты с государством, которое считали антихристом. Понятно, что Аксаков забросил поэму «Бродяга», чтобы прозой описать бегунов. Этот отчёт стал едва ли не единственным источником информации о секте; почти никто больше не смог их найти, хотя пытались многие. Между тем Перовский затребовал текст поэмы и, вероятно, удивился параллелям между вольной поэзией о бродягах и бюрократической прозой о бегунах. Министр потребовал от Аксакова выбирать между литературным творчеством и государственной службой. Аксаков вышел в отставку и возвратился в свое поместье. Он стал одним из вождей умеренного русского национализма, успешным издателем и редактором.

Еще один писатель из Рюриковичей, Михаил Салтыков-Щедрин, был в 1848 году сослан за литературные произведения в далёкую Вятку на восточной оконечности Европы. Там он служил чиновником при губернской администрации и продолжал писать, пока в 1856 году не получил должность в столичном Министерстве внутренних дел. Разъезжая с ревизиями, он собирал материал для беспрецедентно агрессивной сатиры на многие аспекты чиновничьей жизни. Позднее Салтыков стал вице-губернатором Рязанской губернии и любимым писателем Ленина. Среди этих аристократов, наследников красивых усадеб с сотнями крепостных, граница между карьерой и ссылкой была поразительно зыбкой. Столь же удивительным было сродство между русской литературой и бюрократической службой. Одни классики русской литературы сами состояли на службе, за других (как, например, за Гоголя или Достоевского) это делали их герои. Объяснить такое пристрастие к гражданской службе можно тем, что чиновники и их семьи составляли большую часть читательской аудитории. Ища успеха среди читателей и читательниц, писатели отправляли своих героев в гаремы, на поля битвы, в сумасшедшие дома и другие интересные места. Но очень часто таким местом оказывался министерский департамент. Поворачивая в середине XIX века от романтизма к реализму, русская литература разрабатывала нарративные модели и стилистические навыки, нужные для работы в чиновничьих кабинетах. Товарищ министра внутренних дел Алексей Левшин, который до министерства долго работал в губернских правлениях Оренбурга и Одессы, писал, что во время подготовки к освобождению крестьян «литература оказала великую услугу России разносторонними воззрениями и объяснениями предмета, который не далее, чем за год до этой эпохи, составлял полную тайну, совершенную терра инкогнита» [Левшин 1994: 84]. Предметом этим — терра инкогнита — были крестьяне. Освоение неизвестных территорий составляло традиционную задачу имперских литератур; в Российской империи эта задача, как и многие другие, была обращена вовнутрь, к обитателям центральных губерний. Прилагая литературную риторику к административной практике, Министерство внутренних дел проводило свою политику, почти не имея на руках других средств сбора информации, кроме тех, что были доступны писателю. История, филология и тогдашняя царица гуманитарных наук — этнография воспринимались как прикладные науки, незаменимые в скудном арсенале средств управления.

В 1831 году Николай Надеждин, в то время профессор философии в Московском университете, а в дальнейшем — видный чиновник министерства и основатель российской этнографии, говорил о возникновении священного союза между гуманитарной наукой и повседневной жизнью. Этот термин он заимствовал из российского имперского опыта. Священный союз европейских держав, созданный Россией на Венском конгрессе 1815 года, лежал в руинах, и Надеждин мечтал о новом священном союзе, который поведёт Европу вперёд на основании российских открытий, сделанных силами прикладных наук, изучающих русский народ [Надеждин 2000, т. 2: 736–748]. С 1843 года Надеждин служил в Министерстве внутренних дел и принял участие в продуктивных исследованиях, которые частично реализовали его мечту о новом священном союзе. Надеждин, Даль и другие сотрудники министерства создали Русское географическое общество, которое финансировалось из средств министерства [Lincoln 1982; Knight 1998]. При поддержке великого князя Константина, морского министра и одного из творцов крестьянской реформы, Русское географическое общество и его передо-

вое этнографическое отделение сосредоточились на исследованиях внутренних земель России. Самая большая коллекция русских сказок, новаторское исследование русских сект, самый известный словарь русского языка, первые исследования нерусских народов империи — все эти проекты были реализованы в кругах Министерства внутренних дел и на его средства. Авторы этих исследований понимали их колониальную природу и знали о ключевой связи между властью и знанием. Как писал в 1842 году Владимир Даль:

> Возьмём близкий к делу пример: вам была бы дана задача изложить начала, основания, на коих должна бы основываться обработка языка каких-нибудь островитян Тихого океана; предполагается преобразовать, перевоспитать дикарей, дать им грамоту, понятия образованные и приспособить к этому всему их младенческий лепет… Чем бы вы начали? …Конечно, следовало бы приступить первоначально к изучению языка, грубого, дикого, бедного, необработанного, каков он ни есть, и… изучив дух, свойства и потребности языка, строить на этом основании далее. То же самое предстоит теперь нам [Даль 2002а: 424].

Написать словарь

По образованию Владимир Даль был морским офицером и военным врачом; он также стал инженером, этнографом, лингвистом, чиновником и писателем. Сын датчанина-лютеранина и француженки-гугенотки, Даль родился в Луганске (территория современной Украины), в колонии, которую создали в середине XVIII века выходцы с Балкан. Потом инженер-шотландец нашёл рядом с этой колонией месторождения угля и руды, и отец Даля, учившийся богословию в Германии, приехал в Луганск работать лекарем на горном заводе. Русскому Владимир научился от матери-француженки, которая родилась в Санкт-Петербурге и говорила на пяти языках. Даль прекрасно писал по-русски, но своим интересом к языку он отчасти был обязан иностранному происхождению. Автор самого знаменитого словаря русского языка, Даль проделал большую часть своей огромной работы над ним вдали от русской глубинки. Информацию он получал от солдат, ремесленников и других простолюдинов, вместе с ним участвовавших в имперских походах. Он опубликовал также многотомное издание русских сказок, которые он, по его словам, услышал от простого народа и записал во время путешествий. Вместе с Пушкиным Даль обследовал оренбуржские степи, ища свидетелей Пугачевского восстания. Как друг и врач, он был рядом с Пушкиным в последние часы его жизни.

Даль начал работу над словарем в 1819 году во время флотской службы на Балтийском море: беседуя с матросами, он записывал неизвестные ему слова. Он пополнил свою коллекцию, участвуя в кампаниях в Польше, Турции и Средней Азии как военный врач. Основная часть работы по составлению словаря пришлась на годы гражданской службы в Оренбурге, на подвижной границе империи. Как штабной офицер он принял участие в военном походе в Хиву в 1839–1840. Экспедиция была плохо спланирована и обернулась трагическим поражением, но она открыла путь к российской колонизации Средней Азии. Даль завершил Словарь уже в Петербурге, в должности главы Особой канцелярии министра внутренних дел Льва Перовского. В имперской карьере Даля, как и в путях его словаря, творчески сочетались задачи внешней и внутренней колонизации. Его перемещения между географическими точками и бюрократическими офисами повторяли или предсказывали сдвиги между тем, что в этой империи было «внешним» и «внутренним».

Куда бы ни заносил Даля его имперский долг, его беспокойный дух пребывал в глубинах русского языка и фольклора. Прогуливаясь с друзьями перед обедом в их петербургском поместье, Даль встретил человека, который представился соловецким монахом. Распознав поволжский акцент в его речи, Даль смог определить, из какой он губернии и даже из какого уезда. Мгновение спустя монах, оказавшийся беглым крепостным, пал в ноги лингвисту

[Мельников-Печерский 1873: 289]. «Я думаю по-русски, — писал Даль. — Человеческий разум принадлежит тому народу, чей язык употребляет» [Даль 2002b: 258]. Тем не менее на протяжении всей карьеры Даля преследовало враждебное отношение к нему неумеренных националистов, которые знали о его происхождении и считали неправильным, что иностранец и иноверец занимается тайнами русского народа. В 1832 году Даль был арестован за собранные им сказки, в которых власти обнаружили недопустимые политические намёки; могущественные друзья-писатели помогли ему выйти на свободу. В 1844 году Лев Перовский поручил Далю написать исследование о скопцах, которые кастрировали себя и своих последователей ради благочестивой жизни. Когда Николай I обнаружил, что автор исследования — лютеранин, он приказал Перовскому найти православного автора для столь щекотливого предмета; статью переработал и подписал Надеждин. В 1844 году Перовский нашёл для Даля новое поручение: исследовать старинный вопрос о том, совершают ли еврейские подданные империи ритуальные убийства. Чиновники дали утвердительный ответ, а исследователи до сих пор спорят, был ли к этому меморандуму причастен Даль. Не совсем понятно, как он мог быть непричастен: он был одним из высших руководителей министерства и курировал там этнографические и сходные с ними работы. Однако этой записке, как и другим экстремистским начинаниям, исходившим из министерских недр, не был дан ход.

В поздний период работы Даля принимают антипросвещенческое направление. Начав с возражений против того, что русский язык портят иностранными словами, он дошёл до сомнений в пользе грамоты для простого народа. Историк Александр Пыпин заметил о Дале и его круге: они «догадывались, что между жизнью образованного класса и жизнью народа есть какой-то разлад, и думали, что он может быть покрыт и изглажен культом народности, но они совсем не понимали, как это может с делаться… Этнографы и писатели этой школы, на словах великие любители народа, на деле не раз становились к нему в ненавистное отношение соглядатаев и сыщиков (в делах по расколу)» [Пыпин 1890, т. 1: 418–419]. Двоюродный брат Чернышевского, Пыпин относился к министерской этнографии как к культу народности, самооправданию власти, своего рода этномифологии. Словарь Даля, огромный успех его жизни, также стал мишенью для возражений и сомнений. Одни критики обвиняли Даля, что он сам придумывал слова; другие прославляли словарь как памятник богатству русского языка. Спор продолжился в XX веке: Владимир Набоков восхищался словарём и постоянно пользовался им, а Борис Пастернак высмеивал его искусственный язык. Перед смертью Даль, поклонник Сведенборга и убеждённый спирит, организатор опытов с вращающимися столами, и вызовом духов, принял православие.

В 1848 году Перовский попросил Даля уничтожить свои записки, так как в это беспокойное время их содержание могло быть небезопасно для чиновника столь высокого ранга. Даль повиновался и сжёг сотни страниц ценнейшего материала. Немногие сохранившиеся страницы показывают автора с неожиданно меланхолической стороны. Преследуемый подозрениями и обвинениями, Даль находил утешение только в семейной жизни, поддержке начальства и смирении:

> Счастливый семьянин, обеспеченный милостью министра внутренних дел в домашних нуждах моих, я должен с безмолвною покорностью выслушивать оскорбительные для верного гражданина и подданного обвинения, должен молча отдать лучшую часть моего доброго имени, моей чести! Чувства и помышления наши скрыты; человеку не дано средств разоблачать их перед судьями и свидетелями, для убеждения в нравственной чистоте своей и непорочности; но человеку дана покорность в несчастии, терпение и непоколебимая вера в будущность [Даль 2002b: 262].

Эти печальные медитации звучат так, как будто услышаны от матери-гугенотки; их удивительно встретить среди заметок неуспевающего чиновника на службе империи. Если бы

Даль под нажимом начальника не уничтожил свои бумаги, у нас было бы больше таких текстов. Исполняя дисциплинарную власть над огромной империей, этот образцовый интеллектуал думал и писал под постоянным давлением внешних подозрений и внутренних сомнений. Изучал ли он русских или изобретал их? Имел ли он право на то и другое? Его власть и его труд — были они или слыли? Восхищаясь языком простого народа и посвятив всю жизнь записи этого языка, он отказывал тому же народу в праве на образование. Воплощая в себе истинно имперские, космополитические таланты и навыки, он использовал их для того, чтобы учить национальной ограниченности и высокомерию.

В России середины XIX века сентиментальность превращалась в гротеск, и эта их близость тоже была частью имперского опыта. Заманчиво представить себе, как гоголевский майор Ковалев приходит в Министерство внутренних дел и просит у Даля вице-губернаторской должности. Даль беседует с Ковалевым, отмечая его провинциальный акцент, и оба они беспокойно следят за своими непослушными частями.

Система нежности

Профессор восточных языков, чиновник Министерства внутренних дел, колониальный администратор киргизской орды и главный цензор империи, Василий Григорьев (1816–1881) применил свои знания в области востоковедения к разным задачам власти. Развивая проекты внешней и внутренней колонизации, он смешивал их так, как казалось нужным ему и его начальникам. Григорьев был типичным востоковедом XIX века: он окончил отделение восточных языков Петербургского университета, ссорился там с Сенковским, говорил на нескольких азиатских языках и писал о многом, от археологии до современной ему литературы. В 1837 году молодой Григорьев представил в Учёный совет Петербургского императорского университета проект нового курса «История Востока»:

> Распространение и усиление в России восточных занятий… придало бы нам самостоятельности и, служа противодействием перевесу западных начал, угнетающих наше национальное развитие, содействовало бы его укреплению и быстрейшему ходу… Лучшее средство противодействовать влиянию Запада — это опереться на изучение Востока [Веселовский 1887: 33].

Профессией Григорьева был ориентализм, а основным призванием — национализм. Русским необходимо было изучать Восток, потому что это давало возможность понять себя в противопоставлении Западу. По своим воззрениям Григорьев постоянно оказывался ещё большим ястребом, чем его начальники; в тот раз его программа была отвергнута. С 1844 года Григорьев — на службе Министерства внутренних дел. Он помогал Надеждину издавать Журнал министерства и писал статьи на такие разные темы, как положение крестьян в центральных губерниях, книгопечатание в Риге и недавно открытые секты в иудаизме. Хасидов, по Григорьеву, отличают «крайнее невежество и безграмотность»; что касается «секты талмудистов», как он называл ортодоксальных иудеев, они представляют «опасность для России» и являются «несчастьем человечества» [Григорьев 1846]. В 1847 году Григорьев вместе со своим другом и коллегой востоковедом Павлом Савельевым купили издававшийся в Петербурге журнал «Финский вестник» и переименовали его в «Северное обозрение». Среди авторов нового журнала был Михаил Петрашевский, которому скоро предстояла сибирская каторга. Случайно или нет, но именно в то время, как Липранди внедрял к петрашевцам своего агента, Григорьев публиковал статьи и переводы участников этой же группы. В «Северном обозрении» он также пропагандировал взгляды Гакстгаузена на Россию [Seddon 1985: 267]. В 1848 году Григорьев был отправлен в центральные губернии с поручением выяснить, что дворяне и крестьяне говорили о революциях в Европе. В следующем году он ревизовал риж-

ские книжные магазины, самоотверженно конфисковал 2 тысячи запрещённых книг и заболел, надышавшись книжной пылью.

По приглашению Василия Перовского в 1851 году Григорьев перешёл на службу в Оренбург — настоящий Восток, ставший частью России. До 1863 года он служил в губернском правлении и возглавлял пограничную экспедицию на киргизской (казахской) границе; другие его должности там назывались более экзотично, например «главноуправляющий внутренней ордой оренбургских киргизов». Живя бурной жизнью колониального администратора, Григорьев организовывал карательные экспедиции и участвовал в рейдах. Он наносил на карту границы оккупированных территорий, арестовывал бунтовщиков, писал законы, учреждал суды и вел расследования. Все эти многочисленные дела Григорьев исполнял, не имея ни юридического образования, ни военного опыта. Он был ориенталистом, изучал «азиатцев» и любил при случае напомнить, что он профессиональный университетский востоковед. «Как ориенталист я, на беду мою, понимаю Азию и азиатцев, а те, которые руководят моими действиями, не знают аза ни в том, ни в другом», — писал он из Оренбурга в 1858 году. «Степь киргизская трепещет передо мною: так и сажаю султанов под арест, отставляю от должностей, ловлю разбойников, но, увы, к крайнему моему огорчению, вешать их не имею власти». Оправдывая свои несколько однообразные действия, Григорьев прибегал к научному знанию. Во время волнений среди киргизов он сообщал в личном письме: «Придумал я отличнейшее средство… глубоко макиавеллиевская штука, которою я обязан тому, что „книжки читал“, а не состарился чиновником с люльки. Да здравствуют „книжки“!» Этой «штукой» была новая серия карательных мер. В возбуждении он помещал самого себя где-то между Чингисханом и Липранди:

> Знай, что Чингис-хан теперь мне нипочем. Сам я приобрел великолепную киргизскую шляпу, отпустил усы и нечто вроде бороды, сижу в халате и, в таком великолепии, зрю у ног своих трепещущими потомков сего грозного завоевателя… Теперь в одно время произвожу я следствие по шестнадцати делам! Это *a la* Липранди [Веселовский 1887: 134, 139, 118].

Григорьев верил, что, будучи профессиональным востоковедом, он стоит выше и видит дальше, чем другие чиновники: «Что бы сталось с этими господами, если бы в самом деле затеялось в краю нашем что-нибудь серьезно-опасное?» В ответ его коллеги, большей частью из военных, считали Григорьева экстремистом и ограничивали его действия. Когда в степях началось очередное восстание, Григорьев обвинял свое начальство в мягкости: «Эта система нежности привела управление киргизами к тому же результату, к которому привела и Россию уступчивая политика ее с Европою». Экзотизируя коренное население, Григорьев представлял его столичной публике, играя расистскими стереотипами. Он предлагал послать на коронацию Александра II «несколько благообразных фигур в расшитых золотом высоких шапках и парчевых или бархатных с богатым галуном кафтанах» [там же: 140,146]. Именно академическое образование Григорьева сделало его ещё большим ястребом в колониальной политике, чем военное — его коллег-офицеров. В конце концов наш востоковед поссорился с генерал-губернатором Василием Перовским и подал в отставку. Но пока он был в оренбуржской степи, он успел принять скандальное участие в столичной литературной полемике. Одна из его статей, длинные и неуважительные воспоминания о его покойном однокурснике, историке-европеисте Тимофее Грановском, вызвала бурю в научном мире. Отрицая успехи Грановского и говоря о его пьянстве, Григорьев заявил в этой статье, что российским учёным нужно повернуться спиной к западной истории и литературе. Только востоковедение нужно России, и только в этой области российская наука превосходит европейскую. «Грязнейшим из грязных людей» назвал Григорьева ведущий либеральный мыслитель Борис Чичерин [Пирожкова 1997: 146].

Конечно, ориентализм Григорьева был нетрадиционным [Knight 2000; Schimmelpenninck 2010]. Используя профессиональные знания, Григорьев трудился во имя имперского доминирования над восточными и западными колониями и над самой имперской нацией. Старший современник Курца из «Сердца тьмы», он всем — и жестокостью, и учёностью, и этномифологическими увлечениями — был похож на него, только работал не на Компанию, а на саму Империю, и потому сделал куда большую карьеру. Немедленно после своего скандального возвращения из Оренбурга Григорьев стал профессором восточных языков в Петербургском университете. Он также участвовал в работе нескольких комиссий Министерства внутренних дел: по азиатской торговле, по налогообложению киргизов, по наблюдению за студентами университетов, по каторжным тюрьмам. В 1872 году он вошёл и в «еврейскую комиссию», которая рассматривала предложения по отмене черты оседлости. Мнение Григорьева было основано на «научном» знании вопроса: «Все зло заключается в том, что евреи не хотят существовать теми средствами, как остальное народонаселение, не хотят заняться производительным трудом». Разрешить евреям жить вне черты оседлости опасно для всех народов России, писал он в другой антисемитской записке. «Кто раз очутился во власти евреев, того они из рук уже не выпустят» [Веселовский 1887: 251].

В конце 1874 года Григорьев был назначен начальником Главного управления по делам печати, совмещая этот пост верховного цензора империи с кафедрой истории Востока Петербургского университета. Он контролировал открытие новых периодических изданий и надзирал за уже выходящими, определял процесс прохождения ими цензуры и систему штрафов за нарушения введённых им порядков. Он разрешил Достоевскому публиковать «Дневник писателя» без предварительной цензуры, но больной и опальный Некрасов молил Григорьева о снисхождении. Когда недовольный журналист явился на приём к Григорьеву пожаловаться на закрытие своей газеты, цензор отвечал ему так, что журналист сам себе показался киргизом, которого Григорьев бросил умирать в степи [Градовский 1882: 499]. Григорьев вмешивался в государственную политику в отношении украинского языка, который предпочитал называть «малороссийским наречием». В длинной записке он объяснял, что наложил запрет на украиноязычные публикации в ответ на угрозу сепаратизма: «Допустить создание особой простонародной литературы на украинском наречии, значило бы поэтому содействовать отчуждению Украйны от остальной России» [Веселовский 1887: 265]. Почти в то же самое время, в 1876 году, Григорьев был организатором и председателем Международного съезда востоковедов в Санкт-Петербурге, открыв его речью на французском языке.

Идеи и карьера Григорьева шире, чем ориентализм в понимании Саида. Вероятно, лучшим определением их было бы слово Салтыкова-Щедрина, «ташкентство» — российская версия имперского бумеранга, которая переносила ориенталистские методы правления на имперскую нацию. В Санкт-Петербурге и Оренбурге знания и взгляды Григорьева были востребованы властями на самом высоком уровне, потому его карьера и получилась такой успешной. Перейдя из университета на службу в Министерство внутренних дел, оттуда в колониальную администрацию на востоке империи, потом вернувшись к академическому востоковедению и поднявшись до позиции всероссийского цензора, Григорьев сделал успешную карьеру имперского чиновника, чьи разнообразные обязанности полностью основывались на ориентализме. Действительно, что для Григорьева не было Востоком? Конечно, киргизы представляли собой Восток и в таком качестве подходили для ориенталистского управления. Но это же касалось украинцев, и евреев, и каторжников по дороге в Сибирь, и столичных студентов, чьи волнения давали повод применить к ним степной опыт Григорьева. Ну и конечно же сюда относились литераторы Петербурга и Киева, выстроившиеся перед ним и дрожавшие то ли от страха, то ли от ярости, как киргизы. У Владимира Даля внутренняя колонизация вела к положительной версии ориентализма — стереотипным суждениям о моральном превосходстве экзотизированных «простых людей», русских и казаков. У Василия Григорьева ори-

ентализм действовал напрямую, дискриминацией и принуждением, но только, «к крайнему огорчению» востоковеда, без права вешать туземцев. Зато он мог казнить книги.

В течение Высокого Имперского периода внутренние дела России были непосредственным образом связаны с литературой. Хлестаков в «Ревизоре» не зря хвастался дружбой с Пушкиным, она открывала ему двери и сердца. Высшие чиновники министерства поддерживали тесные отношения с известными писателями даже после того, как блестящий Лев Перовский, человек, который хотел «не слыть, а быть», покинул свой пост. Как мы помним, министр Перовский был братом писателя Антония Погорельского; его преемник Сергей Ланской был женат на сестре писателя Владимира Одоевского; преемник Ланского — Петр Валуев (сам автор романов) был женат на дочери писателя Петра Вяземского. Известные персонажи произведений Толстого служили в Министерстве внутренних дел: Каренин руководил там орошением полей и переселениями инородцев, Иван Ильич выполнял поручения по делам раскольников. Исполняя служебный долг, интеллектуалы империи отдавали себе отчёт в противоречивом характере своего положения; трудясь столоначальниками и ревизорами, они продолжали писать и страдать, как романтические писатели.

Работая по поручению министерства в глуши на границе Ярославской и Костромской губерний, Иван Аксаков писал родным:

> Как другой в вине, в пьянстве запоем находит себе утешение, так и я ищу забвения и утешения в служебной работе. Кругом целый ряд вопросов неразрешимых или таких, которых представляющееся уму решение страшно, нежелательно [Аксаков 1994: 175].

Представляя себе по сильно устаревшей традиции, интеллигенцию и бюрократию наподобие двух эндогамных племён, ритуально избегающих друг друга, мы с удивлением обнаруживаем множество пересечений, сношений и перевоплощений. В XIX веке реалистический роман стал ведущим жанром национализма во всем Западном полушарии [Anderson 1991]. То же произошло и в России, но, несмотря на националистические мотивы некоторых русских романов, русская литература играла не разделяющую, а объединяющую роль. В большей степени, чем любой другой аспект имперской культуры, литература приняла на себя Бремя бритого человека и достойно несла его. На просторах огромной империи культ Пушкина стал общим вероисповеданием тех, у кого не было ничего общего. В «Идиоте» Достоевского два случайно встретившихся героя, обедневший князь и купец-старовер, перечитывают вместе «всего Пушкина». Российский бунтарь Владимир Ленин изучал Пушкина в гимназии, где русскую словесность преподавал отец его будущего соперника, Александра Керенского. Ленин любил перечитывать Салтыкова-Щедрина и (что более удивительно) Тургенева [Валентинов 1953]. Еврейский бунтарь Владимир (Зеев) Жаботинский писал в воспоминаниях, что к 14 годам знал «всего Пушкина» и ещё Шекспира в русском переводе. Это не мешало ему отмечать имперские и антисемитские мотивы у Пушкина и других русских классиков [Жаботинский 1989]. Польский бунтарь Аполлон Коженевский, отец Джозефа Конрада, написал свою главную пьесу по образцу грибоедовского «Горя от ума». Когда русские народники, евреи-сионисты и мусульманские активисты встречались в царских тюрьмах, они обсуждали творчество великих русских писателей, от Пушкина до Толстого. При взгляде назад русская литература кажется необычайно успешным инструментом культурной гегемонии. С ее классиками, еретиками и критиками, русская литература завоевала больше почитателей среди русских нерусских и врагов России, чем другие имперские предприятия. Стандартизировав язык, создав общий круг значений и этим объединив своих многоязычных читателей, литература оказалась очень ценным достоянием. Цари и цензоры это редко понимали и ценили. Поэтому империя рухнула, но литература пережила ее.

Глава 9. История приходит к Канту

«Трава необходима скоту, а скот человеку», — писал Кант в «Критике способности суждения». На следующий вопрос ответить было труднее: «Почему же нужно, чтобы люди существовали?» Не дав пока общего ответа, Кант обращал взгляд на север и задавал себе тот же вопрос специально о «гренландце, лапландце, самоеде, якуте и т. д.». В этих частных случаях ответ кенигсбергского философа был отрицательным: «Не ясно, почему люди вообще должны там жить… Лишь величайшая неуживчивость людей привела их к поселению в таких негостеприимных краях» [Кант 1994, т. 5: 210–220].

Постколониальный философ Гаятри Чакраворти Спивак показала, что, хотя читатели Канта понимают его философию как относящуюся ко всему человечеству, сам Кант проводил границу между дикарями и разумными людьми и писал свою философию исключительно о последних: «Субъект как таковой у Канта геополитически дифференцирован» [Spivak 1994]. Действительно, вопрос «Зачем людям существовать?» отличается от вопроса «Зачем людям жить на Таити или в Сибири?» По логике Канта, живя в Кенигсберге, общаясь и размышляя, люди могут реализовать цель своего существования. Но в таких местах, как Якутск, «неуживчивые» люди не могут понять самих себя, и их жизнь лишена цели. Тем не менее люди всегда ездят в такие места за мехами, нефтью или алмазами. И тут возникает следующий вопрос: кто должен жить в таких негостеприимных, но прибыльных землях — коренное население без смысла существования, или пришлые люди, чья жизнь наделена смыслом, или те и другие, в некоем иерархическом порядке?

Кенигсберг

В этой части света Средние века начались бурно, а кончились тихо. Основанный Тевтонским орденом монахов-крестоносцев, Кенигсберг на века стал предметом раздоров между немцами, славянами и балтийскими народами. Но потом Северный крестовый поход, пушная торговля и, наконец, Ганзейский союз — все закончилось. Несколько северных войн в XVIII веке завершились триумфом России [Frost 2000; Scott 2011]. Теснее, чем где бы то ни было, военное покорение этих земель соединилось с поглощением местных элит. Начиная с Петра I Романовы находили себе супруг и наследников на балтийском побережье. В начальный период существования Российской академии наук (открытой в 1725 году) четверо из пяти ее президентов вышли из Кенигсбергского университета [Костяшов, Кретинин 1999].

Во время Семилетней войны (1756–1763) Россия аннексировала Восточную Пруссию. Это случилось после серии панъевропейских переговоров и переделов традиционных союзов, которые историки назвали «дипломатической революцией» [Kaplan 1968]. Прусский король Фридрих заключил союз с Англией, разрушив обычное для европейской геополитики сотрудничество между Англией и Россией. Теперь против Пруссии, субсидируемой Англией, выступал союз Франции, Австрии и России: такая конфигурация не повторится больше ни в одной войне. Уинстон Черчилль назвал Семилетнюю войну самой первой мировой войной. Ее имперский контекст хорошо изучен [Anderson 2000; Schumann, Schweizer 2008]. Начавшись с нападения юного Джорджа Вашингтона на форт во Французской Канаде, война перекинулась на Старый Свет. Пока Англия и Франция сражались за заморские колонии, другие державы боролись за колонии в Восточной Европе: Австрия хотела Силезию, Россия — Восточную Пруссию.

В прусском Кенигсберге начало военных действий отметили несколько событий, одно страннее другого. В 1757 году российские войска подошли к стенам города, но отступили без видимых причин. Настоящей причиной была ставшая государственной тайной болезнь императрицы Елизаветы [Анисимов 1999]. Пруссаки праздновали победу, но Елизавета поправилась, арестовала командующего своей армией и вернула войска в Пруссию. Фридрих оборо-

нял свою столицу, Берлин, и когда российская армия вновь появилась у ворот города, Кенигсберг последовал примеру Риги, которая в 1710 году согласилась стать частью Российской империи, чтобы избежать кровопролития. Аннексировав Восточную Пруссию, Россия «навеки» объявила ее своим владением. 24 января 1758 года городские чиновники присягнули на верность Российской империи. Кенигсберг и близлежащие земли стали колонией Российской империи, и мало кто сомневался, что они навсегда останутся ее частью, а местным жителям, отныне российским подданным, придётся приспосабливаться к новому порядку.

Российская армия была полиэтничной, как и подобает имперскому институту. Во главе ее стояли балтийские немцы, пехоту составляли в основном русские, а вездесущая лёгкая кавалерия включала казаков, калмыков и башкир, которыми командовали их соплеменники. Фридрих Великий объяснял атакующую мощь российской армии «многочисленностью татар, казаков и калмыков в их рядах» [Вульф 2003: 261]. Позже Кант считал калмыков особой расой, наряду с неграми и американскими индейцами [Кант 1994, т. 2: 325–344]. Исследователи, кажется, ещё не обращали внимания на эту необычную расовую классификацию; она основана на собственных впечатлениях Канта от калмыков, которых он видел в Кенигсберге во стане российских воинов.

Военная революция XVIII века с опозданием пришла в Восточную Европу [Frost 2000], но российская армия использовала новейшие достижения артиллерии, например «секретные гаубицы», только что изобретённые графом Петром Шуваловым. Они имели необычное дуло в форме горизонтального овала и стреляли картечью веером над головами своих солдат. За раскрытие их секрета полагалась смертная казнь, но потом Фридрих захватил эти гаубицы, не нашёл в них ничего ценного и выставил в Берлине на посмешище. Российская армия попрежнему полагалась на лёгкую кавалерию и этнические соединения. Самим русским эта восточная конница казалась дикой и страшной. Офицер российской армии Андрей Болотов был поражён, увидев, как эти «странные», «полунагие», привычные «есть падаль лошадиную» воины вырезали население немецких деревень ради славы российской короны [Болотов 1986: 124]. Калмыкам было разрешено грабить старые прусские арсеналы. Вооружённые средневековыми саблями, в доспехах и шлемах, они должны были выглядеть смехотворно; но мало кто смеялся на этой войне. Для калмыков то были последние годы их российской службы: в 1771 году они покинули волжские степи и начали исход в Китай [Khodarkovsky 1992: 182]. Несчастливы были и казаки: в 1773 году они начали антиимперское восстание на Урале под предводительством Емельяна Пугачева, который в Семилетнюю войну сражался в казачьих войсках в Восточной Пруссии. Болотов [Болотов 1986: 125] стал свидетелем того, как пруссаков в гражданской одежде, стрелявших в российских солдат, казнили без суда: двоих российские солдаты публично повесили, одиннадцати диверсантам отрубили пальцы. Ориентализация происходящего, приписывание ответственности за ужасы войны восточным варварам помогали ему сохранять ощущение собственной европейскости.

> [Российский] генерал, вошед в Пруссию, крайне удивился, увидев делаемые казаками повсюду разорения, поджоги и грабительства, и с досадою принуждён был быть свидетелем всех жестокостей и варварств, оказываемых нашими казаками и калмыками против всех военных правил… Во всех тамошних местах не видно было ничего, кроме огня и дыма; …над женским полом оказываемы были наивеличайшие своевольства и оскорбления… Таковые поступки наших казаков и калмыков поистине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же [Болотов 1986: 123].

Российская армия и ее союзники добились быстрых успехов в войне против Фридриха. В 1760 году российские и австрийские войска захватили и разграбили Берлин. Столица пострадала гораздо сильнее, чем Кенигсберг; Фридрих был на грани самоубийства. Болотов

[Болотов 1931, т. 2: 34] слышал, что «берлинских газетиров» решено было «наказать прогнанием сквозь строй за то, что писали они об нас очень дерзко и обидно». Журналисты счастливо избежали шпицрутенов: в последний момент наказание было отменено.

Российская колонизация Кенигсберга, с его тевтонской славой и просвещённым университетом, была кратким, но необычным событием. После смерти Елизаветы в январе 1762 года ее преемник, балтийский немец Петр III, вывел Россию из Семилетней войны и подписал с Фридрихом сепаратный мир. Скорость этих перемен вызывала удивление в самом Санкт-Петербурге. Уже в августе 1762 года Кенигсберг снова стал прусским городом, и Россия готовилась к полному выводу войск из Пруссии. Но тут Петр был свергнут в результате заговора, во главе которого стояла его жена Екатерина, тоже балтийская немка. Российский генерал-губернатор, ещё стоявший в Кенигсберге, издал прокламацию о возвращении к власти. Однако Петр был свергнут не для того, чтобы продолжать войну с Фридрихом. Поколебавшись, Екатерина II отказалась от новой войны и вывела войска из Пруссии. Длинная и победоносная война не принесла России никакой пользы. Кровавые события оказались бессмысленными, как на них ни смотри.

Интрига и мелодрама

Столетия спустя Гитлер в окружённом Берлине часто говорил о Фридрихе и надеялся на новое «чудо Бранденбургского дома» — чудесное спасение от советских войск. Историки и сегодня продолжают обсуждать причины и результаты событий XVIII века, определивших баланс сил в Европе. Кембриджский историк Герберт Баттерфилд назвал эти военные и дипломатические события «интригой и мелодрамой». То было самое насыщенное событиями время за всю историю европейской политики, «за исключением только двух последних десятилетий», писал он в 1955 году. Баттерфилд считал, что европейский заговор против Фридриха с самого начала возглавляла Россия, но король-философ не понял этого, даже когда война закончилась. Не поняли этого и историки: «Внимание историков как будто рассеивается, когда речь заходит о России», — писал автор «Интерпретации истории вигами» [Butterfield 1955: 162, 158]. В более поздних трудах немецкого историка и теоретика Райнхарта Козеллека Семилетняя война все ещё связана с ощущением шока. Козеллек сравнивает начало войны с германо-советским пактом 1939 года, но в итоге события двухсотлетней давности оказываются «исторически непревзойдёнными». В 1968 году Козеллек выбрал Семилетнюю войну, чтобы проиллюстрировать на этом примере роль случая в истории [Koselleck 2004: 118, 124]. Историки согласны в том, что все стороны конфликта продемонстрировали тогда выдающуюся «готовность к неожиданным решениям» [Schweizer 1989: 179, 217; Palmer 2005: 150]. Непредсказуемые факторы — тайная дипломатия, личные симпатии монархов, их клиническое здоровье — сыграли решающую роль в этом противостоянии абсолютистских режимов. Для тех, кто наблюдал за войной из Кенигсберга, она была лишена какого-либо смысла. Если даже современным историкам не хватает метафор, чтобы описать те давние события в Пруссии, что думали о них граждане Кенигсберга, которые не знали о своей войне и малой доли того, что знаем мы сейчас?

Российская оккупация Кенигсберга установила в провинции колониальный режим, который не был уникальным в Европе, но для германских земель был необычен. С 1757 до 1762 года — как это случилось с Ливонией (с 1710 года) и позже с Восточной Польшей (с 1772 года) — Восточная Пруссия была колонией Российской империи. Никто в Восточной Пруссии не мог знать, что российское господство над Кенигсбергом не продлится и пяти лет, так же как никто не мог знать, что оно возобновится столетия спустя.

Оккупировав Восточную Пруссию, российская администрация столкнулась с типичными для колониального режима культурными и политическими проблемами, и решала их как умела. В городе были размещены войска, администрацию возглавил российский гене-

рал-губернатор, была введена российская валюта. Горожане Кенигсберга стали подданными России, чиновники принесли присягу. Елизавета пообещала уважать их традиционные права, в том числе свободу вероисповедания. Налоги военного времени были снижены, но рекрутский набор, жёсткий при Фридрихе, заменили новым налогом. Лишь одну лютеранскую церковь в городе переделали в православную. Особым указом жителей Восточной Пруссии приглашали переселяться в Россию; правда, никаких результатов добиться в то время не удалось [Bartlett 1979: 20; Кретинин 1996]. Этот проект переселения побеждённых во внутренние земли страны-победителя (а не наоборот) необычен для истории имперских завоеваний. Стремясь стать политическим стратегом на службе российской короны, Дени Дидро пропагандировал массовые переселения, используя Семилетнюю войну как пример:

> Русские поступили бы правильно, если бы, покидая Берлин, забрали всю столицу с собой — мужчин, женщин, детей, рабочих, промышленников, мебель — и оставили бы голые стены… Если бы такое переселение предложили организовать мне, я бы позаботился, чтобы оно произошло самым упорядоченным способом [Diderot 1992: 112].

Дидро отправил этот ретроспективный совет Екатерине II, вернувшись из России в 1774 году, когда Семилетняя война уже стала историей, но шла другая война, между империей и колонизованными народами южных степей. Философ воспользовался поводом, чтобы рассказать Екатерине, как поступить с пугачевцами: «Что я сказал о пруссаках, то же относится и к казакам». Что хорошо для внешней колонизации, то хорошо и для внутренней. Они не так уж отличаются друг от друга.

Колонизация Кенигсберга натолкнулась на молчаливое сопротивление его жителей. Убеждённые в превосходстве своей культуры, они подчинялись российским оккупантам, но презирали их своим особенным тихим способом. Это ещё один пример отрицательной гегемонии: российская власть над Восточной Пруссией была типично колониальной ситуацией, в которой правители прибегают к принуждению, не сумев убедить коренное население в своем праве на господство или хотя бы в своей способности управлять. Горожане ответили ранним националистическим движением, которое имело огромные последствия для европейской мысли, и после ухода колонизаторов предались беспрецедентным размышлениям о власти, разуме и человечности. Подобный интеллектуальному взрыву, последствия которого отдаются веками спустя, этот короткий эпизод колониальной истории стал точкой входа в глобальную современность. Множество раз повторяясь в разных концах мира, постколониальное состояние почти всегда описывалось со ссылками на тех, кто испытал и понял его в Кенигсберге. Но смысл этих ссылок становится понятен только при лучшем знакомстве с этой местной историей.

Кант

В 1755 году тридцатилетний Иммануил Кант защитил диссертацию и стал лектором Кенигсбергского университета. Его основная работа этого периода, «Всеобщая естественная история», открывается посвящением Фридриху II, «могущественнейшему королю и повелителю» от его «нижайшего слуги». В том же стиле Кант обещает служить своему королю «с высочайшим рвением до дня моей смерти». Король-философ, Фридрих был большим покровителем наук и искусств, и учёные не сомневаются, что Кант искренне обещал ему свое рвение: «Давно известно, что Кант полностью поддерживал программу короля» [Zammito 2002: 58]. Но всего лишь два года спустя Канту пришлось присягать смертельному врагу Фридриха, императрице Елизавете. В этот раз Кант обещал, что будет «верным и покорным Всесветлейшей и Великодержавнейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне… и Ее Величества высокому престолонаследнику». Больше того, он обещал «поддерживать высокие интересы»

российского суверена «с внутренним удовольствием». Далее, если против императрицы или наследника будет что-либо замышляться, он клялся «не только своевременно сообщать обо всем, что направлено против них, но и всеми способами этому препятствовать» [цит. по: Гулыга 1977; см. также: Gulyga 1987: 31]. В 1758 году Кант отправил российской императрице прошение о повышении в должность профессора, подписавшись «Вашего Императорского Величества верноподданнейший раб». Между этими ритуальными конструкциями, обещавшими вечную службу двум смертельным врагам, всего два-три года. Позже Кант назовёт «вертушками» людей, быстро меняющих свои убеждения, и именно на такую нехватку автономии поведёт свое великое критическое наступление.

Должность профессора тогда досталась одному из соперников Канта, Даниелю Вейманну. Как считал советский исследователь, причиной неудачи Канта было вмешательство российского офицера Андрея Болотова [Gulyga 1987: 36]. Переводчик при российском генерал-губернаторе, Болотов привёл в университет небольшую группу русских студентов и сам живо интересовался университетскими делами. Открыв для себя философию среди прочих развлечений кенигсбергской жизни, Болотов предпочитал пиетизм тому, что он считал развращающим и даже преступным влиянием Просвещения. Месяцами он посещал лекции кантовского соперника, Вейманна. Кроме университетских лекций, он «почти ежедневно» брал у Вейманна частные уроки. Вейманн отказался от платы за них, но перед отъездом из Кенигсберга Болотов оставил своему учителю очень русский подарок — «калмыцкий тулуп» [Болотов 1986: 362].

Нам известно только, что Болотову нравился противник Канта. Нет никаких свидетельств, что Болотов повлиял на выбор кандидата на профессорскую должность, хотя, возможно, он был в состоянии это сделать. Вместе Болотов и Вейманн читали работы философов-теологов, таких как Христиан-Август Крузиус, которого Фридрих II объявил личным врагом и изгнал из прусских университетов [Zammito 2002: 272]. При российской оккупации эти правые мыслители снова вошли в моду. Болотов считал, что их моралистическая философия помогала ему дисциплинировать разум, жить нравственной жизнью и отказаться от соблазна светских балов и продажной любви, которые процветали в городе под российской властью [Болотов 1986: 347]. Ясно, что Болотову такие возвышенные теологические наставления были ближе, чем упражнения в естественной истории, которыми в то время занимался Кант. Назвав Вейманна «циклопом» и отказавшись участвовать с ним в публичных дебатах, Кант, наверно, знал о его связях с российской администрацией. Затянувшийся конфликт Канта с Вейманном вспыхнул вновь после их работ об оптимизме; в оккупированном городе этот вопрос был принципиально важным. «Но почему же тебе, предвечному, было угодно, спрашиваю я смиренно, худшее предпочесть лучшему?» — спрашивал Кант в эссе, написанном в 1759 году. Отвечая, он возвращался даже не к Лейбницу, а дальше — к стоикам. Я взываю, писал Кант, ко всякому достойному творению и призываю его воскликнуть: «Слава нам, мы существуем и доставляем радость творцу» [Кант 1994, т. 2: 7, 13]. Это действительно оптимизм, но источник его не мудрость Бога, а солидарность со всеми живыми существами, даже рабами и животными. Что касается Вейманна, то здесь оптимизм Канта оправдался, только ждать пришлось долго: обладателя калмыцкого тулупа уволили из университета 15 лет спустя [Kuehn 2001: 215].

У Канта тоже были высокопоставленные друзья среди пророссийской элиты Кенигсберга. В любой биографии философа упоминается графиня фон Кейзерлинг, хорошая знакомая Канта. В течение десятков лет он учил ее детей, приходил к ней на ужины и называл ее своим «идеалом женщины». Тем не менее их мнения о России, а возможно, и о российской оккупации были противоположны. Тридцать лет спустя их общий друг записал застольный разговор у Кейзерлинг, из которого ясно, что Россия не выходила у этих людей из головы:

> Разговор зашёл о политике, и наши офицеры активно ее обсуждали. Мы с Кантом заявили, что русские — наши главные враги… Графиня же придерживалась другого мнения… «Если бы мой муж был жив, он бы обязательно объяснил королю методом конкретной дедукции, что Россия — наш лучший союзник»… Я до сих пор не могу поверить, что в Восточной Пруссии у них не было никаких интересов… Но графиня не изменила своего мнения [Kuehn 2001: 337–338].

Записки Болотова не оставляют сомнений в том, что в 1759–1760 годах фон Кейзерлинг была любовницей российского генерал-губернатора Пруссии барона Николая фон Корфа и что об этом знал весь город [Болотов 1986: 289]. Балтийский аристократ, фон Корф говорил, но не писал по-русски. Он был приближен к императрице, а в Кенигсберге его власть была такова, что Болотов с усмешкой называл его вице-королем; он знал, что так называли британских наместников Индии. После службы в Кенигсберге Корфа назначили генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга, а позже и всей России: опыт внешней колонизации вновь признавался равноценным внутренней полицейской службе. Богатый и взбалмошный холостяк, фон Корф не пропускал случаев задать бал или устроить маскарад в честь графини фон Кейзерлинг. На эти празднества съезжались знаменитости, в том числе Григорий Орлов, герой русско-прусской войны, который вскоре стал фаворитом Екатерины Великой. Заманчиво представить себе разговор Канта с Орловым, «человеком колоссального роста» но, по словам одного англичанина, «не усовершенствованного чтением» [Вульф 2003: 351]. Низкого ростом Канта звали тогда «галантным магистром»; он модно одевался и был популярен если не на балах, то на ужинах. В его работах и лекциях того времени видны признаки разочарования философией и интеллектуальной жизнью, начало «кризиса среднего возраста» [Zammito 2002]. Историк Антони Ла Вопа находит «элементы насмешки над собой и даже ненависти к себе» в лекциях Канта этого периода [La Vopa 2005: 17]. Не всегда замечая это, исследователи кантовского кризиса говорят о периоде, совпадающем со временем русской оккупации Кенигсберга. К прочим объяснениям этого важного, хотя и временного кризиса нужно добавить и постколониальное. Под властью колониального режима интеллектуалы часто испытывают похожие чувства — раздвоение, сомнения, ненависть к себе, писчий спазм. Из таких ситуаций, в Алжире и по всему миру, вышла значительная часть экзистенциальной мысли XX века. Возвращая Канта в контекст оккупированного Кенигсберга, мы начинаем понимать его связь с этой традицией.

Кроме преподавания в университете, Кант обучал географии, прикладной математике и пиротехнике российских офицеров, говоривших по-немецки, таких как Орлов и Болотов. Очевидно, за это ему платили. После того как российские войска покинули город, Кант продолжал обучать тем же предметам уже немецких офицеров. В эти годы Кант работал над дисциплинами, которые можно было с одинаковым успехом преподавать как пруссакам, так и русским. Во время оккупации он почти ничего не публиковал. За пять лет российского правления увидели свет лишь несколько его эссе на весьма специфическую тему: о землетрясениях. Географически землетрясения были очень далеки от Кенигсберга, но метафорически эти необъяснимые и бессмысленные катастрофы были близки миру Канта. Вольтер, который провёл часть Семилетней войны в Берлине, развивал похожие темы — лиссабонское землетрясение, Семилетняя война, теодицея — в «Кандиде» (1759).

Была ли причиной тому тревога или травма, но российская оккупация для Канта стала периодом творческого кризиса. Сразу после неожиданного окончания оккупации, в 1762–1763 годах, кризис прекратился. «Поразительно, — пишет Джон Заммито, — что Кант опубликовал столько работ за такое короткое время, учитывая, что за шесть предыдущих лет вышло так мало» [Zammito 2002: 61]. Не менее поразительно, что Заммито и другие замечательные учёные не видят наиболее очевидной причины этого феномена — российской оккупации

и ее окончания. Под властью России Кант был тем самым субалтерном, который не мог говорить. Или, точнее, публично он мог говорить только о землетрясениях.

Болотов

От Исайи Берлина до Джона Заммито работы о Канте очень высокого качества. Но учёные не замечали влияние, оказанное на Канта российской оккупацией Кенигсберга, и обходили вниманием важный первичный источник: записки Андрея Болотова. Хотя многие биографы Канта упоминают Болотова, они знают о нем из единственной англоязычной биографии Канта, написанной российским автором [Gulyga 1987]. Крупный советский философ, Арсений Гулыга описывал российскую оккупацию лёгкими штрихами, как безобидное событие с ничтожными результатами. Говоря о Болотове, Гулыга не без гордости выбирал эпизоды, иллюстрирующие его власть над Кантом, и обошёл молчанием его мучительные отношения с пруссаками.

Кроме своих необычайно обильных трудов, которые изданы лишь частично [см.: Newlin 2001: 4], Болотов был типичным человеком эпохи Просвещения: небогатый офицер, натуралист-дилетант, успешный администратор, который впоследствии управлял тысячами дворцовых крестьян в Подмосковье. Его отец, тоже офицер, командовал элитным полком в оккупированной Прибалтике. Там Болотов так хорошо выучил немецкий, что в Кенигсберге пытался казаться носителем языка. Переводчик, коллекционер, художник-акварелист, Болотов хотел стать настоящим европейцем; редкий русский автор признавался в этом желании с такой искренностью. Получив приказ возвращаться из Кенигсберга в Россию, Болотов был в отчаянии. Уйдя в отставку, он применял полученные в Пруссии навыки и идеи на собственных крестьянах; позже он стал управляющим огромным, в несколько волостей, собственным имением Екатерины II в Тульской губернии. Тут, в Центральной России, он создал пруды и парки в прусском стиле и был одним из первых, кто начал сажать картофель. Вспоминая о Кенигсберге через десятки лет после возвращения из Пруссии, Болотов считал, что немцы превосходят русских в модах, причёсках, кулинарии, школах, книготорговле и многом другом. Как это было свойственно российским колонизаторам, героям отрицательной гегемонии — кавказцам, ташкентцам, сибирякам, — Болотов досконально знал детали туземной жизни и страждал узнать ещё больше. Все это не мешало исполнять ему свой офицерский долг за границей и обязанности управляющего дворцовыми крестьянами на родине. Наполняя многие страницы похвалами пруссакам, о русских он писал с аристократическим безразличием, не вдаваясь в детали: «Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа были нам слишком известны» [Болотов 1986: 604]. В тульских имениях он изучал на местном материале ботанику, экономику и медицину; для этнографии время ещё не пришло. Экспериментируя над крестьянами, он подверг полторы тысячи человек лечению электрошоком. Результаты этого его опыта пока остаются неизвестными.

Раскрывая точку зрения колонизующего государства, записки Болотова отличаются от прусских свидетельств о тех же происшествиях, которые передают скрытые транскрипты колонизованных [я пользуюсь здесь понятиями из: Scott 1990]. Интересным событием периода оккупации была пожарная тревога во время службы в Замковой церкви. Она запомнилась тем, что паника в церкви, приведшая к гибели трех человек, оказалась беспочвенной: пожара не было. За несколько месяцев до того профессор богословия Даниель Генрих Арнольдт (1706–1755) прочитал в церкви проповедь, которую русские восприняли как оскорбление императрицы Елизаветы. В проповеди Арнольдт цитировал стих о внутреннем свете из Книги Михея: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня» [Мих. 7: 8]. Болотов помнил только, что пастор «заврался» и «проболтал некоторые неприличные слова против нашей императрицы». Арнольдт был арестован и провёл шесть месяцев под следствием; в тюрьме пастор, по словам Болотова, «терпел за то

превеликое истязание». Чтобы избежать ссылки в Сибирь, Арнольдт пообещал публично отречься от своих слов. Но едва он начал проповедь в Замковой церкви с требуемым отречением, студенты закричали: «Пожар!» Началась паника, и отречение не состоялось. Мы знаем об этом из прусских источников [Kuehn 2001: 113; Kuehn, Klemme, б. г.]. О панике в церкви писал и Болотов, но помнил он только ее печальный итог: «множество» горожан были ранены или изуродованы, а одна женщина погибла, выпрыгнув из церковного окна. Описывая оба события друг за другом — арест «любимейшего» пастора за его проповедь и ложную тревогу в церкви, Болотов не объясняет их связи друг с другом, хотя сама эта смежность говорит о ней. Паника, считает Болотов, произошла из-за угольных «согревательниц», которые «зажиточные жительницы» Кенигсберга приносили с собой в церковь и ставили на пол под юбками. Болотов запомнил ещё беспокойство коллег-офицеров за российский пороховой арсенал в подвале Замковой церкви, из-за чего паника перекинулась и на русских [Болотов 1931, т. 1: 518]. На этой службе, наверно, присутствовал и Кант. Он должен был знать Арнольдта, который выпустил свою «Историю Кенигсбергского университета» в 1746 году, когда его оканчивал Кант; позже Арнольдт ещё и стал директором пиетистской школы, в которой Кант учился. «Смотреть глазами государства» — значит объективировать событие так, что протекание его описывается правильно, а значение и контекст игнорируются. Напротив, взгляд колонизованного задерживается на смыслах события и намерениях его участников, которые переплетаются в насыщенном, трагичном, срывающемся в панику рассказе.

Несмотря на свое владение немецким, Болотов не разделял чувств и не понимал текстов, которыми туземцы-пруссаки отвечали на российское господство. Ему пришлось признать, что немцы не считают его равным. В канцелярии генерал-губернатора он работал вместе с пруссаками и чувствовал себя чужим:

> …о вступлении ж [с прусскими чиновниками] в какие-нибудь разговоры и помыслить было не можно. Сверх того, не только сии господа, но и все лучшие жители города Кенигсберга вообще имели как-то некоторое отвращение от всех нас, русских… Хотя я, оказывая… возможнейшее учтивство, всячески старался с ними сколько-нибудь поближе познакомиться, однако все мои старания были тщетны. Они соответствовали мне таковыми ж только учтивостями, но более сего не мог я ничего от них добиться [Болотов 1986: 221].

Уязвлённый таким отношением, Болотов продолжал размышлять о том, почему они его отвергают. С кантовской чёткостью он провёл границу между своим стереотипным представлением о немцах и их реакцией на российских оккупантов:

> Но после, как узнал короче весь прусский народ и кенигсбергских жителей, то перестал тому дивиться и приписывал уже сие не столько их нелюдимости, сколько общему их нерасположению ко всем россиянам, к которым хотя наружно оказывали они всякое почтение, но внутренне почитали их себе неприятелями [там же: 221].

Каждое воскресенье Болотов проводил в прусских кафе и биргартенах, которые нравились ему за «благочиние, тишину и всякую благопристойность». Застенчивый и настороженный со своими соотечественниками, он никогда не скучал в прусской компании. Все там были «вежливы», «учтивы» и даже «кротки», а именно эти черты характера Болотов демонстрирует читателям как свои собственные. Он понимал, что кафе и пивные сады, ранее ему неизвестные, были общественными клубами и местами обмена информацией. Некоторые его наблюдения напоминают нам об идее «публичной сферы», которую историки высказали, применительно к тем же кафе, почти двести лет спустя.

Пруссаки были правы, опасаясь Болотова. Он был штабным офицером имперской армии и, пытаясь выдать себя за немца, всегда беспокоился о российских интересах. Он старался, и постепенно его культурные навыки становились лучше. Он был хорошим шпионом.

> …сперва все господа пруссаки меня, как российского офицера, дичились и убегали, но как скоро начинал я с ними говорить ласково по-немецки, то они, почитая меня природным немцем, тотчас делались совсем иными и отменно ласковыми. …И как я охотно давал им волю обманываться и почитать себя немцем, а иногда с умысла подлаживая им в их мнениях, тем ещё больше утверждал их в сем заблуждении, то нередко случалось, что я через самое то узнавал от них многое такое, чего бы инако не можно было узнать и проведать, а особливо из относящихся до тогдашних военных происшествий. О сих были они так сведущи, что я не мог довольно надивиться… Нередко слыхал я от них о иных вещах недели за две или за три до того, как писано было в газетах [Болотов 1931, т. 1: 462].

Однажды генерал-губернатор предложил Болотову арестовать прусского аристократа, уличённого собственным слугой в антироссийских настроениях. С помощью отряда казаков Болотов выполнил эту миссию, и графу пришлось отправиться на суд в Петербург вместе со своим обличителем [Болотов 1986: 370]. В это же время Болотов часто заходил в один из кенигсбергских книжных магазинов — возможно, тот самый, где чуть позже начал работать Гердер. Болотов любил немецкие книги и считал, что они улучшают его нрав:

> [Читая романы], я узнал и получил довольное понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошего и худого… Не меньшее ж понятие получил я и о роде жизни разного состояния людей, начиная от владык земных, даже до людей самого низкого состояния… Я начинал смотреть на все происшествия в свете не какими иными, а благонравнейшими глазами… [там же: 280].

Болотов считал, что агрессивность — недостаток человеческого характера, и ему не нравились ее проявления ни в самом себе, ни в других. Его начальник, генерал-губернатор фон Корф, был особенно вспыльчив, и Болотову были отвратительны проявления его гнева. Чтение романов сделало Болотова более сдержанным. Он чувствовал, что преодолел себя, и теперь мог контролировать свою реакцию даже тогда, когда его обокрал слуга. Болотов с гордостью приписывал этот самоконтроль влиянию немецких романов и философии:

> Я пытался соблюдать те самые правила, которые предписывали мои книги, и должен сказать, что мне удалось переменить себя самого за одно лето, так что я перестал быть на себя похожим, и многие этому истинно удивлялись [там же: 304].

Осуществив в себе эту перемену тем далёким прусским летом, Болотов и десятилетия спустя, когда он писал свои записки в тульском поместье, не уставал подчёркивать ее и удивляться ей. Эта переделка себя под влиянием чужой культуры, которую Болотов сам должен был контролировать, до сих пор удивляет. Осуществляя политическую власть над пруссаками, он обнаружил, что глубоко от них зависит. Доминировал он, гегемония принадлежала им. Обе стороны вышли из равновесия.

Камеры и фейерверки

В оккупированной прусской деревне Болотову попался на глаза оптический инструмент — коробка с маленьким отверстием. Свет, попадая на внутреннюю сторону коробки, давал перевёрнутое изображение. Этот инструмент назывался «прошпективический ящик», или, более поэтично, «камера-обскура». Болотов был очарован:

> …виденный… прошпективический ящик так мне полюбился, что он у меня с ума не сходил и я неведомо что дал бы, если б мог иметь такой же… Хрустальные призмы и другие опти-

> ческие инструменты… приводили меня в новые восторги и в удивление; но восхищение, в какое приведён я был камерою-обскурою, не в состоянии я уж никак описать [там же: 208].

Болотов сам сделал переносную камеру-обскуру, чтобы в поездках брать ее с собой. Она позволяла ему «срисовывать натуральные виды» на холст и потом раскрашивать их. С помощью этого прибора Болотов смотрел на Кенигсберг, и с его же помощью он показывал друзьям, российским офицерам, «картинки». Друзья «схаживались толпами» любоваться новым зрелищем: картинки «изображали виды всех лучших мест и улиц в городе Венеции и многих других знатнейших европейских городов» [там же: 212]. Волшебный фонарь помог Болотову унести Европу обратно в Россию. Много лет спустя, когда он писал свои записки, камера все ещё была у него, как «некакой памятник тогдашнего времени». Рассказы о том, как он покупал камеру, как делал другую, улучшал обе, демонстрировал их друзьям, составляют счастливейшие страницы воспоминаний Болотова. Ни продвижение по службе, ни женитьба, ни возвращение домой не принесли ему столько радости. Камера, которая показывала Европу вверх ногами, была его просвещением и удовольствием.

Впервые описанная Иоганном Кеплером в начале XVII века, камера-обскура часто упоминалась в трудах мыслителей эпохи Просвещения. Юм сравнивал познание с темной комнатой, в которую врывается луч света и освещает часть ее. Для Локка камера-обскура — лучшая метафора разума [Abrams 1953: 57]. Пиетистское представление о внутреннем свете, который без посредников приносит истину душе, соответствовало простому устройству этих камер. С ними Просвещение становилось частным, посильным делом. В то самое время, когда Болотов разбирался в устройстве камеры-обскуры, ему пришлось освоить камералистскую систему управления. Он был назначен переводчиком в Городскую палату (Kammer), ответственную за сбор налогов и пошлин, которую канцелярия генерал-губернатора унаследовала от прусской администрации. Примечательно, что Болотов использует одно и то же иностранное слово, *камера,* или *камора,* для обеих изученных им в Кенигсберге систем: оптического прибора и структуры управления. Хотя он открыто не говорит об аналогиях или различиях между двумя «каморами», такое сходство напрашивается из его описания рабочего пространства в Кенигсберге:

> …я принуждён был… сидеть один и в сущем уединении, в превеликой, скучной и тёмной палате, освещаемой только двумя закоптевшими окнами с железными решётками, и притом ещё не под окнами, а в удалении от оных, следовательно, сидеть как птичка взаперти, и препровождать наилучшее вешнее время в году не только в беспрерывных трудах и работе, но и в прескучном уединении… [Болотов 1931, т. 1: 370].

Как многие россияне в XVIII веке, Болотов любил фейерверки. В 1759 году генерал-губернатор Кенигсберга и его помощник-итальянец устроили фейерверк на берегу реки Прегель в честь взятия города. Болотов никогда не видел ничего подобного, и пруссаки, по его мнению, тоже: их собралось «бесчисленное множество народа», и все получили «превеликое удовольствие». Даже когда по православному обычаю войска в праздничный день салютовали из пушек, кенигсбергские лютеране-пиетисты тоже смотрели на это «с особливым удовольствием» [Болотов 1931, т. 5: 48]. В 1763 году Болотов наблюдал грандиозный фейерверк на Неве, устроенный Петром III в честь примирения с Пруссией. И вновь все берега широкой реки были заполнены народом, и фейерверк был «ослепительный» [Болотов 1986: 299; Болотов 1931, т. 2: 149]. Задолго до эпохи телевидения фейерверки были ближайшим аналогом визуальной пропаганды, спонсируемой государством. С камерой-обскурой для частных удовольствий, тёмной Камерой для государственной службы и фейерверками для массовой коммуникации, Болотов входил в мир современности.

Гердер

Один из первых учеников Канта, Иоганн Готфрид фон Гердер был первым, кто использовал термин «национализм» и исследовал его мирные, гуманистические аспекты [Berlin 1996; Berlin 2000]. Уроженец прусской деревни, оккупированной российскими войсками, Гердер получил неожиданную помощь от их хирурга, который прооперировал юноше глаз и дал ему денег на обучение в Кенигсберге. Русский врач хотел, чтобы Гердер изучал медицину, но в августе 1762 года, как раз когда было объявлено о выводе российских войск из Кенигсберга, Гердер начал посещать лекции Канта. Одно из первых его поэтических произведений — ода Петру III, который положил конец российской оккупации [Ergang 1966: 60–63]. В трактате «Есть ли ещё у нас общество и отечество древних?», который Гердер написал в Риге в 1764 году для Екатерины II, он прославлял немецкий дух, но завершал текст одой российской императрице, которая все же была немкой:

> Да, отечество, ты, мать, которой мудрецы
> принесут в жертву перворожденный плод духа…
> Твой это дом в тени Екатерины…
> Здесь благословение России, там — объятия солнца
> [Herder 1992: 64].

Как показал Исайя Берлин, гердеровское понимание национализма «оставалось неизменным» за все время его карьеры, от Семилетней войны до Наполеоновских войн [Berlin 2000: 180]. Однако Берлин, глубокий знаток российской мысли, сам родившийся в Риге, не стал подробно останавливаться на жизни Гердера при российской оккупации, которая была важна для его теории национализма. Именно в это время Гердер понял ценность сообщества и его автономию от государства. Философия стала для него жанром публичного дискурса, способом самопознания, как поэзия или политика. Философий столько же, сколько народов. Но когда народы начинают войну или один из них притесняет другой, понимание между ними невозможно.

Дистанцировавшись от Канта, Гердер сохранил общую со своим учителем тему автономии, личного и коллективного самоопределения. Хотя учёные выводят интерес к этой проблеме из общей для Канта и Гердера духовной традиции пиетизма, важным был и их общий опыт российской оккупации. Тем, кто верил в опору на собственные силы и во внутренний свет, трудно было жить при чужой власти. Скрытые транскрипты развивались в оригинальную философию. Основа государства — российского ли, прусского ли — завоевание; все войны по сути — гражданские; государство отнимает у человека самого себя: в их вдохновенных формулах Гердер высказывал свою концепцию, у которой было великое будущее [Berlin 2000; Swift 2005]. Хотя все империи «стоят на глиняных ногах», Гердер восхищался Петром I, «человеком и чудом столетия», и Екатериной II, наконец завершившей войну [Herder 1992: 62]. Российская власть в Риге и Кенигсберге не терпела политической оппозиции, но великодушно игнорировала культурные различия. Такое отделение политики от культуры — возвышенный вариант непрямого правления — объясняет, почему у Гердера не появилась ненависть к русским. Позднее он писал о прекрасной судьбе, ожидающей славян в будущем, и призывал изучать славянский фольклор — «архив самого народа» [Gesemann 1965][4]. Гердеровский идеал существования — это жизнь в сообществах людей, соединенных общей культурой, которые организуют свою жизнь независимо от государства. Не из наблюдений ли общинного быта славян в Пруссии или Ливонии выросла эта идея? Гердер был популярен среди российских интеллектуалов-романтиков начала XIX века, и некоторые из его

[4] Советская пропаганда упустила шанс напомнить о Гердере — пророке блестящего будущего для славян, но учебники истории в Украине приводят большие цитаты из его работ [см.: Портнов 2010: 148].

поклонников занимали высокие посты в имперской администрации [Майофис 2008]. Антропологические идеи Гердера контрастировали с кантовской, более натуралистической и ориенталистской традицией, которую развивали Шлёцер и его коллеги в Геттингене, называя это этнологией. Позднее оба проекта воссоединились в истории одной семьи. Последователь Гердера, Люциан Малиновский, профессор славянских языков и исследователь фольклора Северной Польши, стал отцом Бронислава Малиновского, великого антрополога, который отправился на Тихий океан, вооруженный идеями восточноевропейского романтизма [Gellner 1998: 130].

Постколониальное состояние часто бывало отмечено всплеском интеллектуальной жизни — поэзии, философии, внутренней этнографии. Кружок Канта и Гердера в Кенигсберге раньше других испытал творческую силу этого момента освобождения. Наблюдая за драматическими событиями, вызванными к жизни человеческой волей, но необъяснимыми, как землетрясения, интеллектуалы пришли к новому, революционному пониманию рациональности, автономии и истории. Этот вывод подтверждают судьбы ещё двоих людей того же круга, Гамина и Аббта. Оба они были авторитетны для Гердера в тот период, когда он дистанцировался от Канта [Zammito 2002: 164]. Оба приняли серьёзное участие в Семилетней войне. Иоганн Георг Гаман, философ из Кенигсберга, жил в Риге, находившейся под властью России, и работал там на крупных торговцев братьев Беренс. Торговцы пенькой и древесиной, братья Беренс имели все причины беспокоиться из-за того, что Россия и Англия — продавец и покупатель их товаров — оказались в состоянии войны. Один из братьев, Рейнгольд Беренс, оставил воспоминания, в которых упоминает, что среди друзей их дома были Гаман и Кант. После окончания Семилетней войны Рейнгольд служил военным доктором в России, участвовал в подавлении Пугачевского восстания и побывал даже в горах Алтая. Беренс настолько обрусел, что в воспоминаниях назвал своего почтенного школьного учителя Нестором [Berens 1812: 10].

В 1756 году братья Беренс послали Гамана в Лондон с миссией «столь же политической, сколь и коммерческой» [Berlin 2000: 262; Betz 2008: 30]. Секретная часть этой миссии заключалась в визите Гамана к Александру Голицыну, российскому послу в Лондоне. Гаман передал послу некое предложение от братьев Беренс, которое посол сразу отверг. Вероятно, рассчитывать на его поддержку было неумно: позднее, во время екатерининского переворота, Голицын действовал как «вертушка». Исайя Берлин предположил, что братья Беренс замышляли отколоть немецкоязычную Прибалтику от Российской империи. Если так, трудно понять, зачем они посылали своего агента к российскому послу в Лондон. Кажется более вероятным, что они хотели восстановить англо-российский союз, который был выгоден для их торговли. Каким бы ни было предложение Беренсов, Гаман не смог убедить посла, и это изменило его жизнь. Дипломатическая неудача привела его к христианскому пробуждению и дала старт его новой карьере в качестве критика Просвещения. Из Лондона он вернулся в Кенигсберг, где преподавал Гердеру английский язык и соперничал с Кантом за влияние на юные умы.

Историки знают, что именно во время Семилетней войны в Германии складывалась публичная сфера; догадывались об этом и современники. Кроме Гердера, над этим процессом размышлял Томас Аббт в поэме «О смерти за отечество» (1761) [La Vopa 1995; Redekop 1997]. Призывая немцев героически сопротивляться захватчикам, поэма стала ответом на поражение прусской армии в крупном сражении под Кунерсдорфом, возле Франкфурта-на-Одере. В 1760 году, во время российской оккупации Франкфурта, Аббт стал профессором философии в местном университете; наверно, ему тоже пришлось принять русскую присягу. После окончания войны, в 1765 году, Аббт покинул университет ради придворной должности у графа Вильгельма фон Шаумбург-Липпе, одного из самых успешных прусских полководцев Семилетней войны. В своей поэме Аббт внёс свой вклад в споры о теодицее и о природе зла:

> Свою мысль о состоянии человечества он выразил в мрачной притче об армии на вражеской территории, которая не представляет, в чем цель войны, так что каждый солдат вынужден заключать свой собственный мир [Zammito 2002: 169].

Найдя эту замечательную историю в старинном тексте, Заммито не обратил внимание на то, что для Аббта, автора «О смерти за отечество», эта неудачливая армия была российской армией в Пруссии, а групповой портрет несчастных солдат, ищущих собственного мира с противником и собой, будто написан с Болотова.

Начало и конец

Полтора века спустя, в августе 1914 года, российские войска снова подошли к Кенигсбергу. «Казаки идут!» — кричали в городе. Окружённая паникующей толпой, маленькая Хана Арендт покинула город вместе с матерью. Но в Берлине ее замучила тоска по дому, так что десять недель спустя, после поражения российских войск в битве под Танненбергом, они вернулись в Кенигсберг. У Ханны появилось периодическое недомогание — лихорадка, которая возвращалась каждый раз при отъезде из Кенигсберга [Young-Bruehl 1982: 23]. Эта ранняя неустроенность, наверно, повлияла и на ее последующие идеи [Gellner 1987: 76]. Кант стремился к всемирному, универсальному знанию, не покидая своего города, но сам этот город переходил от Пруссии к России и обратно. Арендт блуждала по миру, преследуемая отсутствием гражданства, банальностью зла, симметрией Германии и России и памятью о своей девичьей лихорадке. Мы можем только догадываться, какую роль в ее послевоенных переживаниях сыграл тот факт, что хотя страна ее языка и культуры была освобождена от рабства и террора, ее город, к которому она была так болезненно привязана, все ещё находился под тоталитарным господством. Мы не знаем, как бы складывалась жизнь этих философов, Канта и Арендт, если бы они росли в других местах: везде свои трудности. Однако мы ясно ощущаем связь их самых глубоких идей с их отношениями с Кенигсбергом. Основанный для колонизации, но сам колонизованный, этот неудавшийся имперский центр оказался плодотворной почвой для критического осмысления современности.

После того как российская армия ушла из Кенигсберга, Кант избавился от своего субалтерного молчания. Наряду со знаменитыми «Критиками» он создал проект вечного мира (1795), утопический проект будущей федерации народов, далёких и близких, основанный на запрете захватывать территории друг друга. Эта прогрессивная идея приобрела популярность в России начала XIX века. В 1813 году Сергей Уваров, будущий министр просвещения, переписал утопию Канта как проект переустройства Европы после Наполеоновских войн, с Россией во главе нового союза империй [Майофис 2008: 74]. Несмотря на связи Уварова, его трактат не имел успеха ни при дворе, ни у союзников. Кант писал, что вечный мир станет возможен, только когда все государства станут республиками; до этого, думали в Петербурге, очень далеко. Мир в Европе был реален, когда основывался не на утопической федерации, а на балансе сил; но этот британский принцип чаще всего не нравился российским правителям.

С приходом современности сила государства стала зависеть не только от его размеров и ресурсов, но от знаний и творчества народа. В 1786 году Кант опубликовал эссе «Предполагаемое начало человеческой истории», в котором под видом комментария на Книгу Бытия скрывались размышления о войне и мире. Ближе к концу эссе Кант отказывается от шифра и признает, что речь идёт не только об Адаме и Ное, но и о современных ему событиях:

> Опасность войны ещё и теперь единственная узда, сдерживающая деспотизм; для того чтобы государство теперь было сильным, требуется богатство, а без свободы не может развиваться деятельность, создающая богатства [Кант 1994, т. 8: 84–85].

Власть суверена зависит от военной мощи государства, а та зависит от свободы подданных: без свободы не может развиваться деятельность и промышленность. Деспоты нуждаются в творчестве подданных, создающих «секретные гаубицы» и тому подобные новации, и только поэтому они ограничивают собственный деспотизм. Война и приготовления к войне несут народам величайшие бедствия, писал Кант; «на это тратятся все силы государства, все плоды его культуры». Хуже того, «свободе наносятся… величайшие удары» в силу «материнской заботливости государства», которая оправдывается «интересами внешней безопасности». Однако, спрашивает Кант,

> …разве пользовалось бы население той долей свободы, которая, хотя и при весьма ограничительных законах, все-таки остаётся, если бы эта вечно угрожающая война не вынуждала верховных правителей государств к уважению человечества? [там же].

Заботясь о внешней безопасности, деспот ослабляет внутренний контроль и «материнскую заботливость», потому что только так он может получить продуктивную работу от своих подданных. Воюя и готовясь к войне, просвещённый деспот, такой как Фридрих и Екатерина, поддерживал и шпицрутены, и университетские кафедры: он нуждался в обоих, чтобы победить или хотя бы остаться у власти. В те времена, как и в нынешние, затраты на таких людей, как Болотов, — учёных, инженеров, переводчиков — оправдывались более всего их необходимостью для военных усилий. Без свободы нет знания, без знания нет успеха, и потому война оказывается «единственной уздой, сдерживающей деспотизм». В конце концов, однако, деспота ждёт возмездие от создателя его лучшего оружия: обладая наибольшей свободой, тот захочет разделить ее с другими. Эта мысль отлично подходит к событиям холодной войны XX века. Арендт страстно защищала советских диссидентов и прожила достаточно долго, чтобы узнать об Андрее Сахарове; согласилась ли бы она с таким прочтением Канта?

«На той ступени культуры, на которой человечество ещё стоит [сейчас], война является неизбежным средством, способствующим его прогрессу», — писал кенигсбергский философ, проведший жизнь на острие противостояния между двумя воинственными цивилизациями, германской и российской. Приведя в пример Китай, который «не имел могущественного врага и в котором стёрты всякие следы свободы», философ возвращается к священной истории, которую трактует очень вольно. В его пересказе Книга Бытия говорит о том, как пастухи-кочевники, «непримиримые враги всякой земельной собственности», нападали на мирных земледельцев и горожан. Между ними шла непрерывная война, по меньшей мере существовала ее угроза, и народы обоих лагерей могли… наслаждаться неоценимым благом свободы». Но потом история делает романтический поворот, из притчи о предполагаемом начале превращаясь в притчу о конце: «Со временем все увеличивающаяся роскошь горожан, в особенности их искусство нравиться, благодаря которому городские дамы затмевали чумазых женщин пустыни, должна была стать для кочевников влекущей приманкой». Уступая соблазну горожанок, пастухи завязывают отношения с ними, что приносит конец «всякой опасности войны», а с ней и «всякой свободе». Кант ссылается тут на Моисея [Кант 1994, т. 6: 2–17]: «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы», но их смешения кончаются развращением человеков, раскаянием Бога и Всемирным потопом. Свобода кончается, когда прекращается война или, что кажется вернее, когда исчезает угроза. И тогда, заключает Кант, наступает «унизительнейшее рабство» и «неисцелимая порча» [Кант 1994, т. 8: 84–85].

Думал ли Кант о своем «идеале женщины» — графине фон Кейзерлинг — и бароне фон Корфе, или романтическая история о диком захватчике и городской красавице и правда отвечала тому, как он читал историю Потопа, урок получился поразительно современный. Величайшие беды происходят из-за войн и подготовки к ним. Но если бы не угроза войны, говорит Кант, у людей совсем не осталось бы свободы, потому что эта угроза — единственный

фактор, который заставляет правителей уважать человечество и ту способность к творчеству, которую даёт одна только свобода. При наличном состоянии культуры, считает Кант, вечный мир недостижим. На этой стадии война, а не мир ускоряет движение человечества. Быку нужна трава, а человеку нужна свобода, и потому война, государство и зло должны существовать.

Аксаков И. 1994. *Письма к родным, 1849–1856*. — М.: Наука.

Анисимов Е. 1999. *Елизавета Петровна*. — М.: Молодая гвардия.

Анненков П. 1989. *Литературные воспоминания*. —М.: Правда.

Болотов А. 1931. *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков*. Т. 1–3. — М.: Academia.

Болотов А. 1986. *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков*. / Ред. А. Гулыга. — М.: Современник.

Валентинов Н. 1953. *Встречи с Лениным*. — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова.

Венгеров С. 1902. Тургенев. — *Энциклопедический словарь*. — СПб.: Брокгауз. — С. 96–106.

Веселовский Н.И. 1887. *Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам*. — СПб.: Императорское археологическое общество.

Вульф Л. 2003. *Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения*. — М.: Новое литературное обозрение.

Герштейн Э. 1964. *Судьба Лермонтова*. — М.: Советский писатель.

Градовский Г.К. 1882. К истории русской печати. — *Русская старина*. — 2. — С. 494–509.

Григорьев В.В. 1846. Еврейские религиозные секты в России. — *Журнал Министерства внутренних дел*. — 15/3–49. — С. 282–309.

Гроссман Л. 1929. Исторический фон «Выстрела». — *Новый мир*. — № 5. — С. 203–223.

Гулыга А. 1977. *Кант*. — М.: Молодая гвардия.

Даль В. 2002a . Полтора слова о нынешнем русском языке. — *Неизвестный Владимир Даль*. — Оренбург: Книжное издательство.

Даль В. 2002b. Автобиографические записки. — Даль В. *Картины из русского быта*. — М.: Новый ключ.

Дружинин Н.М. 1946 . *Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва*. Т. 1. — М.

Жаботинский В. (Зеев). 1989. *Повесть моих дней*. — Иерусалим: Алия.

Кант И. 1994. *Собрание сочинений: В 8 т.* — М.: Чоро.

Корф М. 2003. *Записки*. — М.: Захаров.

Костяшов Ю.В., Кретинин Г.В. 1999. *Петровское начало: Кенигсбергский университет и российское просвещение в XVIII веке*. — Калининград: Янтарный сказ.

Кретинин Г.В. 1996. *Под Российской короной, или Русские в Кенигсберге*. — Калининград: Калининградское книжное издательство.

Лебедев К. 1888. Из записок сенатора. — *Русский архив*. — Т. 7.

Левшин А.И. 1994. Достопамятные минуты в моей жизни. — Федоров В.А. (ред.). *Конец крепостничества в России*. — М.: МГУ.

Липранди И. 1870a. О природных границах и стремлении немцев на Восток ('Drang nach Osten'). — *Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских*. — Т. 1.

Липранди И. 1870b. Краткое обозрение русских расколов, ересей и сект. — *Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских*. — Т. 2.

Майофис М. 2008. *Воззвание к Европе. Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818*. — М.: Новое литературное обозрение.

Мельников П. 1910. *Отчет о современном состоянии раскола. — Действия Нижегородской Губернской Ученой архивной комиссии*. Т. 9. — Нижний Новгород.

Мельников-Печерский П. 1873. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале. — *Русский вестник*. — № 3.

Надеждин Н. 2000. Современное направление просвещения. — Надеждин Н. *Сочинения*. — СПб.: РХГИ.

Пирожкова Т.В. 1997. *Славянофильская журналистика*. — М.: МГУ.

Портнов А. 2010. *Упражнения с историей по-украински*. — М.: ОГИ.

Пыпин А. 1890. *История русской этнографии*. — СПб.

Рейтблат А.И. (ред.) 1998. *Видок Фиглярин: Письма и записки Булгарина в III Отделение*. — М.: Новое литературное обозрение.

Салтыков-Щедрин М. 1936. *Полное собрание сочинений*. — М.

Стебницкий М. (Николай Лесков). 1863. С людьми древлего благочестия. — *Библиотека для чтения*. — 9.

Сухомлинов М.Л. 1888. И.С. Аксаков в сороковых годах. — *Исторический вестник*. — Февраль.

Тургенев Н. 1963. *Собрание сочинений*. — М.

Шумахер А.Д. 1899. Поздние воспоминания о давно минувших временах. — *Вестник Европы*. — № 3. — С. 89–128.

Эйдельман Н. 1993. Где и что Липранди? — Эйдельман Н. *Из потаённой истории России XVIII–XIX веков*. — М.: Высшая школа. — С. 429–464.

Abrams I.H. 1953. *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. — New York: Oxford University Press.

Anderson B. 1991. *Imagined Communities*. — London; New York: Verso.

Anderson F. 2000. *Crucible of War: The Seven Years War and the Fate of Empire in British North America*. — New York: Vintage.

Bartlett R. 1979. *Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia, 1762–1804*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Berens R. 1812. *Geschichte der seit hundert und fünfzigjahren in Riga einheimischen Familie Berens aus Rostock*. Riga: Julius Muller Verlag.

Berlin I. 1978. A Remarkable Decade. — Berlin I. *Russian Thinkers*. — New York: Penguin.

Berlin I. 1996. Kant as an Unfamiliar Source of Nationalism. — Berlin I. *Sense of Reality*. — London: Chatto.

Berlin I. 2000. *Three Critics o f the Enlightenment*. — London: Pimlico.

Betz J. 2008. *After Enlightenment: The Post-Secular Vision of J.G. Hamann*. — Oxford: Wiley-Blackwell.

Brubaker R. 1992. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.

Butterfield H. 1955. *Man on His Past: The Study o f the History of Historical Scholarship*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Diderot D. 1992. Observations sur le Nakaz. — Diderot D. *Political Writings*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Ergang R.R. 1966. *Herder and the Foundation of German Nationalism*. — New York: Octagon.

Frost R. 2000. *The Northern Wars: War, State an d Society in Northeastern Europe, 1558–1721*. — Harlow: Longman.

Gellner E. 1987. *Culture, Identity, and Politics*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Gellner E. 1998. *Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Gesemann W. 1965. Herder's Russia. — *Journal of the History of Ideas*. — 26/3. P. 424–434.

Gulyga A. 1987. *Immanuel Kant. His Life and Thought*, trans. Marijan Despalatovic. — Boston: Birk.

Haxthausen A. von. 1856. *The Russian Empire, Its People, Institutions, and Resources*. — London: Chapman & Hall.

Herder J.G. 1992. *Selected Early Works*, trans. Ernest A. Menze and Michael Palma. — University Park: Penn State University Press.

Kaplan H.H. 1968. *Russia and the Outbreak of the Seven Years War*. — Berkeley: University of California Press.

Khodarkovsky M. 1992. *Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads*. — Ithaca: Cornell University Press.

Knight N. 1998. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855. — Burbank J., Ransel D. (eds.). *Imperial Russia. New Histories for the Empire*. — Bloomington: Indiana University Press. — P. 108–148.

Knight N. 2000. Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? — *Slavic Review*. — 59/1. P. 74–100.

Koselleck R. 2004. *Futures Past*, trans. Keith Tribe. — New York: Columbia University Press.

Kuehn M. 2001. *Kant: A Biography*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Kuehn M., Klemme H. n. d. *Daniel Heinrich Arnoldt*. — Access: http:/ /www.manchester.edu/kant/bio/FullBio/ArnoldtDH.html. Data: 08.12.2013.

La Vopa A. 1995. Herder's Publikum: Language, Print, and Sociability in Eighteenth-Century Germany. — *Eighteenth-Century Studies*. — 29/1. P. 5–24.

La Vopa A. 2005. Thinking about Marriage: Kant's Liberalism and the Peculiar Morality of Conjugal Union. — *The Journal of Modern History*. — 77 (March). P. 1–34.

Lincoln B.W. 1982. *In the Vanguard o f Reform. Russia's Enlightened Bureaucrats*. — DeKalb: Northern Illinois University Press.

Newlin T. 2001. *The Voice in the Garden: Andrei Bolotov and the Anxieties of Russian Pastoral, 1738–1833*. — Evanston, IL: Northwestern University Press.

Orlovsky D.T. 1981. *The Limits of Reform: The Ministry of Internal Affairs in Imperial Russia, 1802–1881*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.

Palmer A. 2005. *Northern Shores: A History of the Baltic Sea and its Peoples*. — London: John Murray.

Redekop B.W. 1997. Thomas Abbt and the Formation of an Enlightened German 'Public'. — *Journal of the History of Ideas*. — 58/1. — P. 81–103.

Schimmelpenninck van der Oye D. 2010. *Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration*. — New Haven: Yale University Press.

Schumann M., Schweizer K.W. 2008. *The Seven Years War: A Transatlantic History*. — London: Routledge.

Schweizer K. 1989. *England, Prussia, and the Seven Years War*. — Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.

Scott J. 1990. *Hidden Transcripts. Domination and the Arts of Resistance*. — New Haven: Yale University Press.

Scott J.C. 2011. *Seeing Like a State*. — New Haven: Yale University Press.

Seddon J.H. 1985. *The Petrashevtsy. A Study ofthe Russian Revolutionaries of 1848*. — Manchester: Manchester University Press.

Spivak G.C. 1994. Can the Subaltern Speak? — Williams P., Chrisman L. (eds.). *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. — Harlow: Pearson. — P. 66–112.

Stoler A.L. 2009. Considerations on Imperial Comparisons. — Gerasimov I. et al. (eds.). *Empire Speaks Out*. — Leiden: Brill. — P. 33–58.

Sunderland W. 2010. The Ministry of Asiatic Russia: The Colonial Office That Never Was But Might Have Been. — *Slavic Review*. — 69. — P. 120–150.

Suny R.G. 2001. The Empire Strikes Out: Imperial Russia, 'National' Identity, and Theories of Empire. — Suny R.G. *Empire and Nation-Making in the Soviet Union, 1917–1953*. — Oxford: Oxford University Press.

Swift S. 2005. Kant, Herder, and the Question of Philosophical Anthropology. — *Textual Practice*. — 19/2. — P. 219–238.

Wakefield A. 2009. *The Disordered Police State. German Cameralism in Science and Practice*. — Chicago: The University of Chicago Press.

Weber M. 1979. *Economy and Society*. — Berkeley: University of California Press.

Young-Bruehl E. 1982. *Hannah Arendt. For Love of the World*. — New Haven: Yale University Press.

Zammito J.H. 2002. *Kant, Herder, and the Birth of Anthropology*. — Chicago: University of Chicago Press.

ФЕНОМЕН «ВНУТРЕННЕЙ КОЛОНИЗАЦИИ» В УКРАИНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (исторический аспект)

В.Н. Ткаченко
Национальная академия педагогических наук Украины

Аннотация: *В статье анализируется современное понимание феномена «внутренней колонизации» на примере украино-российских отношений XVII–XXI веков.*

Ключевые слова: *внутренняя колонизация, национальная идентичность, инородцы, экзотизация Украины, гибридизация образа украинцев, «украинизация» русской культуры, русификация украинцев, украинско-российский консенсус, идентичность сопротивления*.

Всякому делу свой час и своя пора. Ныне мы остро ощущаем необходимость познать истину, которая должна сделать нас свободными, даже с поправкой на то, что «кто умножает знания, тот умножает печаль». Однако, как это ни прискорбно, в новейшей истории двух независимых государств — Украины и Российской Федерации — все-таки «время строить» циклически чередуется со временем «разбрасывать камни».

Так, в 2009 году заместитель директора «Левада-Центра» Алексей Гранаткин констатировал, что после войны в Грузии отношение России к Украине резко ухудшилось. Этот сдвиг в общественном мнении России проявился в том, что если в июле 2008 года к Украине плохо относилось 37% россиян, то уже осенью — 53%. В роли главной причины сдвига назывался курс президента Украины Виктора Ющенко, который квалифицировался как проамериканский. Вскоре ситуация ещё больше ухудшилась: после «газовой войны» декабря 2008 года этот негативный показатель достиг рекордных 62%. В создавшейся ситуации огорчало то, что россияне и украинцы связаны между собой не только историческим прошлым, общими границами, но и семейными узами. У многих украинцев живут родственники в России, соответственно, у многих россиян — родственники в Украине. Часто от россиян можно было услышать, что украинцы — это родной нам народ, но вот, дескать, им не повезло с властью. При этом мало кто отдавал себе отчёт в том, что отрицательное отношение к государству может со временем перерасти в плохое отношение и к самому народу.

Ранимая идентичность

Придерживаясь принципа политкорректности, мы не станем со стороны Украины вдаваться в подробности, кто и зачем после «оранжевой революции» 2004 года разжигал в России антиукраинскую кампанию в СМИ, тем более что и украинское руководство того периода

грешило час от часу заявлениями, которые так и напрашивались на пропагандистские оценки со стороны журналистов. Особенно это касалось вопросов истории, на счёт которых с украинской стороны подчас излагались весьма экзотические взгляды и оценки. И, тем не менее, в этой непростой ситуации общественное мнение Украины в целом выглядело достойно: по оценкам Киевского международного института социологии (КМИС), большинство украинцев, невзирая на различные пропагандистские кампании, продолжали хорошо относиться к России. И дело здесь вовсе не в каком-то психологическом парадоксе мировосприятия украинцев. Скорее речь может идти об относительно достаточной информированности. Так, комментируя этот феномен, социологи акцентировали внимание на присутствии плюрализма мнений в украинских СМИ, где журналисты, как правило, подавали две и больше точек зрения на проблему. Возможно, это и сыграло не последнюю роль в том, что положительно к России в 2009 году относилось 90% респондентов, а отрицательно — в пределах 6–7% [Осторожно, украинофобия… 2009].

С чувством удовлетворённости в моей стране в последнее время воспринимали и сдвиги в отношении россиян к Украине: согласно сентябрьскому опросу «Левада-Центра» за 2012 год, на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?» ответили «очень хорошо» или «в основном хорошо» 74% респондентов. Это не 90% как в Украине, но все же и не так мало, как было раньше. Здесь, как мне кажется, кроме традиционных «газовых», во многом наносят вред и периодические продовольственные «торговые войны». То Россия запретила ввоз украинских сыров, то вдруг через день-два после праздничных лобызаний по случаю 1025-летия принятия христианства на Руси Российская Федерация запретила ввоз украинских сладостей украинской фирмы «Рошен». Потом это коснулось и других украинских товарных потоков: на российских таможнях был установлен жёсткий режим, который, впрочем, со временем был послаблен.

Ладно бы эти вопросы решались в установленном порядке на межгосударственном уровне. Но ведь они постоянно сопровождаются массовой пропагандистской кампанией в СМИ. Все это сказывается на формировании общественного мнения. А в итоге создаётся суммарный повод для огорчения: что ни говори, а за последние 20 лет Украина в мировоззрении жителей России превратилась в один из самых противоречивых внешнеполитических образов. Она выступает как единственное государство, которое россияне, по данным опросов «Левада-Центра», записывают сегодня и в топ-10 друзей России (где Украина на пятом месте после Белоруси, Казахстана, Германии и Китая) и, одновременно, в топ-10 ее врагов (шестое место вслед за Грузией, США, и тремя странами Балтии).

При этом сами же российские эксперты отмечают такой досадный факт, что отношение к украинцам резко улучшилось за последние годы не в последнюю очередь на фоне «кавказофобии», что не может огорчать и самих украинцев. Социолог Денис Волков объясняет этот феномен тем, что в больших городах, куда хлынул поток кавказских и азиатских мигрантов, украинцы как приезжие не вызывают неприязни прежде всего потому, что их «не видно» [Отношение россиян к украинцам… 2012]. То есть, они демонстративно не подчёркивают свою этническую принадлежность, и это каким-то образом сглаживает общение с русскими, хотя такой уровень восприятия русскими национальной идентичности других народов тоже вызывает ряд вопросов

К сожалению, нарастанию уровня толерантности между россиянами и украинцами резко претят интернет-конфликты на этнической почве. В онлайн-обсуждениях присутствует набивший оскомину набор стандартных обвинений: «хохлы» воруют газ, Украина стремится вступить во враждебное НАТО, бандеровцы-предатели угнетают российское население Украины. В ответ следуют упрёки в стремлении «москалей» расчленить Украину. Психологи пытаются объяснить такую ярость попыткой пользователей Интернета компенсировать свои нереализованные возможности — и личные, и национальные. Но в этих объяснениях мало утешения. Согласно экспертному суждению Юлии Мак-Граффи, главного редактора интер-

нет-издания *Корреспондент.net,* новости об украинско-российских отношениях часто превращаются в «своеобразную красную тряпку для комментаторов». Эти новости не только наиболее читаемы, но и вызывают больше всего откликов посетителей, нередко агрессивных. Такого рода информационная война мешает находить взаимопонимание между народами по многим спорным вопросам и конфликтным моментам — как исторического прошлого, так и настоящего. Более того — на бытовом массовом уровне закрепляются предрассудки, отягощённые спекуляциями политтехнологов.

В создавшейся ситуации, на мой взгляд, украинским пользователям Интернета следовало бы учитывать некоторые моменты социальной и политической психологии. В частности, тот момент, что жители Российской Федерации в течение последних 20 лет пережили острые этнические конфликты, варварские теракты и разрушительные военные действия. Все это, безусловно, усиливало межэтническое напряжение в стране. Следует относиться с пониманием и к тем проблемам, которые были обозначены в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» осенью 2013 года. Речь идёт о том, что «сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализации на свою национальную идентичность, но и последствия национальных катастроф XX века, когда мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности. Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ведь вопрос ответственности перед самим собой, обществом и законом — один из основополагающих не только в праве, но и в повседневной жизни» [Выступление Владимира Путина… 2013].

Соответственно и российской стороне следовало бы осознать, что длительный период пребывания Украины в статусе «внутренней колонии» Российской империи не мог не вызвать своеобразный компенсаторный «эффект бумеранга», провоцируя феномен если не исторического реванша, то, во всяком случае, феномен идентичности сопротивления: «Украина — не Россия» (Леонид Кучма). Того реванша и сопротивления, который следует перевести в исторический диалог двух народов. В частности, диалог относительно украинской и российской идентичности, переосмысливания доставшегося нам исторического наследия, углубленного анализа современных глобальных вызовов и разрешения проблемы идентичности в первую очередь через призму этих вызовов.

Феномен «внутреннего колониализма»

Было бы наивным полагать, что вывести общественное мнение Украины и России из турбулентного информационного поля могла бы в одночасье высокая академическая наука. Одной ей это не под силу. Но и без ее фундаментальных разработок, которые рано или поздно будут все-таки востребованы обществом — как гражданами, так и политическим классом — нормализовать отношения между двумя странами никак не получится. В этом контексте книга «Там внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России», изданная 2012 года в Москве под редакцией Александра Эткинда, Дирка Уффельманна и Ильи Кукулина может быть рассмотрена как этапный труд в весьма перспективном исследовательском направлении.

Конечно, колониальный, антиколониальный и постколониальный дискурсы заявили о себе в общественно-политической мысли не сегодня и не вчера. Речь идёт как о зарубежных изданиях, так и об отечественной научной продукции. И в этом многотрудном процессе выработки самосознания, как говорится, не каждое лыко в строку. Для этого достаточно вспомнить хотя бы известное положение, что история есть организованное воспоминание, и организованное забытье. В случае многонациональной Российской Федерации, подчёркивается в книге, особенно важным является то, что вспоминают друг о друге составляющие ее народы,

ибо, по Эрнесту Ренану, «сущность нации состоит в том, что все индивиды, ее составляющие, имеют много общего, но забыли многое, что их разъединяет» [Эткинд, Уффельманнн, Кукулин 2012: 145].

Впрочем, этот дискурс касается и Украины, учитывая значительную составляющую в ее народонаселении представителей русского этноса. Вполне понятно, что во время формирования новой исторической общности «советский народ» монопольно правящая КПСС проводила линию, зафиксированную в приснопамятных тезисах к 300-летию воссоединения Украины с Россией. В этом документе «красной нитью» проходила идея об извечном стремлении украинцев воссоединиться с братским российским народом. И наоборот — после распада Советского Союза лейтмотивом многих исторических исследований стал тезис о единодушном стремлении украинцев к независимости от гнёта Российской империи. То есть, маятник общественного мнения качнулся в другую сторону и, соответственно, имперский дискурс советских времён был заменён в последнее двадцатилетие дискурсом антиимперским.

На мой взгляд, в этот непростой в украино-российских отношениях час следовало бы уделить большее внимание дискурсу постимперскому. Ныне украинцам и россиянам приходится находить взаимопонимание исходя из факта существования двух независимых государств на принципах взаимности и добрососедства. Каждое государство — и Российская Федерация, и Украина — преследуют свой национальный интерес, и от этого никуда не деться. А потому придётся научиться слышать друг друга с учётом того, что не все исторические факты имеют для разных народов одинаковую ценность, тем более что события прошлого не всегда могут претендовать на одинаковую оценку. Тем не менее, диалог следует продолжать и находить взаимопонимание.

С точки зрения определения роли и места Украины в контексте «внутреннего колониализма» хотелось бы остановиться на некоторых исходных пунктах научного труда «Там внутри». Прежде всего, привлекает внимание ***определение внутренней колонизации как применение «практик колониального управления и знания внутри политических границ государства».*** То есть, центральным пунктом является государственная политика по отношению к завоёванным или присоединенным народам. Но тут же следует оговорка, что «границы России расширялись и в доимперский, и в имперский периоды с такой скоростью, что само отличие „внешнего“ от „внутреннего“ было текучим и неопределённым». Вот эта «текучесть» и «неопределённость» и является причиной того, что вместо чётко структурированных дефиниций в исследовании приходится прибегать к различным метафорам, которые где-то и помогают глубже «прощупать ситуацию», но не могут претендовать в полной мере на статус ***систематизированного знания.*** То есть, вычленить какую-то универсальную «модель» внутреннего колониализма, а тем более выстроить надлежащую матрицу на сегодняшний день пока что маловероятно, а потому понятие «внутренний колониализм» все ещё остаётся во многом подвижным и трудно фиксируемым.

То же относится к понятию «инородцы», где представления о сословии, религии и этнической принадлежности могли варьироваться, наполняться различным ситуативным смыслом, а формы культурно-политического отношения к ним могли быть одновременно и универсальными, и локализированными. Это сказывалось и на практическом осуществлении имперской политики России: она сильно варьировалась — от максимально возможной ассимиляции этносов, до военно-административных силовых методов управления или прямого «выдавливания» с занимаемых ими территорий. Впрочем, как отмечается в книге, бывали случаи, когда имперские власти никак не могли определить цели и курс своей политики в отношении некоторых этносов, «доставшимся» им вместе с территорией [там же: 13].

Окончательно осложняет исследовательские задачи и то, что характерные феномены колониализма в России «чаще всего были обращены внутрь собственного народа» — их называли внутренней колонизацией, самоколонизацией или же вторичной колонизацией собственной территории. Этот процесс сопровождался не только эксплуатацией экономических и

людских ресурсов, но и культурным прессингом на самих же русских: в ряде случаев попытки ассимиляции этнических меньшинств угрожали необходимостью ввести такое определение русскости, которое не могло удовлетворить самих русских, или приводило к возвышению «инородцев» над самим русским населением [там же: 14].

Таким образом, актуальной задачей, на мой взгляд, все ещё остаётся определение какой-то фиксированной «исходной точки» для задания надлежащей исследовательской системы координат. В противном случае восторжествует постмодернизм — ибо «если Бога нет, то все позволено». В этой ситуации, как мне представляется, следует продолжать дискурс в обозначенном направлении «внутреннего колониализма», но не столько по линии узкодисциплинарной, сколько путём выхода на метадисциплинарний уровень. Очень даже может быть, что это приведёт, в конце концов, к какой-то обобщающей концепции, а в дальнейшем — и более чёткой структуре, и исследовательской матрице.

Что же касается трактовки «внутреннего колониализма» по отношению к украинцам и белорусам, то здесь, судя по всему, подход не только весьма конструктивен, но и показателен в контексте отхода от устарелых взглядов. Как показывают стереотипы сознания, которые очень омрачают современные украино-русские отношения, парадокс состоит в том, что украинцы со стороны русских никогда не считались «инородцами». Их просто чохом зачисляли «русскими», и тем самым лишили права считаться отдельным народом. Украинский язык же рассматривали как диалект великорусского наречия. Поэтому нельзя не согласиться с авторами «Там внутри», что «самым ярким примером неразграничения внешнего и внутреннего, „исконного“ и экзотического в истории России является история управления Украиной и ее восприятия в культуре… На политическом уровне шла гомогенизация империи, на культурном — экзотизация Украины и представление ее как пространства, где предки жителей Москвы и Петербурга исповедовали древние, ныне забытые, но таинственные и жутковатые языческие обряды. Украина не только в русской, но во многом даже и в украинской культуре… стала локусом смешения и затруднённого различения „своего“ и „чужого“ и, таким образом, сохранила свой „пограничный“ статус, которого она после ликвидации автономии Гетманщины не имела политически» [там же: 25–26].

С точки зрения политкорректности привлекает внимание ещё одна важная, заявленная авторским коллективом позиция. Они убеждены, что, «любые проявления российско-имперского нарциссизма неприемлемы, поскольку заставляют забыть о жертвах российского внешнего колониализма… Мы стремились к тому, чтобы в рисуемой нами картине имперского прошлого нашлось бы место для жертв и для агентов колониализма и внешнего, и внутреннего» [там же: 24]. Следует отметить — с точки зрения России это ново и показательно. Однако, на мой взгляд, с точки зрения современной Украины было бы некорректно и неконструктивно принять на себя роль исключительно «жертвы» колониализма, как это характерно для антиколониального дискурса. С одной стороны, нельзя забывать, что значительный контингент украинского политического класса очень даже активно выступал в роли агента имперского строительства. А с другой стороны, психология «жертвы» с точки зрения задач нынешнего украинского общества весьма уязвима и двусмысленна: она могла быть допустимой разве что на мобилизационном этапе конструирования «идентичности сопротивления», но вряд ли становится конструктивной на нынешнем этапе формирования «идентичности проекта будущего» для Украины.

Вот эти последние соображения, по существу, и станут рабочей гипотезой в дальнейшем изложении материала.

Креативная метафора

Прежде всего, есть смысл пока что принять «метафоричный» подход авторов «Там внутри», который сформулирован следующим образом: «Вопрос для нас состоит не в том, верна

ли модель внутренней колонизации, а в том, может ли эта метафора принести эвристическую „добавленную стоимость“. На наш взгляд, она вполне допустима при интерпретации культурной и социальной истории империи, так как колонизация основана на „сверхэкономическом“ производстве культурных различий — производстве, которое порождает не только экономические, но прежде всего культурные и антропологические последствия» [там же: 23].

Возьмём и мы для примера тот идеал «всесторонне верноподданнической личности», который российское самодержавие стремилось сформировать, а в дальнейшем и эксплуатировать в Украине. Лучшей иллюстрации, чем встреча с запорожцами Екатерины II и князя Потемкина в «Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя, вряд ли мы найдём:

> Запорожцы прошли ещё две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.
>
> Минуту спустя вошёл в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в жёлтых сапожках. Волосы на нем были растрёпаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать… Гетьман… едва кивнул головою и подошёл к запорожцам.
>
> Запорожцы отвесили все поклон в ноги.
>
> - Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.
>
> - *Та вси, батько*! — отвечали запорожцы, кланяясь снова.
>
> - Не забудете говорить так, как я вас учил?
>
> - Нет, батько, не позабудем.
>
> - Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.
>
> - Куда тебе царь! Это сам Потемкин, — отвечал тот.
>
> В другой комнате послышались голоса… Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:
>
> - Помилуй, мамо! помилуй!
>
> Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.
>
> - Встаньте, прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
>
> - Не встанем, мамо! не встанем! умрём, а не встанем! — кричали запорожцы.
>
> Потемкин кусал себе губы, наконец подошёл сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись…
>
> - Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.
>
> - *Та спасиби, мамо*! Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..
>
> Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…
>
> Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперёд:
>
> Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-нибудь с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры*; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..
>
> Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.

Здесь Н. Гоголь свёл суть разговора до просьбы кузнеца подарить его невесте черевички. В итоге писатель ушёл от того, чтобы озвучить требования украинского казачества, однако вместо этого вскрыл откровенно колониально-покровительственный характер аудиенции,

где и царский двор, и запорожцы вели себя соответственно моменту: запорожцы изображали простоватую глуповатость, а Екатерина II источала свои симпатии к «поющему и пляшущему племени».

> Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.
>
> - Як же, мамо! ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивлялся, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам в себе, — верно, не даром он это делает».
>
> - Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жён, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жён в Польше; есть такие, что имеют жён в Украйне; есть такие, что имеют жён и в Турецине.

В этом отрывке Н. Гоголя ярко и многогранно отразилась та политическая и культурная ситуация, которая сложилась в Российской империи относительно Украины. Прежде всего, произошла колониальная ориентализация Украины, где запорожцы виртуально представляли из себя эдакую экзотическую группу, для описания которой, по мнению присутствующих в гоголевском сюжете российских сановников, уместно было бы перо Лафонтена. Украинцы в имперском дискурсе выступали в роли тех «других», «иных», которые якобы ведут нецивилизованный образ жизни и поэтому постоянно нуждаются в дисциплинировании со стороны князя Потемкина. Во-вторых, в наведённом отрывке происходит фольклорная стереотипизация украинцев, сопровождающаяся добродушно-снисходительным отношением императрицы к своему «поющему и пляшущему племени». Однако, в третьих, в творчестве Н. Гоголя в экзотический образ украинца включается такая сугубо русская, с точки зрения официальных идеологов, черта как православное вероисповедание. А это, дескать, в корне меняет ситуацию. Ведь в итоге происходит гибридизация образа украинцев, ибо последняя характеристика как бы возвышает их над «инородцами» — татарами, турками и поляками — и тем самым навеки определяет дальнейший путь украинцев к ассимиляции в качестве демографического донора русского народа.

Эвристической «добавленной стоимостью», проистекающей из анализа метафоричности Н. Гоголя, может быть, на мой взгляд, расширение диапазона дискурса о «внутренней колонизации». Как уже говорилось, речь идёт, прежде всего, ***о необходимости решительного смещения акцента от полемики в рамках «имперский/антиимперский» — в сторону более последовательного постимперского, самокритического дискурса украинцев по отношению к самим себе.*** Например, в приведённом диалоге царицы и запорожцев нельзя однозначно прийти к заключению — чем же объяснить такую витиеватую, хитровато-угодническую манеру изложения запорожцами своих просьб. Почему они приняли эти имперские правила игры, внося в этот замысловатый церемониал и протокол свои хитроумные ремарки и полунамеки? Все ли дело в насилии и глумлении над украинским народом?

Или, может быть, имперская форма правления, при всех своих изъянах и недостатках, на определённом этапе своего развития в чем-то главном соответствовала миропониманию украинцев и осознанию ими своих национальных устремлений?

Две культуры: имперский диалог

Понимаю, что последний тезис будет активно оспорен и осуждён некоторыми украинскими ура-патриотами как якобы проявление «низкопоклонства перед старшим братом», но все же остаюсь при убеждении в креативности и перспективности именно этого подхода,

последовательно отстаиваемого мной и соавторами в годы независимости Украины [Детальней см.: Кремень, Табачник, Ткаченко 2003]. Рассмотрим некоторые аргументы в подтверждение этого подхода.

Национальные устремления России в XVII веке формировались под воздействием вызова — глубоких потрясений государственного и общественного строя в период «смутного времени» (оккупация Москвы времён Лжедмитрия). Этот вызов дал мощный импульс к европеизации России. Государство все чаще стало приобщать иностранцев к реформированию армии, производства вооружений, металлургии, торговли. Из книг, переведённых с латинского и польского языков, проникали основы научно-технических знаний, хотя в сфере гуманитарной все ещё придерживались унаследованных канонов традиционных форм.

Однако это столетие принесло с собой и эмансипацию культуры от пут старых форм. На смену Псалтырю приходили буквари. Выходцы из белорусских и украинских земель, закончив Острожскую или Киево-Могилянскую академии, создавали в Москве очаги просвещения. Уже во время царствования Алексея Михайловича для исправления церковных книг были приглашены киевские учёные — Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и другие. Реформирование Петром Великим Московской духовной академии было не чем иным, как внедрением административным порядком того, что уже было ранее в Украине.

По этому поводу известный учёный-языковед Н. Трубецкой в статье «К украинской проблеме», изданной в 1927 году в эмиграции, акцентировал внимание на специфике русско-украинских взаимосвязей. Он считал, что в XV, XVI и первой половине XVII в. культура Руси-Украины и культура Московской Руси развивались настолько разными путями, что к середине XVIII в. различие между ними было уже чрезвычайно глубоким. Однако украинское национальное сознание, как и русское, тогда ещё не сложилось как мировоззренческая система. Среди населения бытовала идея общности византийского православия и единства Руси. Поэтому обе культуры — русская и украинская — трактовались как две дальнейшие редакции одной и той же культуры. Но каждая сторона придерживалась своих взглядов: выходцы из Украины считали московскую редакцию культуры испорченной неграмотными московитами. А те, в свою очередь, считали украинскую редакцию культуры испорченной еретическими латино-польскими влияниями. Спор решил царь Петр I, отдав предпочтение украинской редакции, которая уже содержала в себе элементы европейской культуры и тенденцию к дальнейшей эволюции в этом направлении [Трубецкой 2007: 523–545].

В итоге творческая деятельность украинцев стала неотъемлемой частью российской культуры. Например, Николай Лосский среди украинских деятелей в области русской культуры называл в первую очередь литератора Василия Капниста, переводчика «Илиады» Николая Гнедича, автора исторических романов Данила Мордовцева и популярного Владимира Короленко. В области философии это профессоры Т. Осиповский, С. Гогоцкий и П. Юркевич. В области других наук — историк Н. Костомаров, лингвист А. Потебня, математик В. Имшенецкий, биолог О. Ковалевский, минералог В. Вернадский и его сын историк Г. Вернадский, геолог М. Андрусов. А ещё целые семьи Данилевских, Петрушевских, Прокоповичей. В области живописи всем известны имена Антона Лосенка, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Ильи Репина, Михаила Врубеля. А куда девать из сферы музыки Михаила Глинку, Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского, Артема Веделя? А просветителей Мелетия Смотрицкого и Степана Яворского? Как забыть тот факт, что в Славяно-греко-латинской академии более трех четвертей учителей, префектов и ректоров были выходцами с Украины, воспитанниками Киево-Могилянской академии, учителями ее, переведёнными в Россию правительственными указами? Оценивая их деятельность, российский исследователь П. Знаменский в работе о духовных школах России, отмечает, что школьные администраторы и учителя были для учеников настоящими иностранцами, что приехали с какой-то чужой земли, которой тогда была Малороссия, со своими обычаями, понятиями и

самой наукой, со своим малопонятным, страшным для великорусского уха языком [Знаменский 1881: 435].

Однако, насколько корректным может быть заключение Н. Трубецкого, что в XVIII веке произошла «украинизация» русской культуры? Здесь следует акцентировать внимание на том факте, что для полной победы на культурном фронте необходимо было бы достижение преимущества во всех сегментах культуры. А вот этого момента как раз и недоставало Украине XVII века. Украинская культура периода барокко — архитектура, живопись, церковное пение и проповеди — была по существу церковной. До тех пор, пока аналогичное положение дел было и в России, украинская культура была в наступлении: она завоевала церковь, словесно-богословское образование и науку, искусство и культуру в целом. Известная церковная реформа патриарха Никона была фактически проведена силами украинцев. Однако этого уже было недостаточно: Европа уже не жила исключительно церковной культурой. Да и в России Петр I ещё использовал Стефана Яворского в качестве Президента Духовной Коллегии (Святейшего Правительствующего Синода) после последнего российского патриарха Адриана, как и Феофана Прокоповича в качестве первого вице-президента. Однако Петр I уже смотрел на Запад, чтобы позаимствовать оттуда необходимые ему элементы новой технической культуры.

Прорубив не без помощи украинской интеллигенции окно в Европу, Петр I впоследствии (после Полтавы) жёстко отгородил Украину от Запада. При этом он оставил Киево-Могилянскую академию такой, какой она тогда была — лояльной и смиренной. И это впоследствии сыграло решающую роль: кто не идёт вперёд, тот отстаёт. В нашем случае отставание было безнадёжным: в то время, как российская культура стала дополнять свою церковную сторону новой, технически-светской, украинская культура оставалась на старых позициях. В итоге она становилась старомодной, а старомодность вызывает смех. Насмешки убивают культуру. И уже в конце XVIII – начале XIX веков положение принципиально изменилось: Украина, потеряв государственность (существующую до того в ограниченной форме Гетманщины), постепенно теряла свой авторитет и в сфере культуры.

С этого времени русская культура, интегрируя в себя интеллектуальный потенциал провинций, стала символом духовного прогресса. Украина же, лишённая культурной элиты, стала синонимом мужицкой нации, культурной отсталости и провинциализма. «Среди высших российских кругов, — писал украинский литературовед, академик С. Ефремов, — где ещё в первой половине XVIII века передовые позиции занимали более культурные украинцы, началась решительная реакция: россияне теперь ответили местью за прошлое свое унижение, и конец века видит уже иное распределение культурных сил. Украинство — это уже провинциализм, мужицтво, некультурность и грубость; „модное в то время осмеивание малороссов“ стало вместо бывшей моды на украинцев в столице при царском дворе» [Єфремов 1926: 13].

В целом же привилегированная военно-бюрократическая каста России была вполне интернациональным, вернее — космополитическим образованием. Политика русификации была весьма дифференцированной — даже тем «инородцам», которые принимали православие и русский язык, были открыты двери к высшим постам. Тем более это касалось православных выходцев из Украины — 25 тысяч семейств украинской казацкой старшины получили от империи звания российских дворян. Будучи инкорпорированными в высшие круги Российской империи, они достигали наивысших постов. И было бы несправедливо не замечать, что служа Российской империи на различных постах министров и послов, представители знатных украинских родов Безбородков, Завадовских, Гудовичей, Трощинских, как покажет ход дальнейших событий, вносили свой вклад (возможно, и не осознавая это в полной мере) в защиту геостратегических интересов будущей Украины.

Другое дело, что имперская служба преследует свою логику и требует демонстративного дистанцирования от собственного народа как критерия лояльности «высшим государственным интересам» России. Выходцы из Украины старались не выделяться из общей чи-

новнической массы, русский канцелярский язык уже с середины XVIII века главенствует в делопроизводстве учреждений на территории Украины, а украинский народный язык трактуется «исчезающим наречием», которое часто используется в театральных постановках для придания им комедийности. Постепенно теряется самоназвание украинцев: вместо этого внедряется официально-бюрократический термин «малороссиянин» — в сопоставлении с представителями «Великой Руси».

В конечном итоге, украинское дворянство подверглось массовой русификации. И хотя многие представители этого класса все же исповедовали дух патриотизма, им была свойственна скорее двойственная лояльность: гражданская общерусская и украинская этническая. Если выйти за рамки русско-украинских отношений и посмотреть шире в плоскости решения задач «внутреннего колониализма», то элита национальных окраин, которая могла бы возглавить национально-освободительное движение в своем регионе, с удовольствием поглощалась имперским бюрократическим аппаратом. После подчинения в 1686 году украинской церкви Москве, произошла также русификация священнослужителей. Вместе с тем, согласно переписи 1897 года половина священнослужителей Украины (близко 50 тыс.) признали украинский язык родным. Они жили в тесном контакте с крестьянами, работали учителями в церковно-приходских школах, однако никакого клерикального политического движения в защиту идеи независимой Украины не создали.

Истоки консенсуса

Что и говорить, имперская система России была именно такой, а не какой-либо другой. Однако возникает вопрос, почему длительное время в Украине ощущалось отсутствие какой-либо программной цели освободительной борьбы. Почему, за оценкой М. Грушевского, начиная со времён гетмана Ивана Самойловича (1672–1687), Гетманщина «тихо плыла, без всяких конфликтов и пертурбаций на буксире московской политики»? [Грушевской 1991: 226]. Конечно же, в первую очередь потому, что «именно среди политического затишья и лояльной покорности под регментом Самойловича и Мазепы закладывались прочные основы сословных прав казацкой старшины и помещичьего землевладения на Украине, которые развивались параллельно с постепенным уничтожением автономии и форм выборности казацкого правления» [там же: 233].

Однако, все это касается сословных интересов казацкой верхушки. А были ли общенациональные интересы, которые бы закладывали предпосылки украинско-русского консенсуса в рамках империи? В конце XIX века к вершинам историософского понимания всей сложности украинского пути, монархических предпочтений политического класса и откровенно промосковской ориентации казацкой элиты поднялся, очевидно, лишь М. Драгоманов. Многие другие публицисты не пошли дальше деклараций о «продажности» украинских правящих верхов, их чуть ли не прирожденном «сервилизме».

Не заходя слишком далеко в историю, отмечал М. Драгоманов, достаточно будет указать, что уже от митрополита киевского (1620) Иова Борецкого вся украинская интеллигенция, в том числе и казацкая, кланялась восточному царю как своему защитнику. Сам же И. Борецкий ещё в 1624 году ставил перед российским царём вопрос об объединении украинского народа с российским. Антироссийские выступления отдельных украинских деятелей, подчёркивал М. Драгоманов, не делали погоды: и Мазепа в последние годы его правления, и Филипп Орлик с Костем Гордиенко были здесь исключением, а не правилом.

Драгоманов ставил ряд вопросов к своим современникам, которые актуальны и сегодня. Почему такие фигуры украинских гетманов, как И. Выговский, П. Дорошенко, И. Мазепа и Ф. Орлик, не нашли в свое время надлежащего места в устном казацком эпосе — думах и песнях, а если и нашли, то зачастую негативное? Почему народное самосознание в целом дистанцировалось от этих деятелей? Как дать объяснение тому, что украинский народ в 1708

году отказался от варианта «вестернизации» Украины в союзе со Швецией, претерпев нечеловеческие муки от карательных экспедиций Меньшикова, но остался верным царю Петру I? Банальные ссылки на «холопский» характер украинцев вряд ли будут здесь корректными.

Если даже обратиться к такому патриотическому произведению как «История Русов» анонимного автора, то апелляция Мазепы к национальному фактору, призыв к осознанию себя отличным от Московии народом не сыграли, в конце концов, решающей роли. Если верить этому источнику, то главным фактором при выборе стать ли на сторону Карла XII или Петра I — было осознание принадлежности к православной христианской цивилизации. «Значит, — писал М. Драгоманов, — если кто хочет украсить патриотизм непременно „святынями“, то должен признать, что московский царизм является и украинской святыней и что вследствие этого старые украинские писатели, творя стихи на честь царизма, являлись вовсе историческими патриотами» [Драгоманов 1970: 443].

Драгоманов акцентировал внимание на том, что борьба за национальную независимость может стать весомым фактором народной жизни лишь тогда, когда дело доходит до осознания на индивидуальном уровне своих материальных и моральных интересов. Под этим углом зрения, писал он, «московское царство принесло нам немало бед, потому что это такое правление, которое наделало и делает беду и своим» [там же: 443–444]. То есть, наряду с внешней колонизацией активно осуществлялась и колонизация собственно русских территорий. Однако при этом, считал украинский мыслитель, следует брать во внимание, что «все-таки то царство было определённой организацией общественных сил, к которой пристала и наша Украина и которая все же таки выполняла и наши национальные задачи, с того времени, как история сложилась так, что мы сами не могли их выполнить» [там же: 444].

Такими национальными задачами на то время были: освобождение украинского народа от татаро-турецкого насилия и от польского подданства. Именно политика Польши в XVI–XVII веках подталкивала украинский народ к союзу с московским царём, тем более, что союз с Портой и ее вассалом Крымским ханством был неперспективным. Последние смотрели на Украину, как на белую Африку, откуда они поставляли рабов, каторжников и янычар. «Без северных берегов Чёрного моря, — писал М. Драгоманов, — Украина невозможна как культурный край; мы имели те берега в часы Уличей, Тиверцев и Тмутараканьской Руси; мы отбили обратно часть их перед нападением турок в XV в. и вынуждены были, так или иначе, взять их потом. Не удалось нам это сделать под Польшей, с самим казацтвом, то должно было это осуществиться под московскими царями (Польша была, собственно, государством Балтийского бассейна и вследствие этого безразличной к черноморскому делу, интересному для поднепровцев). Московщина как государство Балтийского и Каспийского бассейна тоже была безразлична к тому делу, но Донщина притягивала ее к Черному морю. Вот где фатальная причина, почему европейская, а не специально украинская, задача разрушить Турцию XV–XVI вв. была выполнена в XVII–XIX вв. государством московским, а не польским… Народ наш это нюхом чуял» [там же].

Обеспечение украинских геополитических интересов в рамках имперской системы России создавало основу для своеобразного украинско-российского консенсуса. Даже после разрушения Сечи в 1775 г. и введения крепостничества (к которому народ подвела сама же казацкая старшина), Екатерина II была достаточно популярной среди украинской политической элиты. Народ же утешался тем, что присоединение к империи буджацких, крымских и кубанских степей дало возможность крепостным массово убегать с Гетманщины и Правобережной Украины на «слободы». Да и в XVII веке фактор массовой миграции из-под Польши в московские земли, где за короткое время выросла новая Слободская Украина, сыграл не последнюю роль в подписании Переяславских соглашений. Кроме того, повстанческое движение на Правобережье против польского гнёта — Колиивские бунты 1733 и 1768 годов — осуществлялись под знаменем московским (настоящим или придуманным).

Ссылаясь на обозначенные моменты, М. Драгоманов считал, что только в час аграрных реформ 1863–1866 годов завершился, по существу, период украинской истории, начатый революцией Богдана Хмельницкого, и тем самым украинско-российские отношения вошли в принципиально новое русло. В преддверии этих реформ в рамках Российской империи была выполнена элементарная геополитическая задача Украины: во второй половине XIX века народ, расселённый на достаточно обширной территории, был защищён от внешней угрозы. «Теперь, — писал М. Драгоманов, — только и могло проясниться дело о том, как освободиться Украине и от московского чиновничества, как интеллигенции украинской сорганизоваться вместе с народом, поднять украинскую национальную культуру и т. д.» [там же: 448]. То есть, Украина внутренне концентрировалась на реализации своего «украинского проекта», который отныне составлял уже конкуренцию «проекту русскому», «русской идее».

Борьба Украины за национальное самоопределение не мыслилась в то же время без борьбы за социальный прогресс. Правда, с весьма существенной оговоркой: освобождение Украины М. Драгоманов небезосновательно связывал с общедемократическими процессами в самой России. Он отдавал себе отчёт в том, что «до конституции в России правительство никогда не позволит даже украинской проповеди в церквях, ни языка в школе и на селе» [там же: 479]. Только утверждение демократических свобод в России открывало путь для общественно-политической организации украинцев.

Однако, не все так сложилось, как замышлялось.

Ирония истории: расплата

В деле внутренней колонизации причерноморских и приазовских степей, да и всего степного массива от Заволжья и Башкортостана до Забайкалья и Зелёного клина Приморского края украинцы шли «второй волной» аграрного освоения этих территорий после «первой волны» — их военно-административного присоединения российскими властями. Засеяв пшеницей и гречихой эти степные просторы Российской империи, украинцы отличились и в освоении степей Канады, и в возделывании южноамериканских прерий Бразилии и Аргентины. Вместо обустройства собственной земли, ее последующей урбанизации, многие украинцы превратились в демографического донора иных народов и цивилизаций. Беспрестанная миграция в чужие окраины, где они вынуждены были интегрироваться в новые этносоциальные организмы, обескровливала процесс формирования молодой украинской нации.

Вместо того, чтобы вливаться в городское население, осваивать новые виды производства и новые формы жизнедеятельности, украинцы в массе своей воспроизводили привычный образ жизни и занятости в сельском хозяйстве. В итоге, на час провозглашения независимости Украины в 1917 году 90% украинцев на своей земле составляли крестьяне. А эта социальная страта, как показывает история, не способна обустраивать государственную жизнь. К тому же крестьяне имеют склонность сводить любой революционный процесс к бунту «против всех» — кровавому и часто бессмысленному — ярким примером чему служит жизнь и деятельность Нестора Махно, где традиции казацкого Гуляйполя свели процесс государственного строительства к анархии.

Процесс «внутренней колонизации» кубанских степей привёл к особо показательному искажению национальной судьбы украинцев. В эти степи по приказу Екатерины II в 1792 году переселили тех запорожских казаков, которые после разрушения имперским войском Запорожской Сечи согласилось осесть на «подаренной» царицей новой земле. В процессе этой целенаправленной колонизации запорожцы превращались по существу дела в высокоэффективный «спецназ»: защитной полосой украинцев Российская империя усиливала свои границы перед вольнолюбивыми кавказскими горцами (разумеется, такая же роль отводилась и русскому казачеству — донскому, и позже созданному терскому). Разве что украинское Черноморское казачество, а, в особенности, так называемые пластуны, были в высшей степени

профессионально подготовленными для осуществления тех целей и функций, которые ему «делегировал» царизм.

Впоследствии Александр II сформулировал, что «эта цель заключается в завоевании Кавказа путём его колонизации, и в этой колонизации казаки призваны играть главную роль не только своей военной службой, но они должны сверх того, являться первыми переселенцами на завоёванных местах и закреплять их своими станицами». Комментируя это настановление, академик И. Дзюба обращает внимание на горький исторический парадокс глубокого травмирования национального чувства украинцев: «казачество, образовавшееся из людей, искавших свободы от крепостнического государства, было использовано этим государством в своих интересах, для подавления свободы других народов. Так были посеяны ядовитые и устойчивые семена межнациональной вражды. Жертвой имперской политики стало и украинское черноморское, кубанское казачество» [Дзюба 1996: 65].

Впоследствии этот своего рода «первородный грех» Черноморского казачества обернулся против самих украинцев. Так, например, конец 1918 года был ознаменован воистину фатальными событиями в истории украинского народа. На Надднепрянской Украине набирала силу вторая волна национально-освободительной борьбы против гетманского прогерманского правительства Павла Скоропадского, вследствие чего была возрождена Украинская Народная Республика (УНР), провозглашенная ещё в 1917 году. В октябре 1918 года распалась Австро-Венгерская империя, и в Галиции 1 ноября была создана Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). На Кубани 18 декабря 1918 года Краевая Рада приняла «Временное положение об управлении Кубанским краем», поставив задачу положить конец анархии и самостоятельно укрепить государственность в пределах края.

Все три государства возникли в пределах этнического расселения украинцев. В одном государстве — властью была Директория, возглавляемая В. Винниченком (впоследствии — С. Петлюрой). ЗУНР возглавлял президент Е. Петрушевич. На Кубани же во главе правительства был украинец Л. Быч. Таким образом, три преимущественно населённые украинцами республики сосуществовали рядом друг с другом, однако они были если не чужими, то, во всяком случае, довольно таки отчуждёнными друг от друга. Каждый из трех лидеров этих государственных образований пылко любил «неньку-Украину», но при этом имел свое собственное представление о национальном благе, что, в конце концов, сводилось к обеспечению узких интересов тех или других социальных слоёв или политических группировок.

Три государственных образования, населённые преимущественно украинцами, в одно и то же время — это уже было на грани иррационального. На грани, ибо в Галиции хотя бы был поставлен вопрос об объединении с Надднепрянской Украиной, а на Кубани и до этого не дошло. Хотя в декларациях кубанцы пылко приветствовали братьев-украинцев, но в конечном итоге сословные групповые интересы «кубанского казачьего войска» превышали национальную солидарность. Приближался трагический для этих трех республик 1919 год.

Ирония истории этого периода состояла в том, что все три республики были повержены рукой великодержавной деникинщины, с которой — и в этом суть вопроса — они или объединялись в годы гражданской войны, или, во всяком случае, стремились к этому объединению.

Второй аспект иронии истории проявился в том, что ориентируясь на демократические государства Антанты, все новообразованные украинцами государства были, в конце концов, подведены под флаги «единой и неделимой» России.

Третий аспект иронии истории нашёл свое проявление в «эффекте бумеранга»: подавляющее большинство личного состава деникинских войск составляли кубанские казаки, потомки славных запорожцев, которые оккупантами вторглись в земли своих дедов и прадедов с тем, чтобы разрушить зарождающееся украинское государство, закрыть украинские школы, запретить постановки «Наталки-Полтавки» в народных театрах и т.д.

Спустя десятилетие, политика «внутреннего колониализма» пожала свою скорбную жатву в период Голодомора в 1932–1933 годах, как в пределах Украинской ССР, так и на Кубани. Но это уже отдельная глава истории, требующая самостоятельного изложения.

* * *

В завершение вернёмся к метафоричности Николая Гоголя. Знаете ли вы украинскую ночь?

Нет, вы не знаете украинской ночи! Особенно это касается ночи перед Рождеством. Да и летней ночи, где до сих пор на всеукраинской Сорочинской ярмарке под окнами хат шатается со свиным рылом *красная свитка*, смущая православный люд призывом «вернуть все богатство народу». А на призыв встать в полный рост на пути евроинтеграции, некоторые правнуки запорожцев, под дикий хохот Басаврюка, до сих пор традиционно отвечают: «Не встанем, мамо! не встанем! умрём, а не встанем!».

Однако, по законам жанра, скоро будет светать… А затем пропоют и третьи петухи.

Выступление Владимира Путина… 2013. Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». — *RG.RU. Российская газета*. — Доступно: http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. Проверено: 08.12.2013.

Грушевской М. 1991. *Очерки истории украинского народа*. — К.

Дзюба И. 1996. *«Кавказ» Тараса Шевченко на фоне непереходящего прошлого*. — К.

Драгоманов М. 1970. Листи на наддніпрянську Україну. — Драгоманов М.П. *Літературно-публіцистичні твори*. — Т.1

Знаменский Н. 1881. *Духовные школы в России до реформы 1808 года*. — Казань.

Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. 2003. *Україна: проблеми самоорганізації*.: [в 2 т]. Том. 1. Критика історичного досвіду. — К.: Промінь. — 384 с.

Осторожно, украинофобия… 2009. Осторожно, украинофобия! — *ИноСМИ — все, что достойно перевода*. — Доступно: http://www.inosmi.ru/world/20090528/249459-print.html. Проверено: 08.12.2013.

Отношение россиян к украинцам… 2012. Отношение россиян к украинцам становится лучшим за последние полтора десятилетия. — *Сайт Андрея Ильницкого (www.amicable.ru)*. — Доступно: http://amicable.ru/news/2012/12/13/4717/otnoshenie-rossiyan-k-ukraintsam-stanovitsya-luchshim-za-poslednie-poltora-desyatiletiya/ . Проверено: 08.12.2013.

Трубецкой Н. 2007. *Наследие Чингисхана*. — М.: Эксмо.

Эткинд А., Уффельманнн Д., Кукулин И. (ред.). 2012. *Там внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России*. — М.: Новое литературное обозрение.

Єфремов С. 1926. На переломі двох епох (Іван Котляревський). — Котляревський І. *Твори*. — К.: ДВУ.

Мораль и политика

От редакции

В 2012 г. исследовательский коллектив[1] под руководством д.полит.н. С.П. Поцелуева выиграл грант РГНФ № 12–03–00401а на тему «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт интегративно-когнитивистского анализа». Первые результаты этого проекта с необходимыми методологическими комментариями были опубликованы в № 3 за 2012 г. журнала «Политическая концептология» в рубрике «Мораль и политика». В настоящем номере публикуются результаты второго (заключительного) этапа исследования в рамках указанного проекта. В данной статье, выполненной в соавторстве С.П. Поцелуевым и М.С. Константиновым, описана методология и базовые категории деятельностного подхода к проблеме взаимоотношений морали и политики. В статьях И.В. Николаева «Морально-когнитивные основы либерального понимания свободы», М.С. Константинова в соавторстве с И.В. Николаевым «Фреймы и концепты морального обоснования консерватизма», С.П. Поцелуева «Моральные мотивы и моральная риторика в марксизме и социализме» и М.С. Константинова «Коммунитаристская критика либеральной концепции моральной нейтральности» реализован интегративно-когнитивистский подход к исследованию моральных фреймов политических идеологий либерализма, консерватизма, марксизма и социализма, а также коммунитаризма.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД: МОРАЛЬ В СТРУКТУРЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ[2]

С.П. Поцелуев,
М.С. Константинов
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье описывается категориальный аппарат и методология исследования проблемы отношений между моралью и политикой с позиций деятельностного подхода. Особое внимание уделяется анализу прагматической концепции Дж.Г. Мида и концепции политической морали Б.Г. Капустина.*

Ключевые слова: *мораль, политика, идеология, методология, деятельностный подход, фрейм, концепт.*

[1]В состав коллектива, кроме руководителя проекта, вошли следующие учёные: д.филос.н., д.полит.н., проф. В.П. Макаренко, д.филос.н., доц. Т.В. Беспалова, к.полит.н. М.С. Константинов, асп. Н.В. Николаев.

[2]Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт интегративно-когнитивистского анализа», проект № 12–03–00401а.

Деятельностный подход к морали видит источник универсальности ее норм исключительно в социальности, во взаимодействии эмпирически наблюдаемых человеческих индивидов. Он отвергает любую попытку превратить мораль в метафизику, а фундаментальным категориям этики — добру и злу — приписать какой-то онтологический статус вне действующих людей. Ключевой категорией данного подхода является понятие деятельности, под которой понимается «специфически человеческая форма активного отношения к миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры» [Юдин 1997: 246]. Актуализации этой категории в истории мысли способствовала «необходимость оправдать… *соотнесение* и *связь* в мысли таких разнородных предметов, как *знания, операции, вещи, смыслы, значения, цели, мотивы, сознание и т.п.*» [Щедровицкий 1995: 233].

Смысл и содержание категории деятельности в истории научно-философской мысли

Исходные элементы деятельностного подхода были сформулированы уже в немецкой классической философии, прежде всего, в трудах И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. Так, в «Наукоучении…» И.Г. Фихте чистой деятельностью выступало самоопределение Я (субъекта) посредством создания не-Я (объекта, противостоящего Я) на основе этических идеалов. Тем самым субъект сам производит себя в процессе деятельности: «*Я полагает себя самого* и оно есть только благодаря этому самоположению. И наоборот, *Я есмь*, и оно *полагает* своё бытие благодаря только своему бытию. Оно является в одно и то же время и тем, что совершает действие, и продуктом *этого действия*, а именно: действующим началом и тем, что получается в результате этой деятельности» [Фихте 1995: 285]. Таким образом, в немецкой классической философии возникает одна из ключевых для деятельностного подхода в целом идея опосредования: «…Сознание и Я возникают и существуют лишь в результате деятельности по созданию внешнего объекта» [Лекторский 2001: 78].

Эти положения были развиты в классическом марксизме. Наиболее важной идеей К. Маркса была трактовка деятельности как практики, предметной деятельности: «К. Маркс подчёркивает, что в созданном им предметном мире человек не просто удваивает себя…, а впервые себя созидает. […Это] самоизменение возможно лишь через „изменение обстоятельств“, через предметную деятельность» [Лекторский 2001: 77; Маркс, Энгельс 1974: 262]. Особенно активно категория деятельности разрабатывалась советскими марксистами — психологами С.Л. Рубинштейном, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным и др. и философами Э.В. Ильенковым, Г.С. Батищевым, Г.П. Щедровицким, Э.Г. Юдиным и др. Основы психологической теории деятельности были заложены в контексте разработки принципа единства сознания и деятельности. «Субъект в своих деяниях, — писал С.Л. Рубинштейн, — в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его самого» [Рубинштейн 1986: 107]. Это позволило представить психику не просто как высший уровень отражения действительности, но как продукт активного целесообразного взаимодействия с ней.

Однако в этой версии деятельностного подхода существенным недостатком было то, что привилегированной формой деятельности признавался труд. И, действительно, деятельность, понятая как «социальная форма движения материи», «целенаправленное преобразование природной и социальной действительности», предполагает, что первичной формой такого преобразования, имеющей универсальный характер, является материальное производство

[Деятельность…: 112, 143], а основной формой деятельности является труд [Юдин 1997: 247].

Подобный функционализм не мог не наложить свой отпечаток на исследования морали и её связей с политикой. Несколько огрубляя, можно сказать, что проблемы отношений между моралью и политикой в контексте марксистской версии деятельностного подхода сводились к функционалистским трактовкам морали как способа нормативной регуляции [см., например: Дробницкий 2002] и в своих самых крайних вариантах — к различным аспектам классовых отношений. Так, Л.С. Выготский понимал мораль как продукт социальной психологии, как «известную форму социального поведения, вырабатываемую и *устанавливаемую в интересах господствующего класса*, разную для разных классов» [Выготский 1991: 250; *Курсив наш* — С.П. и М.К.]. Данное определение связано с общей деятельностной установкой на отрицание абсолютного «корня морали» или какого бы то ни было врождённого морального чувства, фиксацию её зависимости от исторических и социальных условий, что выражено в лаконичном определении: «…Моральное поведение есть поведение, воспитываемое таким же точно образом через социальную среду, как и всякое другое» [там же: 252]. И, несмотря на то, что это определение фиксирует важный методологический момент, вводящий мораль в исторический и социально-культурный контекст, сведéние этого контекста к классовым отношениям имеет странное следствие, согласно которому в новом, бесклассовом обществе мораль исчезнет, она будет полностью растворена в социальном поведении: «Всё поведение в целом станет моральным, потому что не будет никаких оснований для конфликтов между поведением одного лица и всего общества» [там же: 252]. Несмотря на логичность этого вывода из исходного определения морали, мы не можем согласиться с ним по причине его дискуссионности: исчезновение классовых противоречий отнюдь не означает исчезновение противоречий вообще, поэтому не означает и «отмены» морали.

В своих более сложных формах деятельностный подход в психологии не пытается редуцировать всё богатство моральных отношений к классовым [см., например: Рубинштейн 2012]. Однако в силу методологической специфики психологии деятельностный подход к изучению морали даже в самых сложных своих формах [см., например: Якобсон 1984] реализуется в виде исследования психологических механизмов нормативной регуляции, структур морального сознания, морального развития и т. д. В рамках данного подхода были получены весьма важные результаты, но, учитывая методологическую специфику нашей работы, мы вынуждены согласиться с Б.Г. Капустиным: «…Из „устройства“ морального сознания невозможно вывести то, *как* оно функционирует в делах людей. Для понимания этого, видимо, нужна *особая теория*, а не прикладная проекция той же моральной философии, занимающейся „устройством“ морального сознания. Проекция способна обернуться лишь нравоучениями или „маниловщиной“, нас разочаровавшими…» [Капустин 2004: 123–124]. В исследовании идеологий гораздо важнее понять, как *связаны* между собой моральное знание, моральный выбор и политическое действие *на основе этого выбора*, т. е. то, «*как* мораль *участвует* в формировании наших поступков, как она способна обязывать к действию» [там же: 127], а не только то, как интернализуются этические нормы в процессе морального развития и какие мотивы движут индивидом при принятии решений на основе усвоенных норм.

Поэтому в данной работе будут рассмотрены две версии деятельностного подхода, в которых осуществляется попытка создать «особую теорию, использующую знания, накопленные моральной философией, но не являющуюся простым „отростком“ последней» [там же]: прагматическая концепция морали американского социального психолога Дж.Г. Мида и концепция морального выбора в политике (политической морали) отечественного философа Б.Г. Капустина.

Прагматическая концепция морали Дж.Г. Мида

Деятельностный подход к этике в духе Дьюи и Мида развивает прагматическую концепцию морали, основой которой выступает анализ разрешения моральных проблемных ситуаций. В этом состоит отличие прагматически ориентированной этики от *пре*скриптивной этики в духе кантовского формализма и вообще любой этики, опирающейся на Абсолют (в философском или религиозном смысле). С другой стороны, прагматическая этика (как и в целом деятельностный подход) отвергает чисто *де*скриптивную этику, этический позитивизм, который ограничивается описанием нравов и отказывается от (критического) обоснования универсалистских претензий этических норм.

Прагматический концепт морали выступает против двух крайностей: с одной стороны, утилитаристской этики в духе Бентама и Милля; с другой — кантовской формальной «этики убеждения». В утилитаризме решающим моментом действия выступает результат, и считается, что основой морали является наибольшее благо для наибольшего числа людей. Но эта основа оказывается совершенно внешней поведению отдельного человека, который в лучшем случае ритуально совершает моральные поступки, но содержательно не связывает с ними своих эгоистических мотивов. Но быть «альтруистом по соображениям пользы» — это скорее логический парадокс, чем моральная позиция. Кантовская этика тоже отрывает мотив от самого действия, хотя и на свой лад, сводя основу моральности не к результату (как утилитаристы), а к мотиву. Уже Шиллер критиковал кантовский категорический императив за недооценку моральных поступков, которые совершаются из *склонности*, а не из уважения к долгу. Здесь деятельностный подход в лице Дж. Г. Мида резонно указывает на то, что утилитаристская и формалистическая этика сходятся в гедонистическом концепте человека, который должен либо подавлять свои субъективные мотивы ради Долга, либо спокойно реализовывать их с уютно-утопической надеждой на достижение (когда-нибудь) «всеобщей пользы».

Разновидностью прагматического подхода к морали является интеракционистский концепт морали у Дж. Г. Мида. Американский философ связывал со своими известными понятиями «взаимодействия», «взаимного перенимания ролей», «Я-идентичности» и др. антропологические условия реализации любых моральных норм. По Миду, «именно способность человека ставить себя на места других людей дает ему образцы того, что он должен делать в той или иной ситуации» [Мид 2009: 208]. В том числе, и моральные образцы.

Для Мида мораль существует не на небесах и не в структурах мозга; она базируется на «деятельном сотрудничестве» людей как существ, наделенных разумом. Это сотрудничество образует символический универсум человеческой практики, который одновременно есть моральный универсум. «Мы — не странники и не чужаки. Мы — дома в своем собственном мире, но этот мир является нашим не потому, что мы его наследовали, а потому, что мы его завоевали. Тот мир, что приходит к нам из прошлого, господствует над нами и контролирует нас. Мы же подчиняем и контролируем мир, который мы открыли и изобрели. И это есть мир морального порядка» [Mead 1968: 96].

Для Мида вся моральная проблематика функционально связана с действием, направленным на решение какой-то практической проблемы. Именно это действие есть источник моральной рефлексии, а не какие-то внешние для самого действия сущности. Соответственно, Мид переосмысливает традиционный для кантианства дуализм науки и этики. Этика оказывается теперь не метафизической, но эмпирически или даже экспериментально ориентированной дисциплиной, анализирующей и систематизирующей реальный опыт разрешения моральных проблем индивидами, попадающими в «моральные ситуации».

Как и для прагматизма вообще, для Мида необходимость морального поведения не может быть независимой от самого действия, чем-то производным от него, а не лежащим в его

основе. В одной из своих статей Мид называет такую моральность «фокусническим трюком» и «социальной дрессурой» [Mead 1964: 86]. Такое понимание морали упускает, по мысли американского философа, главное в ней — человека, который сталкивается с моральной проблемой в уникальной социальной ситуации.

По меткому замечанию Х. Йоаса, вопрос о правильном, *но не заданном, а творчески найденном* пути к исполнению долга взрывает все строение кантовской «этики убеждения» [Joas 1980: 122]. Вопрос только в том, что значит этот «творческий путь». Для Мида это значит диалогический и ситуативно определенный характер морального дискурса.

В моральной ситуации нет готовых решений, к которым надо только «примкнуть». Казарменное послушание кантовской этики не имеет, по Миду, никакой моральной ценности. Морально ценным является рискованный выбор в условиях различных альтернатив действия. Но для этого требуется принять во внимание все ценности, задействованные в данной ситуации. «Учет всех ценностей» Мид понимает не в том смысле, что эти ценности надо как-то примирить между собой или найти нечто «среднее» между ними.

Для Мида «учет всех ценностей» в моральной ситуации означает их рациональную проверку, понятую, прежде всего, как учет всех интересов, затронутых в данной ситуации [Mead 1934: 386]. Позволим себе пространную цитату из «Фрагментов об этике» Мида, выражающую в сжатом виде суть его тезиса об «учете всех ценностей»: «Единственное правило, которое этика может нам предложить, гласит, что индивид должен рационально вникать во все ценности, проявляющиеся в связи с какой-то проблемой. Это не значит, что он должен разложить перед собой все общественные ценности, чтобы приблизиться к данной проблеме. Нет, сама проблема определяет ценности. Ведь это — особенная проблема, и существуют определенные интересы, которые недвусмысленно при этом затрагиваются. Отдельный индивид должен все эти интересы учитывать и выстраивать затем план действий, который рационально занимается этими интересами. Это — единственный метод, который может предложить этика отдельному человеку. Крайне важно при этом, чтобы человек определял, *что* в данной ситуации составляет соответствующие интересы. Важно также, чтобы человек оценивал эти интересы беспартийно» [Ibid.: 388].

Беспартийность истинной моральной позиции означает для Мида, что следует и тогда признавать интересы других людей, когда они противоположны твоим собственным интересам, и что человек, следующий этому правилу, не жертвует собой, но обретает более широкую идентичность, расширяет масштабы своего «Я» [Ibid.: 386].

Но это расширение есть мучительный процесс, потому что он означает не просто «дискурсивное дефилирование» каких-то ценностей, а творческое рождение их через опыт людей, попавших в морально проблемные ситуации. Здесь видно, что Мид (как и в целом прагматическая этика) не приемлет ни субъективистской, ни объективистской трактовки ценностей. Оценивание есть функция человеческих «интеракций», вне человека или до человека (в Боге или в природе) ценностей нет. Собственно моральные ценности есть кристаллизация опыта разрешения моральных ситуаций.

Подлинно «моральная ситуация» возникает, по Миду, в том случае, когда ценности действующего человека приходят в столкновение друг с другом. И никто, кроме самого человека, этот ценностный конфликт разрешить не может. Его, как и смерть, невозможно переложить на чужие плечи. Этические проблемы могут быть коллективными, но и в этом случае составляющие коллектив люди порознь сталкиваются с определенной общественной ситуацией, на которую они не могут реагировать автоматически, которая каждого из них ставит в тупик.

Анализ «моральной ситуации» составляет концептуальное ядро Мидовской этики. Моральная ситуация означает кризис всей личности, потому что «моральной проблемой затрагиваются конкретные личные интересы и … в этом случае реконструируется все Я целиком в

его связи с другими Я, отношения с которыми существенны для его личности» [Мид 2009: 43].

Настоящие ценности — это не то, что начертано на скрижалях или выставлено в рамке на всеобщее обозрение — подобно тому, как настоящий язык — это не совсем то, чем заполнены словари. Мидовские «ценности» живут стихией дискуссии, аналогичной судебным процессам. «Мы обнаруживаем в моральной рефлексии конфликт, в котором некоторые ценности находят своего глашатая (*адвоката — С.П.*) в старом Я или доминирующей части старого Я, в то время как другие ценности, соответствующие другим тенденциям и импульсам, возникают в оппозиции им и находят для представления собственных доводов других глашатаев» [там же: 42].

Прохождение через моральную ситуацию — это трансформативный опыт человеческого сознания. «В каком-то смысле старое Я распадается, и из морального процесса возникает новое Я» [там же: 41]. Ре-интеграция личности происходит посредством формулировки новых ценностных критериев, которые более адекватны социальной ситуации, чем предшествующие.

Прагматическая модель морали неизбежно перетекает в сферу политической морали, потому что политика непрерывно создает «моральные ситуации». С другой стороны, моральная эволюция *каждого* человека означает расширение сообщества, в рамках которого он проходит моральные ситуации. Вначале это семья, потом образовательные и профессиональные коллективы, затем уровень народа (нации) и, наконец, масштабы всего человечества. Для Мида человек при этом продвигается не просто к более широким, но и к более совершенным концептам социальной организации, с позиций которых он потом оценивает свое индивидуальное поведение. Хотя Мид не оставил детально разработанной теории ступеней морального развития, он серьезно повлиял на становление теории моральной социализации, в частности, на Лоренса Кольберга [Joas 1980: 228].

Прагматический концепт морали подчеркивает, что социализацию посредством моральных ситуаций переживает не группа как таковая, а составляющие ее индивиды. И когда социологи или политологи констатируют, что данная группа перешла от одних моральных ценностей к другим, то фактически это значит, что имел место определенный (возможно, весьма длительный) «моральный процесс», в ходе которого вначале появились отдельные индивиды, которые стали олицетворением нового морального порядка. Каждый из этих моральных «первопроходцев» понимает себя как человек, уже принадлежащий другому, более высокому общественному порядку, приходящему на смену порядку старому. «Конечно, есть эволюционные изменения, которые протекают без реакции отдельной личности. Но моральные изменения суть как раз таковы, что они осуществляются только посредством действия самого индивида» [Mead 1934: 386].

Ради нового общественного порядка «отдельный человек может достичь точки, где он встанет наперекор всему миру, один на один с миром» [Ibid.: 168]. И это не будет проявлением его себялюбия, но сохранением его самоуважения и реализацией его гражданского права — изменять (улучшать) существующие социальные нормы. С этим правом Х. Йоас связывает характерную для Дж.Г. Мида «политизацию универсалистской этики» [Joas 1980: 138].

Позволим себе еще одну превосходную цитату из Мида, в которой излагается диалогическая суть такой этики. «Мы не просто связаны сообществом. Мы находимся в диалоге (conversation), в котором сообщество прислушивается к нашему мнению, и это влияет на его реакцию. Человек встает и оправдывает свои поступки. Это его присутственный день в общественном „суде“, он может изложить свои взгляды и, возможно, изменить по отношению к себе позицию сообщества. Диалог (process of conversation) предполагает, что у отдельного человека есть *не только право, но и обязанность обращаться к сообществу, членом которого*

он является, — чтобы вызывать те изменения, которые осуществляются посредством согласованных действий индивидов. Это и есть тот способ, каким развивается общество, а именно, развивается посредством взаимного влияния, которое осуществляется там, где человек продумывает что-то до конца. Мы в некоторых аспектах постоянно изменяем нашу общественную систему, и мы можем делать это разумно, потому что мы способны мыслить» [Mead 1934: 168; *Курсив мой* — С.П.].

Политизация универсалистской этики тесно связано у Мида с его работами по карательной ювенальной юстиции, а также по проблемам патриотизма. Патриотизм интересен американскому ученому как опыт реального морального единения людей, наряду с аналогичным опытом в мировых религиях и рабочем движении. Но самым главным моральным объединителем человечества Мид считал рынок, обнаруживая в этом вопросе некоторое сходство с марксистской традицией. Х. Йоас и в самом деле сближает эти мысли Мида с марксизмом, точнее, с представлениями молодого Маркса о коммунизме как завершенной демократии [Joas 1980: 138]. Однако самостоятельная роль морали в Мидовском понимании не позволяет отождествить его позицию с марксистским, тем более, большевистским пониманием этики. И здесь опять-таки обнаруживается специфика деятельностного подхода, развиваемого Мидом и прагматизмом в целом.

Йоас упоминает в своей книге интересный эпизод из полемики между прагматической философией в лице Дж. Дьюи и большевизмом в лице Троцкого. Джон Дьюи ответил небольшой статьёй на брошюру бывшего комиссара красной республики «Их мораль и наша». Заметим, что в своей брошюре Троцкий энергично возражает против отождествления его со Сталиным на основе общего для них революционно-прагматического принципа «цель оправдывает средства». Троцкий, размышляя над этой максимой, замечает: «Средство может быть оправдано только целью. Но ведь и цель, в свою очередь, должна быть оправдана. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдана, если она ведет к повышению власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком» [Троцкий 1990: 123]. Троцкий критикует этический абсолютизм с точки зрения классовой (пролетарской морали). Дьюи разделяет критику абсолютистской (внеисторической) этики, однако резонно указывает на этический редукционизм большевиков, заменяющих принцип божественного откровения исторической Логикой, от имени которой они готовы чинить любой моральный суд. Ортодоксальный марксизм, считает Дьюи, онтологизирует этические ценности на манер религий или старого идеализма.

В целом, диалогический концепт морали, развиваемый Дж.Г. Мидом, уходит далеко от узких (позитивистско-эмпирических) рамок бихевиористской традиции, зато приближается к классическому пониманию политики как опыту реализации этики в публичном пространстве полиса. Поэтому неслучайно Мид связывает свой моральный идеал с прямой демократией, подразумевая под ней общественный порядок, в котором нет неизменных структур, включая каталог общественно-политических добродетелей.

Концепция политической морали Б.Г. Капустина

Оригинальный подход к исследованию «„алгоритмов“ функционирования морали в современной политике» [Капустин 2004: 125] предложил отечественный политический философ Б.Г. Капустин. В некоторых аспектах его концепция перекликается с прагматической концепцией Дж.Г. Мида, но имеет и свою специфику. В объяснении взаимоотношений между моралью и политикой Б.Г. Капустин тоже считает неприемлемыми как традиционный норма-

тивистский подход, так и утилитаристские объяснительные модели[3]. Его аргументация основывается на нескольких исходных дистинкциях. Во-первых, необходимо различать два типа политики в соответствии с критериями её темпоральности и способов участия в ней человеческого разума: «большую» и «малую». «Малая политика» характеризуется самовоспроизводством всех базовых институциональных структур общества и предстаёт в виде рутинной деятельности. Будущее в ней присутствует лишь потенциально, она есть «поле настоящего, проецируемого на будущее в виде экстраполяции, но также на прошлое — в виде его колонизации настоящим, выстраивания истории по образцу лестницы, ведущей к настоящему…» [там же: 54]. Соответственно, в «малой политике» разум предстаёт в инструментальной своей ипостаси, — как калькулирующий, соотносящий вред и пользу и максимизирующий последнюю. Из этого ясно, что мораль в этом типе политики выступает в виде различных версий утилитаризма, он «буквально пронизывает „малую политику“» [Капустин 2010: 353].

«Большая политика», напротив, характеризуется неопределённостью, она есть «закладывание новых начал, новых правил новой игры. Эти новые правила не вытекают логически ни из старых правил, ни из рутинного функционирования вновь сложившейся политической структуры» [там же: 354]. В ситуациях революций, чрезвычайного положения или общественных катаклизмов будущее в политике присутствует актуально, отрицая настоящее; под вопрос ставятся самые основания политики, общества, институциональных структур, моральных принципов и т. д.; в ситуации неопределённости будущего резко возрастает роль ответственного политического и морального решения. Поэтому утилитаристская этика и ориентированный на факты инструментальный разум находят здесь свой предел. Напротив, «моральный разум кантианского типа снимает неопределённость будущего *не через познание фактов*, наличных и возможных в будущем, а через абсолютное предписание действовать, *несмотря на их неизвестность*» [Капустин 2004: 56]. Таким образом, в первом приближении кантовская этика оказывается предпочтительнее в объяснениях взаимоотношений морали и политики, чем утилитаристская.

Однако, следующее различение — типов жизненных позиций отстранённого наблюдателя за политикой (созерцателя) и её активного участника (деятеля) — демонстрирует неприменимость кантовской этики[4] в объяснениях взаимоотношений между моралью и политикой. Этот вывод следует из анализа политических последствий кантовского категорического императива о необходимости относится к «другому» только как к цели, а не как к средству[5]. «Следуя этому императиву, — замечает Б.Г. Капустин, — „относиться“ к „другому“ можно *безрезультатно*, т. е. не меняя реальное положение „другого“, если угнетатель или неблагоприятные обстоятельства уже редуцировали угнетённого к роли „средства“» [Капустин 2010: 356]. То есть, фактически в такой трактовке моральной философии И. Канта речь идёт о вы-

[3]Позицию политического имморализма Б.Г. Капустин вообще не считает нужным рассматривать, поскольку этот имморализм может быть каким угодно, только не *политическим*: «…Без принятия моральной точки зрения мы оказываемся неспособными вынести суждение по важнейшим политическим вопросам, следовательно, мы оказываемся неспособными к действиям, направленным на предметы этих суждений» [Капустин 2004: 144–145].

[4]«Созерцательная мораль в её теоретическом выражении, т. е. как чистое знание, — произведение знатоков или *экспертов* по морали. Однако это не нужно понимать так, как будто она *выдумана* ими то ли как продукт „профессионального кретинизма“, то ли как инструмент легитимации их позиции в социальной иерархии власти, статусов и доходов. Дело обстоит гораздо сложнее. „Моральное знание“ есть концептуальное и систематизированное выражение *обыденного* созерцательного сознания, обусловленного приватно-деполитизированным, а потому социально бездеятельным способом существования его носителей» [Капустин 2004: 85–86]. Кант, согласно Б.Г. Капустину, — «*абсолютный зритель*, не смеющий и думать о каком-либо практическом участии в делах, даже вызывающих его столь горячий энтузиазм и сочувствие, как французская революция» [там же: 91].

[5]«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [Кант 1965: 270].

ражении сочувствия политическим делам, а не участии в них. Но возможна и другая интерпретация, достаточно лишь изменить позицию созерцателя на позицию деятеля: «…Тот же императив можно понять как предписание *не допускать* отношения к другому только как к средству или (что то же самое) *деятельно утверждать другого в качестве цели*. Следование так понятому моральному долгу непременно заставит поступать вопреки тем, кто аморально сводит „другого“ к роли только средства. Поскольку моральный долг предписывает действовать, невзирая на последствия, мы должны любой ценой… сопротивляться попранию человеческого достоинства „другого“ и его превращению в „средство“» [там же: 357; *Курсив наш — С.П. и М.К.*].

Как можно заметить, здесь изменяется само содержание понятия «долг», который в кантианской созерцательной позиции определялся как «*необходимость* [*совершения*] *поступка из уважения к закону*» [Кант 1965: 236]. В позиции же деятеля «долг» понимается не автаркически, — с точки зрения изолированного сознания, — но как «*определённая модальность реального отношения*», которая требует на другой своей стороне партнёра, способного к установлению такого же отношения [Капустин 2004: 67]. Как следствие, «ключевым условием исполнения долга является *рефлектирующее определение* и того, с кем я имею дело…, и моих обязательств в отношении его» [там же]. Здесь важнейшее значение приобретает *самоопределение* человека действующего, в нескольких аспектах: в отношении морали («он *выбирает* руководствоваться моралью, хотя может выбрать иное»), в отношении долга («*выбирает* те обстоятельства, которым он в данной ситуации „здесь и сейчас“ придаёт значение „абсолютного долга“»), в отношении жизненной ситуации («моральное сознание… [есть] *решение*, обусловленное „эмпирическими“ обстоятельствами жизни человека») [там же: 77]. Следовательно, существенно изменяется понимание морали и морального/политического действия: «Мораль оказывается *особой стратегией* преобразования или преодоления такой ситуации» [там же].

Таким образом, рассмотренным двум типам политической морали Б.Г. Капустин противопоставляет мораль деятеля, активного участника политики. Исходной гипотезой концепции Б.Г. Капустина является предположение о том, что моральная рефлексия актуализируется в политической практике некоторыми конфликтными ситуациями, возникающими на основе неразрешимых посредством разума политических проблем или противоречий. Мотивируя политическое *действие*, эти ситуации выступают в роли «„механизмов запуска“ морального мышления» [там же: 245]. Особенность этих проблемных ситуаций состоит в том, что они не могут найти своего разрешения без опосредования моралью, которая в данном контексте приобретает свойство аристотелевской причинности, выполняя функции абсолютного долженствования и целеполагания, «выходящего „по ту сторону“ наличной действительности» [там же: 6].

Содержание политической морали Б.Г. Капустин раскрывает посредством её противопоставления профессиональной этике, политической этике и «общечеловеческой морали». В отличие от профессиональной этики, политическая мораль имеет претензии на универсальность в рамках коллективного целого — класса, нации, человечества и т. д., — а не узкопрофессиональных групп людей. Поэтому для профессиональной этики характерно представление о плюрализме нормативных правил для различных профессий; универсализм же политической морали требует преодоления морального плюрализма, рассматривая его как «сумму заблуждений» [там же: 249]. С другой стороны, профессиональная этика не предполагает саморефлексии, автономии и свободы, характерных для морали вообще; она есть лишь свод предписаний, выражающих условия воспроизводства конкретной профессиональной группы. «Мы же будем вести речь, — пишет Б.Г. Капустин, — не о профессиональной деятельности, а о деятельности *граждан*, не о том, *что* они требуют, а о том, *как* они на деле осуществляют

свои требования. Соответственно, мы будем исследовать *универсальные*, а не специфические „проявления“ морали в разных контекстах борьбы…» [там же: 125].

Отличия политической морали от политической этики сводятся к следующему. Обе представляют собой нормативные ориентиры, но политическая этика ориентирует коллективное действие, а политическая мораль — индивидуальное мышление. Первая опредмечивается в институциональных структурах общества, политическая же мораль этой способностью не обладает, она лишь направляет индивидуальную рефлексию по отношению к результатам этого опредмечивания. Субъектами и носителями политической этики выступают участники коллективного действия в публичной сфере, в то время как политическую мораль практикуют политически инертные частные лица, не покидая приватной сферы. Однако всё это не означает «снятия» в гегелевском смысле политической морали в политической этике, напротив, они связаны «сложными отношениями сосуществования, частичного перетекания одного в другое и обратно, столкновений и взаимодополнений, причём всё это обусловлено… ситуативно меняющимися обстоятельствами» [там же: 253].

Далее. На большей части истории политической мысли доминировало представление о том, что политическая мораль есть специфическое *приложение* «общечеловеческой» морали к делам политики. Однако это есть серьёзное заблуждение, поскольку между политической моралью и «общечеловеческой моралью» есть существенные различия. Существует множество видов нормативных моделей морали и моральной рациональности [см., например: Апресян 1995], для каждой из которых характерны собственная структура, логика оценочных суждений, отношения к действительности и т. д. Политическая мораль, несмотря на её претензии на универсальность, тоже очень разнообразна. Но это разнообразие обусловлено не проекцией на политику различных систематизированных концепций морали, но по причине разнообразия оценок политических явлений и понимания моральных проблем участниками политики: «Для понимания *политической* морали особой и важной проблемой является то, каким образом разные политические ситуации или коллизии…активизируют в сознании разных групп людей „коды“ тех или иных видов морали в качестве преобладающих в данный момент…, какие явления, отношения, институты и почему оказываются в данном обществе и в данной исторической ситуации оказываются *моральными проблемами*, а какие — нет» [Капустин 2004: 258–259].

Кроме того, в отличие от «общечеловеческой морали», политическая мораль не есть самозаконодательство, в смысле предъявления требований самому себе; напротив, выдвигает требования для других — представителей власти, политических противников и т. д. Важной особенностью политической морали в данном аспекте является то, что «не мы, а другие несут ответственность за исполнение требований политической морали. Но судить о моральном качестве такого исполнения будет не их, а „наше“ нравственное сознание» [там же: 262]. К этому добавляется ещё одно отличие: «общечеловеческая мораль» претендует на представление «разума вообще», в то время как политическая мораль всегда «авторизована», она говорит от имени «мы», обращаясь к «они», на основании универсальных ценностей добра и зла. Из этого следует, что универсализм политической морали и «общечеловеческой» имеет важные различия: «Универсализм последней направлен на *мотивацию* — все люди должны иметь её в качестве „руководства к действию“; универсализм первой направлен на *следствия* — все действия некоторой группы людей — политиков… должны давать определённые результаты (безопасности, благополучия, защиты ценностей и т. д. данного сообщества» [там же: 263].

На основе проведённых дистинкций Б.Г. Капустин формулирует определение политической морали, дополнив определение, предложенное американским политологом С. Льюксом: политическая мораль есть «совокупность принципов, описываемых на весьма абстрактном

уровне, которые лежат в основе различных частных политических позиций» и являются «конститутивными», т. е. теми, что «ценятся сами по себе» [там же: 272]. К этому необходимо добавить, что «для политики нет предпосланного ей „морального консенсуса“» [там же: 274] и по этой причине возникает необходимость говорить о различных моделях нравственной рациональности.

Из вышесказанного понятно, что интеллектуальная традиция, разводящая мораль и политику по «разным мирам» и ставящая задачу применения моральных норм к политической деятельности, не в состоянии дать удовлетворительного объяснения всех сложностей отношений между моралью и политикой: «…Применение морали к политике в любом варианте, т. е. *то или иное* соотнесение их как двух внешних миров, не может не приводить и к ошибочным представлениям о политике…, и к выхолащиванию моральной теории, к потере ею того ядра, которое заключается в её *обязательстве* отвечать на вопрос, „что я должен делать?“, и к сведéнию её к академическим упражнениям на тему обоснованности моральных суждений» [там же: 246]. Напротив, согласно Б.Г. Капустину, моральный выбор и политическое действие связаны друг с другом: проблемные политические ситуации инициируют моральное мышление, результаты которого реализуются в политической практике. В таком понимании политическая мораль оказывается не предпосланной политике, как это предполагалось морализаторскими теориями морали, напротив, она *зависима* от политики, она есть «*продукт* „большой“ политики и сама *есть* „большая“ политика» [там же: 79]. Но здесь требуется одно уточнение. Мораль, в представлении Б.Г. Капустина, *зависит* от политики, но не тождественна ей. Противное означало бы политический аморализм, который ничуть не лучше политического морализаторства. Б.Г. Капустин подчёркивает, что мораль *противоположна* политике и именно поэтому возникает необходимость их *сопряжения* [Капустин 2010: 347].

Ключевой проблемой, выявляющей противоположность морали и политики, согласно Б.Г. Капустину, является проблема насилия. Политика связана с властью, которая по определению предполагает принуждение. Мораль же представляется добровольной саморегуляцией на основе универсальных принципов: «Принцип добровольности морали, таким образом, оказывается в прямом противоречии с принципом власти и принуждения, без которого политика не есть политика» [там же: 348]. С другой стороны, насилие уничтожает в человеке способность оценивания самого себя, общественных институтов, политической деятельности и т. д. с позиций добра и зла, разрушая тем самым основания самой политики [Арендт 2000: 229 и сл.]. «Здесь и возникает, — заключает Б.Г. Капустин, — с особой остротой вопрос о сопряжении политики и морали как „последнем рубеже“ обороны человеческого в человеке против политики, превращающейся в чистые технологии манипуляции. В этом смысле, мораль, сопротивляясь такому перерождению политики, необходима последней для того, чтобы она могла оставаться самой собой» [Капустин 2010: 348].

Заключение

Подводя итог нашему рассмотрению методологической специфики деятельностного подхода, можно сделать следующие выводы. Основными постулатами деятельностного подхода к исследованиям отношений между моралью и политикой выражаются в следующих тезисах: моральные нормы не имеют метафизического статуса; нормы возникают в процессе взаимодействия людей и потому амбивалентны: они есть способ изменения как субъекта деятельности, так и окружающей его действительности; нормы интернализуются в процессе морального взросления индивида, однако не остаются данными раз и навсегда, они изменяются

в деятельности; моральное сознание есть не просто высший уровень отражения действительности, но и саморегуляции всей жизни человека.

Фактически, деятельностный подход к пониманию морали означал начало постметафизического поворота в исследованиях этики. Этот поворот заключается «в отказе от сведéния всего ценностно-императивного содержания морали к идеалу и „высшим ценностям“, в рассмотрении морали в контексте различных гедонистически-перфекционистских, коммуникативных, коммунитарных, общественных практик, в перенесении акцента в этическом рассмотрении с Я на отношения Я – Другой/Другие, в признании легитимности разнообразного (в определённых ценностных границах) морального опыта и т. д.» [Апресян 2009: 487]. Говоря иначе, в подходе Дж.Г. Мида и Б.Г. Капустина появляется некоторая специфика, по сравнению с «традиционным» деятельностным подходом: здесь уже не просто исследуется, как происходит становление морального сознания в процессе деятельности индивида и какое значение имеют этические нормы в данном процессе, но осуществляется попытка объяснить, почему одни и те же моральные принципы приводят к различным результатам в политической деятельности.

Суть проблемы заключается в том, что «мораль *не* движет политикой…, на её основе нельзя объяснить важнейшие поступки и решения людей. Более того, нужно признать, что теория морали не в состоянии показать даже то, как *действует* само моральное сознание. Она проходит мимо того, *почему и вследствие чего* люди встают на моральную точку зрения, *что* заставляет их фокусировать „моральный взор“ на одних предметах и не замечать другие, *к чему* приводит моральное рассмотрение этих предметов, дающее столь различные результаты в разных ситуациях (от замыкания в себе до участия в революция)» [Капустин 2004: 132].

Апресян Р.Г. 1995. *Идея морали и базовые нормативно-этические программы*. — Москва: ИФРАН. — 353 с.

Апресян Р.Г. (ред.). 2009. *Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы*. — Москва: Альфа-М. — 494 с.

Арендт Х. 2000. *Vita activa, или О деятельной жизни*. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. — 437 с.

Выготский Л.С. 1991. *Педагогическая психология*. — Москва: Педагогика. — 480 с.

Деятельность… 1990. *Деятельность: теории, методология, проблемы*. — Москва: Политиздат. — 366 с.

Дробницкий О.Г. 2002. *Моральная философия: Избранные труды*. — Москва: Гардарики. — 523 с.

Кант И. 1965. Основы метафизики нравственности. — *Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4. Ч. 1*. — Москва: Мысль. — С. 219–310.

Капустин Б.Г. 2004. *Моральный выбор в политике. Учебное пособие*. — Москва: КДУ: Изд-во МГУ. — 496 с.

Капустин Б.Г. 2010. *Критика политической философии: Избранные эссе*. — Москва: Территория будущего. — 424 с.

Лекторский В.А. 2001. *Эпистемология классическая и неклассическая*. — Москва: Эдиториал УРСС. — 256 с.

Маркс К., Энгельс Ф. 1974. *Сочинения. Т. 42*. — Москва: Издательство политической литературы. — 537 с.

Мид Дж.Г. 2009. *Избранное: Сб. переводов*. — Москва: ИНИОН РАН. — 290 с.

Рубинштейн С.Л. 1986. Принцип творческой самодеятельности (К философским основам современной педагогики). — *Вопросы психологии*. — № 4. — С. 101–108.

Рубинштейн С.Л. 2012. Глава 6. Этика и политика. — *Рубинштейн С.Л. Человек и мир*. — Москва: Питер. — С. 391–399.

Троцкий Л.Д. 1990. Их мораль и наша. — *Вопросы философии*. — № 5. — С. 105–126.

Фихте И.Г. 1995. *Сочинения. Работы 1792–1801 гг*. — Москва: Ладомир. — 656 с.

Щедровицкий Г.П. 1995. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности. — Щедровицкий Г.П. *Избранные труды*. — Москва: Школа Культурной Политики. — С. 233–280.

Юдин Э.Г. 1997. *Методология науки. Системность. Деятельность*. — Москва: Эдиториал УРСС. — 445 с.

Якобсон С.Г. 1984. *Психологические проблемы этического развития детей*. — Москва: Педагогика. — 144 с.

Joas H. 1980. *Praktische Intersubjektivität. Die Entwicklung des Werkes von G.H. Mead*. — Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mead G.H. 1934. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. — Chicago & London: The University of Chicago Press, 1934. — 401 p.

Mead G.H. 1964. The Philosophical Basis of Ethics. — Mead G.H. *Selected Writings*. — Indianapolis: Bobbs-Merrill. — P. 82–93.

Mead G.H. 1968. Scientific Method and the Moral Sciences. — Mead G.H. *Essays on his Social Philosophy*. — New York: Teacher's College. — P. 199–214.

МОРАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ СВОБОДЫ[1]

И.В. Николаев
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье проводится анализ этических теорий основных направлений либеральной политической мысли в процессе их становления. Обосновывается базисный характер идеи «свободы» для либерализма, проводится концептуальный анализ этого понятия. Основной целью исследования выступил поиск инвариантных элементов этического осмысления концепта свободы, а также выявление моральных фреймов, ассоциированных с этим понятием.*

Ключевые слова: *мораль, политика, идеология, либерализм, фрейм, концепт.*

Либерализм развивался в условиях крайней плюральности и позволил сформировать в своих рамках множество направлений и даже выделить из своего состава ныне считающиеся полноценными идеологии либертарианства и коммунитаризма. Однако на фоне позитивного влияния внутреннего многообразия, оно вызывает и определенные аналитические затруднения, связанные с проблемой дефиниции либерализма как формы политического учения и как формы политического мышления. Главной задачей исследований политического либерализма, по мнению Б.Г. Капустина, является не констатация факта многоликости этой идеологии, а поиск общего лица либеральных теорий, что происходит по двум схемам: выявлением общего знаменателя различных подходов или обобщением, стандартизацией представлений политических мыслителей [Капустин 1994].

Интегрирующим фактором для всех направлений либерализма выступает ключевой концепт «свобода», который однако связан в различных либеральных теориях с разными формами и моделями политического поведения и сознания. Целью данной статьи является поиск различия в фреймовых структурах этико-политических трактовок концепта «свобода» в основных течениях либеральной мысли в исторической перспективе.

Итак, либерализм традиционно считается первым в хронологии возникновения идеологий. Возникновение этого направления общественной мысли связывается с формированием интеллектуального и этического недовольства феодальными порядками в Европе XVII–XVIII вв. Рассматривая минусы существовавшего политического устройства, классики либеральной теории (Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо и др.) критикуют абсолютизм и его этическую и институциональную основу — систему сословной иерархии и сословных приви-

[1]Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт интегративно-когнитивистского анализа», проект № 12–03–00401а.

легий. Концентрация власти в руках немногих, подчиненное положение личности, безправие народов и многое другое стало предпосылками возникновения концепта свободы в качестве базисного для новой идеологии.

Либерализм придерживается нескольких ключевых принципов:

1. теория естественного состояния;
2. концепция общественного договора;
3. суверенитет народа;
4. наличие неотъемлемых прав личности.

В основе всех этих принципов лежит этико-политическое переосмысление места личности в политическом и историческом процессе, ставшее результатом развития философии и науки в эпоху Просвещения. Либерализм — это протест против централизации власти, на протяжении всего своего развития эта идеология выступала против концентрации полномочий в одних руках, что принципиально ведет к злоупотреблениям и реализации произвола одного на фоне порабощения многих. Подобный принцип приводит либералов к идеям о разделении властей, децентрализации органов управления, суверенитете и праве народов, верховенстве законодательства и изначального равенства всех людей. Все это является реализацией концепта свободы и свободной личности.

Таким образом, ключевой вопрос либеральной политической теории наполнен явным этическим смыслом: как соотносится личность, действующая на основе принципа свободы, и государство с его стремлением к унификации и расширению сферы влияния на максимально большую долю человеческой жизни?

Этика свободы в либеральной политической мысли

В либерализме идет речь не о свободе абстрактного человека как универсальном понятии, а о свободе конкретной личности и тех возможностях и достоинствах, которая она дает. В связи с этим необходимо обратиться к пониманию человека и его природы, имеющееся в либеральной теории. При этом Б. Капустин выделяет главной проблемой политического либерализма возможность существования общественного порядка и вообще общежития на основе признания индивидуальной свободы, понимаемой как право человека действовать по своему усмотрению [Капустин 1994]. В двойственном положении оказывается идея государства как результата общественного договора (т.е. полезного необходимого зла) и возможности индивида подвергать сомнению и не принимать даже самые благоразумные государственные установления. Таким образом, признание свободы означает зависимость общественного устройства от способности и желания людей сосуществовать совместно.

Теоретики либерализма предлагают различные пути разрешения противоречия частной свободы и существования государства, в том числе основывая их на моральных установка. Так, у Б. Капустина выделены три типа обоснования человеческого общежития: 1) гносеологический, исходит из представления о том, что индивид постигает закономерности природы и существования человека и в течении времени формирует специфические способности и знания, позволяющие ему жить совместно с другими; 2) онтологический тип предполагает, что способность к созданию общественных институтов и общежитию возникает в процессе практического взаимодействия людей; 3) третий тип либерализма технологический базируется на представлении о необходимости урегулирования конфликтов между индивидами, происходящее посредством агрегирования интересов, на основе которого возникает потребность в общежитии [там же].

Теоретическая база либерализма неоднородна, как в институциональном, так и в этическом аспекте, однако исследователь Л. Никонов предлагает выделять ряд концептов, по его мнению, присущих подавляющему большинству либеральных теорий: 1. неприятие агрессивного насилия (инициации насилия); 2. принцип самопринадлежности; 3. теория справедливо-

сти, основанная на праве собственности [Никонов 2013].

Предотвращение актов насилия над личностью возможно только в форме запрета, который может быть обоснован только в случае согласия с ним всех моральных субъектов. «Единственное, что пожелали бы запретить безоговорочно все — это применение по отношению к ним силы, которая способна препятствовать их личным стремлениям, каковы бы они ни были» [там же]. При этом недопустима исключительность, т.к. наличие привилегий в допустимости насилия ведет к провоцированию конфликтов и применению силы. Универсальность относится к запрету инициирования насилия в отношении личности и попытки ограничения его прав, однако ответ на агрессивное насилие не попадает под запрет, так как выступает восстановлением баланса.

Все права человека в той или иной степени сводятся к категории собственности, благодаря чему ключевым принципом либерализма выступает именно признании права на обладание собственностью. У либертарианца М.Н. Ротбарда находим следующий пример: человек «не имеет права на «свободу печати», право, которое он действительно имеет — это право написать и опубликовать памфлет, а также продавать этот памфлет тем, кто желает его купить (или раздавать бесплатно тем, кто желает его взять). Таким образом, все, что он имеет в этом случае — это права собственности, включая право добровольного контракта и передачи части или всех этих прав» [Rothbard 1998: 113–114]. Признание факта владения является основой правил социального взаимодействия и границ реализации свободы. Нарушение права собственности ведет к нарушению универсального запрета на инициирование насилия и наносит урон свободе человека.

К праву собственности сводится и понимание либерализмом личности. Человек по природе принадлежит сам себе, поэтому любые формы насилия, принуждения и порабощения являются противными естественному порядку вещей и естественной свободе человека. Таким образом, принцип самопринадлежности и запрет на инициирование насилия задают рамки либеральной справедливости, которые утрировано сводятся к установлению зон невмешательства, характеризующихся правом собственности. Классик либерализма Дж. Ст. Милль дополняет, что каждый человек придерживается принципа: «Каждый должен поступать, как я и мои друзья, одобряющие мое поведение» [Милль 2013]. Таким образом, разумность и признание универсальных принципов либеральной мысль составляют базис мирного сосуществования людей, способных самостоятельно разделять добро и зло, пользу и вред. Состояние свободы, пишет Дж. Локк, «имеет закон природы, которым оно управляется и который обязателен для каждого; и разум, который является этим законом, учит всех людей, которые пожелают с ним считаться» [Локк 1988а: 264].

Естественное состояние — состояние всеобщей свободы, — логический конструкт, легший в основу теории либерализма, прав человека и laissez-faire. Две традиции в описании человеческой жизни до появления каких-либо правительств берут начало в работах Дж. Локка и Т. Гоббса. Методологическое допущение Локка восходит корнями к библейским мотивам и к древнегреческим мифам о золотом веке. Представление о естественном состоянии заключается в сосуществовании людей, реализующих свою полноценную свободу и естественные права, которые дарованы им богом и во многом тождественны разумности человека. В свою очередь Гоббс исходил из атеистических представлений и предполагал естественное состояние как пространство произвола, торжества негативных качеств человека, заложенных от природы. Если естественное состояние Гоббса — это описание жизни дикарей, то у Локка — «воображаемого сообщества добродетельных анархистов» [Рассел 2013].

Свобода в этике либерализма тесно взаимосвязана с концептом равенства. Признавая, что равенство часто входит в противоречие со свободой, либеральная теория отрицает равенство в экономическом и социальном смысле. «Обеспечить равенство, — пишет Р. Дворкин, — можно только ценой ограничения свободы, а последствия свободы порой оказываются пагубными для равенства» [Дворкин 1998: 55]. Поэтому либерализм занимает срединную

позицию поиска оптимального сочетания этих явлений, благодаря чему часто обвиняется в нерешительности и конъюнктурности.

Б.Г. Капустин называет базой формировования социально-политической теории либерализма методологическое признание свободы частного лица, однако отмечает, что индивидуалистическая установка не ведет за собой «онтологической первичности» [Капустин 1994] индивида. Так, у Гегеля государство как объективная нравственность первична и является условием для перерастания семьи в гражданское общество, в рамках которого уже первичен индивид [Гегель 1990: 278].

Гегель приходит к проблеме дихотомии свободы и необходимости, к вопросу их границ и возможности сосуществования. При этом философ находит истоки свободы в самой необходимости. «Будучи сама по себе прежде всего „только понятием, принципом духа и сердца“ свобода „сама определяет себя к развитию до степени предметности», приобретает «форму необходимости“» [Асмус 1995]. Переход от необходимости к свободе предполагает переход разума от постижения бытия как единичного и ограниченного к пониманию бытия как всеобщего и бесконечного. Свобода — это субстанциальная сущность духа, и достигается путем постижения нравственности, которое способствует расширению ограниченной субъективности. При этом свобода получает свою определенность во всеобщности, поэтому ее истинным субъектом является народ. Такой ход рассуждений приводит Гегеля к трактовке истории как этапов деятельной реализации свободы, проявления духа народа.

Итак, либеральная концепция свободы предполагает:

- существование свободной от вмешательства государства (общества) сферы частной жизни;
- существование границы этой сферы;
- признание необходимости ограничения государственного вмешательства в жизнь граждан [Зотов 2012].

Таким образом, либерализм можно назвать идеологией свободных, самодостаточных и рационально и эгоистически мыслящих индивидов, обладающих экономической собственностью как залогом человеческой самостоятельности.

Моральное обоснование концепта «свобода» в течениях либерализма

Предпринимая подобное исследование, следует оговориться, что оно по определению не может быть полноценным, и представляет собой фрагментарный анализ этических элементов либеральных теорий. Это обусловлено разнообразием подходов и течений внутри либерализма, а также спецификой их взаимодействия и внешнего восприятия. В данном разделе мы рассмотрим этические теории основных представителей либерализма с момента его зарождения до современности и предпримем попытку систематизации и выявления ключевых моральных фреймов, ассоциированных с концептом «свобода».

Ранний либерализм

Обратимся для начала к учению Джона Локка, одного из основоположников либерального мировоззрения. Он полагал, что главной функцией государства является создание условий для хорошей жизни, для реализации человека в обществе. При этом государство противопоставляется естественному состоянию, как политическое образование на основе договора и совокупность независимых свободных граждан, взаимодействие между которыми происходит посредством естественных законов. Свобода базируется на принадлежности к собственности. Государство же призвано общественным договором к защите собственности от посягательств и для установления равенства между людьми, но не социального или экономического, а юридического, то есть равенства перед законом. «Гражданскими благами, — пишет

Локк, — я называю жизнь, свободу, телесное здоровье и отсутствие физических страданий, владение внешними вещами, такими, как земли, деньги, утварь и т. д. Обеспечивать и полностью сохранять как всему народу в целом, так и каждому гражданину в отдельности справедливое обладание этими относящимися к повседневной жизни вещами есть долг гражданского правителя, опирающегося на законы, равно обязательные для всех» [Локк 1988b: 94].

Локк убежден в человеческой разумности и рациональности, однако это качество в большей мере присуще тем, кто обладает собственностью и способен действовать из расчета своей пользы или в целях сохранения таковой. Апофеозом теории Локка становится оправдание революций как крайней меры защиты прав индивидов. «Поскольку правительства создаются для защиты естественных прав личности, они не имеют права требовать повиновения, если сами, вместо защиты, нарушают или уничтожают эти права» [Дьюи 1997: 55]. При этом английский философ склонен приписывать категории собственности очень широкий спектр явлений: сам человек является собственностью самого себя; то, к чему он прилагает свой труд, что производит; то, что попадает в сферу его естественных прав. Таким образом, под собственностью понимается все, что должно охраняться политической организацией.

Локк создает свою концепцию в период религиозного противостояния католиков и протестантов, поэтому в его работах значительное место отведено понятию веротерпимости, как признания допустимым существования других религий и уважения к ним. На этой идее в последующем будет построена теория толерантности.

Ш.Л. Монтескье делает акцент на географическом детерминизме форм политической организации, и соотвественно, способов реализации прав человека, в том числе и свободы. Разделяя свободу на естественную (в период до образования политических структур) и политическую, философ утверждает, что естественная свобода реализуется через обычаи, нравы и традиции, однако не может быть сохранена на фоне возникающих конфликтов по поводу пользования благами. Поэтому люди заключают общественный договор и ограничиваются политической свободой, то есть правом делать все, что дозволено законом. Право в философии Монтескье выступает мерой свободы.

Исходя из всеобщности свободы Монтескье говорит о недопустимости концентрации власти в одних руках. Абсолютизация власти ведет к тирании и покушению на свободу индивида. Из этого суждения вытекает идея разделения ветвей власти, как способа взаимоограничения произвола власть имущих.

Ж.Ж. Руссо говорит о нравственности как о изначальном качестве человека. От природы каждому индивиду присущи два моральных принципа: себялюбие, проявляющееся в стремлении к самосохранинею, и сострадание, как стремление к сохранению рода. Переход от естественного состояния к гражданскому соответствует переходу от доминирования инстинктов к справедливости, формируются такие категории как право и долг, а человек осознает необходимость считаться с интересами и правами других. В условиях естественного состояния границей свободы является только физическая сила индивида, в то время как в политическом сообществе человек обретает гражданскую свободу, ограниченную общей волей.

Анализируя представления о естественном состоянии Руссо выводит два типа нравственности, которые по мнению А.А. Гусейнова, трансформируются в два моральных типа личности [Гусейнов 2003: 650]: 1. дикарь — пассивен и желает только покоя и праздности; 2. гражданин — деятелен, находится в постоянном движении. «Дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда — вне самого себя; он может жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования» [Руссо 1998: 138].

Шотландский экономист Адам Смит выдвигал идеи либерализма, основанного на свободе экономических отношений. Понятие свободы в трактовке Смита получило «иное, более практическое толкование. В конечном счете, целью стало подчинить политическую деятель-

ность экономической, связать естественные права с правами на производство и обмен и вложить новое содержание в более раннее понимание разума» [Дьюи 1997: 58]. Экономический атомизм (индивидуализм) выступает методологическим базисом, а личный интерес индивида — главным элементом регулирования рыночной экономики. Частный интерес и в том числе его реализация в человеческих пороках и неправомочных поступках не представляют для Смита препятствий в убеждении, что люди действуют, движимые заботой и симпатией к другим. Предполагается, что даже негативная сторона человеческой природы, проявляющая себя в стремлении к личной выгоде за счет других, трансформируется посредством законов рынка в общее благо. В связи с этим следует разделять частную жизнь и общественную.

Индивид при любых обстоятельствах стремится к максимальной выгоде, и действует для этого сторого рационально. Это утверждение легло в основу теории homo economicus и последующей экономической мысли вплодь до наших дней, однако не решило «проблему Смита»: как из вожделеющих индивидов способен складываться общественный порядок, построенный на добродетели? Неограниченный индивидуализм, по убеждению Смита, может привести к хаосу, поэтому рынок как пространство естественных ограничений в процессе взаимодействия людей, своей «невидимой рукой» регулирует социальные и этические отношения.

Экономическое равенство Смит не рассматривает, однако говорит о справедливой возможности индивида получить соответствующую его вкладу долю общественного продукта. «Ни одно общество не может развиваться и быть счастливым, — пишет А. Смит, — если большая часть его членов не вылезает из бедности. Равенство состоит в следующем: те, кто кормит, одевает и строит жилища для всего общества, должны иметь возможность получить свою долю общественного продукта, чтобы и самим быть сытыми, одетыми и с кровом над головой» [Смит 2013].

Таким образом, уже в период формирования либеральных теорий складывается ряд базовых фреймов, конкретизирующих концепт «свобода». Среди них: признание равенства формой существования свободы; отказ от концентрации власти в одних руках и стремление к децентрализации; обладание собственностью как гарантия частной свободы.

Классический либерализм XIX века

Родоначальник утилитаристской теории Иеремия Бентам полагал, что человеком в его социальной активности руководят страдания и удовольствия и существует возможность управлять поведением индивида увеличивая или уменьшая ту или иную сторону. В основе законодательства и общественного устройства лежит стремление человека к удовольствиям. Это положение Бентам считает не требующим доказательства, так как стремление к пользе заложено в человеке от природы [Сейдеметова 2011]. «Самые порочные люди и самые добродетельные имеют совершенно одинаковые мотивы действия: и те, и другие хотят увеличить сумму своего счастья» [Бентам 1834]. Признавая за человеком рациональную природу, он предлагает проводить рассчеты какие действия могут принести максимальное удовольствие, а какие — наименьшее страдание. Однако при отстутствии установленой системы координат — единиц измерения, сложно говорить о разумности подобной системы оценки поведения человека.

Бентам — сторонник крайнего индивидуализма. Удовольствие (счастье) и страдание могут быть только индивидуальными: государство и общество их не испытывают. Поэтому высшей формой счастья государства выступает механическая сумма удовольствий его граждан. «Наивысшее возможное счастье наибольшего возможного числа отдельных индивидов» — главный принцип общественного существования. Исходя из этого, Бентам объявляет первичность индивида по сравнению с любыми сообществами и государством. Однако индивид у английского философа — вневременная абстракция, которая не имеет соотношения с

историей и традицией. Последняя может быть полезна и эффективна только в случае успешного прохождения критического анализа на предмет возможного счастья максимального количества людей.

Философия Бентама с индивидом в центре практически не учитывает социальные группы, сословия, классы и т. п., но признает необходимость сглаживания конфликтов и агрегирования интересов. Средством для исполнения этой задачи является законодательство, основанное на гармонии и учете стремлений каждого индивида к наибольшему удовольствию. «Счастье отдельных лиц, из которых составляется общество, т. е. их удовольствия и их безопасность, — пишет Бентам, — есть цель и единственная цель, которую должен иметь в виду законодатель: это — единственный стандарт, с которым каждое отдельное лицо, насколько это зависит от законодателя, должно быть заставлено сообразовать свое поведение» [Бентам 1998: 35].

Французский либеральный философ Бенжамен Констан проводит сравнение свободы у древних и свободы современного ему человека и приходит к выводу, что несмотря на коллективистский характер свободы в древнегреческих полисах она была более действенной. Причиной сокращение эффективности свободы Констан видит в следующем: обширность государств уменьшает значимость каждого человека; отмена рабства вынудила свободных граждан выполнять все общественные функции, что лишило их времени на политическую активность; коммерческая деятельность, ставшая основной в Новое время не оставляет человеку периодов бездействия; и наконец, коммерция способствует стремлению к независимости [Констан 1993]. Именно в «мирном пользовании своей независимостью» Констан видит современную свободу, в отличие от древней, позволявшей коллективно участвовать в отправлении властных функций.

Констан индивидуалист и выступает за негативную свободу, то есть за свободу от вмешательства в частную жизнь, и не признает свободы народа или других коллективных субъектов. Частная свобода не может быть разменной монетой в политических установлениях, любое законодательство должно исходить из уважения к индивиду. При этом суверенитет народа понимается как невозможность доминирования свободы одного или немногих людей над другими.

Теоретики социального либерализма Дж.Ст. Милль и Т.Х. Грин выявляют существенное противоречие классического либерализма в том, что он основывает принцип свободы на наличии собственности. Это автоматически лишает свободы людей наемного труда. В итоге социальный либерализм придерживаясь традиционных ценностей, выстраивает их в иерархию и наполняет новым смыслом, акцентируя внимание на том, что мера свободы может оцениваться каждой социальной группой по-своему. «Мораль страны, — пишет Милль, — исходит из интересов класса, который в данное время на подъеме» [Милль 2013].

Милль и Грин ставят в приоритет принцип свободы, который совмещает в себе ка негативный, так и позитивный аспекты. Собственность перестает быть такой же ценностью как и свобода, она становится инструментальной, что в определенной мере позволяет государству вмешиваться в сферу частной собственности, если того требует необходимость поддержания свободы.

При этом трансформируется понимание природы личности, она, по убеждению Милля, социальна. Полноценную реализацию своей свободы человек может получить только в условиях общества. Свобода не принадлежит человеку изначально, свободы необходимо достичь [Суханова 2008], что значительно зависит от институциональной среды, окружающей человека. Социальный либерализм привносит элемент деятельности в концепт свободы, это не только заложенное природой прерогатива, но объект, за который необходимо бороться, отстаивать и использовать, чтобы обладать свободой не только юридически. Центральными ценностями в философии Милля помимо личной свободы выступают чувство собственного достоинства, честность и социальное благополучие.

Милль продолжает утилитаристскую традицию, но критикует Бентама за сведение движущей силы жизни индивида к удовольствиям, и объявляет главным этическим критерием полезность, основанную на постоянных интересах личности. «Эти интересы должны подчинять индивидуальные порывы внешнему контролю, только если действия личности задевают посторонних» [Милль 2013]. Нарушающих этот принцип следует наказывать по закону, либо если это невозможно, общественным порицанием. Учитывая социальную природу частной свободы, подобное наказание считается Миллем даже более действенным, нежели традиционные. Милль осознает, что минимальное государство и наименьшие законы не гарантируют наибольшей свободы, не согласен он также и с идеями радикального либерализма и эволюционных теорий. Таким образом, теория Милля хоть и не имеющая завершенного характера, но подкрепленная личным социальным опытом философа, стала новым этапом развития либерализма.

У Т.Х. Грина мы находим оригинальную концепцию общего блага. Следуя в своих размышлениях за Гегелем, он утверждает, что общее благо и свобода индивида может быть реализована только в обществе, в условиях гармоничного единства. «Понятие общего блага постулирует единое пространство для развития каждого члена общества, что является основанием не только равных прав пред законом, но и равенства возможностей» [Суханова 2008]. Синтез негативной и позитивной свободы (то, что действительно можно) определяет ключевым в жизни человека не реализацию свободы, максимизацию прибыли или удовольствий, а нравственную жизнь как самоценность.

В свою очередь еще один основоположник социального либерализма Л.Т. Гобхаус понимает борьбу за свободу как борьбу за равенство. Гражданская свобода борется за равенство всех перед законом, личная свобода — за равенство религий, социальная — за равенство возможностей, экономическая — за равные условия конкуренции и контракта. При этом «истинная функция государства заключается в утверждении таких условий жизни, при которых возможно быть моральным» [Green 1999: 7].

Центральной тематикой социального либерализма становится сотрудничество, представляющее собой «этическую интерпретацию взаимной ответственности», а ключевым принципом становится «соразмерность ответственности возможностям» [Суханова 2008]. Государство получает свою долю ответственности, а именно содействие в раскрытии индивидуальности человека посредством образования, науки, здравоохранения и т.п. Либерализм интегрируется с демократией, ранее не тождественной ему.

Представитель социального эволюционизма Герберт Спенсер разработал специфический подход к пониманию этики и морали. Он не отличает нравственность от других подобных форм взаимодействия в животном мире, а видит в ней результат высшей ступени эволюции, тот же порядок, к которому стремится и вся природа. Нравственность выступает средством смягчения присущего человеку эгоизма. Вслед за утилитаристами Спенсер считает главной мотивацией к деятельности человека стремление к счастью. Общество строится на принципах индивидуализма и ограничения свободы свободой другого человека. Несмотря на присущий либеральным теориям атомистический подход, общество Спенсера — органическая целостность, результат эволюции и совместной адаптации. Последнюю общество может либо контролировать и перерасти в авторитарный режим, либо предоставить адаптации свободное пространство, что позволяет обществу сохранять демократичность и свободу.

Немецкому ученому В. фон Гумбольдту принадлежит концепция влияния языка на сознание человека. Язык, по мнению исследователя, развивается бессознательно и в этот процесс невозможно вмешательство. Языку присуща необъяснимая способность действовать самому, благодаря чему он вкладывает в общество определенный дух. При этом язык выступает и источником этого духа и его внешней репрезентацией. Речь — это не только средство коммуникации, но и форма поддержания общности, заложенная изначально природой.

Началом свободы для Гумбольдта выступает исходящее от человека обратное воздей-

ствие на язык. «Если же и свобода, в свою очередь, сама по себе неопределима и необъяснима, — пишет Гумбольдт, — то, возможно, поддаются установлению по крайней мере ее границы внутри определенной сферы действия, которая только и предоставлена ей, и, хотя языковедение должно уметь опознавать и уважать проявления свободы, оно с не меньшим старанием должно отыскивать и ее границы» [Гумбольдт 2013]. Свобода не связана в философии Гумбольдта с понятиями роскоши и избытка, она пронизана чувством меры и скромности [Гайм 2004: 336].

Гумбольдт предлагает рассматривать индивидуальность как изначально заложенную в человеке идею, при этом эта идея может быть настолько яркой, что принимает облик индивида, чтобы через него проявить себя. Исходя из этого индивидуальность есть особая форма существования, обеспечивающая разнообразие общества как залог успешного исторического бытия нации. Через эту теорию обосновывается отказ от любых форм вмешательства человека в пространство свободы индивида, так как это нарушает уникальность его личного развития. Государство, по мнению немецкого философа, должно получить только функции поддержания безопасности, чтобы не мешать внутреннему многообразию общества.

Для Гумбольдта участие гражданина как члена государственного союза в политической жизни является его почетной обязанностью, а не только формой деятельности чиновников. «Это участие в жизни государства возвышает личную нравственность в силу того, что гражданин, связывая теснее свою деятельность с общим благом своих сограждан, придает ей тем самым более высокое значение» [там же: 324]. Государство получает пользу от участия каждого гражданина в не меньшей степени, чем сам человек. Поэтому чтобы поддерживать гармонию правительства и желаний и потребностей общества необходимо обеспечивать участие граждан в политической жизни. Но недостаточно эпизодического приходящего участия, для максимальной реализации идеи гармонии нужна «нравственная сила нации», привычка участвовать в общественном благоустройства.

В XIX веке складываются основные подходы классического либерализма, а также фреймовая структура обоснования концепта свобода, она подкрепляется фреймом полезности, деятельного участия в жизни общества, нацеленностью на солидарное взаимодействие и агрегирование интересов.

Современный либерализм XX-XXI веков

Либеральная мысль в XX веке стала доминирующей политической идеологией в мире. Это с одной стороны сделало либерализм объектом неустанной критики политических противников, а с другой к середине прошлого века привело либеральную теорию к застою и интеллектуальному кризису. В данном разделе не представляется возможным рассмотреть все многообразие либеральных концепций «века идеологий», но следует выделить несколько авторских работ, чья оригинальность задавала тон развитию либеральной теории в последние сто лет.

Мораль у И. Берлина представляется не завершенной вещью в себе, а имеет разрывы и лакуны. Возникает ситуация моральной нехватки. Однако моральность наполенена и состоит из набора нравственных ценностей и ориентиров, между которыми человк вынужден делать выбор, этот радикальный выбор не основан на разуме и является обычной формой существования человека в этическом и политическом пространстве [Паньковский 2003: 174].

Свобода как многие другие популярные для исследователей общества понятия, такие как справедливость, общественное благо, счастье и т. п., — понятие обширное и многослойное, определений которого существует не одна сотня. И. Берлин, выводя понятие политической свободы, противопоставляет ее свободе в широком смысле. Находя границы свободы в деятельности других людей, исследователь утверждает, что политическая свобода в этом смысле и есть та область, в рамках которой человек может действовать, не подвергаясь вме-

шательству со стороны других» [Берлин 1998: 19]. При этом неспособность что-то сделать не является пределом политической свободы, так как ее ограничение может исходить только от намеренного вторжения других людей. Таким образом индивидуальная свобода для Берлина — высшая ценность, и нарушение ее другими или ее реализация за счет свободы других недопустимы. «Равенство свободы; требование не относиться к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они относились к тебе; исполнение долга перед теми, благодаря кому стали возможны твои свобода, процветание и воспитание; справедливость в ее наиболее простом и универсальном значении — таковы основы либеральной морали» [там же].

Берлин проводит дихотомию позитивной и негативной свободы. Негативная представляет собой свободу «от» — никто не имеет права принуждать человека к чему-либо, делать за него выбор. Существует сфера частной жизни, вмешательство в которую является нарушением естественных прав личности. Позитивная свобода предполагает максимальную моральную и институциональную самореализацию личности. Это свобода «для». Понятие свободы выходит у Берлина за рамки демократии, хотя оба эти понятия теснейшим образом взаимосвязаны, а их отношение скорее является агональным. «Именно по той причине, что демократическое самоуправление не гарантирует свободы личности, которая выражается в ее правах, и требуется прописать эти правила независимо от положений, связанных с институциональными вопросами политической саморегуляции» [Паньковский 2003: 176]. Опыт демонстрирует, что политические институты имеют тенденцию замыкаться на себе и уклоняться от реализации своей главной задачи — способствования реализации свободы.

Помимо свободы в философии И. Берлина актуализируются понятия компромисса, искренности, решимости и политической толерантности. Искренние убеждения, по мнению исследователя, ценны сами по себе, даже если они безусловно ошибочны, и могут подвергаться ограничению только в случае, если они становятся опасны для свободы и убеждений других людей. Плюрализм ценностей порождает и оправдывает толерантность и компромисс, который противопоставляется конформизму, как действие свободное и принужденное.

Американский ученый Дж. Ролз издал в 1971 году свою работу «Теория справедливости», ставшую знаковым моментом в развитии либеральной мысли. В своей работе он строит свою теорию на основе дистрибуции базовых благ и ценностей. Ролз выделяет два принципа справедливости: 1) «каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод,совместимых с подобными схемами свобод для других»; 2) социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы: (а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и (б) доступ к положениям (positions) и должностям был бы открыт всем» [Ролз 1995: 66]. Таким образом, свободу можно ограничить только ради свободы, под которой понимаются традиционные основные права, декларируемые либерализмом.

Переосмысливая теорию общественного договора, Ролз заявляет о том, что при выборе модели справедливости будущего общества каждый человек находится под «покровом неведения», так как не может полноценно представить, кем он будет в планируемом обществе. Аналогично и ценности и представления о том, что есть благо, каждого человека должны быть помещены под этот покров, чтобы создать условия максимально справедливого выбора. Таким образом, интуитивно понятый принцип честности позволяет заключить наиболее справедливый контракт. И результатом этого будет решение, при котором каждый человек получает максимальную пользу при наихудшем варианте развития событий.

Отказывая понятию блага в универсальности, Ролз утверждает, что наиболее справедливым будет тот политический порядок, при котором будут созданы возможности каждому гражданину достигать своих стремлений, исходя из их собственных представлений о благе. Из этого следуют две ключевые характеристики ролзовского либерализма: нейтральность и плюрализм. Государство должно обеспечивать условия справедливого порядка, а не навязывать свое представление о предпочтительной форме социальных взаимодействий [Макеева

2012: 51].

Понимание теории справедливости как честности предполагает, что люди, живущие при конституционно-демократическом режиме, при всем их многообразии склонны к близким представлениям о принципиальных вопросах политической этики. Достигается это систематизацией и согласованием интуитивных представлений о справедливости, неявно присутствующих в политическом сознании граждан демократических стран.

На фоне кризиса либеральной теории в конце XX века Р. Дворкин предлагает заняться поиском объединяющих компонентов либеральной теории, которые должны стать залогом выживания идеологии и продолжения ее истории. Р. Дворкин выделяет главным проблемным моментом современного этического учения либерализма в принципе равенства. Либерализм — это система, обеспечивающая приблизительное равенство людей посредством предоставления одинакового количества благ, которые способствуют достижению человеком его стремлений. При этом утверждается, что ни правые, ни левые партии не могут получить общественной поддержки, если не обращаются к понятию равенства. «Правительство, — пишет исследователь, — должно относиться к людям как к равным не потому, что для политики не существует правильного и дурного, а потому, что именно такое отношение является правильным» [Дворкин 1998: 84]. Дворкин не видит в праве полноценной гарантии равенства, но гражданские права являются основой существования государства и общества.

В концепции Дворкина идет речь уже не о равенсте как таковом, а о признании государством равенства граждан. Для подобного признания правительство должно относиться ко всем представлениям о благе, существующим в обществе, нейтрально. В отличие от принципа веротерпимости, принятом в классическом либерализме и предполагавшем наличие внутренних моральных норм самого либерализма и возможности в соответствии с ними воспитывать нравственную либеральную личность (хоть и без государственного принуждения), принцип нейтральности полностью лишает либерализм моральных норм [Макеева 2012: 58]. Все представления и этические позиции граждан должны быть равны, ничто из этого списка не может быть воспринято как доминирующая моральная установка в обществе. Из подобного понимания равенства выводятся индивидуальные права человека.

Довод о полезности индивидуальных прав для общества полностью отвергается Дворкином, так как человек обладает своими правами и имеет возможность их реализовывать, даже если это не совпадает с благом общества. Благодаря этому свойству личность может воспрепятствовать политическим решениям, посягающим на вмешательство в его пространство свободы. «Эти права, — пишет Дворкин — своего рода козыри в руках индивидов; они позволяют индивидам воспрепятствовать отдельным конкретным решениям, хотя сами общие институты, в ходе нормального функционирования которых были бы приняты эти решения, сомнений не вызывают. Окончательным оправданием этих прав служит то, что без них нельзя гарантировать всем индивидам равную заботу и уважение, но это не следует понимать так, будто эти права защищают равенство в противовес демократии и рынку, которые служат какой-то иной цели и выражают какой-то иной принцип» [Дворкин 1998: 68].

Исходя из подобной трактовки права, Дворкин выводит еще одну подструктуру этико-правовой системы общества, а именно принципы, которые не закреплены в конституции и законодательных актах, но безусловно имеют нравственное обоснование своему существованию. Приводятся такие примеры, как право на свержение правительства или право на оправдание воровства. «Политические права — это продукт как истории, так и морали: на что отдельный человек имеет право в гражданском обществе, зависит и от существующих обычаев, и от справедливости политических институтов этого общества» [Макеева 2012: 62].

XX век становится временем ревизии базовых постулатов либеральной теории. К «свободе» в качестве концепта присоединяется «равенство», актуализируются моральные фреймы решимости, искренности, честности и стремления к компромиссу.

* * *

Подводя итог анализа этико-политических учений основных представителей либерализма, следует заключить, что свобода признается в качестве ключевого концепта либеральной теории в качестве обоснования прав человека и предлагаемой модели политического устройства. Идея свободы базируется на праве индивида на жизнь, что обосновывает его неприкосновенность, и праве на собственность, что делает его самостоятельным. Таким образом, для теоретиков либерализма в различные периоды существования идеологии с концептом «свобода» ассоциируются следующие моральные фреймы: 1) признание и действие в рамках автономии личности и тесно связанный с этим эгоизм как этический принцип соразмерности пользы человека и пользы общества; 2) рациональность и отказ от предубеждений традиционалистского общества; 3) светскость или скептическое отношение к религиозным установлениям; 4) отказ от насилия над личностью как факт признания эквивалентного статуса противоборствующих сторон; 5) толерантность — признание за каждым тех же прав, которыми обладаешь ты сам; 6) равенство, но не экономическое, а равенство этическое, все обладают равными возможностями в получении благ от общественного существования; 7) склонность к компромиссу, балансирование личности на грани между конкуренцией и партнерством с другими, возможное только в условиях признания остальных такими же, как и ты; 8) честность и искренность как базис справедливых взаимоотношений в политическом пространстве

Либерализм в его обобщенном формате представляется идеологией свободных, равноправных, рационально и эгоистически мыслящих индивидов, обладающих или имеющих отношение к собственности, основанное на принципах законности (как формы компромисса совместного существования), светскости (как ухода от традиционализма), признании позитивности прогресса и др.

Асмус В.Ф. 1995. Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля. — *Вопросы философии*. — № 1. — С. 52–69.

Бентам И. 1834. *Деонтология, или Наука о морали*. — СПб. Т. I–II. Гл. 3 .

Бентам И. 1998. *Введение в основания нравственности и законодательства*. — М.: РОССПЭН.

Берлин И. 1998. Две концепции свободы. — *Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. — М.: Дом интеллектуальной книги; Прогресс-Традиция.

Гайм Р. 2004. *Вильгельм фон Гумбольдт: описание его жизни и характеристика*: Пер. с нем. — М.: Едиториал УРСС. — 544 с.

Гегель В.Ф. 1990. *Философия права*. — М.: Мысль. — 524 с.

Гумбольдт В. фон. 2013. *О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества*. — Доступно: http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=61. — Проверено: 5.10.13.

Гусейнов А.А. (ред.). 2003. *История этических учений*. — М.: Гардарики. — 911 с.

Дворкин Р. 1998. Либерализм. — *Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. — М.: Дом интеллектуальной книги; Прогресс-Традиция.

Дьюи Дж. 1997. Либерализм и социальные действия / Пер. В. Нагдасевой. — *Демократия и XX век*. — Нижний Новгород. — С. 55–70.

Зотов Д.А. 2012. Проблема определения идейной сущности либерализма. — *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. — № 12 (26): в 3-х ч. Ч. II. — С. 79–84.

Капустин Б.Г. 1994. Три рассуждения о либерализме и либерализмах. — *Политические исследования*. — № 3. – С.13–26.

Констан Б. 1993. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. — *Политические исследования*. — № 2.

Локк Дж. 1988a. Два трактата о правлении. — *Сочинения: В 3 т. Т. 3*. — М.: Мысль. — С. 135–406.

Локк Дж. 1988b. Послание о веротерпимости. — *Сочинения: В 3 т. Т. 3*. — М.: Мысль. — С. 91–134.

Макеева Л.Б. 2012. Философия эгалитарного либерализма в США: Джон Ролз и Рональд Дворкин. — *История философии*. — № 12. — С. 46–62.

Милль Дж.Ст. 2013. *О свободе*. — Доступно: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000853/index.shtml. — Проверено: 5.10.13.

Никонов Л.В. 2013. *Универсальные моральные правила в структуре либеральной теории*. — Доступно: http://www.libertynews.ru/node/1633. — Проверено: 5.10.13.

Паньковский А. 2003. Агональный либерализм Исайи Берлина. — *Логос*. — № 4–5(39).

Рассел Б. 2013. *История западной философии*. — Доступно: http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/22352/. — Проверено: 5.10.13.

Ролз Дж. 1995. *Теория справедливости*. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета. — 535 с.

Руссо Ж.Ж. 1998. Рассуждение о происхождении неравенства. — Руссо Ж.Ж. *Об общественном договоре. Трактаты* / Пер. с фр. — М.: «КАНОН-пресс». — 416 с.

Сейдеметова Р.Е. 2011. *Представления Иеремии Бентама о государственном устройстве*. — Юристъ-Правоведъ. — № 4. — С. 59–63.

Смит А. 2013. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. — Доступно: http://www.e-reading.biz/book.php?book=100806. — Проверено: 5.10.13.

Суханова М.И. 2008. *Философские основы социального либерализма*. — Доступно: http://www.intelros.ru/readroom/politiko-filosofskij-ezhegodnik/pfe-1-2008/7264-filosofskie-osnovy-socialnogo-liberalizma.html. — Проверено: 5.10.13.

Green T.H. 1999. *Lectures on the Principles of Political Obligation*. — Kitchener.

Rothbard M.N. 1998. *The Ethics of Liberty*. — New York, London.

ФРЕЙМЫ И КОНЦЕПТЫ МОРАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ КОНСЕРВАТИЗМА[1]

М.С. Константинов,
И.В. Николаев
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье с позиций интегративно-когнитивистского подхода анализируются базовые концепты и ассоциированные с ними моральные фреймы политической философии консерватизма. Выделяются три основных концепт-фреймовых модели, характерных для консервативной мысли. Как полагают авторы, различия между этими моделями определяются как на уровне ключевых концептов, так и на уровне ассоциированных с ними фреймов. Все три модели объединяет свойственный большинству консерваторов метафрейм ответственности.*

Ключевые слова: *мораль, политика, идеология, консерватизм, фрейм, концепт*.

Большинство исследователей идеологий согласны в том, что консерватизм есть крайне неоднородное течение политической мысли. Консерваторы обычно весьма скептично относятся к политической теории, поэтому не считают своей задачей разработку последовательной и завершённой теоретико-философской системы. Консерватизм принципиально ситуативен, позиционен и антиуниверсален [Huntington 1957]. Нередко он рассматривается как одна из форм политического прагматизма — как доктрина, не имеющая принципиального содержания [Vincent 2010: 57]. В этом заключается парадокс консервативной рефлексии, «противоречиво определяющей консерватизм как политическую теорию, полагающую ложными любые политические теории» [Quinton 1978: 12]. Некоторые исследователи пытаются избежать подобного reductio ad absurdum, заявляя, что консерватизм — не теория, но предрасположенность ума, склонность к сохранению настроения, или эмоций, или отношений [там же].

Так, К. Манхейм рассматривал консерватизм как определённый стиль мышления. Ядро его метода составлял анализ значений тех понятий, которые использовались консервативными мыслителями с целью выявить внутреннее единство стиля мышления, а также отклонения и модификации его концептуального аппарата [Манхейм 1994: 574-575]. На этом основании К. Манхейм различал «естественный консерватизм», или «традиционализм», и «современный консерватизм», или «политический консерватизм», т. е. консерватизм в собственном смысле этого слова. Первый есть универсальное психологическое свойство, в той или иной

[1]Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт интегративно-когнитивистского анализа», проект № 12–03–00401а.

мере присущее каждому человеку. Политический консерватизм, напротив, ситуативен и всегда зависит от конкретных обстоятельств: «Невозможно заранее определить, кто поведёт себя консервативно в политическом смысле, в то время как позиция, описываемая понятием „традиционалист“, позволяет нам вычислить более или менее точно поведение традиционалиста» [там же: 594]. Это обусловлено тем, что консерватизм представляет собой объективную мыслительную структуру, характеризующуюся основополагающим мотивом [там же]. Этот мотив включает в себя стремление к конкретности, качественную идею свободы, основанную на представлении о неравенстве людей, рассмотрение существующих институтов и явлений с точки зрения их истории, отрицание идеи прогресса, предпочтение органических социальных целостностей составным общностям и т. д. [там же: 601, 604, 608].

Подобной трактовки придерживался и Майкл Оукшот, рассматривая консерватизм не как кредо или доктрину, а как склад ума, предрасположенность определённому типу поведения и определённому жизненному укладу [Оукшот 2002: 65]. По этой причине многие консерваторы отказываются считать консерватизм идеологией. Так, в предисловии в седьмому изданию своей знаменитой книги «Консервативное мышление» Рассел Кирк писал: «Консерватор питает отвращение ко всем формам идеологии. …Априорные замыслы по усовершенствованию человеческой природы и общества есть проклятие для консерватора, который знает, что они становятся инструментом и оружием [в руках] фанатствующих завсегдатаев кафе [coffehouse fanatics]» [Kirk 2001: VIII].

Всё сказанное выше осложняет разработку единой аналитической модели «концепт-фрейм» применительно к консерватизму. Неоднородность консервативной мысли и её принципиальная антитеоретичность не позволяют выявить ограниченное число базовых концептов и ассоциированных с ними моральных фреймов, которые были бы характерны для консерватизма в целом. Если в либерализме одним из ключевых концептов является «свобода», в феминизме — «равенство» и «различие», в национализме — «нация» и т. д., то в консервативной политической идеологии подобный единый концепт отсутствует. Так, одним из концептов «консервативной революции» в Германии 20–30-х гг. XX в. было романтизированное представление о «(прусском) народе» как некой органической целостности, в контексте которой индивид обретает свою свободу и судьбу. В то же время, одно из немногих, что объединяет представителей этого направления в консерватизме, — это неприятие «старого» консерватизма с его принципами иерархичности, традиционализма, идеей извечно установленного божественного порядка. А. Мёллер ван ден Брук, Э. Юнгер, К. Шмитт и др. теоретики «консервативной революции», испытав на себе сильное влияние Ф. Ницше, отказались и от идеи трансцендентного морального порядка. В ценностном плане у названных мыслителей гораздо меньше общего с классическими консерваторами (Э. Бёрком, Ж. де Местром, Л. де Бональдом и др.) или с неоконсерваторами второй половины XX в. (Р. Уивером, Р. Нисбетом, У. Липпманом, Р. Кирком и др.), — чем с современными им марксистами и социалистами. Не по этой ли причине в книге Рассела Кирка отсутствует анализ «консервативной революции», что она совершенно не укладывается в его схему?

С другой стороны, упустить из рассмотрения феномен «консервативной революции» означает нарушить первоначальные условия исследовательской модели — изучать способность политических идеологий мотивировать участников политики к морально ориентированному политическому *действию*. Напротив, именно «консервативная революция» являет собой один из ярчайших примеров призыва к действию, в основе которого лежит моральное негодование. Используя терминологию К. Манхейма, можно сказать, что в консерватизме нас интересовали, прежде всего, представители «политического консерватизма», т. е. консервативной политической философии (морально ориентированного) *действия*, а не традиционалистски мотивированного *бездействия*. Традиционализм вполне способен на разовые акты агрессии с целью защиты status quo, но навряд ли он способен на политически отрефлексированное действие. В такой трактовке «политический консерватизм» может частью своего ин-

теллектуально-ценностного багажа иметь «традиционализм», но он отнюдь не исчерпывается последним.

Решением описанных затруднений стало введение ещё одного уровня — уровня абстрактных принципов, которые находят своё воплощение в различных (часто несовместимых) концептах консерватизма и весьма противоречивых с точки зрения консерватизма как целого моральных фреймах. Эти концепты и фреймы достаточно хорошо согласованы в контексте *одного* направления консерватизма, но совершенно не сочетаются с концептами и фреймами других направлений. Эта разнородность отнюдь не отрицает единства консервативной мысли на уровне принципов. В соответствии с данной адаптированной моделью, объектом анализа выступили *комплексы* концептов и фреймов, определяющие различие типов консерватизма, но при этом объединённые в рамках одной идеологии единством абстрактных принципов. Энтони Куинтон выделяет три таких базовых принципа, присущих политической идеологии консерватизма в целом: традиционализм, органицизм и скептицизм [см., например: Quinton 1978: 16–23].

Эти принципы основываются на вере консерваторов в моральное и интеллектуальное несовершенство человеческой природы [ibid.: 13] и конкретизируются в следующих базовых концептах:

1. Вера в трансцендентный *порядок*, регулирующий общественные отношения. Возникающие политические проблемы объясняются в религиозном и нравственном контексте.

2. С этой верой ассоциирован консервативный *скептицизм* в отношении возможностей человеческого разума.

3. Отсюда приверженность проверенным временем *традициям* и институтам. Консерватор предпочитает известное новому, какие бы блестящие перспективы оно ни сулило.

4. Пиетет перед *сложностью* и многосторонностью человеческой жизни.

5. Этим обусловлено признание принципа *иерархии* как основы социальной организации.

6. Убеждённость во взаимообусловленности *собственности* и *свободы* [Kirk 2001: 8–9; русск. перевод фрагментов книги см.: Кирк 2003].

В первом приближении можно выделить некоторую совокупность фреймов, ассоциированных с перечисленными концептами. С верой в органический порядок связан метафрейм ответственности (за народ, за страну, за историю, за будущее и т. д.) — единственный фрейм, характерный для подавляющего большинства представителей консерватизма. Со скептицизмом ассоциируется осторожность консерватора в восприятии изменений, «способность радоваться настоящему» [Оукшот 2002: 65]; отсюда представление о том, что консерватизм приходит с возрастом, это мироощущение взрослых и ответственных людей, способных оценить мудрость традиций и жизненного опыта. Сложность и многообразие человеческой жизни связаны с тем, что одним из главных моральных противников консерваторов является утилитаризм: «…Почитая моральный идеал, мы боремся с его главными врагами. …Такова всякая утилитарная мораль» [Ортега-и-Гассет 1997б: 14], а одним из базовых фреймов — моральное самоограничение [Рормозер, Френкин 1997: 159]. В целом, о склонности к консерватизму свидетельствуют все виды деятельности, предполагающие не результат, а удовольствие от процесса [Оукшот 2002: 74].

Таким образом, фреймы, транслируемые консерватизмом, фактически являются воплощением «здравого смысла» и потому хорошо согласовываются с традиционализмом массового сознания, выражаемом в бытовых фреймах «Лучшее — враг хорошего», «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и т. д. Но, как говорилось выше, единого комплекса концептов и фреймов для консерватизма не существует; есть различные комплексы, характерные для отдельных течений данной политической идеологии. Эти различия будут рассмотрены ниже.

Предыстория консервативной идеологии: добродетель и универсальное благо

Предшественниками консерватизма традиционно называют Платона и Аристотеля в Древней Греции и Цицерона в Древнем Риме. Категория «консерватизм» не может быть в полной мере использована для мыслителей античности, так как это явление присуще определенному этапу политического развития. Однако в их политико-философских концепциях могут быть выявлены некоторые базовые концепты и фреймы консервативной идеологии, в частности общими для большинства мыслителей античности выступают концепты блага (частного и общего), добродетели (как ключевой моральной характеристики) и справедливости (как основополагающего элемента древнеримской и древнегреческой политической философии).

Платон в своих рассуждениях базируется на представлении о высшем мире идей, с которым соотносятся все предметы и явления реальности. Человек при этом рассматривается через призму фрейма «куклы-марионетки», он не является самостоятельным существом, а повинуется божественной воле. Однако среди нитей, управляющих человеком, главной, золотой нитью выделен разум, который подвигает людей следовать принципам общежития и букве закона. Разум как результат природной предрасположенности и опыта, полученного в процессе воспитания. Будучи не в полной мере самодостаточным, человек и человеческое общество нуждается в «попечении». Этот концепт отражает заботу и переживание за народ, ответственное отношении к подданным.

В центре этической концепции платоновского ученика Аристотеля находится концепт счастья, как состояния тождественного самому себе, т. е. момент достижения всех стремлений и желаний. При этом добродетель (мораль) выступает как посредник, совершая поступок (действие, связанное с моральным выбором) человек проявляет себя как правосудный или неправосудный. Важнейшей характеристикой морального человека выступает рассудительность. «Добродетельный человек есть человек, который следует указаниям разума, действует разумно; он не позволяет аффектам захватить власть над собой» [Гусейнов 2004]. Однако разум не всегда способен преодолеть неопределенность ситуации индивидуального морального выбора. Поэтому необходимо, чтобы разум человека был изначально нацелен на добродетель.

В Древнем Риме идеи близкие к консервативным можно обнаружить у Марка Тулия Цицерона. Он определяет право и концепт общего интереса как интегрирующие факторы общества, а государство — его достоянием. Высшее благо — лейтмотив философии Цицерона, как нравственно-прекрасное стоит выше полезного. Эта дефиниция легла в основу фреймовой структуры идеального гражданина, моральный смысл жизни которого заключается в исполнении предписанных обязанностей. При этом обязанности понимаются конкретно, «не человека вообще, но обязанности римского гражданина, достойного члена римской общины» [Утченко 1993].

Одним из первых, кто открыто декларировал положения консерватизма, был английский богослов XVI века Ричард Хукер в своем трактате «Законы церковной политики». Признавая Бога высшей трансцендентной сущностью, богослов объявляет его общим источником и разума, и святого Писания, что в свою очередь исключает противоречия между ними. При этом разум не может познать высшее знание, а способно только к интерпретациям и обыденным суждениям. Единственным источником спасительного знания выступает Писание.

Традиция выступает связующим звеном между писанием и реальностью, отличающейся от догмы. «Слова, — пишет Р. Хукер, — должны пониматься в соответствии с теми событиями, о которых они были сказаны» [Hooker 2013]. При этом традиция и опыт являются санкцией на существование сложившегося порядка, даже если он не был затронут в Святом Писании [Корнеев 2011]. Опыт оправдывает установленные порядки и является преградой в

трансформации социальных институтов и в первую очередь институциональной организации церкви.

Представитель английской консервативной традиции Генри Болингброк помимо философских изысканий занимался и практической политикой. Болингброк понимает под разумом дарованную Богом способность различать правое и неправое, истинное и ложное. Мудрый же человек стремится свободно пользоваться своим разумом в поисках истинного знания. Однако большинство людей отошли от этого и уповают на божественные откровения и писание, отказывая разуму в его божественной природе.

Базисом этического учения Болингброка выступает концепт «универсальная благожелательность», который проявляет себя в моральном фрейме истинного себялюбия. Утверждая, что общее благо есть наивысшее благо для индивида, английский философ говорит о подмене высоких коллективных интересов интересами и потребностями персональными, которые могут состоять в противоречии. Каждый человек должен ставить перед собой такие нравственные цели, которые соизмеримы с имеющимися средствами для их достижения и соответствуют положению, занимаемому человеком в обществе и духовном мире [Болингброк 1978: 218]. Благодаря этому человек сможет уподобиться явлениям природы, когда цель определяет поведение в течение всей жизни, а реализация цели становится логичным и естественным завершением.

Противопоставляя свои идеи теории макиавеллизма Болингброк высказывается о необходимости для субъекта, обладающего властью, истинной, а не показной, добродетели. Защита свободы выступает одной из главных задач государя, так как она соответсвует его пользе и пользе народа. Болингброк добавляет, что защита свободы является не только утилитарным средством поддержания власти, но и этическим долгом государя, предписанным с одной стороны — Богом, с другой — народом [там же: 212]. Английский политический философ выводит следующую максиму: «Хорошее правление — залог законности и свободы, а законность и свобода — залог сохранения хорошего правления» [там же: 215].

Классический консерватизм XVIII-XIX вв.: благочестие, порядок, религия

Возникновение консерватизма как политической идеологии и политического учения традиционно связывают с именами английского философа и политического деятеля Эдмунда Берка и французского иезуита Жозефа де Местра. Для формирования концепции консерватизма потребовалось серьезное потрясение в европейской политике, которым стала Великая Французская революция. Реакцией на это событие и стали классические консервативные теории.

Эдмунд Берк признавал, что консерватизм не является полноценной идеологией, так как не включает в себя проект идеального будущего общественного устройства, однако его комплекс идей был направлен на сохранение общества под руководством высокой идеи благочестия, «в его глазах, полных благоговения, вся мирская реальность была выражением нравственного порядка» [Кирк 2003: 112]. Идеи консерватора базируются на ответственности перед Богом, обществом и традициями.

В философии Эдмунда Берка можно выделить несколько ключевых принципов:

1. Преемственность — политический строй не формируется единовременно, а является продуктом долговременной истории и опыта, поэтому каждое поколение не обладает полноценно политической организацией, а приобщено к нему только временно.

2. Скептицизм — знание о политической организации, ее создании и возможностях реформирования не могут быть восприняты одним человеком или единовременно, они являются результатом накопления и осознания опыта и не могут быть восприняты в полном объеме.

3. Органицизм — политическая мудрость заключена в осознании и усвоении традиций, выступающих второй природой человека и общества [Макаренко 2000: 50].

Этика и в первую очередь религиозная аргументация являются центральным вопросом политических размышлений Берка. Базисом его концепции выступает христианский догмат о том, что человек и государство суть божественные творения. Поэтому человек существует в этом мире и социуме не для того, чтобы повиноваться своим страстям и прихотям, а для того, чтобы осуществлять заложенную изначально жизненную программу. Человеческая реальность есть ни что иное, как продолжение божественного порядка.

Берк отмечает завышенные оценки разума в его время. Если залогом человеческого благополучия выступает божья милость, то сведение политики и этики к одному только разуму можно считать верхом самонадеянности [Кирк 2003: 113]. Миром правит благой Господь, поэтому прежде чем предпринимать какие-то действия следует попытаться обнаружить уже имеющиеся очертания заложенного богом порядка и в соответствии с этой естественной справедливостью совершать политическое действие. Поэтому любые изменения должны проводиться крайне осторожно, и по результатам нравственного контракта, в котором субъект изменений убеждается, что он стал проводником божьей воли, а не рабом своего разума. Опасения Берка связаны с тем, что «дух новшеств присущ характерам эгоистическим, с ограниченными взглядами» [Бёрк 1993]. Любые изменения в политической жизни общества и государства могут быть только органическими, а не революционными.

Оценивая церковный порядок как человеческое установление, Берк признает божий закон более широким, чем то, что декларируется в религиозных нормах. Истинная религия должна быть сопряжена с государством, так как она является основой национального духа и всех земных законов. Находя источником законодательство божественную истину, Берк отрицает право любых народов и персон на кардинальные перемены в законах. Однако каким образом происходит регулирование повседневной жизни людей? Опрометчиво ожидать, что Бог будет наблюдать и направлять за каждым. Ответ на этот вопрос Берк видит в традиции, в многолетнем опыте взаимососуществования людей, подкрепленном человеческой разумностью.

Анализируя революционные процессы во Франции, Берк критикует идеи неограниченной свободы, равенства и надругательство над сложившимися устоями политической и социальной жизни великой европейской державы. В частности, философ обращает внимание на то, что свобода не принадлежит каждому человеку полноценно, люди только причастны к свободе. «Чтобы сохранить свободу, — пишет Берк, — они должны полностью отдать ее на общее хранение» [там же]. При этом противопоставляя свободу, существующую в Англии и складывающуюся во Франции, отмечается, что свобода в Британии — благородна, освящена историей и традицией, в то время как французская — искусственна и навязана большинством. А «свобода, когда она становится принадлежностью массы, обретает власть» [там же].

Равенство признается Берком исключительно как религиозная и этическая категория. Оно существует только как равенство перед богом или на страшном суде, иные формы в реальном мире губительны и нечестивы. Попытки навязать всеобщее равенство во Франции отрицаются, так как «те, кто покушаются на ранги, никогда не обретают равенства. Во всех обществах, состоящих из разных категорий граждан, одна должна доминировать» [там же].

Итак, в трудах «отца консерватизма» Э. Бёрка сформирована первая концепт-фреймовая модель консерватизма, состоящая из следующих элементов. Базовыми концептами этой модели являются 1. *благочестие* — индивидуальная и коллективная ответственность перед богом, народом и традициями; 2. *естественный порядок* и сопряженная с ним *естественная справедливость*; 3. *благородная свобода*, как естественное право, источником которого является социальный опыт и традиция. Модель консерватизма, представленную Э. Бёрком и его после-

дователями, мы можем условно назвать реакционной. Его подход не призывает к радикальному возврату к традиционному укладу, но и противится быстрому и необдуманному прогрессу.

Вторая модель консерватизма, условно обозначаемая как «традиционалистская», восходит к трудам Жозефа де Местра и Луи де Бональда. Жозеф де Местр сочувственно размышляет о том, что Франция была центром европейского христианства, однако в последствии распространение идей Просвещения и свободомыслия лишило его родину этого статуса. Великая Французская революция стала наказанием за инакомыслие и уход от религиозности. Человек возомнил себя правителем мира и отошел от божественных законов, в то время как он «может изменить все в области своей деятельности, но он не создает ничего: таков его закон как в материальном, так и в моральном смысле» [Де Местр 1997: 81].

Де Местр нивелирует участие разума в создании законов. Истинные законодатели «действуют, опираясь более на инстинкт и на побуждение, чем на рассудок, […] что у них нет иного орудия действия, как только некая духовная сила, которая смиряет воли подобно ветру, гнущему траву» [там же: 86]. Таким образом, французский мыслитель противостоит большинству философов эпохи Просвещения, отмечавших значение ученых при создании законов государства.

Де Местр обращается к идее о негативной природе человека, исходя из которой полноценная свобода может еще более усугубить греховность людей. В интересах исправления сущности человек нуждается в подчинении, поэтому конституции призваны ограничить свободу, дать ее в той мере, которая соответствует потребности народа. Равенство в этих условиях противоречит и природе человека, и принципам общественной жизни. Война выступает для французского мыслителя естественным и доминирующим в человеческой истории явлением. «Когда человеческая душа утратила свою энергию из-за изнеженности, неверия и гангренозных пороков, сопутствующих излишествам цивилизации, эта душа способна быть вновь закалена только кровью» [там же: 49]. При этом признается полезность войн в качестве мотивации общества к развитию. Природой войн и насилия в целом выступает неискоренимая природная испорченность человека. Войны богоугодны и естественны.

Фактически Ж. де Местр представляет крайне реакционную модель консерватизма, предлагая вернуться к средневековым порядкам. Монархия, слияние светской и церковной властей, повышение роли клира и религии в целом, концентрация влияния в руках Папы Римского — некоторые из радикальных идей, высказываемых французским иезуитом. Однако Ж. де Местр сочетает в себе два часто конфликтующих течения — догматический консерватизм и более мягкий консервативный реализм, как форму «срочной» реакции консервативного мышления на происходящие события. Не следует сводить это к аморальному двуличию, подобная политика естественная для истинного консерватора, который существует в определенных условиях и вынужден реагировать на них, при этом не отклоняясь от общей цели критики рационализации политической жизни.

Австрийский министр первой половины XIX века Клеменс Меттерних отмечает упадок базовых элементов, на которых основывался общественный порядок: религии, общественной нравственности, законов, права и обязанностей. Обращаясь к вопросу о причинах падения нравов, князь приходит к понимаю природы человека как неизменной, в той же степени, как и потребности общества. Единственные изменения зависят, по мнению Меттерниха, от климатических и географических условий, влияющих не только на политическое устройство, но и на религию.

Активизация интеллектуальной деятельности людей связана, как утверждает Меттерних, с изобретением книгопечатания, созданием пороха и открытием Нового Света. Однако развитие человеческого ума происходило слишком быстро в сравнении с развитием «рассудка — единственного противовеса страстей и заблуждений, — и потому революция […] вспыхнула, наконец, в стране самой просвещенной, более всех расслабленной роскошной жизнью…» [Меттерних 1873: 785]. Причиной тому является «самонадеянность» — результат

быстрого развития умственных способностей и наук. Для самонадеянного человека религия, нравственность, политика и законы превратились в общую собственность, которую каждый может поставить под сомнение. Вера стала не более чем внутренним убеждением индивида. Современный Меттерниху человек не нападает только на нравственность, так как не сможет считать себя в безопасности в ее отсутствие. Самонадеянность — корень зла и деградации общества, «спутница полузнания, развивающая самолюбие и легко находящая себе удовлетворение в смутах государственных переворотов» [там же: 790]. Эта черта наиболее присуща среднему классу общества, который располагается между государем и народом и претендует на часть власти первого и выражение интересов второго.

В вопросе выделения моральной концепт-фреймовой структуры в работах Меттерниха мы вынуждены идти от обратного. В работе австрийца в значительной степени разработан концепт «самонадеянность», который выступает базисным для критики происходящих в его время политических процессов. Противопоставляя консерватора фреймовой структуре самонадеянного человека, мы можем выделить следующие характеристики меттерниховского консерватора: 1. приверженность религии, не только как личному внутреннему убеждению, но и как универсальным моральным категориям; 2. повиновение законам и содействие их составлению; 3. подчинение власти, сложившейся на основе традиции и времени; 4. признание за наукой только ее экспериментальной части, в остальном разум ограничен в познании окружающего мира и общества.

Таким образом, в истории классического консерватизма сложились две основных концепт-фреймовых модели, восходящие к творчеству Э. Бёрка, с одной стороны, и к философии Ж. де Местра, — с другой. В первой модели ключевыми концептами являются: 1. *благочестие*, с которым ассоциируется моральный фрейм ответственного отношения к любым политическим действиям, основанный на признании высшими ценностями божественного закона, народа и исторических традиций; 2. *естественный порядок* и сопряженный с ним фрейм естественной справедливости — признания благим и истинным того, что уже сложилось; 3. *благородная свобода* и фрейм ограниченности и неотъемлемости свободы человека и общества, благодаря закреплению в традиции, источником которой является божья воля.

Вторая консервативная модель, берущая свое начало в работах Ж. де Местра, базируется на концепте *деятельного христианства*, который находит свое отражение в фреймах 1) ограниченности свободы религиозными нормами и противопоставлении свободы в лоне церкви и рабства; 2) признания насилия и войн в качестве естественного наказания; 3) отказа обществу в праве на «брожение людских умов»; 4) в признании божественной природы и непогрешимости верховной власти. Этим обусловлена и необходимость активной политической и социальной позиции церкви и лично Папы Римского. Таким образом, под деятельным христианством скрывается комплекс религиозных этических догм, адаптированных для современной де Местру общественной системы. Однако несмотря на внешнюю ортодоксальность данной модели консерватизма присущ религиозный рационализм в качестве принципа противостояния либеральным идеям.

Консерватизм в XX веке: метафрейм ответственности и политический радикализм

«Для консерваторов начала XX в., — отмечает отечественный исследователь консерватизма А.М. Руткевич, — характерно сведение счётов с прежними архаичными воззрениями» [Руткевич 2006: 5]. Потребность обновления консерватизма была обусловлена изменением социально-политической ситуации на рубеже XIX–XX вв.: быстрая индустриализация повлекла за собой рост социально-экономического неравенства и социальных проблем, вызвав разочарование в постулатах классического консерватизма. Первая мировая война, воспринимавшаяся как крушение всей западной цивилизации XIX в., фундаментом которой были

капиталистическая экономика, либеральные институты, буржуазия как основной класс, впечатляющие успехи в науке, образовании, материальном и нравственном прогрессе [Хобсбаум 2004: 16], а также мировой экономический кризис 30-х гг., стали рубежными событиями в развитии консерватизма XX в. Не меньшее значение имело вторжение масс в политику, «полный захват массами общественной жизни» [Ортега-и-Гассет 1997а: 43], что вызвало негодование аристократически ориентированных консерваторов по поводу безответственности и бездуховности масс, падения нравственности в этом «скопище отдельных индивидов» [Kirk 2001: 24; русск. перевод: Кирк 2003: 111]. В результате осмысления перечисленных проблем и выработки способов их решения произошла радикализация концепт-фреймовой модели консерватизма. Наиболее ярко это проявилось в идеологии «консервативной революции».

«Консервативная революция» — политико-идеологическое течение, возникшее в Веймарской Германии и сочетавшее консервативные идеи с социалистическими в борьбе с либерализмом, парламентаризмом и марксизмом. К «ближнему кругу» её представителей обычно относят О. Шпенглера, А. Мёллера ван ден Брука, Э. Юнга, Э. Юнгера, Э. Никиша, Х. Церера, К. Шмидта и Х. Фрайера [см., например: Beyme 2013: 233]. Некоторые исследователи [см., например: Mohler 1989: 307 и сл.; русск. перевод фрагментов книги см.: Молер 2010], помимо названных, причисляют к этому движению М. Шелера, В. Зомбарта, Э. Форстхоффа, Т. Манна и др. Однако, столь расширительное толкование данного феномена только размывает его границы и затрудняет идентификацию и без того разнородной и противоречивой консервативной идеологии. Мы ограничимся рассмотрением нескольких ключевых фигур, в работах которых выражена специфика комплексов концепт-фрейм «консервативной революции».

Одной из работ, задавших моральный тон «консервативной революции» стало эссе Освальда Шпенглера «Пруссачество и социализм» (1919 г.). Оно было составлено из заметок ко второму тому нашумевшей работы «Закат Европы» (1918 г.) и направлено против западного либерализма, парламентаризма и марксизма. Ключевое значение в построениях О. Шпенглера имеет концепт «прусский дух», или «пруссачество» как «определённая совокупность чувства реальности, дисциплины, корпоративного духа и энергии…» [Шпенглер 2002: 49]. Он есть выражение метаисторической «прусской идеи» и противопоставляется концептам немецкого либерализма, формировавшегося под английским интеллектуальным влиянием, и в результате пришедшего к индивидуализму и отрицанию государства: «Каждый за себя — это по-английски; все за всех — это по-прусски. …Прусский инстинкт говорит: власть принадлежит целому. Отдельное лицо ему служит. Целое суверенно. […] Прусскому духу свойственно поглощение единичной воли общей» [там же: 56, 26, 62]. В этой картине рисуются фреймы «прусского духа»: «звонкая поступь рабочих батальонов, спокойная решимость, дисциплина, готовность умереть за что-то потустороннее» [там же: 18]. Эти фреймы производны от нравственных заповедей монашеских орденов немецкого рыцарства, среди которых: «верность, дисциплина, самоотверженность, самоотречение, самовоспитание» [там же: 52]. Историческим воплощением «прусского духа» стали прусская армия, прусское государство и прусский рабочий [там же: 19].

Вторым из базовых концептов, непосредственно связанных с первым, можно считать прусский «авторитарный социализм», жёстко ассоциированный с фреймами солидарности и служения, или, в терминах О. Шпенглера, «службы»: «Смысл социализма в том, что над жизнью господствует служебное положение, которое добывается усердием и способностями, а не разница между бедными и богатыми. Такова наша свобода, свобода от хозяйственного произвола частных лиц» [там же: 156]. Социализм, по О. Шпенглеру, есть выражение «прусского духа», он есть «народный инстинкт», «воля к власти, борьба за счастье не отдельных лиц, а целого» [там же: 18, 68]. Поэтому истинным носителем социалистической идеи является исключительно немецкий народ, «другие народы не могут быть социалистами» [там же: 9].

Третий концепт в этой системе — идея революции. Великой трагедией Ноябрьской революции 1918 г. стало отделение — под влиянием классовой теории марксизма — немецкого рабочего от немецкого народа: «…Мы видели рабочий люд, отщеплённый в своём сознании от народа, благодаря нескольким вколоченным в его мозги положениям и понятиям…» [там же: 18]. Ложные исходные посылки о классе, который может победить в революции, привели к превращению её в фарс, в карикатуру на Английскую революцию XVII в. и Великую французскую революцию 1789 г. Это было «бессмысленнейшее действие в немецкой истории» [там же: 17]. Результатом этой революции стала победа «внутренней Англии», т. е. «диктатуры денег», капиталистически-парламентарного либерализма [там же: 104]. Истинно же великие революции творятся «железом и кровью», потому что «увлечь всех вперёд может только кровь, только идея, ставшая телом и духом» [там же: 21, 19]. Поэтому истинная революция в Германии произошла не в 1918 г., но в 1914 г. Это была «революция всего народа, единый вскрик, единое прикосновение железной руки, единый гнев, единая цель» [там же: 21].

На основе описанных концептов в эссе «Пруссачество и социализм» противопоставляются две морали, — «наша» (мораль «прусского духа») и «их» (торгашески-утилитарная мораль «духа англичан»): «Разница между прусской и английской моралью — всё та же разница между рыцарями религиозного ордена и викингами» [там же: 69]. В моральной философии англичане — утилитаристы; истинная цель их устремлений, прикрываемая этико-богословской риторикой, — богатство; морально приемлемые цели — успех в борьбе за существование: «В результате такой морали англичане, изолированные на своём острове, достигли такой сплочённости во внутренних и внешних делах, как ни один современный народ Западной Европы: создалось влиятельное общество…, связанное сильным чувством общности, совершенно одинаковым образом мыслей, чувствованиями и поведением» [там же: 58]. Для прусской жизни, напротив, характерен «карьеризм», — борьба из-за служебного положения, из-за чина; однако моральное содержание этой борьбы совершенно иное: «стремление взять на себя более высокую ответственность в организме целого, чувствуя себя достойным её» [там же: 70].

Другая противоположность «пруссачеству» — марксизм. Экономическая теория К. Маркса, утверждает О. Шпенглер, производна от этического чувства: «…Основные понятия Маркса ощущаются как моральные противоречия. Термины „социализм“ и „капитализм“ обозначают добро и зло в этой безрелигиозной религии…» [там же: 117]. Однако эта мораль, по О. Шпенглеру, — не прусского, но английского происхождения. Поэтому она совершенно не согласовывается с прусскими фреймами служения, ответственности и труда. Труд у К. Маркса лишён нравственной глубины, он наполнен английским содержанием как средство достижения богатства, в отличие от прусского понимания труда как «службы во имя общности, для „всех“, а не для себя, как обязанности, которая облагораживает…» [там же: 118]. В результате мораль у К. Маркса — это «деловая мораль» англичан, а сам марксизм есть «капитализм рабочего класса» [там же: 120], имеющий мало общего с «прусским духом».

Это напряжение между «торгашески-индивидуалистической моралью» английских индепендентов и «прусским духом» ответственности за целое, между «буржуазным социализмом» К. Маркса с его «английской моралью», и «прусским социализмом», станет нервом «консервативной революции», несмотря на разнородность взглядов её представителей. А концептуальная структура рассуждений О. Шпенглера, с некоторыми вариациями, будет воспроизводиться и другими теоретиками этого движения.

Так, концепты революции, народа и органического целого (государства) получили детальное развитие в знаковом для «консервативной революции» манифесте Ханса Фрайера «Революция справа» (1931 г.). По мысли Х. Фрайера, буржуазные и пролетарские революции XIX века исчерпали себя в идее прогресса. Но они привели к освобождению пространства, в котором формируется новый субъект — народ, который «из смутной идеи превращается в историческую реальность» [Фрайер 2008: 57]. Народ, согласно Х. Фрайеру, представляет собой

историческую целостность, не сводимую к классовой структуре, это абсолютно новое образование, со своей моралью, волей и правом. Осуществлением свободы мыслится государство, поэтому задачей революции справа является эмансипация государства. Похожие идеи, но с националистической окраской, развивал Артур Мёллер ван ден Брук в работе «Третий рейх» (1922 г.). Он предложил концепцию «Третьего рейха», в котором консерватизм сочетается с национализмом на базе социализма: «Не может быть справедливости для человека, если нет справедливости для нации. Люди могут существовать, только если жива их нация» [Мёллер 2009: 363]. Социально-экономическим фундаментом немецкого социализма должна стать «корпоративная идея о государстве и экономике», а воплотить её в жизнь должен «консервативно настроенный революционер» [там же: 169].

Особое место в движении «консервативной революции» занимают работы Эрнста Юнгера, в частности, эссе «Рабочий. Господство и гештальт» (1932 г.) и «Тотальная мобилизация» (1930 г.), в которых обосновано метафизическое значение «рабочего» и его роли в Новом мире. Важнейшим событием, определившим облик эпохи, согласно Э. Юнгеру, стала Первая мировая война, продемонстрировавшая превращение жизни в энергию масс и техники, «поэтому каждая отдельная жизнь всё однозначнее становится жизнью рабочего и за войнами рыцарей, королей и бюргеров следуют войны *рабочих*…» [Юнгер 2000: 453]. Эти войны характеризуются особой формой мобилизации ресурсов — тотальной. «Тотальная мобилизация» призвана максимизировать использование потенциальной энергии «тотальных государств» – участников войны и в этом «всего очевиднее угадывается наступление эпохи работы» [там же: 450]. Ключевую роль в новую эпоху играет «рабочий», — метафизическая величина, несводимая к экономическому или социологическому измерению. Рабочий может действовать в стихийном пространстве, в то время как бюргер ощущает недостаток безопасности; власть является репрезентацией этого гештальта, в котором стирается различие между господством и служением, а порядок соотносится не с обществом а с государством. Соответственно, «образцом всякой организации является организация войска, а не общественный договор» [там же: 64].

Таким образом, для данного направления консервативной мысли характерны следующие концепты: органическое целое («народ-нация», «рабочий» и т. д.); националистически ориентированный социализм, основанием которого является не обобществление средств производства, но государственная защита человека труда от капиталистических отношений; концепт революции как преодоление «идей 1789-го года» и «внутренней Англии»; у многих авторов (О. Шпенглер, Э. Юнгер, Э. Никиш и др.) можно специально выделить концепт «труд» как характерную черту немецкого рабочего, противопоставляемую буржуазной наживе и спекуляции. То, что говорилось о концептах, можно отнести и к фреймам, характерным для данной модели консерватизма. Наиболее часто встречаются такие характеристики представителей «мы», как «выполняющие долг», и «усердные» в этом, «придерживающиеся фактов, причём не только экономических, но политических и даже моральных», «берущие на себя ответственность», «терпеливые», «обладающие сильной волей и спокойной решительностью» и т. д.; для «нас» характерны верность, самодисциплина, самоотверженность и самоотречение [Мёллер 2009: 125, 126, 302, 344; Шпенглер 2002: 18, 56, 68, 70]. «Они», напротив, характеризуются как безнравственные, не имеющие никаких убеждений, эгоистичные, несущие «разложение» и «моральное заболевание среди политических народов», склонные к наживе в ущерб интересам целого и к обману, «непричастные к истории своего народа и не разделяющие его традиций» и т. д. [Мёллер 2009: 172-176, 186; Шпенглер 2002: 18, 56-58, 68, 70]. Такова третья «концепт-фреймовая» модель консерватизма.

«Новые правые» и неоконсерватизм. В 70-х гг. XX в. в ряде европейских стран и США возникает интеллектуальное течение «новых правых», ставшее реакцией на рост государственного вмешательства в экономику под влиянием идеологии welfare state и практики «Нового курса» Т. Рузвельта, с одной стороны, и на движение «новых левых» и «контркультуры»

60-70-х гг., — с другой. В экономических вопросах «новые правые» исходят из идеи неделимости свободы, развиваемой в трудах Л. Мизеса, Ф. Хайека, М. Фридмана и др., и обновлённой концепции минимального государства, сформулированной Р. Нозиком, А. Рэнд и др. либертарианцами. На этой базе сформировался англо-американский «новый консерватизм», представителями которого считаются Ирвинг Кристол, Дэниел Белл, Ричард Уивер, Роберт Нисбет, Уолтер Липпман, Лео Штраус, Рассел Кирк и др. Достаточно распространено мнение, что экономические реформы Р. Рэйгана в США и М. Тэтчер в Великобритании были проведены под сильным влиянием неоконсерватизма.

Это течение в концептуальном плане представляет собой своеобразное сочетание идей классического либерализма и консерватизма Э. Бёрка, поэтому нет необходимости специально останавливаться на его анализе. Отметим лишь несколько моментов. Консервативный оттенок рассматриваемой интеллектуальной традиции придаёт характерный для этой политической философии акцент на моральных и культурных проблемах современного общества. Так, по словам И. Кристола, неоконсерватизм отличается от классического консерватизма тем, что он «полон надежд, а не скорби, он смотрит в будущее, а не тоскует по прошлому, и настроен он весело, а не мрачно или подавленно» [Кристол 2004: 171]. Такой «весёлый» консерватизм характерен только для США, в странах Европы нет ничего похожего. Основной его посылкой является убеждение в том, что «увеличение благосостояния всех слоёв общества сделает собственников и налогоплательщиков менее уязвимыми для эгалитарных иллюзий и демагогических призывов и более разумными в том, что касается основных экономических расчётов» [там же: 172].

Таким образом, спецификой неоконсерватизма являются приоритет рассмотрения экономических проблем и меры вмешательства государства в экономику. И. Кристол признавал, что критическое осмысление упадка современной культуры, «всё большего погрязания в вульгарности» [там же] сближает неоконсерваторов с традиционными консерваторами и религиозными традиционалистами: «Они сходятся в вопросах качества образования, отношениях церкви и государства, регулировании порнографии и всём остальном, что они считают заслуживающим внимания правительства» [там же]. Так, в книге «Культурные противоречия капитализма» (1978 г.) Дэниел Белл исследовал молодёжные движения 60-х гг. XX в. и подверг критике потребительский гедонизм современной американской культуры, подрывающий такие традиционные моральные ценности либеральной политики, как воздержанность, жертвенность, ответственность, расчётливость [Bell 1978].

То же касается и характерных для данной модели фреймов. Описывая собственные убеждения, И. Кристол рисует образ типичного консерватора, мало чем отличающегося от Э. Бёрка: «…Я всегда был за смертную казнь. Я никогда не верил, что преступника можно „вылечить“ терапией. Я никогда не сомневался, что молитва в школах — это вполне разумная идея. Я был убеждён, что зубрёжка и запоминание „азов“ есть лучший способ обучения молодёжи. Я полагал, что „сексуальная вседозволенность“ в любых её проявлениях есть абсурдная идея. Я считал идеал „мир без войн“ утопией, а стремление „сделать мир безопасным для демократии“ бесполезным предприятием» [Kristol 1995: 82].

Это перекликается со словами Р. Кирка: «Консерватор двадцатого века озабочен, прежде всего, восстановлением духа и нравов [character] — вечной проблемой внутреннего душевного порядка; реставрацией этического понимания и религиозных мотивов [sanction], на которых основаны ценности любой жизни» [Kirk 2001: 472]. Кроме того, современного консерватора, согласно Р. Кирку, волнуют проблемы лидерства с целью сохранения некоторой меры почтения, дисциплины, порядка и очищения системы образования; он обеспокоен феноменом пролетариата, утратившего статус и надежду в обществе и поэтому предпочитающего истинной семье, связи с прошлым, долгу — массовые развлечения и пороки; консерватор заинтересован в восстановлении истинного сообщества, местного самоуправления и кооперации на основе добровольного участия в реализации общественного порядка, отличающе-

гося сложностью и многообразием и т. д. [ibid.: 472-473]. Как можно заметить, все приписываемые консерватору фреймы основаны на одном моральном метафрейме ответственности.

Другое широкое направление «новых правых» — традиционалистское — получило распространение в европейских странах. К этому направлению, несмотря на существенные различия между ними, обычно относят итальянца Юлиуса Эволу, немцев Арнольда Гелена и Герда-Клауса Кальтенбруннера, французов Доминика Веннера и Алена де Бенуа и др. В сфере культуры и политики «новые правые» критикуют моральную и ценностную деградацию Европы, мультикультурализм, глобализацию и экономикоцентризм, выступая за традиционализм и национально-культурные ценности. Это направление консерватизма XX в. ближе к традиции, заложенной Ж. де Местром.

Заключение

Подводя итог, можно сказать следующее. В консерватизме выделяются три основных концепт-фреймовых модели, истоки которых восходят к Э. Бёрку и Ж. де Местру, а также к трудам теоретиков «консервативной революции» в Германии 20–30-х гг. XX в. Различие между моделями определяется как на уровне ключевых концептов, так и на уровне ассоциированных с ними фреймов. Все три модели объединяет свойственный большинству консерваторов метафрейм ответственности. Однако объекты этой ответственности, равно как и способы её реализации, различаются довольно существенно и зависят от базовых концептов. Так, в модели, восходящей к Э. Бёрку, ключевыми концептами являются благочестие, естественный порядок и благородная свобода, с которыми ассоциируются моральные фреймы ответственного отношения к любым политическим действиям, ограниченности человеческой свободы традицией и обществом и т. д. Данный подход не призывает к радикальному возврату к прошлому, но сопротивляется быстрым и необдуманным изменениям.

Традиционалистская модель Ж. де Местра основана на концепте деятельного христианства и потому ограничивает свободу религиозными нормами, отказывает обществу в праве на «брожение людских умов» и признаёт божественную природу верховной власти. В трудах теоретиков «консервативной революции» ответственность преломляется сквозь призму поражения Германии в Первой мировой войне и Ноябрьской революции 1918 г., поэтому направлена не на сохранение status quo, но на революционное восстановление справедливости по отношению к исторически сложившемуся целому — народу-нации. Кроме этих двух концептов, для данной модели характерно представление о социализме как трудовом служении своему народу. Фреймы, ассоциированные с данными концептами и метафреймом ответственности приобретают соответствующую специфику, по отношению к фреймам двух других моделей: решительность, самодисциплина, самопожертвование и т. д. Несмотря на то, что рассмотренные модели пересекаются и налагаются друг на друга, что обусловлено единством трёх базовых консервативных принципов — традиционализмом, скептицизмом и органицизмом, — тем не менее, на уровне фреймов они несовместимы друг с другом и фиксируют три крайние позиции консервативной мысли.

Бёрк Э. 1993. *Размышления о революции во Франции*. — Москва: Рудомино. — 143 с.

Болингброк Г. 1978. *Письма об изучении и пользе истории*. — Москва: Наука. — 360 с.

Гусейнов А.А. 2004. *Мораль и политика: уроки Аристотеля*. — Доступно: http://www.guseinov.ru/publ/moral_polit.html. — Проверено: 05.10.2013.

Де Местр Ж.М. 1997. *Рассуждения о Франции*. — Москва: РОССПЭН. — 216 с.

Кирк Р. 2003. Берк и политика, основанная на праве давности. — *Политические исследования*. — № 5. — С. 110–117.

Корнеев Д.В. 2011. Соотношение Писания, разума и традиции в богословии Ричарда Хукера. — *Молодой ученый*. — Т. 2. — № 7. — С. 50–52.

Кристол И. 2004. Неоконсервативное убеждение. — *Логос*. — № 6 (45). — С. 170–174.

Макаренко В.П. 2000. *Главные идеологии современности*. — Ростов-на-Дону: Феникс. — 480 с.

Манхейм К. 1994. Консервативная мысль. — Манхейм К. *Диагноз нашего времени*. — Москва: Юрист. — С. 572–668.

Мёллер ван ден Брук А. 2009. *Миф о вечной империи и Третий рейх*. — Москва: Вече. — 368 с.

Меттерних К.В. фон. 1873. Записки князя Меттерниха о состоянии умов в Европе и об обязанностях правительств. 1848 г. — *Русская старина*. — Т. 8. — № 11. — С. 782–799.

Молер А. 2010. Консервативная революция в Германии, 1918–1932. — *Неприкосновенный запас*. — № 1 (69).

Ортега-и-Гассет Х. 1997а. *Избранные труды*. — Москва: Весь Мир. — 704 с.

Ортега-и-Гассет Х. 1997б. *Размышления о «Дон Кихоте»*. — Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. университета. — 332 с.

Оукшот М. 2002. *Рационализм в политике и другие статьи*. — Москва: Идея-Пресс. — 288 с.

Рормозер Г, Френкин А.А. 1996. *Новый консерватизм: вызов для России*. — Москва: ИФРАН. — 237 с.

Руткевич А.М. 2006. *Консерваторы XX века*. — Москва: Изд-во РУДН. — 180 с.

Утченко С.Л. 1993. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина. — Марк Туллий Цицерон. *О старости. О дружбе. Об обязанностях*. Москва: Наука. — С. 159–174.

Фрайер Х. 2008. *Революция справа*. — Москва: Праксис. — 144 с.

Хобсбаум Э. 2004. *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)*. — Москва: Издательство Независимая Газета. — 632 с.

Шпенглер О. 2002. *Пруссачество и социализм*. — Москва: Праксис. — 240 с.

Юнгер Э. 2000. *Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация*. — Санкт-Петербург: Наука. — 539 с.

Bell D. 1978. *Cultural Contradictions of Capitalism*. — New York: Basic Books. — 301 p.

Beyme K. von. 2013. *Konservatismus: Theorien des Konservatismus und Rechtsextremismus im Zeitalter der Ideologien 1789–1945*. — Wiesbaden: Springer VS. — 277 s.

Hooker R. 2013. *Of the Lawes of Ecclesiastical Politie (1593–1662) Book IV.11.7*. — Доступно: http://anglicanhistory.org/hooker/. — Проверено: 05.10.2013.

Huntington S.P. 1957. Conservatism as an Ideology. — *The American Political Science Review*. — № 2. — P. 454–473.

Kirk R. 2001. *The Conservative Mind: From Burke to Eliot*. — Washington: Regnery Publishing, Inc. — 501 p.

Kristol I. 1995. American Conservatism 1945-1945. — *Public Interest*. — № 121. — P. 80–91.

Mohler A. 1989. *Die Konservative Revolution in Deutschland. 1918–1932. Ein Handbuch*. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. — 643 s.

Quinton A.M. 1978. *Politics of Imperfection*. — London, Boston: Faber and Faber. — 105 p.

Vincent A. 2010. *Modern Political Ideologies*. — Malden: Wiley-Blackwell. — 382 p.

МОРАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И МОРАЛЬНАЯ РИТОРИКА В МАРКСИЗМЕ И СОЦИАЛИЗМЕ[1]

С.П. Поцелуев
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье с позиций интегративно-когнитивистского подхода к анализу отношений между моралью и политикой проясняются моральные фреймы идеологии классического марксизма, большевизма и социал-демократии. Автор подчёркивает, что данные фреймы существенно модифицируют исходный теоретический смысл базовых концептов указанных идеологий.*

Ключевые слова: *мораль, политика, идеология, марксизм, социализм, большевизм, социал-демократия, фрейм, концепт.*

Сразу же оговоримся: цель данной статьи состоит не столько в том, чтобы рассмотреть основные теоретические дискуссии на тему морали в социалистической (коммунистической) литературе, сколько в том, чтобы показать — на ограниченном числе случаев[2] — как работают моральные фреймы в текстах некоторых ключевых авторов, относящихся к социалистической (коммунистической) идеологии.

Моральные фреймы идеологии, ассоциированные с ее базовыми концептами (к примеру, свобода, равенство, братство и т.п.), задают рамки для практического истолкования политической реальности. Это истолкование может настолько существенно модифицировать исходный (чисто теоретический) смысл концептов, что, к примеру, «свобода» и «братство» разных идеологий могут оказаться в оппозиции друг к другу. Хороший пример такой коллизии дает сравнение двух родственных по происхождению идеологий, к примеру, большевизма и социал-демократизма. Обе эти идеологии первоначально апеллировали к рабочему классу, социальной справедливости, социализму, марксизму. Но эти одинаково звучащие концепты получили совершенно разный моральный смысл, первоначально не вполне артикулированный внутри самих этих идеологий.

[1]Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт интегративно-когнитивистского анализа», проект № 12–03–00401а.

[2]Мы вынуждены — из-за ограниченности объема данной статьи — абстрагироваться от этической проблематики в рамках «неокантианского движения» в германской социал-демократии (см. об этом: Vorländer K. Die Neukantische Bewegung im Sozialismus. — Kantstudien. 1902. Bd. VII. S. 23–84), интереснейших этических вопросов в левом коммунизме (См. об этом на примере духовно-политических исканий молодого Д. Лукача: Поцелуев С.П. Русская тема венгерского философа: место России в философии молодого Д. Лукача. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001), а также в самом большевизме. См., к примеру: Луначарский А. Мораль и свобода. — Красная новь. 1923. № 1. С. 130–136.

В данной статье мы и постараемся прояснить моральные фреймы идеологических образований, имеющих отношение к классическому марксизму, большевизму и социал-демократии.

Начнем с работ классиков марксизма.

Моральные фреймы классического марксизма: теория vs. практика

Нас здесь не интересует *специальная теория морали*, реализуемая в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Об этом имеется обширная (прежде всего, за рубежом) литература, в которой много спекулируют о «скрытой» моральной философии марксизма. Мы согласны с мнением американского философа Р. Пеффера, что у Маркса не было философской теории морали, но у него была «нормативная моральная перспектива» [Peffer 1990: 5], которая, начиная с Парижских рукописей 1844 года, сохранялась на протяжении всего его творчества. Мы называем эту перспективу «фреймами», которые вполне позволяют себя эксплицировать в работах Маркса и Энгельса, особенно в тех из них, которые непосредственно вплетены в политическую проблематику. А это — прежде всего работы периода 1847–1852 годов. Но начинать следует все же с Парижских рукописей, потому что в них упомянутая «моральная перспектива» выражена в наиболее чистом, хотя и абстрактном виде.

Пеффер видит в этой работе Маркса три основных ценности, в которых, по его мнению, заключена упомянутая моральная ориентация классического марксизма: свобода, понятая как самоопределение человека, человеческая общность (солидарность) и человеческая самореализация [ibid.: 9]. О наборе и формулировке этих ценностей можно, конечно, спорить, но не в этом суть дела. Главное, что в основе Марксовой теории капитализма и капиталистической экономики лежит четкая нравственная установка, а именно, принципиальное *моральное* неприятие капитализма как общественной и экономической системы. Без этой установки невозможно понять, почему этот человек недюжинного ума и риторического дара, вместо того, чтобы найти доходное местечко в какой-нибудь адвокатской конторе, всю свою жизнь провел в изгнании, терпя лишения, теряя друзей, соратников и даже собственных детей. И без этого было бы не совсем понятно, почему взгляды доктора К. Маркса стали со временем *марксистской идеологией*.

Но с Пеффером следует согласиться и в том, что моральный (оценочный) смысл Марксова понимания капиталистической экономики выражен прежде всего категорией «отчуждения» [Entfremdung]. Маркс, в частности, пишет: «Политическая экономия замалчивает отчуждение в самом существе труда тем, что она не подвергает рассмотрению непосредственное отношение между рабочим (трудом) и производимым им продуктом. Конечно, труд производит чудесные вещи для богачей, но он же производит обнищание рабочего. Он создает дворцы, но также и трущобы для рабочих. Он творит красоту, но также и уродует рабочего. Он заменяет ручной труд машиной, но при этом отбрасывает часть рабочих назад к варварскому труду, а другую часть рабочих превращает в машину. Он производит ум, но также и слабоумие, кретинизм как удел рабочих» [Маркс 1974: 90].

Положения Парижских рукописей о «цинизме политической экономии», этой «наиморальнейшей из наук», которая, тем не менее, обнаруживает «безразличное отношение к людям» и не замечает «гнусности частной собственности» [там же: 109, 131, 71, 116] — все подобные положения с очевидностью имеют моральный смысл. Более того, с коммунистическим идеалом Маркс связывает в этой работе и определенную моральную альтернативу. Он пишет, что «можно видеть, наблюдая собрания французских социалистических рабочих, (что) … человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство» [там же: 136].

Следует заметить, что Маркс осуждает капитализм не просто с точки зрения морали, но морали универсальной, общечеловеческой. И этот глобально-моральный смысл осужде-

ния капитализма сохраняется во всей марксистской традиции, он составляет важнейший риторический элемент марксистской пропаганды и агитации. Однако уже Маркс в Парижских рукописях как бы «узурпирует» общечеловеческую моральную перспективу, связывая ее только с одним классом-мессией — пролетариатом. Только пролетарская мораль, да и то в несовершенной форме, дает прообраз общечеловеческой коммунистической морали будущего, а в остальном же современном обществе, поделенном на классы, общечеловеческой морали быть не может. Поэтому любая апелляция к ней есть иллюзия и обман. Как верно заметил Н. Бердяев, «отрицание общечеловеческой морали в настоящем, которое и дает повод называть коммунистов „бесчестными“, и есть определенное убеждение, что настоящая общечеловеческая мораль появится лишь после окончательного торжества пролетариата и коммунизма» [Бердяев 1996: 202].

Но отрицание общечеловеческой морали в настоящем, в актуальной и реальной политике, неизбежно ведет к тому, в чем небезосновательно упрекали коммунистов многие их оппоненты — к «иезуитству». В самом деле, если коммунист считает, что в отношениях с буржуазными политиками у него не может быть общих моральных правил игры, тогда он не должен серьезно относиться к каким бы то ни было моральным обещаниям в адрес не-коммунистов, он не должен «играть по правилам». Здесь у коммунистов царит полный «революционный прагматизм» и явные признаки сектантской этики.

Л. Троцкий в своей известной статье «Их мораль и наша» пытается защититься от этих обвинений в «иезуитстве», защищая попутно и самих иезуитов. «Если оставаться в области чисто-формальных или психологических уподоблений, — пишет он, — то можно, пожалуй, сказать, что большевики относятся к демократам и социал-демократам всех оттенков, как иезуиты — к мирной церковной иерархии» [Троцкий 1990]. Но аргументация Троцкого не видит прямой связи между отрицанием общечеловеческой морали в настоящем (а не будущем) обществе и смыслом принципа «цель оправдывает средства». Впрочем, обвинение в иезуитстве не смутило бы и самих классиков марксизма. В одном из своих писем они, к примеру, советовали своим коллегам: «Поступайте с ними (трирскими буржуа — С.П.) по-иезуитски, стряхните с себя истинно германскую добропорядочность …..» [Маркс, Энгельс 1955b: 21].

Здесь, в деловой переписке, принцип «классовой морали» обнаруживает себя как часть морального фреймирования коммунистической политики. Но не менее ясно он выражается классиками марксизма в их теоретических трудах. Для Маркса и Энгельса классовые формы морали, наряду с религией, метафизикой и другими видами идеологии, обладает лишь видимостью самостоятельного существования. «У них нет истории, у них нет развития» [Маркс, Энгельс 1955a: 25].

Коммунисты, по словам Энгельса, всегда потешались над «вечными моральными истинами» и «высмеивали все эти священные и возвышенные идеи, добродетель, справедливость, мораль и т. д., которые … якобы составляют основу всякого общества» [Энгельс 1955: 279]. Не менее однозначно высказывается Маркс против «морализирующей критики», которая «из области истории … убегает в область морали и здесь может пустить в ход всю тяжелую артиллерию своего нравственного негодования» [Маркс 1955: 305, 311]. Но именно в это же время Маркс и Энгельс работают над программой «Союза коммунистов», и в контексте этой практической политики они реализуют моральный фрейм, в известном смысле обратный их радикальному концепту классовой морали.

Моральный фрейм, лежащий в основе программных документов «Союза коммунистов», обнаруживает парадоксальное единство классовой и общечеловеческой моральной перспективы. Известно, что первые варианты программы Союза, написанные «истинными социалистами» в форме «Коммунистического катехизиса», вызвали резкую критику со стороны Маркса и Энгельса. Последний подготовил свой вариант программы под названием «Принципы коммунизма», однако он тоже нес на себе печать наставления в вере, выраженного в

виде вопросов и ответов. Чуть позже Энгельс и Маркс отказались от такой формы изложения в пользу «манифеста».

Но отказавшись от религиозно-назидательной формы изложения, авторы «Манифеста» реализуют воистину религиозный этический пафос в оценке капитализма. Они клеймят позором «бессовестную свободу торговли», «открытую, бесстыдную, прямую, черствую эксплуатацию» [Маркс, Энгельс 1955c: 427]. В этом документе слышится рокот морального возмущения, выраженный военно-экономическими терминами: «Массы рабочих, скученные на фабрике, организуются по-солдатски. Как *рядовые промышленной армии*, они ставятся под надзор целой иерархии унтер-офицеров и офицеров. Они — *рабы* не только класса буржуазии, буржуазного государства, ежедневно и ежечасно *порабощает* их машина, *надсмотрщик* и прежде всего сам отдельный буржуа-фабрикант. Эта *деспотия* тем мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем откровеннее ее целью провозглашается *нажива*» [там же: 431; *Курсив мой* — С.П.]. Уничтожение частной собственности как суть коммунистического идеала диктуется, прежде всего, соображениями общечеловеческой морали — как необходимость спасти человеческую цивилизацию от капитала, от буржуазной личности и буржуазной свободы, одним словом, от «торгашества» [там же: 438–440]. С другой стороны, в Коммунистическом манифесте недвусмысленно утверждается, что для пролетариата «законы, мораль, религия — все это … не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы» [там же: 434].

Но при всем (теоретическом) акцентировании классовой природы морали, общечеловеческая мораль как существенный фактор политического процесса в современном (классовом) обществе де-факто признается Марксом и Энгельсом в их анализе конкретных исторических (политических) событий. Маркс пишет о «моральном влиянии» [Маркс 1956: 94] буржуазных парламентских партий и «степени их морального падения» [там же: 104]; Энгельс квалифицирует как «моральное самоубийство» [Энгельс 1957: 95] позицию Франкфуртского собрания в период революции 1848 года. В «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» К. Маркс использует концепт «моральной силы» политических институтов, замечая, что ее «невозможно создать параграфами закона» [Маркс 1957: 133–134]. Но что поразительно — в первом воззвании руководства «Интернационала» в связи с началом франко-прусской войны (1870 г.) Маркс цитирует один из принципов внешней политики своей организации: «добиваться того, чтобы *простые законы нравственности и справедливости*, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами» [Маркс 1960a: 1]. Можно ли представить себе такую формулировку в программных документах Третьего (Коммунистического) Интернационала? — Исключено.

Общий моральный фрейм — неприятие капитализма как господства частной собственности, угрожающего человеку как таковому, «отчуждающего от него его сущность» — этот фрейм сохраняется у классиков марксизма на всем протяжении их творчества. Это очевидно в их работах, посвященных бедственному положению рабочего класса. Маркс обличает «бесстыдные оргии финансовой аристократии» рядом с «борьбой народа за необходимейшие средства к жизни» [Маркс 1956: 12]. Энгельс разоблачает «бесстыдную и жестокую», «не знавшую решительно никаких границ безудержной эксплуатации со стороны фабрикантов, попиравших все требования цивилизованного общества» [Энгельс 1956b: 245–246].

Причем важно, что Энгельс разводит при этом два момента, которые считает равно важными. С одной стороны, это чувство негодования рабочих и сочувствующих им людей по поводу упомянутой эксплуатации, а также «безнравственного и бесстыдно своекорыстного характера» [Энгельс 1956a: 238] доктрин буржуазной науки, считающей эту эксплуатацию нормальным, естественным явлением. «Не будь этого чувства страстного, революционного негодования, — пишет немецкий коммунист, — не было бы надежды на освобождение пролетариата» [там же]. Но с другой стороны, — замечает он, — «одним лишь взрывом возмущения, как бы справедливо все это ни было, ничего не сделаешь — тут нужны аргументы» [там же].

Моральная риторика особенно сильна в описании Марксом истории Парижской коммуны. Это — картина морально окрашенной манихейской борьбы сил света и тьмы. На одной стороне — «новый мир Парижа» с героически сражающимися коммунарами; на другой — «старый мир Версаля — это сборище вампиров всех отживших режимов» [Маркс 1956: 353]. Маркс использует сильный риторический прием, сравнивая поведение Тьера в отношении коммунаров с террором древнеримского диктатора Суллы и двух триумвиратов. Он пишет о «небывалых гнусностях 1871 г.», перед которыми «бледнеют даже зверства буржуазии в июне 1848 года»; о «ничем не прикрытом варварстве и беззаконной мести»; о «хладнокровных массовых убийствах» и «равнодушной зверской расправе с людьми, совершенно непричастными к борьбе и т. д. [там же: 360]. В общем выводе — страстный моральный приговор капитализму: «Эта преступная цивилизация, основанная на порабощении труда, при каждом кровавом триумфе заглушает крики своих жертв, самоотверженных борцов за новое, лучшее общество, воем травли и клеветы, который отдается эхом во всех концах света» [там же: 361].

Здесь видно, что Маркс-политик умел широко использовать моральные оценки для пропаганды коммунистических воззрений. Позднейшие дополнения Ф. Энгельса дают более дифференцированную картину действия коммунаров, однако и они проникнуты моральным пафосом. И показательно при этом (для относительного миролюбия морального фрейма классического марксизма по сравнению с большевизмом), что Энгельс акцентирует такие символические мероприятия коммунаров, как публичное сожжение гильотины (символа революционного террора), а также разрушение Колонны Победы на Вандомской площади Парижа (символа наполеоновского империализма и вражды между народами) [Энгельс 1962: 193–194].

Примечательно и то, что даже в таком сугубо политэкономическом произведении, как «Капитал», моральная оценка тоже присутствует, хотя и остается как бы «за кадром». Ее очевидным индикатором здесь выступает категория «отчуждения», а фундаментальное зло, заложенное в капиталистической системе, описывается Марксом примерно в тех же терминах, что и в Парижских рукописях: «Накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе, т. е. на стороне класса, который производит свой собственный продукт как капитал» [Маркс 1960d: 660].

В целом, общий моральный фрейм классического марксизма, понятого как форма идеологии, является двойственным по своей природе. Он предполагает парадоксальное сочетание общечеловеческого и классового концептов политической морали. Неприятие буржуазного общества и буржуазной политики ведется с точки зрения общечеловеческой морали, позиция которой как бы «узурпируется» пролетарским классом и коммунистической партий, тогда как другим классам и партиям в такой позиции отказывается. Моральные установки этих классов и партий объявляются идеологической видимостью морали, обслуживающий классовый интерес. В результате, взаимодействие коммунистов с буржуазным миром лишается общих моральных принципов и строится как взаимодействие с миром тотального зла, где позволено все, что соответствует целям коммунизма.

В этом моральном фрейме отсутствует, однако, один момент, который позже появляется в большевизме. Речь идет о специальном концепте пролетарской (коммунистической) морали, которая в классическом марксизме только намечается, но не реализуется, отождествляясь, скорее, с общечеловеческой моралью. Так, в набросках к «Гражданской войне во Франции» Маркс высказывает интересную мысль о внеклассовой морали будущего. Он пишет, что «всякой *общественной форме* собственности соответствует своя мораль и что та форма общественной собственности, которая превращает собственность в атрибут труда, отнюдь не создавая индивидуальных «моральных ограничений», освободит «мораль» индивидуума от ее классовой ограниченности» [Маркс 1960c: 568].

Недоразвитости концепта пролетарской (коммунистической) морали в классическом марксизме способствовало и то, что Маркс и Энгельс испытывали неприязнь к бланкизму, вождизму и милитаризму в партийном строительстве. Их личный опыт такого строительства был ограничен. В Первом Интернационале марксисты, как известно, были в меньшинстве, а тон там задавали анархо-синдикалисты. Напротив, большевистская партия как «боевая революционная организация» с ее принципом «демократического централизма», романтикой революционного подполья, русскими террористическими традициями и опытом полувоенной борьбы с царским режимом делали актуальным вопрос о специальной классовой этике коммунистов — не той общечеловеческой морали, которая наступит когда-то, а реальной морали, которая является функцией классовой борьбы пролетариата. Именно так ставят вопрос Ленин и Троцкий в своих работах.

Принципиальный вопрос, в полемике по которому хорошо выражается специфика морального фреймирования большевистской идеологии, — это вопрос о революционном терроре. Этому и будет посвящена вторая часть данной статьи.

Террор как моральная проблема: социал-демократия vs. большевизм

Маркс неоднократно писал в своих работах о «терроре» и «терроризме» буржуазного класса и буржуазного государства, то есть, в сугубо негативном ключе [См., к примеру: Маркс 1956: 31; *а также*: Маркс 1960b: 336, 340, 356]. И в «Гражданской войне во Франции» он достаточно убедительно оправдывает совершенную Коммуной казнь шестидесяти четырех заложников во главе с парижским архиепископом логикой гражданской войны [Маркс 1960b: 363–364], а не какой-то принципиальной приверженностью коммунистов к террору. Именно в этом (антитеррористическом) ключе интерпретирует позднее данный сюжет из работы Маркса К. Каутский в своей полемике с Л. Троцким по вопросу революционного террора. Троцкий в ответ дает свою (террористическую) интерпретацию позиции Маркса в той же работе. Кто из них прав? — К этой полемике немецкого социалиста и русского большевика мы еще вернемся, но здесь отметим, что оба ее участника могли бы, пожалуй, с равным основанием апеллировать к текстам классиков марксизма. Дело в том, что позиция классиков в этом вопросе была отнюдь не однозначной.

С одной стороны, Маркс действительно использует в упомянутой работе термин «террор» *исключительно* для описания действий вражеских буржуазных партий. Однако это не помешало ему назвать народовольцев, убивших в 1881 г. императора Александра II, «действительно дельными людьми», а в их терроризме увидеть «специфически русский, исторически неизбежный способ действия, по поводу которого так же мало следует морализировать — за или против, как по поводу землетрясения на Хиосе» [Маркс 1964: 147–148]. Сходным образом, Ф. Энгельс пишет в 1879 году: «Политическое убийство в России — единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима» [Энгельс 1961: 158].

Российский исследователь Ю.В. Степанов, специально проанализировавший концепт «террор» в работах Маркса и Энгельса, обнаружил в его употреблении «два взаимоисключающих ряда», указывающих на «явную антиномию» в истолковании данного термина. «С одной стороны, яркая по форме, обильно аргументированная по содержанию, бескомпромиссная по стилю критика любых попыток узаконить террор в качестве вполне оправданного и необходимого средства революционной борьбы. С другой — не менее яркие и аргументированные высказывания в пользу революционного террора» [Степанов 1991: 13]. Это мнение косвенно подтверждает наш тезис о двойственной структуре морального фреймирования, лежащего в основе идеологии классического марксизма.

Отношение к террору у русских большевиков было более продуманным и ясным, чем в классическом марксизме, поскольку они выходили из лона мощной традиции русского терро-

ризма, идеологически полемизируя с ним. Хотя Ленин был против введения террористических актов в партийную программу, одновременно он заявлял: «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Это — одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения при известном состоянии войска и при известных условиях» [Ленин 1967: 7].

Размежевание российских социал-демократов с эсеровским образом интеллигента-террориста произошло далеко не сразу, и это хорошо видно в ранних текстах Г.В. Плеханова. Плеханов цитирует в «Наших разногласиях» издававшийся Ткачевым «Набат», где содержится призыв вернуться к Нечаеву: к традициям «непосредственной революционной деятельности и боевой, централистической организации», организующей систематическую «дезорганизацию и терроризацию правительственной власти» [Плеханов 1956: 169]. Здесь Ткачев очень близок ленинскому пониманию задач революционной борьбы, поскольку он делает упор на организационное строение революционной партии и не рассматривает террор как исключительную цель и главное средство революционной деятельности.

Вместе с тем здесь видно и отличие Ткачева от Ленина. По Ткачеву, «революционный терроризм <…> является не только наиболее верным и практическим средством дезорганизовать существующее полицейско-бюрократическое государство, он является единственным действительным средством *нравственно переродить холопа-верноподданного в человека-гражданина*» [Ткачев 1996: 153–154]. В отличие от этого, Ленин относился к террору по-нечаевски: с точки зрения революционной целесообразности, пользы.

Ленин вообще был склонен более дифференцированно, чем Плеханов, оценивать русскую революционную традицию, особо выделяя в ней «корифеев 70-ых годов», их «превосходную организацию» [Ленин 1963: 135]. Попытку захвата государственной власти, подготовленную «проповедью Ткачева» и осуществленную посредством «действительно устрашавшего террора» Ленин называет «величественной», а организацию «Земля и воля» вообще считает образцом для любого типа революционной организации [там же: 173].

В отличие от Ленина, Плеханов относился к Ткачеву довольно прохладно, заметив, что его «Письмо к Энгельсу» «представляет собою концентрированный экстракт российско-якобинской аргументации» [Плеханов 1956: 299]. Ткачев для Плеханова — это русский Бланки или одно из фарсовых повторений трагедии французского якобинства. Плеханов вообще не склонен был именовать русских социал-демократов «якобинцами», как это делал Ленин, подчеркивая их революционный статус.

Главным «русским» элементом ленинской концепции социал-демократической партии было понимание ее как военно-конспиративной организации. В условиях царизма, — убежден Ленин, — любая оппозиционная деятельность возможна только в условиях конспирации, т.е. в форме заговора. Иначе — неминуемая гибель от рук режима, не признающего никакие демократические правила игры. Примечательно, однако, полное отсутствие у Ленина как социал-*демократа* сожаления по поводу связанных с этим организационных «неудобств». Похоже, Ленин таких неудобств вообще не ощущал, потому что демократизм немецкой социал-демократии он считал чем-то «игрушечным», излишним внутри «тесного ядра пользующихся полным взаимным доверием товарищей». Там есть свой «демократизм», — уверяет Ленин, — очень похожий (заметим) на форму взаимоотношений внутри нечаевской «Народной расправы». Такой «взрослый» демократизм означает, помимо прочего, что «для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не остановится ни пред какими средствами». Действительно, зачем обременять себя формальностями вроде презумпции невиновности в революционной среде? — «Всякое отступление от обязанностей товарищества» карается здесь с «беспощадной суровостью» [Ленин 1963: 141–142]. Оценивать эту суровость с точки зрения каких-то универсальных моральных критериев Ленин отказывается. В «вечную нравственность» он не верит; нравственность заключена для него в «сплоченной солидарной дисциплине» [Ленин 1984b: 313].

В этом заключался морально-правовой нигилизм большевиков. Он выразился, прежде всего, в понятии диктатуры пролетариата как власти, «не связанной никакими законами» [Ленин 1969: 245]. Тем самым ленинизм отвергал не только формальное (буржуазное) право, но и общечеловеческую мораль. На съезде коммунистической молодежи Ленин определял коммунистическую нравственность как «то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества» [Ленин 1984b: 311]. Это — почти дословная цитата из нечаевского «Катехизиса революционера»: «Нравственно для него (революционера) всё, что способствует торжеству революции» [Нечаев: 48]. Н. Бердяев усматривал в большевистской трактовке морали и права выражение нигилизма как специфически русского явления. Такой нигилизм он назвал «извращенной формой аскетического православия» [Бердяев 1990: 128].

У Нечаева человек уходит в революцию как в монастырь, отказываясь от личных чувств, интересов, привязанностей, собственности и даже имени. Большевистская романтика подполья немало переняла от этой нечаевской установки. Для многих большевиков революционная конспиративность была не вынужденным и временным политическим неудобством, а позитивным способом жизни, этикой жертвы и подвига, жизнью на пределе, на пороге общества, на его изнанке.

В целом, Ленина можно назвать консерватором русской революционности, хранителем, — как он сам выражался, — «престижа революционера на Руси» [Ленин 1963: 127]. Позднее К. Каутский усматривал идейно-исторические корни вульгарной версии «экспроприации экспроприаторов» (т. е. лозунга «Грабь награбленное!») как раз в идеализированном образе Стеньки Разина как первого русского революционера [Каутский 1919: 179].

В своей книге «Терроризм и коммунизм» (1919) немецкий социал-демократ стремится взглянуть на проблему террора объективно, и было бы ошибкой представлять его позицию как чисто либеральную, исполненную лишь недоуменного презрения по отношению к большевизму. Напротив, Каутский признает иллюзорность предвоенных представлений самой европейской социал-демократии относительно общих тенденций общественного развития. На рубеже веков европейские социалисты стали настолько либералами, что даже требовали отмены смертной казни. Теперь же Каутский вынужден был констатировать горькую историческую иронию: наступившая революция сопровождается самым диким и кровавым террором, который проводится в жизнь не кем-нибудь, а социалистическими правительствами. И чем же террор Носке отличается от террора Троцкого? — задается вопросом немецкий социалист и отвечает: по сути, ничем. «Носке смело пошел по стопам Троцкого, с той только разницей, что он свою собственную диктатуру не считает диктатурой пролетариата.

Но оба они оправдывают свой кровавый режим правом революции» [там же: 7]. Главную причину таких чудовищных трансформаций в социалистической среде, «превращения человечности в зверство» Каутский усматривает в мировой войне, в порожденном ею одичании огромных масс людей.

Но главная тема книги Каутского — это красный террор в советской России. Этот феномен немецкий социалист пытается осмыслить в широком историческом контексте, проводя параллели с якобинским террором, но не забывая идейно-политический контекст и самой большевистской политики. Во-первых, — отмечает Каутский, — реальные дела пришедших к власти большевиков противоречат их конечным целям. С одной стороны, как марксисты, они несут на своих знаменах идеал будущего гуманного и бесклассового общества; с другой же стороны, они терроризируют людей уже на основе их классового происхождения, а не индивидуальной вины. «„Буржуи“, — иронизирует Каутский, — в советской республике рассматриваются как особый слой людей, отпечаток которых нельзя ничем смыть. Как негр остается негром, монгол монголом, где бы они ни появились и как бы ни переодевались, так „буржуй“ остается „буржуем“, хотя бы он и стал нищим и живет работой» [там же: 170].

Основной порок большевистской политики, ее «наследственный грех», Каутский усматривал в том, что большевики «ввели собственную диктатуру под фирмой диктатуры пролета-

риата». Тем самым они допустили «вытеснение демократии правительственными формами диктатуры, имеющей один только смысл: неограниченное самовластие одного лица или небольшой, крепко связанной организации» [там же: 212]. И как только большевики узурпировали власть от имени рабочего класса, — продолжает Каутский, — они уже не могли не практиковать террора. Соответственно, главной целью этого террора стало удержание созданного большевиками милитаристского бюрократического аппарата. В результате «большевизм победил в России, но социализм потерпел в ней поражение», — заключал немецкий социалист [там же: 196].

Эта жесткая критика большевистской политики со стороны известнейшего теоретика социал-демократии не осталась незамеченной руководством большевиков; не только потому, что для Ленина и Троцкого «ренегат Каутский» был давно уже в первых рядах идеологических противников. Но, сверх того, весьма деликатной и болезненной для имиджа советской России была сама тема: отношение террора к коммунизму как идеалу гуманного общества. И Троцкий вовсе не случайно дал своей работе такое же название, что и Каутский. Этот зеркальный прием выражает у большевистского теоретика, помимо прочего, полную инверсию аргументации его идейного противника. Многие вещи, которые для социалиста Каутского представляются безусловной (общечеловеческой) ценностью — демократия, гражданский мир, индивидуальная свобода и т. д. — оказываются как раз менее всего ценными для социалиста Троцкого. С другой стороны, террор и насилие как абсолютное, общечеловеческое зло у Каутского, оказывается у Троцкого не просто нормой, а «повивальной бабкой» революционного процесса. Замена демократии как власти по законам диктатурой как власти без законов, подмена советской власти диктатурой большевистской партии — во всем этом Троцкий усматривает не тяжкие грехи большевизма, а добродетель его реалистической политики.

Лучше всего разность моральных фреймов большевизма и социал-демократии обнаруживается здесь — в отношении к террору. Оказывается, что в одном случае царит классовая мораль революционного утилитаризма («Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата» [Ленин 1984b: 310]), в другом — буржуазного гуманизма. Первая принимает террор, вторая — нет. Контрарность моральных фреймов раскалывает марксистскую доктрину на две идеологии: консервативно-революционный по своим истокам большевизм и либеральную по своим интенциям социал-демократию.

Большинство контраргументов Троцкого касаются терроризма как главной темы книги его оппонента, Каутского. И если немецкий социалист упрекает большевиков за то, что они фатально привели Россию к гражданской войне как абсолютному злу для ее населения, то для Троцкого революционный террор есть историческая неизбежность. Но ведь террор также логически не вытекает из понятия революции, — возражает Каутский, — как логически революция не требует непременно вооруженного восстания как способа прихода к власти. — «Какая широковещательная банальность! — смеется в ответ Троцкий. — Но зато революция требует от революционного класса, чтобы он добивался своей цели всеми средствами, какие имеются в его распоряжении: если нужно — вооруженным восстанием; если требуется — терроризмом» [Троцкий 1919: 56].

Именно потому, что революция — это война, нет альтернативы вооруженному восстанию как способу прихода к власти революционной партии; именно потому, что революция — это война, нет альтернативы и красному террору: «Война, как и революция, основана на устрашении <…>. Так же действует революция: она убивает единицы, устрашает тысячи. В этом смысле красный террор принципиально не отличается от вооруженного восстания, прямым продолжением которого он является» [там же: 56–57].

Военная концепция революции делает, по мысли Троцкого, бессмысленной квалификацию красного террора как морального преступления. Расстреливая контрреволюционеров, — пишет Троцкий, — «мы действуем сообразно железным законам войны, в которой хотим обеспечить победу за собой» [там же: 61]. Морально осуждать террор во время революции

так же глупо и лицемерно, — убежден военный комиссар советской республики, — как отрицать всякую войну и всякое насилие. Но тогда получается, что красный террор в моральном отношении совершенно равнозначен террору белому? — Иного вывода не может быть, если оставаться в рамках чисто военной логики. Однако такой вывод Троцкого уже не может устроить идеологически, поэтому он привлекает к делу то, что выступает в большевизме субститутом общечеловеческой морали — историческую Логику.

Классы выступают инструментом Исторической Логики, исторического Закона. Рабочий класс — главный ее инструмент при переходе от капитализма к социализму. Сама история объявляет приговор эксплуататорским классам (а вместе с ними и всей «предыстории человечества»), а большевики лишь приводят этот приговор в исполнение. Поэтому «красный террор есть орудие, применяемое против *обреченного на гибель класса, который не хочет погибать*» [там же]. В этом, по мысли Троцкого, заключается основное отличие красного террора от белого: «Если белый террор лишь замедляет историческое восхождение пролетариата, то красный террор ускоряет гибель буржуазии» [там же: 62]. Высшую санкцию дает История, как и у русских террористов XIX века: «Кто признает революционное историческое значение за самым фактом существования советской системы, тот должен санкционировать и красный террор» [там же].

Заметим, что в этом принципиальном моменте позиция Троцкого совершенно совпадает с позицией Ленина. Обращаясь к европейским коммунистам, Ленин особенно подчеркивал этот насильственный момент пролетарской диктатуры как ее закономерность: «Победа над буржуазией невозможна без долгой, упорной, отчаянной войны не на живот, а на смерть, — войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли» [Ленин 1984а: 6]. Тема классовой войны, как видим, является важнейшей и для ленинского понимания диктатуры пролетариата. И как раз этот «революционный милитаризм» не приемлет Каутский, усматривая в нем источник обнищания, а не обогащения России [Каутский 1919: 203]. Однако все разговоры о «судьбе России» вне судьбы мировой социалистической революции казались в то время и Ленину, и Троцкому «мелкобуржуазной болтовней».

Милитаристское понимание пролетарской революции не ограничивалось в большевизме только политической сферой. Столь же существенным оно было и при формулировке задач экономического строительства. Причем милитаризацию Троцкий считал не вынужденной мерой, а существенным элементом социалистической организации труда. «Если плановое хозяйство немыслимо без трудовой повинности, — пишет он с замечательной откровенностью, — то эта последняя не осуществима без устранения фикции свободы труда, без замены ее принципом обязательности, который дополняется реальностью принуждения» [Троцкий 1919: 133]. Троцкий верит, что при такой репрессивной экономической политике можно добиться более высокой производительности труда, чем в условиях свободного рынка рабочей силы. Противную же точку зрения меньшевиков он объявляет «запоздалым перепевом старых либеральных мелодий».

Представления Ленина об организации социалистической экономики были в этот период примерно такими же. В ленинской статье 1919 года «Как организовать соревнование?» обнаруживается плохо прикрытое страстной риторикой кричащее противоречие: «освобожденные от капиталистического гнета» рабочие бегут от работы как от чумы, а коммунистическая власть пребывает от этого в бессильной ярости. Отсюда — ленинское согласие с революционным террором против «паразитирующих элементов», включавших не только «богачей» и «жуликов», но и отлынивающих от работы пролетариев [Ленин 1974: 204].

IX съезд РКП(б), проходивший в марте-апреле 1920 года, принимал решения совершенно в духе Ленина и Троцкого. В постановлениях съезда речь шла о «массовых мобилизациях по трудовой повинности». Соответственно, «трудовое дезертирство» предписывалось карать по законам военного времени, вплоть до заключения в «концентрационный лагерь» [КПСС в резолюциях…: 488]. Трагическим парадоксом «рабоче-крестьянской» власти стало то обстоя-

тельство, что по завершении гражданской войны количество заключенных в концентрационных и трудовых лагерях советской России не уменьшалось, а возрастало, причем большинство заключенных составляли как раз не «буржуи», а рабочие и крестьяне[3].

По этому поводу Каутский с горькой иронией замечает: «Отчаянно искали они [большевики — С.П.] средства привить массам коммунистическую мораль. И ничего ясного отыскать не смогли они, марксисты, отважные революционеры, новаторы, как только жалкую увертку старого общества, с помощью которой оно пытается смыть с себя свои собственные грехи: трибунал, каторга, казнь. То есть террор» [Каутский 1919: 180]. Политика большевизма, по словам Каутского, не только не возвысила пролетариат над всеми классами российского общества, но, наоборот, морально и политически его развратила и унизила.

Н. Бердяев заметил как-то, что «социалистская печать невыносимо скучна. Коммунистов спасает от скуки ярость» [Бердяев 1996: 202]. Но он же указал на то, что риторический *pathos* коммунизма неразрывно связан с его *ethos*, с манихейским столкновением в нем общечеловеческой и классовой морали. В самом деле, экспликация моральных фреймов классического марксизма и большевистской идеологии позволяет вскрыть их принципиальное родство именно на этом уровне моральных мотивов и моральной риторики. С другой стороны, этот взгляд обнаруживает их единство с русской бунтарской традицией, с идеологией русского терроризма. Это родство не всегда представлено в большевизме явно, часто оно прикрыто общими для всей социал-демократии XIX века концептами и схемами. Но и у западных социал-демократов были свои (и не всегда явные) родственные связи с христианской и либеральной традицией. В этом случае прояснение моральных фреймов также позволяет вскрыть соответствующие «семейные сходства» [Айхлер 1996].

Драматичный политический опыт первой трети XX века стал моментом истины для всего семейства социалистических идеологий, обнажив глубокие различия их моральных фреймов: социал-демократы, национал-социалисты, коммунисты. Возможно, этот момент проходит любая идеология в цикле своей эволюции, поэтому такой опыт следует считать важной вехой на пути идеологических размежеваний или, напротив, новых идеологических союзов. Данное обстоятельство не стоит забывать и в современную эпоху «идеологических гибридов» — ведь упомянутых «моментов истины» сегодня меньше не становится.

Айхлер В. 1996. *Этический реализм и социальная демократия. Избранные труды*. — М.: ИВФ Антал.

Бердяев Н. 1990. *Истоки и смысл русского коммунизма*. — М.: «Наука».

Бердяев Н. 1996. Две морали. — *Истина и откровение*. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института.

Дзержинский Ф.Э. 1958. Докладная записка Ф.Э. Дзержинского в Политбюро ЦК РКП(б) о борьбе с хозяйственными и должностными преступлениями (декабрь 1923). — *Исторический Архив*. — № 1.

Каутский К. 1919. *Терроризм и коммунизм*. — Берлин: Ладыжников. — С. 179.

КПСС в резолюциях… 1954. *КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК*. Изд-е 7-е. Ч. II. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.

Ленин В.И. 1963. Что делать. — Ленин В.И. *Полное собр. соч. Т. 6*. — М.: Изд-во полит. лит-ры. — С. 1–192.

Ленин В.И. 1967. С чего начать? — В.И. Ленин. *Полное собр. соч. Т. 5*. — М.: Изд-во полит. лит-ры. — С. 1–13.

Ленин В.И. 1969. Пролетарская революция и ренегат Каутский. — В.И. Ленин. *Полное собр. соч. Т. 37*. — М.: Изд-во полит. лит-ры. С. 101–110.

[3] Косвенно это подтверждал сам Дзержинский [Дзержинский 1958: 22].

Ленин В.И. 1974. Как организовать соревнование? — В.И. Ленин. *Полное собр. соч. Т. 35*. — М.: Изд-во полит. лит-ры. — С. 195–205.

Ленин В.И. 1984a. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. — В.И. Ленин. *Полное собр. соч. Т. 41*. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1984. — С. 1–104.

Ленин В.И. 1984b. Задачи союзов молодежи. — В.И. Ленин. *Полное собр. соч. Т. 41*. — М.: Изд-во полит. лит-ры. — С. 298–318.

Маркс К. 1955. Морализирующая критика и критизирующая мораль. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 4*. — М.: Гос изд-во полит лит-ры. — С. 291–321.

Маркс К. 1956. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 7*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 5–110.

Маркс К. 1957. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 8*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 115–217.

Маркс К. 1960a. Первое воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 17*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 1–6.

Маркс К. 1960b. Гражданская война во Франции. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 17*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 317–370.

Маркс К. 1960c. Наброски к «Гражданской войне во Франции». — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 17*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 497–616.

Маркс К. 1960d. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 22*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.

Маркс К. 1964. Маркс — Женни Лонге, 11 апреля 1881 г.. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 35*. — М.: Изд-во полит. лит-ры. — С. 145–149.

Маркс К. 1974. Экономическо-философские рукописи 1844 года. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 42*. — М.: Изд-по полит. лит-ры. — С. 41–174.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955a. Немецкая идеология. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 3*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 7–544.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955b. Письмо брюссельского коммунистического корреспондентского комитета Г.А. Кётгену. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 4*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 19–21.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955c. Манифест Коммунистической партии. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 4*. — М: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 419–459.

Нечаев С. 1996. Катехизис революционера. — *История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях*. (О.В. Будницкий — состав.). — Ростов-на-Дону: «Феникс».

Плеханов Г.В. 1956. Наши разногласия. — Г.В. Плеханов. *Избранные философские произведения. В 5-ти тт*. Т. 1. — М.: Гос. изд-во пол. лит-ры.

Степанов Ю.В. 1991. *Проблема политического террора в марксизме (Историко-философский анализ)*. Автореф. дисс... канд.философ, наук. — М.

Ткачев П.Н. 1996. Терроризм как единственное средство нравственного и общественного возрождения России. — *История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях*. (О.В. Будницкий — состав.). — Ростов-на-Дону: «Феникс».

Троцкий Л.Д. 1919. *Терроризм и коммунизм*. — Берлин: Ладыжников.

Троцкий Л.Д. 1990. *Их мораль и наша*. — Доступно: http://sbiblio.com/biblio/archive/trockiy_ih/ . Проверено: 05.10.2013.

Энгельс Ф. 1955. Коммунисты и Карл Гейнцен. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 4*. — М.: Гос изд-во полит лит-ры. — С. 268–285.

Энгельс Ф. 1956a. Вопрос о десятичасовом рабочем дне. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 7*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 238–244.

Энгельс Ф. 1956b. Английский билль о десятичасовом рабочем дне. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 7*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 245–256.

Энгельс Ф. 1957. Революция и контрреволюция в Германии. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 8*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 3–113.

Энгельс Ф. 1961. Исключительный закон против социалистов в Германии. — Положение в России. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. 2-е изд. Т. 19*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 157–158.

Энгельс Ф. 1962. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции». — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения. Т. 22*. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры. — С. 189–201.

Peffer R.G. 1990. *Marxism, Morality, and Social Justice*. — Princeton: Princeton University Press.

КОММУНИТАРИСТСКАЯ КРИТИКА ЛИБЕРАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ МОРАЛЬНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ[1]

М.С. Константинов
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье с позиций интегративно-когнитивистского подхода анализируются ключевые концепты и ассоциированные с ними моральные фреймы дискуссии между либералами и коммунитаристами. В числе основных концептов коммунитаризма автор выделяет «сообщество», «благо» и «добродетель». С ними ассоциированы фреймы гражданственности, ответственности за дела сообщества, привязанности и др. Результаты исследования могут быть полезны широкому кругу российских и зарубежных ученых-исследователей по проблемам политической теории, политической этики, моральной и политической философии.*

Ключевые слова: *мораль, политика, идеология, либерализм, коммунитаризм, фрейм, концепт.*

В литературе, посвящённой коммунитаризму, общим местом стало подразделять эту идеологию на два течения: «высокий», или «философский», и «низкий», или «политический» коммунитаризм [см., например: Frazer 1999: 10; Mulhall, Swift 1996: xiv; Дмитриев 2009: 17]. Первый представляет собой возникшее в США в 80-х гг. XX в. как результат критики либерального индивидуализма направление в академической политической *философии*, к которому обычно относят четырёх ключевых политических философов: американцев Майкла Сэндела, Аласдера Чалмерза Макинтайра, Майкла Уолцера и канадца Чарльза Тейлора. Развёрнутая этими философами критика либерализма получила известность как «спор между либералами и коммунитаристами» [см., например: Тейлор 1998]. Второе возникает десятью годами позже в виде социально-политического *движения* с бессменным лидером Амитаи Этциони. При этом связи между политическим движением и академической политической философией достаточно опосредованны. Например, ни один из теоретиков философского коммунитаризма не подписался под программой коммунитаристского движения, предложенной Амитаи Этциони [Mulhall, Swift 1996: xiv]. Кроме того, в отличие от А. Этциони, представители «философского» коммунитаризма вообще не склонны именовать себя «коммунитаристами».

[1]Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт интегративно-когнитивистского анализа», проект № 12–03–00401а.

Спор между коммунитаристами и либералами: исходные контроверзы, концепты и фреймы

Стивен Малхолл и Адам Свифт выделили пять ключевых тем, на которых сфокусировались дебаты между либералами и коммунитаристами [Mulhall, Swift 1996: 9–33].

Первая тема — расхождения в понимании человеческой личности. Либеральная концепция, по мнению коммунитаристов, «берёт людей в отрыве от их целей (или ценностей, или концепций блага), таким способом, который совершенно не соответствует тому, как люди сами относятся к своим целям» [ibid.: 10]. И М. Сэндел, и А. Макинтайр формулируют свои возражения либерализму именно в этих терминах. Действительно, основной вектор коммунитаристской критики был направлен против метафоры «исходной позиции» в теории справедливости Дж. Ролза. Это гипотетическая ситуация, в которой никто из участников заключения общественного договора не знает своего места в обществе, классового и социального положения, распределения природных дарований, концепций блага или психологических склонностей. Необходимость этой «исходной ситуации» обусловлена стремлением гарантировать, что никто не использует своё право выбора принципов справедливости для улучшения своих собственных условий в ущерб другим. То есть, Дж. Ролз стремился представить гипотетическую ситуацию «симметрии отношений среди индивидов» и её честности для индивидов «как моральных личностей, т. е. как рациональных существ, …имеющих свои собственные цели и способных к чувству справедливости» [Ролз 1995: 26–27].

Однако именно такое представление о человеческой личности вызвало жёсткую реакцию со стороны коммунитаристов: «Кто эта странная „личность“, — спрашивают коммунитаристы, — которая существует независимо и способна свободно выбирать цели, придающие её жизни смысл и ценность?» [Mulhall, Swift 1996: 10]. В результате, одной из ключевых проблем современного общества, по мнению А. Макинтайра, является утрата концепции целостной личности, идентифицирующей себя через членство в различных социальных группах: «Я — брат, кузен, внук, член этого семейства, этой деревни, этого племени. [Эти характеристики] являются частью моей субстанции, определяющей… мои обязательства и мои обязанности» [Макинтайр 2000: 49–50].

Вторая тема — асоциальный индивидуализм, т. е. неверное, с точки зрения коммунитаристов, представление либералов о том, насколько сообщества, в которых люди живут, формируют ценности и цели этих людей. Либеральный контрактуализм, который воспроизвёл в своих рассуждениях и Дж. Ролз, исходит из представления о том, что цели людей сформированы независимо от или до общества, а само оно представлено как результат переговоров между частными лицами, цели которых предзаданы. С точки зрения же коммунитаристов, эта концепция игнорирует то, что общество, в котором живут люди, оказывает влияние на их самопонимание и представления о должном: «Коммунитаристы настаивают на обязательном признании социальных или коммунальных *источников* индивидуального самопонимания и концепций правильной жизни, и это — пункт, имеющий отношение *к любому* такому пониманию и концепции» [Mulhall, Swift 1996: 14–15]. Поэтому представление либералов об обществе как средстве достижения индивидуальных интересов тоже ложно. Коммунитаристы настаивают на самоценности социальных связей и идентичностей: «Индивиды наследуют конкретное пространство в рамках взаимообусловленного множества социальных отношений. Если они лишены этого пространства, они никто или же в лучшем случае чужаки или изгнанники» [Макинтайр 2000: 50].

Третий пункт расхождений — либеральный универсализм. Либералы полагают принципы их политической философии применимыми и нравственно оправданными, независимо от культурных и исторических контекстов. На это коммунитаристы, и прежде всего М. Уолцер, указывают, что различные культуры воплощают различные ценности, социальные формы и институты, поэтому «оценка культурной специфики является главной в правильном понима-

нии того, как сообщество должно быть организовано политически» [Mulhall, Swift 1996: 14–19].

Четвёртая проблема — ценностный субъективизм. В «исходном положении» теории справедливости Дж. Ролза дело представлено так, будто «человеческим интересом высшего порядка является способность формировать (frame), пересматривать и рационально отстаивать собственную концепцию блага» [ibid.: 21]. Акцент на индивидуальном выборе концепций правильной жизни говорит о вере либералов в произвольность выражения предпочтений, что в свою очередь основано на представлении о субъективности ценностей и моральных суждений.

Наконец, пятая тема, на которой, согласно Ст. Малхоллу и А. Свифту, сфокусирована дискуссия между либералами и коммунитаристами, — проблема антиперфекционизма и нейтрального государства. Эта проблема связана с рассмотренными выше либеральной концепцией личности и верой в субъективизм ценностей и моральных суждений. На этой вере основана либеральная концепция нейтрального государства: «Вместо того, чтобы действовать от имени идеалов, которыми руководствуются люди в своей частной жизни, следуя своим представлениям о благе, государство должно сознательно игнорировать все или некоторые из таких идеалов» [ibid.: 25]. Государство должно избегать высказывать собственные суждения о благе и достойной жизни, лишь обеспечивая нейтральную структуру, в рамках которой люди могут делать свой выбор.

Нередко идея нейтрального государства трактуется как моральная нейтральность либеральной теории вообще. Тем не менее, нельзя не признать справедливость замечания Уила Кимлики о том, что либеральный эгалитаризм не основывается на общей идее моральной нейтральности: «Напротив…, либеральный эгалитаризм — это глубоко моральная теория, базирующаяся на фундаментальных принципах неотъемлемой моральной ценности индивидов, расового и гендерного равенства, справедливости как честности, равенства возможностей, индивидуальных прав и ответственности и т. д.» [Кимлика 2010: 283]. Однако понятие нейтральности в современном либерализме имеет отношение только к уважающим справедливость концепциям блага: «…Либеральная нейтральность — это нейтральность в обосновании государственной политики, не в её последствиях. Государственная нейтральность есть просто идея о том, чтобы не было общественного ранжирования ценностей различных (уважающих справедливость) образов жизни» [там же: 284].

С одной стороны, это признают и сами коммунитаристы: «Мысль о том, что люди должны свободно и самостоятельно выбирать свои цели, сама по себе мощная моральная идея. […] Привлекательность нейтральной структуры заключается… в отказе от утверждения предпочтительного образа жизни или концепции блага» [Сэндел 2013а: 255]. С другой стороны, «[эта идея] не рассказывает нам, как вести жизнь…, [но] всего лишь требует, чтобы мы, каковы бы ни были цели, к которым мы стремимся, делали это, уважая права других людей делать то же самое» [там же]. То есть, в основе декларируемой либералами нейтральности справедливости по отношению к благой жизни, лежит рассмотренная выше концепция личности «как существа, которое делает свободный выбор, *не связанный предшествующими моральными узами*» [там же: 257; *Курсив мой — М.К.*]. К каким последствиям это приводит в вопросах политической ответственности, будет рассмотрено ниже. Здесь же отметим только, что коммунитаристы выступают против идеи государственной нейтральности во имя «политики общего блага».

Таким образом, коммунитаризм в целом противопоставил либеральным фреймам абстрактного асоциального индивида, выражающего субъективные ценности и моральные суждения, и нейтрального государства, ассоциированным в либерализме с ключевыми концептами свободы, права и справедливости, — концепты сообщества, блага и добродетели, с которыми ассоциированы фреймы конкретной (исторической) личности, ценности, цели и

идентичность которой социально обусловлены, а государство реализует «политику общего блага».

Как можно заметить, в дискуссии коммунитаристов и либералов фреймы выступают в наиболее чистом своём виде — как когнитивные структуры. Это обусловлено высоким теоретическим уровнем этой дискуссии, а также тем, что исходной контроверзой выступило *понимание* человека и его отношений с (со-)обществом. Описанные концепты и фреймы составляют ядро коммунитаризма, поскольку разделяются многими его представителями и являются общими для коммунитаризма в целом. Ниже мы рассмотрим специальные вопросы, в которых конкретизировались фреймы у каждого из представителей этой политической философии.

Пределы либеральной справедливости: философский коммунитаризм

Несмотря на то, что книга Аласдера Макинтайра «После добродетели: Исследования теории морали» вышла годом ранее работы Майкла Сэндела «Либерализм и пределы справедливости» (1982 г.) [Sandel 1998, русск. перевод фрагментов книги: Сэндел 1998], дискуссию между либералами и коммунитаристами инициировала именно последняя. И именно применительно к этой книге возник термин «коммунитаризм» [Mulhall, Swift 1996: 40]. В этой и последующих своих работах М. Сэндел критикует либеральную теорию приоритета справедливости над другими этическими и политическими идеалами, представленную Дж. Ролзом.

Это не означает, что М. Сэндел и другие коммунитаристы готовы релятивизировать справедливость в зависимости от мнения сообщества. Напротив, М. Сэндел признаёт, что «обременения, которые налагают сообщества, могут быть угнетающими» [Сэндел 2013а: 260]. Он отдаёт должное либеральному пониманию свободы, противостоящему политическим теориям, «которые подчиняют личности судьбам, предопределённым кастой или классом, положением или рангом, обычаем, традицией или унаследованным статусом» [там же: 260]. Однако М. Сэндел не готов согласиться с приписыванием справедливости морального приоритета перед другими ценностями, например, лояльности сообществу или ценностями гражданственности.

Поэтому можно сказать, что общей целью М. Сэндела является стремление сочетать «признание нравственного веса сообщества, оставляя при этом место человеческой свободе» [там же]. Эту свободу М. Сэндел понимает иначе, чем либералы, трактовавшие её как свободу выбирать собственные цели. Доминирование либеральных идей, согласно М. Сэнделу, привело к кризису общественного самоуправления в США. Его трактовка близка к республиканской традиции, которая учила, что «быть свободным означает участвовать в управлении политическим сообществом, которое само контролирует собственную судьбу. Самоуправление в этом смысле требует политических сообществ, контролирующих собственные судьбы, и граждан, которые в достаточной мере солидарны с этими сообществами, чтобы думать и действовать в целях общего блага» [Sandel 1996: 202]. Участие граждан в самоуправлении сообщества важно не только потому, что это есть одна из социально значимых целей индивида, но скорее потому, что это участие воспитывает в гражданах ответственность за общую судьбу и чувство сопричастности сообществу, требует знания общественных дел и моральных обязательств: «Республиканская концепция свободы, в отличие от либеральной концепции, требует политики, формирующей [личность], политики, которая культивирует в гражданах качества характера, необходимые для самоуправления» [Sandel 2005: 10].

Поэтому либеральной концепции абстрактного индивида, реализующего свой независимый от социальных связей выбор, М. Сэндел противопоставляет идею личности, конституированной привязанностями, обусловленными в свою очередь социальной идентичностью: «Размышляя над выбором, я задаюсь вопросом не только о том, что я реально хочу, но и о

том, кем я в действительности являюсь, и этот последний вопрос выводит меня за рамки учёта одних только желаний и заставляет задуматься о моей идентичности» [Сэндел 1998: 215]. Помимо фреймов гражданственности, перечисленных выше, для этой личности характерны фреймы привязанности, дружбы, доброжелательности и заботы о ближнем: «Мы любим своих друзей, мы испытываем к ним чувство привязанности и желаем им добра. Мы надеемся, что их желания исполнятся, а их планы получат успешное воплощение, и мы берём на себя заботу способствовать разными способами осуществлению их целей» [там же: 216].

Привязанности порождают ответственность по отношению к коллективному историческому целому, с которым «Я» идентифицирует себя. Должны ли народы приносить извинения за прошлые несправедливости? Несёт ли живущее поколение ответственность за дела отцов и дедов? — задаётся вопросом М. Сэндел. С точки зрения либерального индивидуализма, нельзя принимать на себя ответственность за те деяния, которых не совершал. В этом проявляется свобода принятия на себя моральных обязательств. Эта концепция «исходит из предположения о том, что мы, как нравственные субъекты, — свободные и независимые личности, не связанные прежними моральными узами, способные самостоятельно выбирать свои цели. Источником нравственных, ограничивающих нас обязательств являются не обычаи, не традиции и не унаследованный статус, а свободный выбор каждого индивидуума» [Сэндел 2013а: 251]. Очевидно, что концепция либерального морального индивидуализма не оставляет места коллективной ответственности.

М. Сэндел считает такую концепцию дефектной, поскольку она выражает «поспешную концепцию человеческой свободы, которая делает нас авторами тех единственных моральных обязательств, которые сдерживают нас» [там же: 259]. Изъян, согласно М. Сэнделу, заключается в самом стремлении найти нейтральные по отношению к концепциям благой жизни принципы справедливости: «Если мы думаем о себе как о свободных и независимых личностях, не связанных моральными узами, которые к тому же выбраны не нами, то не можем понять ряд нравственных и политических обязательств, которые обычно признаём и даже ценим. В числе них — обязательства солидарности и лояльности, историческая память и религиозная вера, то есть моральные требования, возникающие из сообществ и традиций, которые формируют нашу идентичность» [там же]. Решение обозначенной проблемы М. Сэндел находит в нарративной концепции А. Макинтайра.

«Нарративная концепция *Я*» А. Макинтайра была разработана и противопоставлена им концепции эмотивистского, или «демократизированного *Я*» в процессе критики эмотивизма как доминирующей моральной теории современного общества. Если критика М. Сэндела концентрировалась, в основном, на версии либерализма, представленной Дж. Ролзом и Р. Дворкиным, то критический анализ А. Макинтайра сфокусирован на происхождении, подъёме и упадке моральной и политической культуры Запада в целом. Моральный кризис современного западного общества обусловлен практической реализацией эмотивизма. По А. Макинтайру, «эмотивизм есть доктрина, согласно которой все оценочные суждения, и более того, все моральные суждения, есть *не что иное, как* выражения предпочтения, выражения установки или чувства, если они носят моральный или оценочный характер» [Макинтайр 2000: 19].

Эмотивизм есть следствие стирания различий между манипулятивными и неманипулятивными личными отношениями, поскольку в контексте эмотивистской моральной философии моральные суждения рассматриваются не более, чем попытки одной стороны изменить предпочтения другой стороны так, чтобы они согласовывались с её собственными предпочтениями. Это моральная теория, воплощённая в основных социальных «характерах» современного общества, которые «обеспечивают культуру её моральными дефинициями» и «морально узаконивают модус социального существования» [там же: 46, 44]. «Характеры», по метафорическому определению А. Макинтайра, — «это маски, которые носят моральные философы» [там же: 42].

В числе таковых А. Макинтайр выделяет три ключевых: Эстета, Менеджера и Терапевта. Первый рассматривает социальный мир как возможность получить удовольствие и избежать скуки. Менеджер воплощает стирание различий между манипулятивными и неманипулятивными отношениями в социальной сфере, Терапевт — в сфере частной. Оба рассматривают свои цели как нечто данное, не подлежащее обсуждению. Цель Менеджера состоит в том, чтобы организовать ресурсы с максимальной производительностью и эффективностью. Цель Терапевта — преобразование невротических признаков в социально полезную энергию, неадаптированных индивидов — в хорошо приспособленных. Для всех трёх «характеров» другие люди есть не более, чем средства для достижения своих целей.

Под моральным влиянием эмотивистских «характеров» в современной культуре сформировался странный с точки зрения человеческой истории феномен — «демократизированное *Я*», которое «может быть чем угодно, может принимать любую роль или любую точку зрения, потому что оно *есть* в себе и для себя ничто» [там же: 47]. Это «Я» лишено истории, социального содержания и идентичности; единственными носителями его непрерывности являются тело и индивидуальная память, «аккумулирующая наилучшим образом прошлое *Я*» [там же: 49]. Отсутствие чётких моральных ориентиров и окончательных критериев делает эмотивисткое «Я» полностью подверженным манипуляции. В результате современное общество превратилось в тотальную систему манипуляции.

Решение этих проблем А. Макинтайр видит в возрождении аристотелевской этики добродетели, а именно трёх взаимосвязанных концепций: практики, нарративного единства человеческой жизни и традиции. Под добродетелью понимается «приобретённое человеческое качество, обладание и проявление которым позволяет нам достичь тех благ, которые являются внутренними по отношению к практике и отсутствие которых эффективно препятствует достижению любых таких благ» [там же: 260; в источнике *курсив, — М.К.*]. Ареной проявления добродетелей является практика, под которой понимается «любая последовательная и сложная форма социально учреждённой кооперативной человеческой деятельности, через которую блага, внутренние по отношению к этой форме деятельности, реализуются в ходе попыток применения тех стандартов превосходств, которые подходя для этой формы деятельности и частично определяют её с тем результатом, что систематически расширяются человеческие силы в достижении превосходства, а также соответствующие концепции целей и благ» [там же: 255]. К сфере практики относятся искусства, науки, игры, политика в аристотелевском смысле, создание семьи и т. д. Главным во всех этих практиках является то, что их блага могут быть достигнуты только посредством «подчинения себя некоторой системе наших взаимоотношений с другими участниками практики» [там же: 260].

Эмотивистскому «Я», лишённому устойчивых добродетелей, А. Макинтайр противопоставляет нарративное «Я»: «…Допущение разговора о добродетелях означает допущение нарративного характера человеческой жизни» [там же: 197]. Человек не может стремиться к благу или добродетели в качестве индивида. Нарратив моей жизни может быть наполнен смыслом только через согласование его с нарративами других людей, в которые я включён на правах участника. Позволим себе большую цитату: «…Дело не просто в том, что различные индивиды живут в различных обстоятельствах; дело также в том, что все мы являемся носителями конкретной социальной тождественности. Я являюсь чьим-то сыном или дочерью, я чей-то двоюродный брат или дядя; я гражданин того или иного города, племени, нации. Отсюда то, что есть благо для меня, есть благо для того, кто воплощает эти роли. Как таковой, я унаследовал это прошлое моей семьи, моего города, моего племени, моей нации, и унаследовал различные долги, оправданные ожидания и обязательства. Они составляют данность моей жизни, мою моральную точку зрения. Это именно то, что придаёт моей жизни свойственную ей мораль» [там же: 297].

С точки зрения либерального индивидуализма, «я есть то, чем я выбрал для себя быть» [там же]. Это не предполагает ответственности за то, что сделали мои родители, моя страна,

мои соотечественники. Современный американец на этом основании отрицает свою ответственность за последствия рабства; современный немец отказывается признавать ответственность за Холокост и т. д. Однако, по мнению А. Макинтайра, подобная позиция демонстрирует моральную ограниченность либерального индивидуализма, поскольку прошлое продолжает оказывать влияние на настоящее и будущее: «…История моей жизни всегда воплощена в историю тех обществ, из которых я заимствую свою идентичность. Я родился с прошлым, и попытки отсечь себя от этого прошлого, в стиле индивидуализма, ведут к деформации моих нынешних отношений» [там же: 298].

Таким образом, единство практики связано с единством человеческой жизни: «…Практики всегда имеют историю и в любой данный момент то, чем является практика, зависит от её понимания, которое часто просится через многие поколения» [там же: 299]. Этим обусловлена роль традиций, посредством которых транслируются конкретные практики: «…Поиск индивидом своего собственного блага вообще и в обычных случаях направляется рамками контекста, определяемого…традициями, частью которых является человеческая жизнь… История практики в наше время вообще и обычно включена в большую и более длительную историю традиции и постижима только с учётом последней» [там же: 300]. Как можно заметить, все три концепции, на которых основана этика добродетели, — практики, нарративного единства человеческой жизни и традиции, — вступают в конфликт с либеральной этикой справедливости и требуют радикального преобразования всего современного общества[2].

В отличие от М. Сэндела и А. Макинтайра, Чарльз Тейлор не склонен отрицать либерализм по существу. Напротив, он пытается найти точки пересечения в целях либералов и коммунитаристов, полагая, что некоторые из центральных утверждений либерализма заслуживают внимания, но должны быть очищены от ошибочных способов их аргументации [см., например: Тейлор 1998; Taylor 1990; Taylor 1991]. Такими ложными аргументами являются, прежде всего, либеральные концепции атомизированного индивида и нейтрального государства. Человек, в представлении Ч. Тейлора, есть существо, способное к самоинтерпретации, которая зависит от его общих ориентаций и привязанностей к концепциям блага, выраженным в языковой матрице сообщества. Моральные суждения и интуиции вполне доступны рациональному объяснению и обсуждению в контексте ценностных структур сообщества.

Общепринятые моральные интуиции Ч. Тейлор рассматривает в контексте трёх таких структур, или измерений моральной жизни: первая — наше отношение к другим людям (наше понимание их ценности и достоинства, нашего долга по отношению к ним); вторая — наши представления о достойной человеческой жизни; третья — наше понимание собственного достоинства или статуса. Согласно Ч. Тейлору, «структуры обеспечивают фон, явный или неявный, для наших моральных суждений, интуиций или реакций в любом из трёх измерений» [Taylor 1989: 26]. Знать ответ на вопрос «кто я?» означает понимать, где я нахожусь; моя личность определена обязательствами и идентичностью, которые обеспечивают диапазон значений, в пределах которых я могу определить, что является ценным, а что нет.

В этом контексте понятно, что либеральная свобода выбора, с точки зрения Ч. Тейлора, оборачивается пустотой, поскольку попытка рационально переопределить все социальные институты ничем не обусловлена, — вне социальных контекстов рациональный индивид не способен предпочесть один жизненный путь другому. Дело в том, что «проживание в обществе есть необходимое условие развития рациональности… или становления морального агента, в полном смысле этого термина, или становления полностью ответственного, автономного существа» [Taylor 1990: 191].

С этим связана тейлоровская критика либеральной концепции нейтрального государства, которой он, вслед за М. Сэнделом, противопоставляет «политику общего блага». Суть проблемы видится Ч. Тейлору в том, что нейтральное государство не в состоянии защищать

[2]По этой причине концепция А. Макинтайра получила название «революционный аристотелизм» [Blackledge, Knight 2011].

социальную среду, необходимую для развития способностей к самоопределению и выбору концепции блага. Подобное возможно лишь в том типе сообщества, которое поддерживается с «помощью политики общего блага», которую проводит государство, защищая господствующий образ жизни.

Коммунитаристская позиция Майкла Уолцера выразилась в критике поисков универсальной теории справедливости, в которых он увидел претензию на доминирование. Политический теоретик, согласно М. Уолцеру, не должен выходить за рамки своей культуры: «Мой аргумент — радикальный партикуляризм. Я не претендую на то, что сумел дистанцироваться от того социального мира, в котором живу. Один способ начать философское предприятие… — [занять] объективную и универсалистскую точку зрения. Тогда ты описываешь рельеф повседневной жизни издалека, так что она теряет свои специфические очертания и принимает форму всеобщего. […] Другой способ философствования заключается в том, чтобы интерпретировать для своих сограждан мир смыслов, которые мы разделяем; справедливость и равенство, очевидно, могут быть разработаны в качестве философских артефактов; но общество от этого не станет справедливым и эгалитарным» [Walzer 1983: XIV].

Аргументация М. Уолцера в некоторых аспектах напоминает доводы Ч. Тейлора и других коммунитаристов о социальном характере моральных понятий и языка. Прежде всего, значения любых благ, согласно М. Уолцеру, социально обусловлены, их ценность определяется сообществом в процессе интерпретации: «Отшельник едва ли мог бы понять значение благ или выяснить причину, по которой они считаются привлекательными или непривлекательными» [ibid.: 7–8]. Из этого следует, что значения благ будут различными в разных обществах. Поэтому претензии на «открытие» универсальных принципов справедливости антидемократичны по определению. Существует не одна сфера справедливости, для которой можно было бы раз и навсегда установить универсальные принципы, а несколько: в одну сферу входят деньги и предметы потребления на рынке; в другую — демократическое гражданство; в третью — образование; в четвёртую — здравоохранение и т. д. Бессмысленно устанавливать равенство (как одну из форм справедливости) в каждой из этих сфер. Гораздо важнее разграничить эти сферы так, чтобы неравенство из одной сферы не проникало в другую. Например, рыночное неравенство не должно оказывать влияния в сфере образования или гражданства. В этом состоит суть «сложного равенства». Однако эта концепция имеет значение лишь для западных обществ. В других культурных контекстах могут быть значимы другие принципы справедливости.

Поэтому, вместо того, чтобы пытаться дистанцироваться от сообщества, в котором он живёт, философ должен эксплицировать те значения, которые составляют его культуру. Это же касается и моральных принципов: они не располагаются в некоем мире идей, доступ к которому открыт только философу. Напротив, моральная аргументация связана с укоренёнными в культуре «общими пониманиями» [Walzer 1994]. Миром морали является мир повседневности и «будет лучше, если мы будем скорее исследовать его внутренние правила, императивы, соглашения и идеалы, нежели отстраняться от них в поисках универсальной и трансцендентной точки зрения» [Уолцер 1999: 15]. Тем самым, универсализму либеральной мысли М. Уолцер противопоставил партикуляризм коммунитаристской рефлексии.

Проект «хорошего общества»: политический коммунитаризм

На основе философских аргументов «высокого» коммунитаризма возникло течение, стремящееся воплотить коммунитаристские принципы в политической практике. Согласно американскому социологу Амитаи Этциони, люди стремятся к обществу, которое является «не просто гражданским, но хорошим» [Etzioni 2000: 11]. Современное общество, полагает А. Этциони, страдает от недостатка общинности («we-ness») и ценностей, которые может поддерживать только сообщество [Etzioni 1993: 26]. Это делает необходимым восстановление

морального и политического авторитета сообщества: «Времена требуют эпохи реконструкции, в которую мы снова сделаем акцент на „мы“, на общих ценностях, на духе сообщества» [ibid.: 25]. Этим обусловлена значимость, которую А. Этциони придаёт сообществам: они «обеспечивают чувства привязанности, которые превращают людей в коллективные образования, напоминающие расширенные семьи. …Они передают общую моральную культуру (ряд общих социальных значений и ценностей, которые характеризуют то, что сообщество считает добродетельным versus недопустимым поведением) от поколения к поколению, а также переформулируют эти моральные рамки день за днём» [Etzioni 2000: 15].

При этом, как и М. Сэндел, А. Этциони оговаривается, что речь идёт не о подавлении индивидуальности коллективными формами, но о необходимости найти средний путь между двумя этими крайностями: «Мы стремимся к разумному соединению личного интереса, самовыражения и обязательств перед сообществом, прав *и* обязанностей, „меня“ и „нас“. … Здоровое стремление к сообществу должно *сочетаться* со здоровой ориентацией на индивидуальные потребности и интересы, которая уже хорошо реализована» [Etzioni 1993: 26]. Таким образом, речь идёт не о доминировании сообщества над интересами индивида, но о поиске «третьего пути», сочетающего крайности индивидуализма и холизма.

В небольшой книге «Третий путь к хорошему обществу» [Etzioni 2000] А. Этциони в числе основных признаков «хорошего общества» назвал следующие. Это такое общество, «в котором люди рассматривают друг друга как цели в себе, а не просто как средства; как целостных личностей, а не как фрагменты; как членов сообщества, связанных узами привязанностей и обязательств, а не только как работников, покупателей и продавцов или даже сограждан» [ibid.: 11]. Это общество, в котором неотъемлемые личные права *сочетаются* с социальной ответственностью друг за друга. Это общество, в котором сбалансированы частично несовместимые элементы: государство, рынок и сообщество. Правительство в данном обществе рассматривается не как проблема (как это принято в либеральной традиции) и не в качестве решения, но как один из партнёров хорошего общества. Понятно, что для реализации этих принципов представители сообщества должны обладать определёнными добродетелями, среди которых А. Этциони особенно выделяет самообладание, самодисциплину, взаимное уважение и т. д.

Заключение

В рамках статьи невозможно раскрыть всё богатство проблематики коммунитаристской мысли. Мы сосредоточились лишь на тех её аспектах, которые значимы в рамках аналитической модели «базовые идеологические концепты — ассоциированные с ними моральные фреймы». Подводя итог нашему рассмотрению, отметим следующее.

Наверное, ни в одной другой политической идеологии моральные фреймы не близки к своему первоначальному значению — когнитивных структур, — как в коммунитаризме. Высокий теоретический уровень дебатов коммунитаристов и либералов, анализ самых глубинных философских оснований современного общества, критика рационалистических и индивидуалистических представлений о человеке привели участников дискуссии к необходимости анализировать сами структуры знания о моральных аспектах жизни человека и сообществ, в которых он рождается, живёт и умирает. В ходе дискуссии было сформулировано чёткое противопоставление «мы» — «они» по основанию ценностных и когнитивных различий в понимании человека и общества. И, хотя говорить о сформировавшемся «мы» в философском течении коммунитаризма не всегда корректно по той причине, что ведущие теоретики данного направления отказываются от ярлыка «коммунитарист» и претендуют (что характерно для любой идеологии) на выражение не идеологически контекстуального, но «истинного» знания, тем не менее, достаточно чётко локализовано «они» — либералы.

В этом контексте «либералы» представлены в качестве носителей ключевых концептов свободы, права и справедливости, которым противопоставляются концепты сообщества, блага и добродетели. Либеральный индивид характеризуется фреймами неисторичности, абстрактной и инструментальной рациональности, асоциальности и субъективизмом в моральных суждениях. Единственными носителями его непрерывности являются тело и индивидуальная память. Отрыв от социальных связей, коллективной истории и неустойчивость морального субъективизма делают этого индивида легко подверженным манипуляции. Коммунитарная (или «истинная») личность, напротив, исторически конкретна, её ценности, цели и идентичность социально обусловлены, поэтому ей приписываются фреймы гражданственности, ответственности за дела сообщества, взаимного уважения, привязанности, дружбы, доброжелательности и т. д.

Особенно ярко мотивирующая функция моральных фреймов проявилась в политической версии коммунитаризма, а именно в проекте «хорошее общество» А. Этциони. Этот концепт амбивалентен: для реализации «хорошего общества» необходимо моральное воспитание его представителей и, наоборот, «хорошее общество» воспитывает в индивидах нужные добродетели посредством публичного обсуждения моральных стандартов, вовлечения в гражданскую жизнь, в процессы принятия общественно значимых решений, участия в делах сообщества и т. д. Тем самым «хорошее общество» есть не только политический проект, который нужно воплотить в жизнь, но и условие воспитания «хорошего гражданина».

Дмитриев Т.А. 2005. Аласдер Макинтайр: мораль после добродетели. — *История философии*. Вып. 12. — Москва: ИФ РАН. — С. 90–122.

Дмитриев Т.А. 2009. Коммунитаризм. — Хёффе О., Малахов В.С., Филатов В.П., Дмитриев Т.А. (ред.). *Современная западная философия. Энциклопедический словарь*. — Москва: Культурная революция. — С. 17–20.

Кашников Б.Н. 2004. Коммунитаризм как критика либеральной справедливости. — Кашников Б.Н. *Либеральные теории справедливости и политическая практика России*. — Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого. — С. 186–211.

Кимлика У. 2010. *Современная политическая философия: введение*. — Москва: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики. — 592 с.

Макинтайр А. 2000. *После добродетели: Исследования теории морали*. — Москва, Екатеринбург: Академический Проект, Деловая книга. — 384 с.

Ролз Дж. 1995. *Теория справедливости*. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. — 536 с.

Сэндел М. 1998. Либерализм и пределы справедливости. — *Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. — Москва: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. — С. 191–218.

Сэндел М. 2013а. *Справедливость. Как поступать правильно?* — Москва: Манн, Иванов и Фербер. — 352 с.

Сэндел М. 2013б. *Что нельзя купить за деньги. Моральные ограничения свободного рынка*. — Москва: Манн, Иванов и Фербер. — 256 с.

Тейлор Ч. 1998. Пересечение целей: Спор между либералами и коммунитаристами. — *Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. — Москва: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. — С. 219–248.

Уолцер М. 1999. *Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия XX века*. — Москва: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги. — 360 с.

Уолцер М. 2000. *О терпимости*. — Москва: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги. — 160 с.

Уолцер М. 2006. Сферы привязанности. — *Логос*. — № 2 (53). — С. 128–129.

Этциони А. 2004. *От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям*. — Москва: Ладомир. — 384 с.

Blackledge P., Knight K. (eds.). 2011. *Virtue and Politics: Alasdair MacIntyre's Revolutionary Aristotelism*. — Notre Dame: University of Notre Dame Press. — 365 p.

Etzioni A. 1993. *The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda*. — New York: Crown Publishers, Inc. — 323 p.

Etzioni A. 2000. *The Third Way to a Good Society*. — London: Demos. — 63 p.

Forst R. 2002. *Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism*. — Berkeley & Los Angeles: University of California Press. — 347 p.

Frazer E. 1999. *The Problems of Communitarian Politics: Unity and Conflict*. — Oxford, New York: Oxford University Press Inc. — 279 p.

MacIntyre A. 1988. *Whose Justice? Which Rationality?* — Notre Dame: University of Notre Dame Press. — 411 p.

MacIntyre A. 1999. *Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues*. — Chicago & La Salle: OPEN COURT. — 172 p.

MacIntyre A. 2006. *Selected Essays. Vol. 1. Ethics and Politics*. — Cambridge: Cambridge University Press. — 239 p.

Mulhall S., Swift A. 1996. *Liberals and Communitarians*. — Malden: Blackwell Publishing. — 364 p.

Sandel M.J. 1996. *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy*. — Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press. — 417 p.

Sandel M.J. 1998. *Liberalism and the Limits of Justice*. — Cambridge: Cambridge University Press. — 231 p.

Sandel M.J. 2005. *Public Philosophy: Essays on Morality in Politics*. — Cambridge & London: Harvard University Press. — 292 p.

Taylor C. 1989. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. — Cambridge: Harvard University Press. — 601 p.

Taylor C. 1990. *Philosophical Papers. Vol. 2. Philosophy and the Human Sciences*. — Cambridge, New York: Cambridge University Press. — 340 p.

Taylor C. 1991. *The Ethics of Authenticity*. — Cambridge: Harvard University Press. — 142 p.

Walzer M. 1983. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. — New York: Basic Books. — 346 p.

Walzer M. 1994. *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*. — Notre Dame & London: University of Notre Dame Press. — 105 p.

Книжная полка

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ: ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ[1]

А.Н. Олейник
Центральный экономико-математический институт РАН,
Университет Мемориал (Канада),
С.Г. Кирдина
Институт экономики РАН,
И.П. Попова
Институт социологии РАН,
Т.Ю. Шаталова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация: *В статье обсуждается процесс научной коммуникации, опосредованной текстом. Проведенное исследование показывает, что тексты могут иметь множество интерпретаций. В зависимости от контекста их прочтения, на первый план выходит либо авторская, либо читательская позиция. Как автор, так и читатель могут читать текст либо поверхностно, либо внимательно и вдумчиво. Внимательное чтение требует существенных затрат времени и когнитивных ресурсов, что противоречит правилу «минимизации усилий на обработку информации». Это является одной из причин расхождения авторской и читательской интерпретаций текста.*

Ключевые слова: *чтение, качественное кодирование, контент-анализ, наука, коммуникация.*

Введение

Ученые общаются не только с теми коллегами, которые находятся рядом (работая в одном отделе, лаборатории, выполняя совместные проекты, встречаясь во время научных конференций), но и с теми, кто отдален от них во времени и/или пространстве (авторами текстов, которые они читают и цитируют в своих работах).

Такое обезличенное академическое общение редко является объектом специальных исследований в социологии. Это неудивительно, если учесть недостаточное внимание социологов к текстуально опосредованным социальным действиям по сравнению с ничем не опосредованным социальным действиям «лицом к лицу» [Smith 1990: 121–122]. В этой статье науч-

[1] Сокращенная версия настоящей статьи была опубликована в журнале «Социологические исследования» — 2013. — № 8. — С. 30–41.

ные тексты рассматриваются как необходимые предпосылки обезличенных взаимодействий и одновременно их результат. Это соответствует подходам, рассматривающим тексты «как поле взаимодействия людей, которые являются членами конкретных сообществ» [Hyland 2004: 132] и «письмо как не только средство передачи знаний, но и их накопления» [Yore et. al. 2004: 353].

Статья посвящена обсуждению проблем, возникающих в ходе научной коммуникации посредством чтения, письма и цитирования. При таком обезличенном общении на расстоянии ученые не имеют тех опор, которые доступны им при взаимодействии лицом к лицу. Например, при оценке достоверности и надежности чьей-то работы они могут не знать личной репутации автора. Поэтому суждения основываются главным образом на том, что содержится в самом тексте. Значимые личностные характеристики автора — его намерения, интересы, членство в различных сетях, честность и порядочность — остаются, как правило, скрытыми за текстом.

Вопрос исследования обусловлен попыткой выяснить: как авторский текст читает читатель? Если посмотреть на эту проблему с точки зрения автора, то речь идет о том, насколько близко читатель понимает мысль автора. Задача читателя состоит в получении сообщения автора с минимальными потерями информации и правильной его «расшифровке». Если же взглянуть на проблему с точки зрения читателя, то акцент меняется. Важно понять, насколько актуальна для читателя информация, представленная ему автором. Наконец, если смотреть с точки зрения беспристрастного стороннего наблюдателя, вопрос еще раз должен быть переформулирован. Теперь акцент делается на новых смыслах, возникающих в процессе чтения: появляются ли в процессе чтения новые идеи в дополнение к идеям автора и читателя?

В статье три раздела, а также введение и заключение. Обезличенная научная коммуникация редко существует в чистом виде. В большинстве случаев текстуально опосредованное социальное действие также включает некоторые элементы, относящиеся к персонализированному (личностному) взаимодействию в науке. Например, некоторые авторы вполне сознательно предпочитают ссылаться на работы лично знакомых коллег, а не на наиболее актуальные работы, написанные незнакомыми учеными. Другие ученые цитируют работы близких знакомых или свои собственные произведения ради саморекламы. Раздел I содержит обзор соответствующей литературы с акцентом на обезличенное общение в науке. В разделе II обсуждаются источники данных проведенного исследования. Четверо обществоведов прочитали и проанализировали содержание работ друг друга. Для оценки результатов чтения использованы техники количественного и качественного контент-анализа. Результаты исследования представлены в разделе III. Прочтение автором собственных текстов сравнивается с интерпретациями этих же текстов читателями. Показано, что в некоторых случаях мнение автора превалирует, в то время как в других случаях читатель «берет верх» и наделяет тексты собственными смыслами.

Обезличенная научная коммуникация

Текстуально опосредованная социальная деятельность в области науки может быть представлена в виде совокупности трансакций между тремя типами субъектов (рисунок 1). Автор работ (статей, книг, рецензий и т.д.) адресует свое сообщение незнакомому читателю. При написании работы автор ссылается на существующую литературу, цитируя автора некоторой другой работы («цитируемый автор»). Таким образом, в своем тексте автор также играет роль читателя по отношению к цитируемому источнику. Читатель со временем превращается в автора для нового поколения научных работ. Как метко выразился Латур [Latour 1987: 38], «чтобы выжить или быть превращенным в факт, утверждение нуждается в следующем поколении работ, которые ссылаются на него». Следовательно, трансакция между автором и читателем представляет собой элемент бесконечной цепи научной коммуникации.

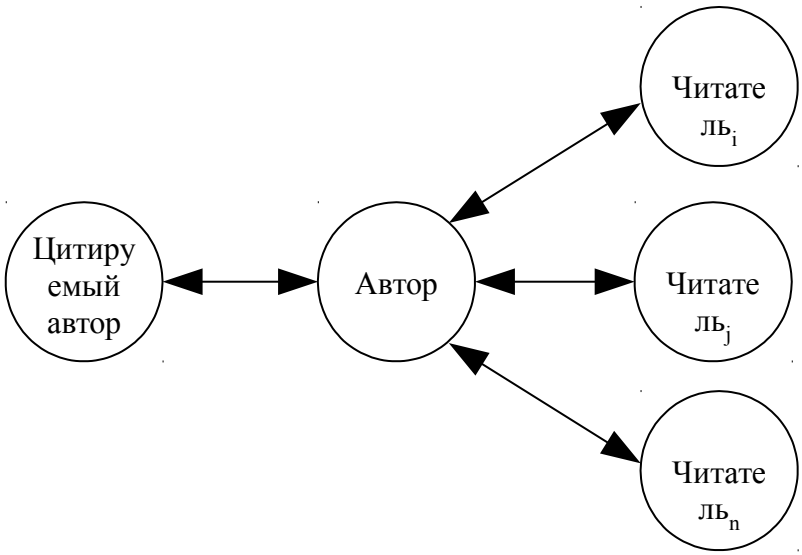


Рис. 1. **Основные схемы обезличенной коммуникации**

Для более точного описания процесса научной коммуникации существительное в единственном числе «читатель» должно быть изменено на множественное число — «читатели». Действительно, автор обращается к потенциально неограниченному числу лично неизвестных ему читателей. Каждый из них читает текст по-разному в соответствии со своей конкретной ситуацией: интересами, накопленными знаниями, познавательными способностями и т.д. «Читатели разные. Они различаются в своих предположениях, и многие могут быть лично не знакомыми… Не существует способа выяснить, что именно будет наилучшим образом удовлетворять запросы каждого читателя» [White 2011: 3348].

Эти, казалось бы, тривиальные сентенции помогают лучше определить линию дальнейших рассуждений. Чтение является неотъемлемой частью научного общения в регистре обезличенного взаимодействия. И, сравнивая сообщение автора с интерпретацией читателя, мы получаем более глубокое понимание всей цепочки обезличенной научной коммуникации.

Чтение также различается по его глубине. Поверхностное чтение отличается по своей интенсивности от глубокого чтения того же текста [Грязнова, Рац: 2008]. Поверхностное чтение сводится к просмотру текста [см., например: Wilson & Tenopir 2008: 1395]. Читатель ищет интересующую его информацию, обращаясь к названию, оглавлению или резюме. Когда читатель переходит к тексту статьи (книги, рецензии), то он взаимодействует с автором в одностороннем порядке. Читатель просто выбирает те части сообщения автора, которые кажутся наиболее актуальными для его текущей ситуации. Автор отправляет сообщение, а читатель получает его неполным в результате выборочного прочтения. Если интерпретация текста читателем расходится с авторской, то в случае поверхностного чтения это объясняется отсутствием у читателя внимания.

Глубокое чтение требует от читателя бóльших затрат когнитивных ресурсов и времени, что позволяет углубиться в текст, а не скользить по его поверхности. Если читатель намерен использовать конкретный текст в собственной работе (чтобы цитировать его, например), то обычно читает его два раза или более [Wilson & Tenopir 2008: 1403], а также делает выписки. Глубокое чтение включает в себя и двусторонний формат общения между автором и читателем. Читатель рассматривает аргументы автора в свете собственной ситуации. Намерения автора не обязательно совпадают с читательскими, что обусловливает существование множества смыслов одного и того же текста. В этом смысле глубокое чтение связано с понятием

«многоголосия» Бахтина [Бахтин 1979: 41]. Голос автора представляет собой один голос из многих, поэтому он имеет очень ограниченный контроль над тем, что читатели могут «вычитать» из его текста.

Разницу между одно- и двусторонней связью автора и читателя можно лучше осмыслить с помощью категорий понимания и интерпретации. Понимание предполагает использование сообщения автора в качестве точки отсчета: читатель понимает текст правильно, если обнаруживает смысл, вложенный автором. Читатель имеет гораздо больше степеней свободы при интерпретации текста. А именно, читатель свободен находить в тексте новые смыслы [Norris, Philips 1994: 402].

Определенное таким образом, понимание подразумевает приоритетность точки зрения автора. В то время как интерпретация, в отличие от понимания, делает приоритетной точку зрения читателей. Золотая середина также возможна. Параллель с диалектической триадой (тезис — антитезис — синтез) кажется здесь уместной. В анализируемом нами случае чтения сообщение автора представляет собой тезис, интерпретация читателя относится к антитезису, а синтез означает «интеграцию текстовой информации и знания читателя» [Norris, Philips 1994: 394].

Говоря более конкретно о позиции читателя по отношению к тексту, следует отметить, что читатель придерживается либо кооперативного, либо критического, состязательного подхода. Эти два подхода могут в конечном итоге дополнять друг друга, как в случае «незаинтересованной критики». Требование судить «без пристрастия» [Goldgar 1995: 113] означает как сотрудничество в развитии знания, так и конфронтацию в аргументировании. Однако по методологическим и практическим соображениям конфликты и сотрудничество в чтении рассматриваются отдельно. В отличие от идеального гражданина «Республики писем» [Goldgar 1995], фактический читатель чаще всего либо полностью встает на сторону автора, либо критикует его, либо просто игнорирует авторские аргументы, удовлетворяясь поверхностным чтением.

При выборе кооперативного подхода к тексту читатель развивает линию рассуждений автора дальше. Совместное чтение «ориентировано на дальнейшее использование: оно характеризуется высокой избирательностью, а также предполагает весьма заинтересованого в непосредственном применении полученных знаний в своей работе читателя» [Hirschauer 2010: 77]. В частности, читатель находит новые приложения для аргументов автора или строит собственную теорию на их основе.

Сотрудничество между автором и читателем требует высокого уровня совместного доверия: ведь в большинстве случаев они не знают друг друга лично. Парадигмальные науки — дисциплины, в которых есть консенсус относительно основных предпосылок — характеризуются более выраженной тенденцией к сотрудничеству. Сравнение книжных рецензий, с одной стороны, в области гуманитарных и социальных наук, и, с другой стороны, в естественных науках (где согласие ученых по поводу основных предпосылок выражено сильнее), показывает, что в последнем случае похвала преобладает над критикой [Hartley 2006: 1196].

Выбор критического, состязательного подхода к тексту означает, что читатель не принимает на веру ничего из сказанного автором, сомневаясь и подвергая критике все приводимые им аргументы. Поэтому при написании текста главная забота автора заключатся в том, чтобы предвидеть «возможные негативные реакции читателя на аргументы автора» [Hyland 2004: 13; см. также: Latour 1987: 46]. Автор, умеющий предвосхитить возможную критику, имеет больше шансов быть услышанным. В других случаях читатель либо интерпретирует сообщение автора по-своему, либо просто игнорирует его.

Преобладание критики в обезличенной научной коммуникации подрывает возможность сотрудничества между автором и читателем. «Скептически настроенный читатель» [Spektor-Levy, Eylon & Schrez 2009: 876] не испытывает большой симпатии к автору и его намерениям. Ученые в общем стремлении к развитию знаний все больше превращаются в оппонентов

и противников, если не врагов. Состязательный характер взаимодействия между автором и читателем предполагает параллели с судебным разбирательством или даже с полем боя. Описание текстуально опосредованного социального взаимодействия в науке может быть представлено следующей иллюстрацией Латура: «это битва между авторами и читателями за контроль движений друг друга… сходство между конкуренцией доказательств и гонкой вооружений — отнюдь не метафора» [Latour 1987: 58, 172; см. также: Hirschauer 2010: 78].

Практическое применение выделенной выше таксономии видов чтения (глубокое — поверхностное, кооперативное — критическое) требует решения ряда методологических проблем. Одна из таких проблем относится к вопросу операционализации понятий. Как можно измерить глубину чтения или интенсивность критики? Например, Бурдье утверждает, что степень враждебности, как правило, очень высока в научном взаимодействии. Тем не менее, она редко принимает явные формы [Bourdieu 1984: 39].

Ученые в области социологии науки обычно используют цитирование в качестве меры глубины чтения и интенсивности критики. Анализ цитат служит для количественного измерения эффективности чтения. Количество ссылок на работы автора предположительно равно числу его читателей. Глядя на формат конкретных цитат, можно сделать вывод, какую позицию по отношению к цитируемому автору — критическую или кооперативную, занимает читатель [Harwood 2009]. Семантический анализ служит для дальнейшего уточнения позиции читателя [Hyland 2004].

Стиль текста и его жанр (статья, рецензия, книга и пр.) оказывает влияние на глубину чтения. Когнитивные ресурсы и время читателя ограничены, и это становится особенно значимым фактором в связи с ростом числа научных публикаций. Как заключает Саймон [Simon 1978: 13], «внимание становится более дефицитным и важным ресурсом, чем информация». Будучи не в состоянии читать все, имеющее отношение к его области исследований, читатель пытается оптимизировать использование своего все более дефицитного ресурса — внимания. В этой связи теория релевантности вводит правило оптимального баланса усилий и эффекта [White 2011].

Задача снижения затрачиваемых на чтение усилий значительно облегчается, если автор сокращает длину предложений и слов, то есть пишет в «легком и простом» стиле. Легко читаемый текст содержит короткие фразы и слова [Sawyer, Laran, Xu 2008: 109]. Также легче читается хорошо организованный текст — последовательный, с четко установленными связями между его элементами и хорошо построенными предложениями [Benjamin 2011: 72].

Существуют методики измерения удобочитаемости текста [Benjamin 2011; Сойер, Laran, Xu 2008: 115]. Определение легкости чтения на основе формулы Флеша (Flesh) является наиболее распространенным. Основное предположение такого подхода состоит в том, что «текст, который имеет длинные предложения и длинные слова в них, труднее читать, чем текст, который имеет короткие предложения и короткие слова» [Hartley, Sotto, Fox 2004: 203–204; см. также: Stremersch, Verniers, Verhoef 2007: 174; Hyden 2008].

Удобочитаемость текста также зависит от его жанра. Каждый жанр в текстуально опосредованной коммуникации — научная статья, книга, рецензия на книгу, абстракт — предполагает особые требования в отношении структуры и содержания текста [Hyland 2004]. Различия в структуре научных текстов либо способствуют, либо усложняют их чтение. «Научные статьи, которые соответствуют установленным требованиям, как правило, короче, чем статьи, написанные в более вольном стиле» [Hartley, Sotto, Fox 2004: 189]. Следовательно, чтение хорошо организованных и структурированных статей требует сравнительно меньше усилий. Статьи, а также их более компактные версии — научные сообщения, представляют собой самый распространенный жанр текстуально опосредованной коммуникации в области естественных наук.

В отличие от статьи, книга (монография) имеет менее жесткую структуру. Автор книги рассматривает несколько идей вместо одной (ср. правило «одна статья — одна идея»), разви-

вает свои аргументы более подробно и может отклоняться от центральной линии (излагая идеи, которые только косвенно имеют отношение к основной линии рассуждений). В результате книга, как правило, требует более глубокого прочтения. В отличие от ученых-естественников, представители социальных наук общаются в регистре обезличенного взаимодействия в основном через чтение книг. По данным исследований, количество монографий составляет до 52% от всего списка цитируемых работ в социальных науках, в отличие от 7% в медицине [Wilson, Tenopir 2008: 1398].

Книги могут быть разделены на две категории: специализированные и обзоры. Читателем книг первой категории является ученый, читатель-неспециалист более характерен для последней категории. Так как чтение специальной литературы требует концентрации, больших затрат времени и значительных базовых знаний, оно представляется особенно проблематичным. Издатели, в том числе и университетские издательства, отдают все большее предпочтение в пользу обзоров, эссе и книг, которые читателям легче «переварить» [Auerbach 2006; Horowitz 1993: Глава 15].

Хотя анализ цитирования является самым распространенным методом изучения научной коммуникации, мы полагаем, что он не позволяет исследовать многие важные аспекты отношений между автором и читателем. Анализ цитирования исходит из предположения, что в тексте представлена лишь одна идея. Тогда количество ссылок на текст предположительно свидетельствует о том, сколько читателей получили это единственное послание автора. Однако выполнение цитатами множества функций подрывает уверенность в том, что работа цитируемого автора была обязательно прочитана, а тем более интерпретирована в соответствии с его намерениями [Harwood 2009]. Например, цитирование для демонстрации компетентности предполагает прямо противоположное: читатель едва ли подробно знаком с цитируемым текстом. Кроме того, книга или статья обычно содержит более чем одну идею. Поэтому ссылка на книгу или статью не указывает, какие именно из авторских идей привлекли внимание читателя.

Методология контент-анализа помогает восполнить пробелы, возникающие при анализе цитирования. Качественный контент-анализ (ручное кодирование) предназначен для определения фрагментов текста, которые соответствуют идеям автора и читателя и отражают ключевые понятия через качественные коды. Ограничений в отношении их числа нет. Количественный контент-анализ (совместная встречаемость слов) значительно облегчает семантический анализ предложений. Использование словаря, основанного на замещении — гибридная форма качественного и количественного контент-анализа — открывает путь к проведению качественного анализа содержания в автоматическом режиме. После разработки словаря (списка слов и словосочетаний, которые относятся к каждому из качественных кодов) человеческое участие уже не требуется. Наконец, три типа контент-анализа дополняют друг друга, если использовать методы триангуляции. Триангуляция в контент-анализе повышает достоверность и надежность его результатов [Олейник 2009].

Нам неизвестны случаи применения контент-анализа для исследования академического чтения. Статья восполняет этот пробел. Контент-анализ используется в данном случае для решения основного вопроса исследования о том, как авторский текст читает читатель. Контент-анализ помогает решить две задачи. Во-первых, с его помощью глубина чтения измеряется в количественном выражении: сколько идей читатель определяет в тексте? Во-вторых, он делает возможным количественное сравнение восприятия одного и того же текста автором и читателем. Определяются и интерпретируются ли идеи автора читателем в соответствии с намерениями автора?

Академическое чтение: анализ случая

В данном исследовании принимали участие четверо ученых в сфере общественных наук. В статье, в целях соблюдения конфиденциальности, они будут фигурировать как A, B, C и D. Исследователи ранее работали независимо друг от друга в смежных областях и не имели совместных публикаций. Двое из них специализируются в области экономической теории и социологии, один является «чистым» социологом и один — специалистом в сфере прикладных социальных наук (анализ политики). Первые три участника A, B и C — уже сформировавшиеся ученые. Их работы активно цитируются в РИНЦ — крупнейшей русскоязычной базе данных научных публикаций. Четвертый участник D — недавний выпускник университета.

В ходе проекта участники читали тексты друг друга, опубликованные в 1999–2011 гг., не менее 4–5 раз, и проводили их контент-анализ. Выборка работ A включает 20 статей, эссе, глав из книг и рецензий на книги, B — 17 статей и рецензий на книги и C — 20 статей, эссе и рецензий. Иными словами, A, B и C исполняли роли и автора, и читателя. D являлся только читателем, и потому рассматривается как «независимый наблюдатель».

Контент-анализ 57 текстов включал три этапа. Замысел каждого этапа соответствует особому контексту академического чтения. На 1-м этапе участники прочли все тексты и разработали свои книги кодов (списки качественных кодов) независимо друг от друга. Для оценки надежности своего качественного кодирования каждый участник создал словарь, основанный на замещении, структура которого соответствовала его книге кодов. После выполнения трех видов контент-анализа (качественного, количественного и с помощью словаря, основанного на замещении), расстояния между текстами в трех случаях, измеренные косинус-коэффициентами, были кросс-коррелированы с помощью оригинального метода триангуляции [Олейник 2009]. Была выявлена умеренно-сильная или сильная корреляционная связь (измеренная коэффициентом Пирсона), что показало надежность и достоверность качественного кодирования, а также позволило перейти к следующему этапу.

На 2-м этапе участники после серии совместных обсуждений создали общую книгу кодов. На 1-м этапе взаимодействия между автором и читателем были опосредованы только текстом (без консультаций друг с другом по вопросам кодирования). С точки зрения теории игр, общение имело особенности некооперативной игры. На 2-м этапе, после того как согласования стали возможными, контекст чтения приобрел некоторые элементы кооперативной игры. Автор и читатели имели возможность предлагать новые записи в общей книге кодов и высказывать свои замечания по предложениям других. Иными словами, при согласовании общей книги кодов использовались процедуры агрегирования предпочтений [Guston 2006]. Общая книга содержит 37 кодов (15 кодов для текстов A, 9 — для текстов B и 13 — для текстов C). Коды для текстов A были применены только к текстам A, для текстов B — только к текстам B, и т.д. Затем участники перекодировали тексты по согласованным качественным кодам, независимо друг от друга.

Качественное кодирование продолжалось до достижения приемлемого уровня корреляции между тремя типами контент-анализа — для каждого участника в отдельности и для всех четырех в целом. На этот раз участники использовали основанный на замещении словарь, созданный общими усилиями.

На 3-м этапе не было сделано никаких изменений в общей книге кодов и словаре, основанном на замещении. Но все коды были применены ко всем текстам. Например, коды для текстов A были использованы для контент-анализа не только текстов A, но и B и C. Это было сделано с целью выяснить, могут ли коды, соответствующие идеям одного автора, служить основой для интерпретации идей других авторов? Описанные выше проверки надежности были также применены на 3-м этапе.

Особое внимание было уделено изучению возможной связи между результатами качественного кодирования и количественного анализа совместной встречаемости слов. С одной стороны, определенная комбинация слов, найденных в тексте, определяет диапазон возможных идей, которые могут быть переданы с их помощью. Следовательно, изучая совместно встречающиеся слова, можно описать «ряд поступков, которые ораторы способны совершить, используя эти слова и предложений» [Skinner 2002: 3]. Совместно встречающиеся слова можно использовать в качестве своеобразного индикатора идей автора: возможно, именно интенции автора определяют выбор им слов. Конкретное слово используется в ограниченном диапазоне контекстов. Например, словосочетание «институциональная матрица» редко употребляется вне контекста теории с соответствующим названием.

Качественные коды выявляются и соотносятся с соответствующими фрагментам текста в процессе чтения. Они отражают то, как читатель воспринимает идеи автора, и могут быть использованы в качестве индикатора для интерпретации текста читателем. Сравнивая качественное кодирование и совместно встречающиеся слова, можно сопоставить восприятие одного и того же текста автором и читателем.

Изложенная выше программа исследования имеет ряд ограничений. Во-первых, четыре участника представляют науки не-парадигмального характера. Уровень согласия между социологами и экономистами меньше, чем между представителями естественных наук. В данном случае контекст нельзя с уверенностью считать общим для всех читателей, даже если они читают один и тот же текст [Hyland 2004: 32]. Во-вторых, уровень согласия в российском обществоведении достаточно низкий. Научные трансакции в значительной степени персонализированы и локализованы [Oleinik 2012]. В-третьих, и это связано со вторым пунктом, ряд текстов, включенных в выборку, имеют формат научного эссе. По сравнению со стандартной научной статьей, эссе может имеет менее четкую структуру и может содержать более одной идеи.

Битва между автором и читателем

Название этого раздела не стоит понимать буквально. Оно представляет собой адаптацию термина теории игр (битва полов) для целей настоящей дискуссии. Битва полов относится к типу игр с ненулевой суммой. Такие игры характеризует «смесь конфликта и взаимной зависимости» [Schelling 1960: 87]. Их участники имеют расходящиеся интересы (в том числе, связанные с чтением текста). Стремясь реализовать свои интересы, участники, тем не менее, должны приспосабливаться друг к другу (автор к читателю и наоборот). Они получают выигрыш вместе, но в неравной степени. Они и теряют вместе, также в неравной степени.

Далее следуют подразделы, которые относятся к последовательным этапам контент-анализа и содержат их наиболее интересные и важные результаты.

Автор как невнимательный читатель

Имеющиеся данные позволяют сделать парадоксальное предположение: автор читает собственные тексты менее внимательно, чем читатель. Точнее говоря, автор перечитывает их менее внимательно, потому что он не только написал эти тексты, но и читал их по несколько раз. Судя по силе связи между качественным кодированием и совместной встречаемости слов, ни одному из трех авторов (A, B и C) не удалось обойти читателей в точности интерпретации своего теста. Качественное кодирование у читателей было последовательно ближе к совместной встречаемости слов, чем у автора (табл. 1). **Можно видеть, что наибольшее значения коэффициента Пирсона (выделенные жирным шрифтом) мы находим у кого-либо из читателей, а не у самих авторов.**

Сравнение структуры книги кодов, разработанной автором для анализа содержания собственных текстов **(на 1-м этапе),** с общей согласованной книгой кодов **(на 2-м этапе)**, показывает, что книга кодов автора ни в одном из случаев не характеризуется наибольшим подобием. Степень структурной гомологии между отдельными книгами кодов участников и общей книгой кодов была измерена с помощью техники наименьших квадратов, адаптированной к условиям настоящего исследования. Во всех трех случаях (тексты A, B и C) самая высокая степень структурной гомологии наблюдается между книгой кодов D **(«независимого наблюдателя»)** и общей книгой кодов (табл. 2). **Эти наивысшие значения выделены в таблице жирным шрифтом.**

Следует напомнить, что D играет роль только читателя. «**Независимый наблюдатель»** (потому что взгляд D на тексты не был искажен фактом авторства некоторых из них) предложил схему кодирования, которая оказалась компромиссом между подходами других читателей. Это не означает, однако, что D понял сообщение автора без искажений. На 1-м этапе D имел относительно низкие оценки (см. табл. 1), и это дает основание предполагать, что прочтение им оригиналов не обязательно отражало идеи авторов. Другими словами, D можно рассматривать как более представительного, чем A, B и C, читателя. Взгляд D на текст, возможно, был расположен ближе к позиции обобщенного читателя (читателя, который ранее не был знаком с текстами автора и не имеет личных связей с ним).

Итак, взгляд на текст автора расходится со взглядом обобщенного читателя, если они читают его независимо друг от друга. Не только интерпретация читателя отходит от линии рассуждения автора по причине наличия у читателя особых интересов, накопленных знаний, когнитивных способностей и т.д., но и автор не всегда в состоянии определить все идеи и концепции, которые содержит текст. Выражаясь более литературно, текст существует отдельно от автора и его притязаний. Со временем автор может перечитать свой текст по-другому.

Возвращение автора

После создания общей книги кодов, участники перечитали тексты на 2-м этапе, применяя одинаковый набор кодов к соответствующей подвыборке: коды A — к текстам A, коды B — к текстам B и коды C — к текстам C. Они перечитали их еще раз на 3-м этапе, применяя на этот раз все коды ко всем текстам.

Замысел 2-го этапа состоял в сравнении результатов чтения одного и того же текста, с одной стороны автором и, с другой стороны, читателем в случае, когда их задача состояла в выявлении одних и тех же идей и концепций. Склонен ли автор интерпретировать текст более близко к диапазону значений, определяющихся конкретной совокупностью слов, чем читатель? Замысел 3-го этапа имел другое обоснование. Его целью была проверка предположения о том, что набор кодов, адаптированных для интерпретации произведений одного автора, менее уместен для осмысления текстов других авторов. Могут ли тексты, написанные B и C, быть прочитаны с помощью кодов, разработанных для текстов A?

Результаты 2-го и 3-го этапов показывают, что качественное кодирование автора, как правило, более тесно связано с показателями совместной встречаемости слов, чем кодирование читателей (табл. 3). **Показатели, выделенные жирным шрифтом для 3-го этапа в таблице свидетельствуют об этом.** Видимо, автор лучше читателя справляется с определением значений, содержащихся в совокупностях используемых им слов. Существует одно исключение: это показатели чтения D текстов C на 2-м этапе (качественные коды D ближе к совместной встречаемости слов в текстах C).

При написании текста автор выбирает набор слов и словосочетаний, наилучшим образом выражающих его намерения. Он, как показывают наши данные, подготовлен к интерпретации своих текстов по заданному шаблону лучше читателя. Последнее обстоятельство — применение данного шаблона для чтения — стоит подчеркнуть особо, так как оно помогает

объяснить кажущееся противоречие с предыдущим выводом о невозможности выявления автором *всех* значений, которые содержит его текст. Автор вполне может опустить *некоторые* значения, содержащиеся в его текстах. Но он лучше справляется с выявлением *заданного диапазона* значений.

Результаты 3-го этапа качественного кодирования подтверждают, что схема кодирования, разработанная для интерпретации работ одного автора, имеет ограниченное применение за пределами его текстов. Во-первых, уровень согласия между кодировщиками снижается при применении кодов, которые были разработаны для текстов одного автора, для контент-анализа текстов, написанных другими авторами. Значения альфы Криппендорфа для каждой пары кодировщиков варьировались от 0,496 до 0,575 на 2-й стадии и от 0,399 до 0,412 на 3-й стадии. Читатели чаще расходились во мнениях, когда пытались интерпретировать текст с помощью неподходящих книг кодов.

Во-вторых, анализ распределения фрагментов в зависимости от автора и кодировщика показывает, что подавляющее большинство случаев расположено на диагонали: 83,1% фрагментов, закодированных с помощью книги кодов А, относились к текстам А, 88,6 % закодированных с помощью книги кодов В — для текстов В и 84,7% из закодированных с помощью книги годов С — к текстам С. Существование этой модели было подтверждено высокими значениями хи-квадрата и ламбды: χ^2=7393,8, df=4, значимо при p<0.001; λ=0,73 (зависимая переменная: Книга кодов).

Можно ли сделать вывод о том, что идеи и концепции, как правило, специфичны для конкретного автора, не противореча при этом выводу предыдущего раздела о многозначности чтения текста? Возможно, это действительно так, ибо на 3-м этапе для чтения к текстам автора были применены весьма конкретные типы шаблонов. Они производны не от обобщенных интересов, знаний и когнитивных способностей читателей, а от особенностей чтения текстов других авторов. Иными словами, ограниченная полезность для интерпретации работ одного автора набора идей и концепций, проистекающих из работ ряда других авторов, не отменяет того, что читатели смогут найти в них потенциально неограниченное число идей и концепций.

Итак, согласно вышеприведенным данным в случае индивидуального чтения восприятие автора расходится с восприятием читателей. У автора нет эксклюзивного контроля над собственными творениями. Тем не менее, автор лучше, чем читатель, интерпретирует свои тексты под определенным углом.

Ограниченные читательские возможности

Ограниченные когнитивные возможности читателей не позволяют им находить и выделять все потенциально интересные идеи в тексте, особенно в условиях быстрого роста количества научных публикаций. Глубина чтения в науке редко, если вообще когда-либо, эмпирически измерялась (за исключением весьма специфических случаев стандартизированных тестов на понимание прочитанного).

В нашем проекте качественное кодирование прочитанных участниками текстов создает возможность количественного измерения глубины чтения. Путем сравнения количества кодов и закодированных сегментов на 1-м и 2-м этапах можно оценить глубину чтения в различных условиях (с использованием индивидуальной книги кодов автора, с использованием индивидуальной книги кодов читателя, с использованием общей книги кодов, согласованной автором и читателями). Кроме того, первичные данные были дополнены вторичными данными о публикациях А, В и С в электронной библиотеке *eLibrary,* учитывающей количество общих ссылок на них. Для анализа были отобраны содержательные ссылки (за исключением самоцитирования), в которых представлены детальное обсуждение идеи автора, использованных методов или данных, и не учитывались те, в которых работы автора лишь упоминались. Со-

держательные ссылки были проанализированы с использованием общей книги кодов, разработанной на 2-м этапе.

Количество кодов автора и читателя в их отдельных книгах кодов, а также количество фрагментов, закодированных на 1-м этапе, систематически превышали соответствующие показатели на 2-м этапе (табл. 4). Независимо от индивидуальных стилей кодировщиков (некоторые закодировали на 1-м этапе гораздо больше фрагментов, чем другие), при использовании общей книги кодов они выделили меньше значимых фрагментов, чем при использовании индивидуальных книг кодов. Собственные тексты кодировщиков при этом не стали исключением.

Судя по количеству содержательных ссылок на работы авторов A, B и C, цитирующие их российские читатели интерпретировали эти тексты еще более узко. Например, российские читатели обсудили содержание идей и концепций C в 14 случаях, относящихся к 5 кодам общей книги кодов. Для сравнения: индивидуальная книга кодов C для анализа собственных текстов содержала 24 кода. На 1-м этапе C выделил 712 фрагментов, соответствующих этим 24 кодам. Общая книга кодов для анализа текстов C включает в себя 9 кодов. C определил 333 фрагментов, соответствующих этим 9 кодам на 2-м этапе. Это означает, что россиийкие ученые обратили внимание лишь на 5 кодов из общей книги кодов (38,5%) как относящиеся к их собственным интересам и накопленным знаниям. Они применили эти коды таким же образом, как это делал автор, только в 14 случаях (4,2%).

Для других участников эти данные следующие: 40% (6 кодов из 15) и 2,3% (10 к 433 фрагментам) для A и 66,7% (6 кодов из 9) и 7,3% (22 к 301 фрагментам) для B. C одной стороны, эти цифры представляют собой весьма приблизительные (поскольку другие идеи, разрабатываемые в цитируемых ими авторских текстах, не принимались во внимание) оценки степени согласия между внимательными читателями в целом и четырьмя заинтересованными читателями (A, B, C и D), в частности относительно значимости конкретных идей и концепций. Внимательные читатели в основном использовали от одной до двух третей кодов из общей книги кодов. C другой стороны, цифры показательны для определения глубины чтения внимательными читателями в целом по отношению к глубине чтения автора. В общем случае внимательные читатели определили менее 10% фрагментов, которые относятся к значимым идеям и концепциям.

Оказывается, что даже внимательный читатель использует только несколько идей и концепций, которые текст может фактически содержать. Для того, чтобы стать внимательным читателем, требуется затратить время и когнитивные ресурсы. Заинтересованные читатели A, B, C и D прочитали 57 текстов по меньшей мере 4 раза, включая предварительный просмотр и чтение текстов на каждом из 3-х этапов. Им приходилось затрачивать от 15 минут до четырех часов на чтение и кодирование отдельных текстов, в зависимости от их длины, читабельности и стоящих на каждом этапе задач. . Например, для A общее время, потраченное на чтение и кодирование, составило более 120 часов, для B — более 250 часов, а C потратил около 100 часов (в каждом случае речь идет о самооценке).

Невнимательный читатель, довольствуясь поверхностным прочтением, извлекает из текста еще меньше информации. Известно, что большинство ученых не перечитывают тексты: даже повторное чтение редкость. Согласно исследованию, лишь 20% профессорско-преподавательского состава австралийского университета перечитывали тексты — в основном, когда намеревались цитировать этот источник в собственных работах [Wilson, Tenopir 2008: 1403]. Обобщая, можно сказать, что даже когда тексты автора читают, что само по себе редкий результат текстуально опосредованной коммуникации во времена быстрого роста числа научных публикаций, это не гарантирует, что читатель будет интерпретировать идеи и концепции автора, в соответствии с намерениями последнего.

Заключение

Возвращаясь к основному вопросу данной статьи — как авторский текст воспринимается читателем — можно суммировать основные выводы следующим образом. Когда читатель и автор ищут в тексте один и тот же набор идей и концепций, последний делает эту работу лучше, чем первый. Существует потенциально бесконечное число «линз», через которые можно смотреть на текст: оно равно количеству его читателей плюс одна (перспектива автора). Автор просто не в состоянии определить все эти «линзы», не говоря уже о том, чтобы их применять надлежащим образом, поскольку это требует взгляда на свои тексты со всех возможных точек зрения. Однако, автор лучше читателя интерпретирует свои тексты с помощью *заданного* набора идей и концепций. **Количественный анализ показывает,** что он делает это более достоверным и надежным образом.

На 1-м этапе ни одному из авторов не удалось опередить читателей по показателям связи между качественным кодированием и совместной встречаемостью слов (табл. 1). Индивидуальная книга кодов **каждого** автора («линзы для чтения») соответствовала общей согласованной книге кодов на 2-м этапе не лучше, чем книги кодов, **составленные читателями (табл. 2)**. *Заданный* набор идей и концепций не обязательно производен исключительно от намерений автора. В практическом плане это означает, что читатель может развивать смыслы и догадки автора даже неожиданными для него самого способами.

Оба — автор и читатель — читают текст либо глубоко, либо поверхностно. **Как выявлено в исследовании**, даже автору по происшествии некоторого периода может потребоваться немало времени и когнитивных ресурсов для реинтерпретации собственных текстов. Глубокое чтение не может быть «легким», так как требует постоянного внимания читателя и стремления не принимать какую-либо конкретную интерпретацию как само собой разумеющуюся. Однако в случае глубокого чтения рост инвестиций времени и внимания приводит к росту «добавленной стоимости» в толковании и понимании научных текстов.

Программа настоящего исследования существенно ограничивает круг возможных обобщений. Дальнейшие исследования в сфере текстуально опосредованных коммуникаций могут проводиться по следующим направлениям. Во-первых, для того, чтобы получить более полное представление, необходимо повторить исследование в контексте парадигмальной науки, характеризующейся большей степенью консенсуса между учеными. Во-вторых, и это связано с первым пунктом, повторение исследования с использованием высоко структурированных научных статей и в большем масштабе поможет разобраться, ограничивает ли этот формат научной коммуникации диапазон возможных интерпретаций авторских идей.

Приложения

Таблица 1

Коэффициенты корреляции Пирсона между качественным кодированием и совместной встречаемостью слов, 1-й этап, 12 центроидов (один центроид для каждой подвыборки текстов и для каждого кодировщика)

Читатель (кодировщик)	Автор		
	A (N = 20)	B (N = 17)	C (N = 20)
A	0,734**	**0,726****	0,502*
B	**0,778****	0,559*	**0,911****
C	0,654**	0,628**	0,772**
D	0,727**	0,341	0,644**

Обозначения: * относится к корреляции, значимой на уровне 0,05 (двухсторонней), ** - на уровне 0,001. Центроид: текст, принятый за точку отсчета при рассчете коэффициентов.

Таблица 2

Квадрат расстояния между отдельными книгами кодов участника на 1-м этапе и общей книгой кодов, разработанной на 2-м этапе[2]

Читатель (кодировщик)	Автор			Итого
	A (N = 20)	B (N = 17)	C (N = 20)	
A (N = 43*)	0,537	0,228	0,163	0,9275
B (N = 147)	0,180	0,2495	0,230	0,659
C (N = 70)	0,102	0,142	**0,60**	0,304

[2] В таблице 2 приведены квадраты расстояния между индивидуальной книгой кодов читателя и общей книгой кодов. Метод наименьших квадратов является стандартным подходом к приблизительному решению переопределенных систем, т.е. систем уравнений, в которых больше уравнений, чем неизвестных. Понятие «наименьших квадратов» означает, что общее решение минимизирует сумму квадратов ошибок, допущенных в результатах каждого отдельного уравнения (критерий, заданный обычным методом наименьших квадратов, МНК). «Статистика соответствует критерию для лучшей оценки МНК, когда она минимизирует сумму квадратов ошибок в прогнозах» [Warner, 2008: 52]. В данном случае общая книга кодов была представлена в виде 15*15 матрицы для текстов А (потому что она содержит 15 кодов), 9*9 матрицы для текстов В и 13*13 матрицы для текстов С. Эти «идеальные» матрицы были сопоставлены с матрицами, полученными в результате преобразования индивидуальных книг кодов участников проекта. Например, матрица читателя А для анализа текстов А имеет 9 строк, что соответствует числу кодов в индивидуальной книге кодов, и 15 столбцов, что соответствует числу кодов в общей книге кодов. Матрица читателя В для анализа текстов С имеет 55 строк и 13 столбцов и так далее. Каждая ячейка содержит либо 1 (если код из книги кодов читателя соответствует коду общей книги кодов), или 0. В случае двух совершенно идентичных матриц, сумма квадратов расстояний равна 0. Во всех других случаях (когда имеется несоответствие между количеством строк или есть более одного кода, соответствующего коду в общей книге кодов), он превышает 0. Формула для расчета суммы квадратов расстояний такова:

$\sum (M - \overline{M})^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_i)^2 + \sum_{j=1}^{m} (x_j - \bar{x}_j)^2$, где M соответствует матрице конкретного читателя, $\overline{M}$ - общей матрице (полученной на основе общей книги кодов), x_i - столбцу i в M, $\bar{x}_i$ — колонке i в «идеальной» матрице, полностью соответствующей $\overline{M}$, x_j - строке j в M, $\bar{x}_j$ - строке j в $\overline{M}$, n — числу столбцов в M, m — числу строк в M. $\bar{x}_i$ и $\bar{x}_j$ зависят от количества кодов в общей книге кодов. Например, если общая книга кодов содержит 5 кодов, «идеальная» матрица, ей соответствующая, имеет 5 столбцов и 5 строк: $\bar{x}_i = \bar{x}_j = \frac{1}{5} = 0.2$ (в каждом столбце и строке содержится одна непустая ячейка).

D (N = 44)	***0,070***	***0,102***	***0,60***	***0,232***
Среднее	0,222	0,180	0,128	0,531

Обозначения: * относится к числу кодов в индивидуальной книге кодов читателя на 1-м этапе.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции Пирсона между качественными кодами и совместной встречаемостью слов, 2-й этап, 3 центроида (по одному для каждой выборки), и 3-й этап, один центроид

Читатель (Кодировщик)	2-й этап			3-й этап		
	Автор					
	(N = 20)	B (N = 17)	C (N = 20)	(N = 20)	B (N = 17)	C (N = 20)
A	***0,600****	0,445	0,701**	***0,438***	0,117	0,811**
B	0,562**	***0,484****	0,625**	0,429	***0,498****	0,824**
C	0,542*	0,458	0,693**	0,361	0,437	***0,865****
D	0,410	**0,484***	**0,917****	-0,360	-0,135	0,734**

Таблица 4

Количество кодов и закодированных сегментов на 1-м и 2-м этапе и в *eLibrary* в отношении некоторых текстов

Читатель (Кодировщик)		Автор					
		A (N = 20 [8 *])		B (N = 17 [13])		C (N = 20 [11])	
		Коды	Сегменты	Коды	Сегменты	Коды	Сегменты
1-й этап	A	**8**	**1863**	17	1082	18	1509
	B	57	1123	**35**	**540**	55	836
	C	30	1089	16	712	**24**	**712**
	D	19	593	11	681	14	688
	Mean (Readers)	35	935	14,7	825	29	1011
2-й этап	A	**15**	**433**	9	244	13	283
	B	15	616.	**9**	**301**	13	376
	C	15	580	9	384	**13**	**333**
	D	15	527	9	399	13	366
	Mean (Readers)	15	574,3	9	342,3	13	341,7
eLibrary		6	10[16**]	6	22 [29]	5	14 [34]

Обозначения: * относится к числу текстов этого автора, включенных в *eLibrary;* ** относится к общему числу цитирований текстов этого автора в *eLibrary,* в том числе несодержательных упоминаний

Бахтин М. 1979. *Проблемы поэтики Достоевского*. 4-е изд. — М.: Советская Россия.

Грязнова Ю.Б., Рац М.В. 2008. Как нам читать? — *Вопросы психолингвистики*. — № 8. — С. 142–146.

Олейник А.Н. 2009. Триангуляция в контент-анализе: вопросы методологии и эмпирическая проверка. — *Соц. исслед*. — № 2.

Auerbach B. 2006. “Publish and Perish”: La définition légitime des sciences sociales au prisme du débat sur la crise de l’édition SHS. — *Actes de la recherche en sciences sociales*. — No. 164. — P. 75–92.

Benjamin R.G. 2011. Reconstructing Readability: Recent Developments and Recommendations in the Analysis of Text Difficulty. — *Educational Psychology Review*. — Vol. 24. — Iss. 1. — P. 63–88.

Bourdieu P. 1984. *Homo academicus*. — Paris: Ed. de Minuit.

Goldgar A. 1995. *Impolite Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters. 1680–1750*. — Hew Haven & London: Yale University Press.

Hartley J. 2006. Reading and Writing Book Reviews Across Disciplines. — *Journal of the American Society for Information Science and Technology*. — Vol. 57. — No. 9. — P. 1194–1207.

Hartley J., Sotto E., Fox C. 2004. Clarity across the Disciplines: An Analysis of Texts in the Sciences, Social Sciences, and Arts and Humanities. — *Science Communication*. — Vol. 26. — № 2. — P. 188–210.

Harwood N. 2009. An interview-based study of the functions of citations in academic writing across two disciplines. — *Journal of Pragmatics*. — Vol. 41. — Iss. 3. — P. 497–518.

Hayden J.D. 2008. Readability in the British Journal of Surgery. — *British Journal of Surgery*. — Vol. 95. — Iss. 1. — P. 119–124.

Hirschauer S. 2010. Editorial Judgments: A Praxeology of ‘Voting’ in Peer Review. — *Social Studies of Science*. — Vol. 40. — No. 1. — P. 71–103.

Horowitz I.L. 1993. *The Decomposition of Sociology*. — New York: Oxford University Press.

Hyland K. 2004 [2000]. *Disciplinary discourses: Social Interactions in Academic Writing*. — Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Latour B. 1987. *Science in Action: How to follow scientists and engineers through society*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.

Norris S.P., Philips L.M. 1994. The Relevance of a Reader’s Knowledge within a Perspectival View of Reading. — *Journal of Reading Behavior*. — Vol. 26. — No. 4. — P. 391–412.

Oleinik A. 2012. Publication patterns in Russia and the West compared. — *Scientometrics*. — Vol. 93. — Iss. 2. — P. 533–551.

Sawyer A.G., Laran J., Xu J. 2008. The Readability of Marketing Journals: Are Award-Winning Articles Better Written? — *Journal of Marketing*. — Vol. 72. — No. 1. — P. 108–117.

Schelling T.S. 1960. *The Strategy of Conflict*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.

Simon H.A. 1978. Rationality as Process and as Product of Thought. — *American Economic Review*. — 68 (2). — Pp. 2–16.

Skinner Q. 2002. *Visions of Politics*. — Cambridge: Cambridge University Press. Volume 1: Regarding Method.

Spektor-Levy O., Eylon B.-S., Schrez Z. 2009. Teaching Scientific Communication Skills in Science Studies: Does it Make a Difference? — *International Journal of Science and Mathematics Education*. — Vol. 7. — No. 5. — Pp. 875–903.

Stremersch S., Verniers I., Verhoef P.C. 2007. The Quest for Citations: Drivers of Article Impact. — *Journal of Marketing*. — Vol. 71. — No. 3. — Pp. 171–193.

Warner R. 2008. *Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques*. — Thousand Oaks, CA: SAGE.

White H.D. 2011. Relevance theory and citations. — *Journal of Pragmatics*. — Vol. 43. — Iss. 14. — Pp. 3345–3361.

Wilson C.S., Tenopir C. 2008. Local Citation Analysis, Publishing and Reading Patterns: Using Multiple Methods to Evaluate Faculty Use of an Academic Library’s Research Collection. — *Journal of the American Society for Information Science and Technology*. — Vol. 59. — No. 9. — Pp. 1393–1408.

ЧИТАЯ ДЖЕЙМСА СКОТТА: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И МЕЛОДИЯ ВЛАСТИ

В.П. Макаренко,
А.И. Рюмшина
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье предложена оригинальная интерпретация книги Джеймса Скотта «Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни» (М.: Университетская книга, 2005).*

Ключевые слова: *бюрократический империализм, бюрократическое государство, планирование, стандартизация.*

От Дэвида Юма берет начало традиция рассматривать государство как искусственное изобретение. Однако Дуглас Норт с коллегами в свежей книге выдвигает интересное сравнение: Месопотамия III тысячелетия до н. э., Британия при Тюдорах и современная Россия при Путине — это «естественные государства». При этом Норт приводит множество аргументов, которые нуждаются в систематическом анализе. Среди них и такой: Путин в России сосредоточился на экономических реформах, чтобы получить экономические ресурсы для укрепления своей власти, но как только стало ясно, что цены на нефть будут продолжать расти, он отказался от реформ [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 84, 246]. Отсюда ясно, что один из признаков «естественного государства» — использование экономических ресурсов для укрепления личной власти и право высшего лица государства принимать решения об этом. А каковы другие признаки «естественного государства»?

Контекст проблемы

Уже в либерализме XIX века был сформулирован тезис о необходимости ограничить государство функциями ночного сторожа. В середине XIX века Карл Маркс назвал государственную машину «организмом-паразитом» и выдвинул тезис об «отмирании государства» в будущем обществе. В конце XIX века Фридрих Ницше назвал государство «холодным чудовищем». Однако попытки практического воплощения этих концептов обнаружили в очередной раз иронию истории.

Отношение к указанным философско-политическим концепциям было различным. Независимо от различий можно зафиксировать общую практическую тенденцию: в начале XX в. в мире существовало около 60 государств, в конце столетия их уже было около 240. За сто лет число политических «холодных чудовищ» выросло примерно в четыре раза. Следует ли

считать такой рост нормой социально-политического развития или же следствием непоследовательности и ненормальности либеральных, марксистских и ницшеанских политиков, идеологов и государственных деятелей, ангажированных в этот процесс?

Начнём с напоминания некоторых фактов. В XX произошли две мировых войны. Они унесли десятки миллионов жизней. Общее число войн и военных жертв в мире на протяжении XX в. оказалось больше, чем во всей предшествующей истории. В результате первой мировой войны распались Османская и Австро-Венгерская империи, часть бывших регионов Российской империи получила статус самостоятельных государств. В итоге второй мировой войны рухнул Третий рейх в Германии, начался распад Британской империи, произошло восстановление Российской империи в виде Советского Союза, который все же распался в конце XX в. Устойчивая тенденция распада больших государств обозначилась уже в середине XX в., но одновременно произошёл рост диктатур в малых и средних государствах, а также возросло число локальных войн [Кор 2007].

В XX веке состоялось большое число политических революций, которые обычно происходили под флагом создания нового государства ради независимости или справедливости. Следствия революций оказались противоречивы. Но можно утверждать вполне определённо: Марксова программа отмирания государства при ее воплощении на практике в СССР обернулась его небывалым усилением. В конце XX в. определилась общая тенденция упадка государства и его институтов — государственных хозяйственных предприятий; систем социального страхования; систем правосудия; тюремных систем; вооружённых сил и полиции; государственных школ, СМИ и статистических аппаратов. Все эти государственные службы сокращаются по всему миру [Кревельд 2006: 512].

XX век начинался множеством обещаний улучшить «судьбу человека». Но их реализация привела к тому, что на протяжении ста лет уничтожили больше людей, чем во всей предшествующей истории. Наиболее преуспели в истреблении собственного населения советские и китайские коммунисты. Первые осуществили коллективизацию, вторые — «большой скачок». По этим примерам другие государственные деятели сгоняли людей в деревни в Танзании, Мозамбике, Эфиопии, строили города в Индии и Бразилии. Во всех случаях страдало население. Инициаторы и исполнители таких проектов уходили от ответственности.

Каковы причины такого положения вещей? Американский профессор Джеймс Скотт для ответа предлагает изучать природу государства. Такой подход делает его книгу особенно интересной для России. Здесь государство всегда выступало в облике земного бога. А нынешнее придаёт социальным потребностям ранг «национальных проектов». Надо разобраться в природе государственной добродетели.

Е.А. Осокина проанализировала концепцию «повседневного сопротивления», которую разработал Джеймс Скотт для описания поведения крестьян[1]. На основе критического разбора концепции Д. Скотта Е.А. Осокина ввела понятие **сопротивляемости как формы социального иммунитета**. Эта понятие помогает описать сопротивление не чужим оккупантам, а «своей» власти. Дело в том, что в обществах типа Советского Союза и нацистской Германии трудно провести границу между неповиновением, приспособлением и сотрудничеством с властью [Осокина 2011]. Но указанное различие необходимо в аналитических целях.

Каковы же общие причины сопротивления государству? Для ответа вчитаемся в книгу Скотта.

Смертельная опасность

Государство всегда было врагом кочевников, скотоводов, охотников-собирателей, цыган, бездомных, странников, беглых рабов и крепостных. Вся история государства — это беско-

[1] Повседневное сопротивление — это реакция крестьян на подавление их государством.

нечные попытки организации населения для обеспечения сбора налогов, воинской повинности и предотвращения волнений. Государству нужна была «карта» земель и людей. Как сделать общество прозрачным? — такова центральная проблема государственного управления. Но мало кто задумывается о том, что на протяжении большей части истории государство было слепцом. Вплоть до Нового времени оно ничего не знало о благосостоянии, землях, урожаях, местонахождении подданных. Скотт детально описывает **природу государственной слепоты**.

Государство стремилось к власти над людьми и природой, подданными и средой их обитания. Чтобы достичь власти, оно использовало проекты научного лесоводства, сельского хозяйства, устройства плантаций, колхозов, деревень, стратегических поселений. Все они направлены на то, чтобы сделать территорию, производство и рабочую силу доступной обзору и управлению сверху и из центра. Для этого государство инициировало создание постоянных фамилий, мер и весов, земельного кадастра, переписи населения, прав собственности на землю, стандартизацию языка, правовых норм, городов и транспорта.

Во всех случаях осуществлялся перевод социальных иероглифов в удобный формат для бюрократии. Социальные упрощения позволяли наладить сбор налогов, призыв рекрутов, санитарию, политический надзор и помощь бедным. Во всех случаях возрастало вмешательство государства в жизнь граждан. Государственные упрощения представляли не истинную деятельность общества, а лишь тот ее срез, который **интересовал официального наблюдателя**. Такой подход к управлению государством позволяет рассмотреть **все неудачи** в развитии стран Восточной Европы и третьего мира.

Исследование Скотта посвящено доказательству главного тезиса: все трагедии социальных проектов государства есть следствие сочетания четырёх элементов, каждый из которых способствует развёртыванию бедствий: бюрократическое стремление упорядочить природу и общество на основе государственных упрощений; идеология высокого модернизма; авторитарное государство, которое стремится воплотить в жизнь указанные проекты; бессильное гражданское общество.

Современное государственное управление есть синтез этих элементов: просматриваемость общества создаёт условия для перестройки общества; идеология высокого модернизма заставляет желать ее; авторитарное государство обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием; выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный ландшафт, чтобы на нем строить все заново. Однако спланированный социальный порядок всегда игнорирует существенные черты любой реальности[2].

Во введении Джеймс Скотт кратко описывает эти элементы.

Государственные упрощения — это инструменты управления государством. Они с равным успехом могут обслуживать как благосостояние и свободу, так и проекты потенциального диктатора.

Идеология высокого модернизма — это соединение веры в научно-технический прогресс и рациональность социального порядка с верой в «интересы» как мотор социального развития. Эта вера сложилась на Западе как побочный продукт прогресса науки и промышленности. Высокий модернизм не тождествен научной практике, поскольку «идеология» означает веру вместо учёта закономерностей науки и техники. Носители идеологии высокого модернизма видели рациональный порядок в визуальных терминах. Для них рационально ор-

[2] Это легче всего проиллюстрировать забастовкой типа «соблюдать правила»: она основана на том, что любой процесс производства зависит от неформальных методов и импровизаций, которые никогда невозможно кодифицировать. Скрупулёзно соблюдая правила, рабочие могут остановить производство. Точно так же правила воплощения планов города, деревни, колхоза не годились для создания социального порядка. Формальная схема паразитировала на неформальных процессах, создавать или поддерживать которые она не могла. Подавление неформальных процессов означало провал: терпели неудачу те, для счастья которых был задуман этот проект, в конечном счёте и сами проектировщики тоже.

ганизованный город, деревня, ферма был поселением, которое *выглядело* геометрически упорядоченным. Если планы терпели неудачу, носители идеологии высокого модернизма пытались создать микропорядок в образцовых городах, деревнях и фермах. Даже капиталисты действовали по указке государства ради реализации его планов. Крупные чиновники и главы государств предпочитали такие формы планирования и социальной организации (огромные дамбы, централизованная связь и транспорт, большие фабрики и фермы, города, выстроенные по схеме), которые были удобны для носителей идеологии высокого модернизма и отвечали политическим интересам бюрократии. **Поэтому существует связь между высоким модернизмом и интересами государственных деятелей**[3].

Сочетание стало смертельно опасным, когда к первым двум элементам присоединилось *авторитарное государство*. Оно использует всю власть для воплощения в жизнь упомянутых проектов. Наиболее подходящее время для этого — войны, революции, депрессии, борьба за национальное освобождение. В эти времена приходят к власти элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают революционные проекты. Чрезвычайные обстоятельства способствуют узурпации чрезвычайных полномочий и делегитимизации предыдущего режима.

Обессиленное *гражданское общество* неспособно сопротивляться государственным планам. Война, революция, экономический крах резко ослабляют гражданское общество и повышают тягу масс к переделу собственности. Поздний колониализм, который управляет оппозицией с помощью грубой силы, тоже находится в этом ряду.

Итак, из чтения книги Скотта можно сделать первый общий вывод: для современного человека объектами сопротивления должны стать государственные упрощения, идеология модернизма, авторитарное государство и обессиленное гражданское общество.

Рассмотрим эти элементы подробно для уяснения основных аргументов Скотта.

Что такое государственные проекты?

Специфика государственных проектов описана Скоттом при анализе двух тем: природа и пространство; города, люди и язык. Стремление насадить порядок в природе породило **идеологию утилитаризма**. Слово «природа» было заменено термином «природные ресурсы». Деревья стали «древесиной», «бросовым» лесом, «подлеском». Растения стали «урожайными культурами» или «сорняками», а питающиеся ими насекомые — «вредителями». Животные становятся «дичью» или «домашним скотом», а конкурирующие с ними или питающиеся ими — «хищниками» и «вредителями». Утилитарист обращает внимание лишь на те аспекты окружающего мира, которые можно использовать для нужд человека. По этой логике из целостного мира природы выделяют те виды флоры и фауны, которые имеют утилитарную ценность (т. е. пользуются спросом на рынке).

Современное лесоводство восходит к статье «лес» в энциклопедии Дидро. Эта статья посвящена пользе лесоматериалов, налогам, доходам и возможной прибыли от лесоводства. В результате лес как среда обитания исчез. Его заменил лес как экономический ресурс, которым нужно управлять. Основа утилитарного подхода к лесу — **совпадение** коммерческой и бюрократической логик. Абстракции чиновников отражают финансовые интересы их нанимателя.

---

[3] Социальной почвой высокого модернизма были проектировщики, инженеры, архитекторы, учёные и техники, чьи навыки и статус используются для проектирования нового порядка. Его представители находились среди левых и правых. Особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать государственную власть, чтобы вызвать изменения в народных привычках работы, образе жизни, моральном поведении и мировоззрении. Это утопическое видение не было опасным в либеральных парламентских обществах, где планировщики должны были договариваться с организованными гражданами.

Тип абстрактной, утилитарной логики, применяемой государством к лесу, не уникален. Но примечателен тем, что позволял государству навязать эту логику действительности. В абстрактном лесу учёного-лесовода правили расчёт, измерение и три принципа: минимум разнообразия, строгий баланс, стабильность заготовок. Логика государственного лесоводства стала идентичной логике коммерческой эксплуатации[4]. Коммерческая и бюрократическая логика оказались синонимами; эта система обещала максимизировать производство и доставку на большие расстояния одного товара и в то же время давала возможность централизованного управления.

На протяжении XIX в. принципы научного лесоводства применялись во всех лесах Германии. В естественном лесу три четверти составляют лиственные разновидности. Теперь их заменили хвойными, в которых норвежская ель и шотландская сосна были единственными видами, поскольку они быстро растут и дают ценную древесину. Они стали хлебом насущным для коммерческого лесоводства. Монокультурный лес стал бедствием для крестьян. Они лишились пастбищ, продовольствия, сырья и лекарств, которые давал естественный лес.

Сырые и обработанные социальные факты. Государство было заинтересовано в коммерческой древесине и получении дохода. Поэтому оно стремилось уменьшить сложность леса, свести ее к малому числу измерений. Лес администраторов — это не лес натуралистов. В XX веке объектом количественных измерений стало общество. Этот процесс шёл под флагом рационализации и централизации: определены категории людей и вещей; изобретены меры; сведены к денежному эквиваленту земля и товары.

Учёный-лесовод не заинтересован в описании экологии леса. Природный мир и реальное взаимодействие людей не годятся для административной манипуляции. Общество тоже сложно и разнообразно. Но бюрократия представляет его упрощенно, неадекватно. Она не заинтересована в целостном описании общества. Ее абстракции и упрощения направлены на три цели: налогообложение, политический контроль, воинская повинность.

В качестве примера Скотт приводит Францию XVII в. Там были распространены косвенные налоги — акцизы на соль и табак, пошлины, продажа лицензий, торговля чинами и титулами. Ими было легко управлять, они требовали немного информации о владении землёй и доходе от нее. Земля дворянства и духовенства не облагалась налогами. Их бремя перекладывалось на горожан, фермеров, крестьян. Общинная земля была важным ресурсом для бедноты, но не приносила доходов государству.

Абсолютистское налогообложение было безумно — т. е. изменчиво и несистематично. Главный прямой земельный налог часто не платился вообще. Ни одно сообщество не платило больше трети причитающегося с него налога. Поэтому государство полагалось на исключительные меры, чтобы восполнить нехватки дохода или оплатить новые расходы. Государство устанавливало «принудительные ссуды»: ренты и платы за отчуждение прав в обмен на обязательства, которые оно выполняло и не выполняло; продавало должности и титулы; облагало налогами печи; определяло войска на постой. Постой войск — обычный способ финансового наказания. Он соотносится с современными формами налогов так, как четвертование потенциальных врагов короля — с современными формами изоляции преступников.

[4] Налицо было стремление к армейскому порядку. Деревья должны были стоять параллельными рядами, удобными для обмера, подсчёта, вырубки. Лес предназначался для выполнения одной задачи и находился в распоряжении одного командующего. Даже не нужно было смотреть на лес; он должен был «вычитываться» из таблиц и карт в конторе лесничего. Управлять этим «построенным по ранжиру» лесом стало удобнее. Деревья одного возраста стояли строгими рядами. Это позволяло легко убирать подлесок, валить и вывозить лес. Новый способ посадки повышал технологичность процессов и позволял использовать письменные инструкции для работников. Производственные задачи могла выполнять необученная и неопытная бригада неквалифицированных рабочих, следующих небольшому числу стандартных правил. Заготовка брёвен одинаковой толщины и длины позволяла успешно предсказывать воспроизводство леса и продавать однородный продукт торговцам древесиной.

Государство испытывало недостаток в информации и в административных схемах. Оно хотело получать от подданных надёжный доход, близкий к их фактической способности платить. Но деревья не способны к политическому действию, а крестьяне выступали против налогов с помощью тихого сопротивления, уклонения и прямого восстания. Надёжный способ налогообложения зависел не только от выяснения экономических условий, но и от решения вопроса: каким требованиям подданные будут энергично противодействовать?

Примером для Скотта служит борьба за установление единых мер, весов и кадастров. Каждое действие требовало большой, дорогостоящей, долгосрочной кампании ввиду явного сопротивления населения и местных властей. Последние часто пользовались выгодами неразберихи из-за различия интересов и миссий отдельных звеньев бюрократического аппарата. Но в конечном счёте единые меры были приняты и кадастры созданы.

Каждая ситуация иллюстрировала отношения между местным знанием, научными методами и бюрократическими приёмами государства. Местные методы измерения и землевладения были непонятны государству. Они отличались разнообразием и запутанностью, отражавшими множество местных не государственных интересов. Их нельзя было вписать в бюрократическую схему путём удобного, но вымышленного описания. Логика неадекватного описания была обусловлена материальными интересами правителей (финансовыми поступлениями, численностью армии, государственной безопасностью) и поддерживалось всей полнотой государственной власти (отчётностью, судами, насилием). **В итоге псевдоописания подменили действительность, которая никогда не соответствовала навязанным схемам**.

Фальсификация измерений: народные и государственные единицы. Способ измерения всегда связан с ситуацией, моментом времени и местом. Чтобы охватить различные способы измерения земли, надо вообразить множество «карт», построенных в различных координатах. Существуют карты, в которых масштаб страны пропорционален ее населению, а не площади. На этих картах Китай и Индия больше России, Бразилии и Соединённых Штатов, а Ливия, Австралия и Гренландия практически исчезают. Таких карт можно придумать много. Они будут описывать землю в единицах работы, урожая, типа почвы, доступности, способности обеспечить пропитание. Ни одна из них не будет соответствовать площади. Все измерения — *местные, заинтересованные, контекстные и исторически определённые.* Виды на урожай, рабочая сила, сельскохозяйственная технология, погода постоянно меняются. Поэтому стандарты оценки тоже меняются производно от места и времени. Такое множество карт создаст безнадёжно запутанную картину местных стандартов, которые невозможно выстроить в единый статистический ряд, позволяющий государственным чиновникам делать значащие сравнения.

Политика измерений. Искусство управления государством и измерения. Местные стандарты измерения были привязаны к практическим потребностям, отражали специфические образцы культур и сельскохозяйственную технологию, меняющуюся с климатом и экологией. Они служили признаком власти, инструментом утверждения классовых привилегий, находились в центре классовой борьбы и образовали проблему для управления государством. Усилия по упрощению и стандартизации единиц измерения проходят через всю французскую историю. Попытки простой кодификации местных методов давали быстро устаревавшие результаты. Министры короля столкнулись с клубком местных измерительных кодов, каждый из них требовал расшифровки. Каждый район говорил на собственном диалекте, непостижимом для посторонних и меняющемся без предупреждения. Государство рисковало просчётами из-за плохого знания местных условий или было вынуждено полагаться на советы местных проводников — знать и духовенство, которые использовали преимущества своего положения.

Непонятность местных методов измерения была не только административной головной болью. Она ставила под угрозу самые важные аспекты государственной безопасности:

1. Снабжение продовольствием — ахиллесова пята государства раннего модерна; за исключением религиозной войны, ничто так не угрожало целостности государства, как нехватка продовольствия, заканчивающаяся социальными переворотами. Без сопоставимых единиц измерения было невозможно контролировать рынки, сравнивать региональные цены на основные предметы потребления и эффективно регулировать поставки продовольствия. Государственные структуры было вынуждены искать свой путь на основе отрывочной информации, слухов и своекорыстных сообщений с мест. Поэтому их решения были запоздалыми и неадекватными.

2. Справедливость налогообложения не могла быть достигнута государством, потому что оно не знало основные элементы сравнения урожаев и цен. Из-за недостоверных сведений меры государства по собиранию налогов, реквизиции для военных гарнизонов, уменьшению городских недостач могли вызвать политический кризис. Но даже если эти меры не подрывали государственную безопасность, смешение различных способов измерений порождало громадные несоответствия и финансовые цели не достигались. Эффективный центральный контроль и сравнение цен были невозможны без стандартных единиц измерения.

Государство пошло по пути упрощения и стандартизации измерений

Землевладение: местная практика и финансовые упрощения

Местные обычаи — это не законы. Обычаи — это действующие практические договорные отношения, которые непрерывно приспосабливаются к новым социальным обстоятельствам, включая отношения с властью. Системы землевладения, основанные на обычаях, зависят от рода, статуса и происхождения. Но их гибкость допускает микрорегулирование, ведущее к изменениям существующей практики.

Правителям послереволюционной Франции пришлось противостоять сельскому обществу, отношения в котором сплетались под влиянием феодальных и революционных порядков. Разобраться или устранить эти сложности было невозможно. Идеологические обязательства равенства и свободы противоречили сельским договорам, а также договорам ремесленных гильдий, употреблявшим слова «хозяин» и «слуга». Правители новой нации были озабочены отсутствием общей юридической структуры социальных отношений. Для некоторых казался достаточным новый гражданский кодекс, распространяющийся на всех французов. Но для буржуазных владельцев сельской собственности подробный *сельский свод законов* казался необходимым для гарантии их безопасности.

В конечном итоге ни один послереволюционный сельский свод законов не понравился победившей коалиции. По причине *запутанности форм общинного землевладения* было принято историческое для государства решение обложить налогом систему собственности в соответствии с финансовой схемой. Примерами для Скотта служат дореволюционные русские деревни Новоселок и Хотиница; их проблемы не разрешило ни власть Российской империи, ни советская власть, поскольку та и другая использовали методы принудительного захвата.

Государственная налоговая администрация базируется на той же логике, что научное лесоводство: требует бюрократической формулы, которую новый чиновник может быстро уяснить и в дальнейшем управлять с помощью документа из своего офиса

Государственные упрощения всегда статичнее и схематичнее реальных социальных явлений. У фермера не бывает средних урожаев, ливней и цен на продукцию. Налоговые бунты в Европе Нового времени объясняются несоответствием между жёсткими требованиями налоговых служб и неготовностью населения выполнить эти требования. Но и самая беспристрастная налоговая система может функционировать только на основе установленных еди-

ниц измерений и схем расчётов. Она отражает реальную сложность деятельности фермера не больше, чем схемы учёного-лесовода отражают картину реального леса[5].

Пропасть между зафиксированными на бумаге и реальными фактами особенно велика в моменты социальных беспорядков и восстаний. Но и в спокойные времена всегда есть теневая система землевладения, не отражённая в официальных отчётах. Местная практика никогда не соответствует государственной теории. Все централизованные государства признали ценность единой кадастровой карты, которая никогда не соответствовала действительности. Кадастровая картография вводилась раньше и была более обстоятельной там, где централизованное государство могло навязать свою волю слабому гражданскому обществу. Если гражданское общество было хорошо организовано, то кадастровая картография всегда запаздывала и была произвольной и отрывочной[6].

Вторая глава книги Скотта посвящена проблемам контроля государства над городским населением. Старые города были труднопроходимы. Поэтому власть стремилась составить карты старых поселений, чтобы облегчить управление ими. После революции подверглось рекогносцировке большинство городов Франции. В случае восстания в городе власть хотела обеспечить себе возможность быстрого перемещения в нужное место для его подавления.

Власти стремились преодолеть неразбериху и сделать города более ясными для внешнего глаза. Отношение к городской застройке не отличалось от отношения лесников к естественному хаосу леса. Корни геометрических поселений уходят в военную логику. Стандартный римский военный лагерь имеет преимущества. Солдаты легко осваивают способы его возведения; командиры точно знают расположение своих подчинённых и других отрядов; любой посыльный из Рима точно знает, где искать офицера. Поэтому идея лагерей и городов, построенных по одной схеме, как символ порядка и власти, привлекательна для огромных и многоязычных империй. К тому же город, построенный по логике повторения, удобен для управления и охраны. За мощью города скрывается забота о военной защите государя от внутренних и внешних врагов[7].

Скотт отмечает три важные особенности геометрически строгих поселений: их упорядоченность обнаруживается при перемещениях не по улицам города, а сверху и снаружи; план города не связан с повседневной жизнью его обитателей; городская недвижимость удобна как стандартизованный рыночный товар. В результате опять происходит **совпадение бюрократической и коммерческой логик**.

Отдельный пешеход не может охватить взором планировку города. Симметрию целого можно усмотреть из схемы (которую каждый может начертить) или из вертолёта, откуда

---

[5] В колониях новая система владения устанавливалась чужеземными завоевателями. Они использовали непонятный язык и ведомственный контекст. Местная практика землевладения не имела никакого сходства с индивидуальным владением. Например, в Индии долговременная колонизация создала новый класс никогда не живших здесь прежде людей, которые стали полными владельцами с правами наследования и продажи собственности только благодаря тому, что они платили налоги на землю. В то же время буквально миллионы земледельцев, арендаторов и разнорабочих потеряли свои освящённые обычаем права доступа к земле и ее продукции. Те же, кто первым проник в тайны управления новой собственностью в колониях, получили уникальные возможности. Таким образом вьетнамские секретари и переводчики, которые служили посредниками между французскими чиновниками в дельте Меконга и их вьетнамскими подданными, имели возможность сделать огромные состояния.

[6] Франция была нанесена на карту намного раньше, чем Англия, где профессиональные юристы сумели в течение длительного времени сдерживать эту угрозу приносящей им доход практике. По этой же логике побеждённые колонии, управляемые указом, часто размечались на кадастровой карте метрополии, которая заказала эту карту. Ирландия была первой в этом ряду. После завоевания Кромвелем Ирландия была полностью проинспектирована на предмет земли, зданий, людей и скота под руководством Уильяма Петти, для того чтобы облегчить насилие над нацией англичанами в 1679 г.

[7] Так, и у Альберти, и у Палладио главные артерии города мыслятся как военные дороги (viae militaires), которые должны были быть прямыми. По мнению Палладио, «дороги будут тем удобнее, чем они ровнее: то есть на них не должно быть *ни одного участка, где бы армии было трудно маршировать*».

смотрит на землю Бог или власть. Такое пространственное соотношение присуще процессу городского или архитектурного планирования. Оно предполагает миниатюризацию и моделирование, позволяющие хозяину (проектировщику) смотреть на эти модели сверху вниз. Однако в результате о пластических свойствах и визуальной организации объекта судят с позиций, которые почти никому не доступны[8].

В таком городе государственным службам легко работать и попадать в отдалённые места. Но эти преимущества сопровождаются *постоянными недостатками*: отсутствие плотной уличной жизни; постоянный надзор со стороны властей; потеря уюта, мест для неформального отдыха и чувства соседства. Строгий геометрический порядок городской планировки формален. Его стройность несёт ритуальные или идеологические черты парада и казармы. Такой порядок удобен властям, но неудобен жителям.

Городские участки и кварталы являются идеальными объектами для купли-продажи. Эти абстрактные единицы оторваны от любой экологической и топографической реальности. Поэтому они напоминают валюту, которую можно бесконечно накапливать и делить. Такая особенность сеточной планировки одинаково удобна для инспектора, планировщика и торговца недвижимостью.

Такая схема устройства города сложилась в Париже как следствие восстаний и революций. Чтобы облегчить перемещение войск между казармами, расположенными на окраине города, и непокорными районами, был предусмотрен ряд новых проспектов между внутренними бульварами и таможенной стеной. Множество рельсовых и мощёных подъездных путей связывали каждый район города с военными подразделениями, отвечающими за порядок в нем. Новые бульвары на северо-востоке Парижа позволяли быстро перебросить войска из Курбевуа к Бастилии для усмирения беспорядков в Сент-Антуанском предместье. Расположение новых рельсовых линий и платформ было продиктовано такими стратегическими задачами. Непокорные кварталы уничтожались или рассекались новыми дорогами, общественными территориями и торговыми центрами. Обосновывая необходимость ссуды в 50 млн франков для начала работ, Леон Фоше подчёркивал интересы государственной безопасности: «Интересы общественного порядка не меньше, чем интересы охраны здоровья, требуют, чтобы через этот район баррикад как можно скорее была проложена широкая просека» [Скотт 2005: 107].

Возникновение фамилий

После административного деления природы (леса) и пространства (земельной собственности) изобретение постоянных, наследуемых фамилий стало последней предпосылкой создания современного государства. Это был государственный проект, предназначенный для идентификации властью большинства граждан. Налоги и церковная десятина, перемещения собственности, списки призывников, перепись населения и владение собственностью в рамках закона были бы невозможны без установления личности граждан и прикрепления их к родовой группе. Мероприятия по установлению постоянных, наследуемых фамилий соответствовали желаниям властей сделать налоговую систему более прибыльной и чёткой. Попытки регистрировать и переписывать людей были предвестниками новых налогов и очередного призыва в армию. Поэтому местные власти и большая часть населения сопротивлялись им.

[8] Миниатюризации в виде макетов городов и пейзажей на практике может способствовать полет на самолёте. Съёмки с высоты птичьего полёта перестали быть просто картографической традицией, результатом соглашения. Аэрофотосъёмка с большой высоты демонстрирует порядок и симметрию того, что на земле может казаться беспорядком. Значение самолёта для современного мышления и планирования чрезвычайно велико. Задавая перспективу, сглаживающую топографические различия на земле, полет даёт возможность снова стремиться к синоптическому видению, рациональному контролю, планированию и пространственному порядку.

Постоянные фамилии были требованием властей. Поэтому они возникали раньше всего там, где складывались ранние государства. Тому главный пример Китай[9]. До XIV в. большинство населения Европы не имело постоянных родовых имён[10]. Люди откликались на данные лично им имена, и этого было вполне достаточно, чтобы их узнавали в данной округе. При необходимости добавлялись определения рода занятий (в Англии — кузнец, пекарь), географического местоположения (холм, опушка леса), физические отличия (коротышка, силач). Эти определения не были постоянными, не переживали своего носителя, кроме случаев, когда сын продолжал дело отца.

Универсальные фамилии — недавнее историческое явление. Государство стало обладателем ясных имён и фиксированных адресов. Ему становилось проще прослеживать право собственности и наследования, собирать налоги, поддерживать судопроизводство и деятельность по охране правопорядка, производить мобилизацию солдат на военную службу и контроль эпидемий. При полной инвентаризации населения государство преследовало утилитарные цели. Но любопытно, что либеральные идеи введения гражданства, подразумевавшего право голоса на выборах и всеобщую воинскую повинность, тоже внесли вклад в стандартизацию методов присвоения имён[11].

Процесс присвоения фиксированных фамилий до сих пор продолжается во многих странах третьего мира и вдоль «территориальных границ народностей» в более развитых странах. На сегодняшний день имеется много других стандартных установлений государства,

[9] Примерно в IV в. до н.э. династия Чин стала внедрять использование фамилий для большинства населения и записывать их с целью введения налогов, принудительного труда и призыва в армию. Благодаря этому возник термин «лаобайксинг», переводимый как «сто старых фамилий». В современном Китае он означает «обычные люди». До этого китайские родовые имена были приняты в правящих домах и простыми людьми не употреблялись. У них не было фамилий, и они не пытались имитировать обычаи элиты. Наделение семей фамилиями было частью государственной политики по введению статуса главы семьи (мужчины), обеспечивающего его юрисдикцию над жёнами, детьми и молодыми членами семьи, и обязывало его платить налоги за всю семью. Эта политика династии Чин требовала регистрации всего населения, вследствие чего была упорядочена путаница имён, которыми люди называли друг друга. Люди получили «хсинг» [фамилии], которые должны были передаваться из поколения в поколение по отцу бесконечно. Установление постоянных фамилий и создание патриархальной семьи — первое государственное упрощение.

[10] Исландия — единственная европейская страна, в которой к концу XX в не были приняты постоянные фамилии. Вопрос о возрасте, как и вопрос о владении землёй, был значим для государства и для обычной практики. В местной практике точный возраст человека был не важен. Существеннее были примерное число лет и порядок рождения (например, старший сын, младший сын), в catasto это отражено тенденцией считать возраст в числах, кратных пяти или десяти (например, 35, 40, 45, 50 и 60 лет) Однако для государства точный возраст был важен по нескольким причинам Возраст «взрослой финансовой жизни», как и возраст воинской повинности, наступал в 18 лет, и каждый человек старше 60 лет не был обязан платить подушный налог. Поэтому декларации были переполнены демографически невероятными сведениями о возрасте ниже 18 и более 60. Указание возраста в строгом хронологическом смысле было государственным проектом. В Турции фамилии были приняты только в 20-е годы XX в как часть кампании модернизации Ататюрка. Костюмы, шляпы (а не фески), постоянные фамилии и современный статус государственности — все принималось вместе в схеме Ататюрка. Реза Шах, отец свергнутого шаха, приказал всем иранцам брать в качестве фамилии название города, где они жили, чтобы навести порядок в фамилиях, употреблявшихся в стране Таким образом, Али Акбар Рафзаньяни означает Али Акбар из Рафзаньяна Хотя при такой системе фиксируется местожительство представителей того поколения, которое приняло ее, в масштабе города Рафзаньяна ее преимущества сомнительны. Разве что государство особенно заинтересовано в контроле тех, кто передвигается или вообще кочует.

[11] Примером может служить законодательное присвоение постоянных фамилий западноевропейским евреям, у которых не было такой традиции. Декрет Наполеона о евреях, не имеющих закреплённых фамилий и имён в 1808 г. установил обязательность фамилий. Австрийское законодательство в виде составляющей процесса социальной эмансипации потребовало от евреев выбрать себе фамилии, если же они отказывались, то обязаны были принимать фамилии, выбранные для них чиновниками. В Пруссии уровень социальной эмансипации евреев был пропорционален количеству принятых фамилий. Многие иммигранты в Соединённые Штаты, евреи и не евреи, не имели постоянных фамилий, когда они решились переселиться в эту страну. Однако очень немногим удалось сделать это только с помощью своих основных документов до принятия официальной фамилии, которую до сих пор носят их потомки.

улучшивших его возможности идентификации человека. Свидетельства о рождении и смерти, уточнённые адреса (более конкретные, чем высказывание «Джон, живущий на холме»), удостоверения личности, паспорта, социальные номера, фотографии, отпечатки пальцев и введённые совсем недавно ДНК-профили заменили такой грубый инструмент, как постоянная фамилия. Но фамилия была первым и решающим шагом в создании чёткого индивидуального гражданства и наряду с фотографией все ещё занимает первое место в идентификационных документах.

Официальный язык

Язык — наиболее эффективная гарантия того, что доступный для восприятия изнутри социальный мир останется непрозрачным для чужаков. Для автономии язык важнее топографии. В нем отражена своеобразная история, культура, литература, мифология и музыка. Уникальность языка представляет препятствие для государственной осведомлённости в делах автономии, колонизации, контроле деятельности, обучении, пропаганде.

Введение единого официального языка было самым могущественным средством государственных упрощений как предпосылки многих других упрощений. Юджин Вебер на примере Франции предлагает рассматривать этот процесс как разновидность *внутренней колонизации*, при которой разноязычные провинции (Бретань и Аквитания) были лингвистически подчинены и культурно объединены. С первых шагов, направленных на использование французского языка, стало ясно, что целью государства была доступность местной практики для контроля. Чиновники настаивали, чтобы каждый юридически законный документ (завещание, документ купли-продажи, акт ссуды, контракт, рента, имущественное дело) оформлялись на французском языке. Документы на местном языке были труднодоступны для чиновника, присланного из Парижа. Их было невозможно привести в соответствие с централистскими схемами юридической и административной стандартизации. Кампания лингвистической централизации проводилась совместно с распространением государственной власти. К концу XIX в. взаимодействие с государством стало неизбежным для всех. Петиции, судебные дела, школьные документы, заявления и обращения к должностным лицам были составлены на французском языке. Таков эффективный способ обесценивания местных знаний и приобретения привилегированного положения всеми, кто овладел официальным языком. Это было гигантское изменение во власти. К тем, кто плохо владел французским, относились как к немым, к маргиналам. Им требовались местные проводники к *новому государственному культурному слою*, возникшему в лице юристов, нотариусов, школьных учителей, клерков и солдат.

За лингвистической централизацией скрывался культурный проект. Французский язык означал принадлежность к национальной цивилизации; целью его навязывания было не просто заставить провинциальных жителей усвоить кодекс Наполеона, но и познакомить их с Вольтером, Расином, парижскими газетами, приобщить к национальному образованию. По резкому замечанию Вебера, «не может быть более ясного выражения имперского чувства, чем приверженность белого человека франкофонии, чьи первые победы должны были быть одержаны в первую очередь дома». Там, где некогда господство латинского языка обусловило участие небольшой элиты в более широкой культуре, теперь власть французского языка определяла полноту участия во французской культуре. В иерархии культур проявлялась скрытая логика, низводящая местные языки и региональные культуры к провинциализму. На вершине этой пирамиды находился Париж и его учреждения: министерства, школы, академии. Успех этого культурного проекта зависел от возможностей принуждения и от побуждающих мотивов. Эта централизация позволила создать Францию, несмотря на сопротивление и безразличие французов. Франция — это политическое сооружение, для создания которого центральная власть никогда не прекращала борьбы». Стандартный французский и Париж были

фокусами власти и центрами притяжения. Рост рынков, мобильность населения, новые карьеры, политическое покровительство, общественные службы и национальная образовательная система — все это означало, что освоение французского языка и связи с Парижем были путями социального продвижения и материального успеха. Такое упрощение обещало вознаградить тех, кто подчинится ему, и наказать тех, кто его игнорирует.

Централизация дорожного движения

Централизация языка сопровождалась централизацией дорожного движения. Париж стал центром национальной коммуникации. Новые шоссейные и железнодорожные системы способствовали движению в Париж и обратно по межрегиональным и местным дорогам. Все это сделало провинции более доступными и прозрачными для центральных властей.

Представим *нецентрализованную* и *централизованную* систему коммуникации. Нецентрализованную систему можно представить в виде карты фактических маршрутов товаров и людей, *не* созданных по административному указу. Эти маршруты не были случайными, они отражали удобство поездок по долинам, вдоль водоёмов и вокруг ущелий, а также расположение важных ресурсов и обрядовых мест. Если ради чистоты аргументации представить себе место, где равномерно распределены физические ресурсы и нет никаких больших препятствий передвижению, тогда сформируется карта дорог, напоминающая систему капиллярного кровообращения.

Расположение дорог никогда не было случайным. Рыночные города всегда представляли собой небольшие населённые пункты на удобных местах, рядом с религиозными святынями, карьерами, шахтами и другими важными объектами. Во Франции сеть дорог отражала централизующие амбиции местных правителей и национальных монархов. Начиная с Кольбера, все государственные деятели стремились создать сетку административной централизации. В любом случае она должна была спрямить шоссе, каналы и железнодорожные линии, исходящие из Парижа как спицы колеса.

Подобие между этой сеткой и системой просек управляемого государственного леса не было случайным. То и другое было изобретено для того, чтобы сделать максимально удобной связь и облегчить центральное управление. Чиновнику из центра теперь было намного легче добираться до A или B по новым маршрутам. План дорог был разработан так, чтобы они служили правительству и городам, а отсутствие сети вспомогательных путей объяснялось обычаями или потребностями народа. Административные шоссе были построены так, чтобы по ним войска могли маршировать, а налоги — достигать казны. Однако желающему проехать или перевезти товары из A в B сделать это было не так просто. Подобно тому, как все документы должны были «пройти» официальную правовую проверку, так и большинство коммерческих грузов приходилось провозить через столицу.

Усовершенствования дорожного движения имели огромные последствия, большая часть которых была направлена на соединение провинциальной Франции и ее жителей с Парижем и государством, а также на облегчение развёртывания войск из столицы для подавления гражданского волнения в любом районе страны. Использование дорог было нацелено на военный контроль над нацией, который в самой столице был уже достигнут. Это позволило Парижу влиять на экономику за счёт провинций, облегчить финансовый и военный контроль центра, а также ослабить побочные культурные и экономические связи, укрепляя иерархию власти. Одним ударом это отбросило отдалённые области на задворки — точно так же, как официальный французский оттеснил местные диалекты.

Внутренние колонизаторы

В заключение первой главы Скотт резюмирует основные ошибки политиков и бюрократии. Они оценивают жизнь общества по параметрам, отдаленным от действительности. В итоге диаграммы и таблицы учёных-лесоводов не точно отражают реальный лес. Кадастровая карта и документ права собственности являются грубыми или ложными представлениями существующих фактических прав использования и распоряжения землёй. «Функционер любого большого ведомства «видит» интересующую его человеческую деятельность через призму упрощённых документов и приблизительных статистических данных: налогообложение, списки налогоплательщиков, земельные отчёты, среднестатистические доходы населения, число безработных, уровень смертности, данные о коммерческой деятельности и производительности, общее число случаев заболевания холерой в некотором районе» [там же: 126–127].

Эта типизация необходима для управления государством. Государственные упрощения (карты, переписи, кадастровые списки, стандартные единицы измерения) представляют способы отражения сложной действительности. Они нужны для того, чтобы чиновники могли постичь общую картину и упростить сложную действительность до схематических категорий. Единственный путь выполнить это — свести бесконечное множество деталей в набор категорий, которые облегчат итоговые описания, сравнения и группирования. Изобретение, разработка и использование этих абстракций представляет огромный скачок в возможностях государства — в переходе от сбора дани и косвенного управления к налогообложению и прямому управлению. Косвенное управление требует минимального государственного аппарата. Но оно вынуждено опираться на местную элиту, которая была заинтересована придерживать ресурсы и информацию, идущие из центра. Прямое управление разожгло сопротивление и вызвало частичное ограничение власти центра. Зато чиновники впервые получили прямую информацию и приблизились к непонятному для них обществу.

Такова способность продвинутых методов прямого управления — при простом подытоживании известных фактов обнаруживать новые социальные истины[12]. Подобные типизированные факты являются *могущественной формой государственного знания*, позволяющей чиновникам вмешиваться на ранних стадиях в эпидемии, разбираться в экономических тенденциях, влияющих на общественное благосостояние, оценивать, имеет ли проводимая ими политика желаемый успех, и строить политику, имея в распоряжении много решающих фактов.

Но хотя способы надзора власти над обществом значительно усовершенствовались, управляющие ими политические мотивы — присвоение, контроль, манипуляция — не изменились. Государство грубо вмешивается в жизнь общества, если у него нет надёжных средств пересчитать население, указать, где оно находится, оценить его благосостояние и наладить картографирование земли, ресурсов и поселений. Труднодоступное для государства общество может изолироваться от некоторых форм государственных вмешательств, как охотно принимаемых (универсальные прививки), так и вызывающих возмущения (личные подоходные налоги). Для вмешательства обычно используются местные уроженцы, которые знают общество изнутри и преследуют при этом свои собственные интересы. Но без этого посредничества действия государства будут неэффективными, требующими слишком больших усилий.

Государство может быть грабителем и благодетелем общества. Непрозрачное общество мешает любому государственному начинанию. Пока государство хочет захватить пару тонн зерна и поймать десяток призывников, его невежество не фатально. Но если государство требует от граждан изменить привычки (гигиена, здоровый образ жизни) или выполнять опре-

[12] Центр по контролю заболеваний в Атланте служит этому примером. Сеть типовых больниц Центра позволила ему первому «обнаружить» такие ранее неизвестные болезни, как токсический шоковый синдром, болезнь легионеров и СПИД.

делённую работу (квалифицированный труд или обслуживание сложных механизмов), такое невежество становится опасным. Полностью доступное взору государства общество устраняет местную монополию на знания и обеспечивает прозрачность государства благодаря единообразию кодексов, удостоверений, статистики, инструкций и мер измерения. Одновременно оно создаёт новые преимущества позиций «на вершине» — для тех, кто владеет знаниями и имеет доступ к дешифровке нового формата государственных документов.

При этом вмешательства могут быть дискриминационными и смертоносными[13]. Деятельность нацистских властей имела смертоносную цель, но средством для ее успешного выполнения стала чёткость властей Голландии. Эта чёткость усиливает способность государства к дискриминационным вмешательствам.

Доступность обозрению подразумевает наличие наблюдателя, который находится в центре и может разглядывать пейзаж. Виды государственных упрощений предназначены для того, чтобы обеспечить власть схемой общества. Такое представление недоступно человеку без властных полномочий. Американские полицейские на скоростных шоссе надевают зеркальные солнцезащитные очки. Так и власть с помощью упрощений может наблюдать только определённые аспекты жизни общества. Эта позиция удобна для тех учреждений, где важнее всего управление и контроль человеческой деятельности. Монастырь, казармы, заводские корпуса и бюрократия выполняют много функций, подобных государственным, и часто подражают его информационной структуре.

Д. Скотт предлагает называть государственные упрощения элементами «проекта создания чёткости». Этот проект ещё не закончился и полностью не осознан. Такие упрощения разворачиваются на разных уровнях, пронизаны погрешностями, упущениями, массой ошибок, мошенничеством, небрежностью, политическим искажением. План создания чёткости присущ любому государственному управлению, стремящемуся к манипуляции обществом. Но он подрывается соперничеством внутри государства, техническими препятствиями, сопротивлением объектов управления.

Государственные упрощения относятся только к тем аспектам социальной жизни, которые интересуют чиновников. Эти факты имеют пять характеристик: 1. Это *утилитарные* факты. 2. Это почти всегда записанные (словесно или цифрами) *документальные* факты. 3. Это *статичные* факты. 4. Это *агрегированные* факты, которые могут быть безличными (плотность сетей дорог) или собранием данных о людях (уровень занятости, уровень грамотности, способы проживания). 5. Для большинства целей чиновникам нужно сгруппировать граждан такими способами, которые позволят им сделать общую оценку. Факты, которые могут быть соединены и представлены в усреднённом виде или в распределениях, должны быть *стандартизованными.* Независимо от особенностей индивидуумов интерес представляет их сходство или различия по стандартной шкале.

Процесс группировки таких фактов требует трех шагов. 1. Создание общих единиц измерения или кодирования (размер деревьев, земельный участок, метрическая система измерения земельной собственности или количества зерна, единообразная практика наименования, степные территории и городские участки стандартных размеров). 2. Каждый объект или событие, попадающее в пределы категории, обсчитывается и классифицируется согласно новой единице оценки (дерево вновь появляется уже как представитель размера группы деревьев; участок сельскохозяйственных угодий — как координаты кадастровой карты; работа — как пример видов деятельности; человек — как носитель имени соответственно новой формуле).

[13] Примером служит карта, выпущенная городским статистическим центром Амстердама во время нацистской оккупации в мае 1941 г. Вместе со списками граждан эта карта давала возможность подсчитать еврейское население в городе, из которого были депортированы 65 тыс. граждан. В результате была получена полная информация об именах, адресах и этническом происхождении с картографической точностью. Таковы следствия чёткости социальной статистики.

Каждый факт должен быть обновлён и возвращён на ту стадию, где он находился прежде, облачённым в новую униформу официальной выработки — как часть «системы тотальной классификационной сетки». Только в таком «наряде» эти факты могут принимать участие в создании целостной совокупности новых фактов с помощью объединения, следующего логике новых единиц измерения. 3. Обзорные факты, которые используются чиновниками (столько-то тысяч деревьев в данной категории размера; тысяч мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; хозяйств данного типа по площади; студентов, фамилии которых начинаются с буквы А; людей, больных туберкулёзом). Объединяя несколько метрик совокупности, можно прийти к прежде неизвестным истинам (распределение туберкулёзных больных по доходам и местам жительства в городе).

Государственные «упрощения» имеют два особых смысла. 1. Данные, которые чиновник должен получить, сводятся в обзорную схему целого, они должны быть выражены на языке, на котором могут воспроизводиться заново. Факты должны терять свое своеобразие и вновь появиться в схематической или упрощённой форме уже как члены класса фактов. При этом чиновники не только обладают более абстрактным и узким видением действительности, чем обычные люди, но и нуждаются в фактах, которые отвечают интересам и методам их институциональных ролей. 2. Группировка сводных фактов влечёт за собой уничтожение (игнорирование) различий, которые в другом отношении могли бы быть приняты во внимание.

В качестве примера приводятся упрощения относительно занятости населения. Трудовая деятельность людей сложна и может меняться изо дня в день. Но для официальной статистики определение «выгодная работа» является типизированным фактом: одни занимаются выгодной работой, другие нет. Кроме того, характеристики многих специфических рабочих мест резко ограничены категориями, используемыми в совокупной статистике[14]. Те, кто занимается сбором и интерпретацией сгруппированных данных, понимают, что в их категориях содержится нечто вымышленное, произвольное качество и что они утаивают богатство проблем. Однако эти скудные категории с необходимостью действуют так, как если бы все подобные классифицируемые случаи были в действительности гомогенны и единообразны. Все нормальные деревья в указанном диапазоне размеров подобны, вся почва в определённом классе почв статистически идентична, все автомобилестроители (если у нас классификация по промышленным специальностям) похожи, все католики (если у нас классификация по религиозным верам) одинаковы. Теодор Портер указывает, что есть «сильный стимул предпочесть чёткие и стандартизируемые измерения высокоточным», так как точность бессмысленна, если идентичная процедура не может быть надёжно выполнена в другом месте. Цель состоит в том, чтобы избавиться от субъективизма со стороны сборщиков данных или кодиров-

[14] Здесь возникают три проблемы. 1. Главенство категорий. Как классифицировать человека, обычно работающего на родственников, которые кормят его, позволяют ему использовать часть их земли как собственную платить ему натурой или наличными деньгами? Иногда произвольные решения о том, как классифицировать такие случаи, скрываются в тени конечных результатов, в которых появляются только преобладающие категории Теодор Портер обращает внимание на сообщение чиновников Французской канцелярии национальной статистики, что даже обученные сборщики информации зафиксируют до 20% профессиональных категорий по-разному. Цель статистического офиса состоит в том, чтобы обеспечить максимальную надёжность работы сборщиков информации, даже если соглашения, принимаемые для достижения этой цели, жертвуют государственными интересами. 2. Как категории и особенно стоящая за ними государственная власть формируют данные? Например, во время экономического спада в Соединённых Штатах в 1970-е годы имелись подозрения, что официальный уровень безработицы был преувеличен на 13% Главная причина, как утверждалось, состояла в том, что многие номинально безработные были заняты «без записей» в неофициальной экономике и не сообщали о своем доходе из страха перед налоговой службой Можно было говорить тогда, да и сегодня можно сказать, что финансовая система спровоцировала теневую деятельность, которой было суждено остаться вне банка данных. 3. Те, кто собирают и обобщают информацию, могут быть заинтересованы в этих данных. Во время вьетнамской войны число жертв и усмирённых деревень служило мерой успеха командования в антипартизанском движении. Это соблазняло командиров в угоду начальству завышать эти числа.

щиков. Это требует стандартных, механических процедур, которые не оставляют места для личного суждения.

К этой мысли Скотт добавляет следующее утверждение, аналогичное высказанному по поводу научного лесоводства: современное государство с помощью чиновников пытается создать картину природы и населения с такими стандартными характеристиками, которые будут наиболее простыми при контроле, подсчёте, оценке и управлении: «Утопическая, неизменная, постоянно недостигаемая цель современного государства состоит в том, чтобы свести хаотическую, беспорядочную, постоянно изменяющуюся социальную действительность к чему-то такому, что было бы приближено к административной сетке наблюдений» [там же: 133]. Искусство управления государством XVIII–XIX вв. свелось к выработке указанного проекта. То был период перехода от дани к налогообложению, от косвенного управления к прямому, от подчинения к уравниванию. Государства старались сделать свое население однородным, искоренить раздробленность, насаждая общие языки, религии, денежные единицы и юридические системы, а также создавая связанные между собой коммерческие системы, транспорт и связь. Современное государство продолжает этот тренд, пытаясь соединить утопию, науку и бюрократию.

Учёный-лесовод мечтает о совершенном лесе, засаженном растениями одного возраста, одного вида, прямыми рядами на прямоугольном равнинном участке, очищенном от подлеска и без всяких браконьеров. Государственный чиновник стремится к совершенно понятному населению с зарегистрированными отличительными именами и адресами, привязанными к плану поселений, населению, которое выбирает определённые классифицированные профессии, а свои сделки полностью документирует в соответствии с разработанной схемой и на официальном языке. Это карикатурное изображение содержит долю истины, которая нужна для понимания грандиозных планов XX века[15].

Затем Скотт выносит резюме: «Стремление к однородности и порядку предупреждает об опасности того несомненного факта, что современное управление государством является в значительной степени проектом внутренней колонизации, часто истолковываемой на языке империалистической риторики как «цивилизующая миссия». Строители современного национального государства не просто описывают, наблюдают и наносят на карту, они стремятся организовать людей и окружающий мир так, чтобы они подходили к их методам наблюдения» [там же: 134].

Эта тенденция характерна для больших иерархических организаций, которые действуют в низменной среде. Чем более статично, стандартизировано и однообразно население и социальное пространство, тем оно чётче и легче поддаётся приёмам чиновников. Юрисдикция власти сводит цель многих государственных деяний к преобразованию населения, пространства и природы в закрытые системы, не представляющие неожиданностей и лучше наблюдаемых и контролируемых.

Государственные чиновники навязывают свои упрощения, поскольку государство в совокупности институтов наилучшим образом подготовлено к тому, чтобы обращаться с людь-

[15] Д. Скотт цитирует отца прусской статистики Эрнста Энгеля: «Чтобы получить точное представление о жизни человека, статистическое исследование должно сопровождать все его земное странствование. Оно учитывает рождение, крещение, вакцинацию, успехи в обучении, усердие, окончание школы, последующее образование и развитие, а в зрелом возрасте — его телосложение и способность носить оружие. Оно также сопровождает последующие его шаги по жизненному пути, учитывает выбранное им занятие, как он основывает свое домашнее хозяйство и управляет им, экономил ли он в юности, заботился ли о старости, когда и в каком возрасте он женится, и кого он выбирает, кто его жена Статистика заботится даже о том, какие вещи ему подходят, а какие — нет Статистика принимает во внимание, перенёс ли он кораблекрушение в жизни, подвергся ли материальному, моральному или духовному крушению. Статистика оставляет человека только после его смерти — после того, как она установила точную дату его смерти и отметила причины, которые вызвали его конец». «Трудно представить себе, — иронизирует Д. Скотт, — более полный список государственных интересов начала XIX в. и тот бумажный след, который они вызывали» [Скотт 2005: 146].

ми по своей схеме. Все описанные категории когда-то были искусственными изобретениями кадастровых инспекторов, переписчиков населения, судебных исполнителей и полицейских. Теперь они организуют повседневную жизнь людей, поскольку внедрены государством в специальные институты, структурирующие эту жизнь. Экономический план, топографическая карта, отчёт о собственности, план ведения лесного хозяйства, классификация по этнической принадлежности, банковский счёт, протокол задержания, карта политических границ приобретают силу, так как все эти данные являются отправными пунктами для действительности, как ее чувствуют и формируют чиновники. При диктаторских режимах нет эффективного способа отстаивания другой реальности. Поэтому фиктивные «бумажные» факты преобладают, ведь именно с помощью «бумаг» приводятся в готовность полиция и армия.

Эти бумажные отчёты — действенные факты в судебном разбирательстве, в административном досье и для большинства функционеров. Значит, для государства нет никакой истины, кроме зафиксированной в документах, стандартизированных для этой цели. Ошибка в таком документе может иметь гораздо больше силы и удерживаться гораздо дольше, чем незаписанная истина: «Категории, используемые государственными деятелями, не просто предназначены делать окружение доступным и понятным: они создают мелодию власти, под которую должно танцевать большинство населения» [там же: 135].

Против рынка и государства

Книга Скотта направлена против следующих феноменов современности: империализма как планировщика нынешнего социального порядка; имперского и гегемонического менталитета планирования; капиталистического рынка и бюрократического государства; упрощения социальной науки. Проекты упрощения окружающей среды и упрощённые проекты организации общества в равной степени подвержены риску неудачи. Скотт отстаивает социальное и природное разнообразие и показывает ограниченность знания о функционировании сложных систем.

Скотт отметает также два обвинения в свой адрес: в восхищении традиционным и общепринятым; в том, что вся его аргументация есть анархистский протест против государства как такового. Государство — институт неоднозначный, лежащий в основе наших свобод и рабства. Некоторые государства руководствуются утопическими планами и авторитарно игнорируют ценности, желания и протесты своих граждан. Такие государства представляют смертельную угрозу человеческому благосостоянию. За пределами этих страшных (но ставших обычными) ситуаций надо каждый раз взвешивать, насколько полезно и чего будет стоить любое вмешательство государства в социальную жизнь.

Скотт создаёт иную парадигму анализа указанных проблем. На материале научного фермерства, индустриального земледелия и капиталистических рынков он показывает, что крупномасштабный капитализм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схематизации и упрощения, как и государство. Рынок сводит качество к количеству через механизм ценообразования и способствует стандартизации; на рынке говорят деньги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — самая мощная сила гомогенизации, даже если государство иногда защищает местные особенности и разнообразие. Выводы из неудач модернистских проектов социальной инженерии применимы к рыночной и бюрократической стандартизации **одновременно**.

Книгу Джеймса Скотта можно читать как систематизацию проблем, порождаемых рынком и «естественным государством» и до сих пор не решённых. Особенно опасно приписывать государству цивилизующую роль: «Простые люди непреднамеренно способствовали медленному росту государства вокруг них и над ними до тех пор, пока уже не осталось ни возможности выбора, ни сил, чтобы его отвергнуть» [Саутхолл 2000: 131]. Книга Скотта поз-

воляет осознать потерянную возможность и копить интеллектуальные силы для когнитивного сопротивления государству.

Кор Л. 2007. *Распад государств*. — М.: Товарищество научных изданий КМК. — 262 с.

Кревельд М. ван. 2006. *Расцвет и упадок государства*. Пер. с англ. Под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. — М.: ИРИСЭН. — 544 с.

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. 2011. *Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества*. — М.: Изд. Института Гайдара. — 480 с.

Осокина Е.А. 2011. О социальном иммунитете, или критический взгляд на концепцию пассивного (повседневного) сопротивления. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения : материалы междунар. науч. конф., Москва, 5–7 дек. 2008 г*. — М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 387–406.

Саутхолл Э. 2000. О возникновении государств. — *Альтернативные пути к цивилизации: колл. монография* / Под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынши. — М.: Логос. — С. 130–136.

Скотт Дж. 2005. *Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни*. — М.: Университетская книга. — 576 с.

НАШИ АВТОРЫ

Верховский Александр Маркович – директор Информационно-аналитического центра «Сова» (averh@yandex.ru)

Гудков Лев Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центра) (gudkov@levada.ru)

Дубин Борис Владимирович – лауреат ряда премий за эссеистику и переводы, кавалер Ордена заслуг (Франция, 2008), руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центра) (dubinbv@yandex.ru)

Кирдина Светлана Георгиевна – доктор социологических наук, кандидат экономических наук, заведующая сектором социально-экономических систем Института экономики РАН (kirdina@bk.ru)

Константинов Михаил Сергеевич – кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (konstantinov@sfedu.ru)

Макаренко Виктор Павлович – доктор политических и философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Национальной академии наук Украины, директор Центра политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета (vpmakar1985@gmail.com)

Мелихов Александр Мотелевич – кандидат физико-математических наук, писатель, критик, публицист, лауреат ряда премий, заместитель главного редактора журнала «Нева» (konstantinov@sfedu.ru)

Николаев Илья Викторович – аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (nikolaev_polit@mail.ru)

Олейник Антон Николаевич – Ph.D, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН и Associate Professor Университета «Мемориал» (Канада) (aoleynik@mun.ca)

Паин Эмиль Абрамович – доктор политических наук, профессор, руководитель Центра по изучению ксенофобии и предотвращения экстремизма Института социологии РАН, профессор Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики (painea@mail.ru)

Попова Ирина Петровна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН (irina_popova@list.ru)

Поцелуев Сергей Петрович – доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (spotselu@mail.ru)

Рюмшина Анна Олеговна – аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (anette7755@yandex.ru)

Ткаченко Василий Николаевич – доктор исторических наук, профессор, советник Президиума Национальной академии педагогических наук Украины (vasyl.tkachenko@gmail.com)

Фирсов Борис Максимович – доктор философских наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге (firsov@eu.spb.ru)

Шаталова Татьяна Юрьевна – преподаватель Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (shatalova-tanya@yandex.ru)

Эткинд Александр Маркович – кандидат психологических наук, PhD, профессор Кембриджского, Нью-Йоркского и Джорджтанского университетов (sashaetkind@me.com)

Summaries and keywords

Makarenko V.P. The Contemporary Russian Militarism (Article Two)

Summary: The author provides an analysis of the military and police structures in politics. Concentration of state violence becomes the main problem here. The author examines the history of Russian militarism; moreover, he emphasizes the importance of civilian control over the institutions of violence.

Keywords: military and police structures, state violence, militarism, public policy, civic militarism, military reforming, the army and politics.

Verhovsky A.M., Pain E.A. Civilizational Nationalism: A Russian Version of "Special Path"

Summary: The authors consider a very common (in Russia) kind of ideology of the "special path". This ideology uses the idea of a special Russian civilization as a proof of the impossibility of full democratic development of Russia. The authors present a panorama of contemporary political forces which use, in one way or another, a new kind of nationalism — the civilizational nationalism — as well as analyze the causes and possible consequences (for Russia) of the growing interest of various political forces to such nationalism.

Keywords: civilizational nationalism, the ideology of the "special path", authoritarianism, neo-Nazism, ethnic nationalism, Eurasianism.

Melikhov A.M. The "Special Path" Ideology as an Instrument of Modernization

Summary: The paper considers the ideology of "special path" as well as its role in modern Russia. Also, as paper's title implies, the author examines the applicability of "special path" ideology as an instrument of modernization.

Keywords: "special path" ideology, modernization, defensive ideologies, offensive ideologies.

Firsov B.M. Apology of "Special Path" and Mentality of the Russians: a View from the Outside

Summary: In this article the author puts at the center of his study the mental worlds of contemporary Russian population. Stressing the vagueness of the definition of what mentality is the author analyzes the structure of Russian mentality and the place which is in that mentality taken by the idea of a "special way". Based on the opinion of numerous foreign experts, the author tends to give a generalized view on the mentality of the Russians from the "outside".

Keywords: mentality, mental worlds, ideology of "special path", rhetoric of "special path", ideological program.

Gudkov L.D., Dubin B.V., Pain E.A. The Conversation: "Does Have the "Special Path" Ideology Any Modernization Sources?"

Summary: The interlocutors expressed their opinions regarding the possibility of the ideology of "special path" as an instrument of modernization. The question was raised, whether the concept of "special path", being product of pro-government circles, does mean the moral defense of the peripheral country?

Keywords: "special path" ideology, de-modernization, legitimacy.

Transcript of the All-Russian Conference "Problems of Soviet Past Research" (23-24 March 2013)

Summary: Transcript of the All-Russian Conference "Problems of Soviet Past Research" held in Rostov-on-Don, 23-24 March 2013.

Keywords: past research, soviet history, conference transcript.

Etkind A.M. Chapters from the Book "Internal Colonization. Imperial Russian Experience"

Summary: Alexander Etkind's book "Internal Colonization. Imperial Russian Experience" (Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2013) tells about how the Russian Empire took possession of foreign territories and mastered their own land by colonizing many nations, including the Russian themselves. The author speaks in detail about the limits of application of Western concepts of colonialism and orientalism to the Russian culture. In addition, he speaks about formation of self-colonization language by Russian historians, about serfdom and peasant commune as colonial institutions, about attempts of literature in their own way to solve the internal colonization problems which were put in Russian history.

Keywords: internal colonization, imperialism, self-colonization, orientalism.

Tkachenko V.N. The Phenomenon of "Internal Colonization" in the Ukrainian-Russian Relations (Historical Aspect)

Summary: The article examines the current understanding of the phenomenon of "internal colonization" in the case of the Ukrainian-Russian relations in the XVII-XXI centuries.

Keywords: internal colonization, national identity, non-Russian, exoticization of Ukraine, hybridization of Ukrainians image, "ukrainization" of Russian culture, russification of Ukrainians, Ukrainian-Russian consensus, resistance identity.

Potseluev S.P., Konstantinov M.S. Activity Approach: Morality in the Structure of Political Interactions

Summary: This paper describes the categorical apparatus and methodology of researching problems of relations between morality and politics from the standpoint of activity approach. Particular attention is paid to the analysis of G.H. Mead's pragmatic concept as well as B.G. Kapustin's theory of political morality.

Keywords: morality, politics, ideology, methodology, activity approach, frame, concept.

Nikolaev I.V. Moral and Cognitive Foundations of Liberal Understanding of Freedom

Summary: The article analyzes the ethical theories of main areas of liberal political thought in the process of their formation. The basic nature of the idea of "freedom" for liberalism is substantiated, and a conceptual analysis of this concept is conducted. The main objective of the study is searching invariant elements of ethical understanding of the freedom concept as well as identifying the moral frames associated with this concept.

Keywords: morality, politics, ideology, liberalism, frame, concept.

Konstantinov M.S., Nikolaev I.V. Frames and Concepts of Moral Substantiation of Conservatism

Summary: In this paper, the basic concepts and their associated moral frames of political philosophy of conservatism are examined from the standpoint of integrative-cognitivist approach. Three basic concept-frame models characteristic of conservative thought are identified. The authors suggest that the differences between these models are determined at the level of both key concepts and their associated frames. All three models are united via meta-frame of responsibility which is the most characteristic frame of conservatives.

Keywords: morality, politics, ideology, conservatism, frame, concept.

Potseluev S.P. Moral Motives and Moral Rhetoric in Marxism and Socialism

Summary: In this paper, from the standpoint of integrative-cognitivist approach to analyzing the relationship between morality and politics, the moral frames moral ideology of classical Marxism, Bolshevism and social democracy are clarified. The author emphasizes that these frames modify significantly the original meaning of the theoretical concepts underlying mentioned ideologies.

Keywords: morality, politics, ideology, Marxism, socialism, Bolshevism, Social-Democracy, frame, concept.

Konstantinov M.S. Communitarian Critique of the Liberal Concept of Moral Neutrality

Summary: In this paper, from the standpoint of integrative-cognitivist approach, the key concepts and their associated moral frames within debate between liberals and communitarians are analyzed. Among the basic concepts of communitarianism the author identifies "community", "good" and "virtue." With these concepts are associated the frames of civism, responsibility for community affairs, affection, etc. The results of studies may be useful for a wide range of Russian and foreign scientists who research problems of political theory, political ethics, moral and political philosophy.

Keywords: morality, politics, ideology, liberalism, communitarianism, frame, concept.

Oleinik A.N., Kirdina S.G., Popova I.P., Shatalova T.Y. Academic Reading: the Limits of Understanding and Interpreting

Summary: The article discusses the process of scientific communication that is mediated by text. The study shows that texts can have multiple interpretations. In the context of their reading, comes to the fore either author's or reader's point of view. Both the author and the reader can read

the text either superficial, or carefully and thoughtfully. The careful reading requires significant investment of time and cognitive resources, contrary to the rule of “minimizing effort to process the information”. This is one of the reasons for the discrepancy of the author's and the reader's interpretation of the text.

Keywords: reading, quality coding, content analysis, science, communication.

Makarenko V.P., Ryumshina A.I. Reading James Scott: State Facts and Melody of Power

Summary: The paper proposed an original interpretation of James Scott's book “Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed” (Moscow: Universitetskaya kniga, 2005).

Keywords: bureaucratic imperialism, bureaucratic state, planning, standardization.

CONTENTS

EDITOR'S WORD

Makarenko V.P.
The Contemporary Russian Militarism (Article Two)..... 6

TOPIC OF THE DAY: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

From the Editor..... 21

Verhovsky A.M., Pain E.A.
Civilizational Nationalism: A Russian Version of "Special Path"..... 23

Melikhov A.M.
The "Special Path" Ideology as an Instrument of Modernization..... 47

Firsov B.M.
Apology of "Special Path" and Mentality of the Russians: a View from the Outside..... 49

Gudkov L.D., Dubin B.V., Pain E.A.
The Conversation: "Does Have the "Special Path" Ideology Any Modernization Sources?" 58

STUDIES OF PAST AND INTERNAL COLONIZATION OF RUSSIA

Transcript of the All-Russian Conference
"Problems of Soviet Past Research (23-24 March 2013)"..... 69

Etkind A.M.
Chapters from the Book "Internal Colonization. Imperial Russian Experience"..... 141

Tkachenko V.N.
The Phenomenon of "Internal Colonization" in the Ukrainian-Russian Relations (Historical Aspect)..... 173

MORALITY AND POLITICS

Potseluev S.P., Konstantinov M.S.
Activity Approach: Morality in the Structure of Political Interactions..... 187

Nikolaev I.V.
Moral and Cognitive Foundations of Liberal Understanding of Freedom..... 200

Konstantinov M.S., Nikolaev I.V.
Frames and Concepts of Moral Substantiation of Conservatism..... 213

Potseluev S.P.
Moral Motives and Moral Rhetoric in Marxism and Socialism..... 227

Konstantinov M.S.
Communitarian Critique of the Liberal Concept of Moral Neutrality..... 240

BOOK SHELF

Oleinik A.N., Kirdina S.G., Popova I.P., Shatalova T.Y.
Academic Reading: the Limits of Understanding and Interpreting..... 251

Makarenko V.P., Ryumshina A.I.
Reading James Scott: State Facts and Melody of Power..... 266

Our authors..... 284

Summaries and keywords..... 286

Contents..... 290

Notes for contributors..... 292

К сведению авторов

Предварительно автор должен подготовить рукопись статьи в соответствии с требованиями к оформлению статей. Далее рукопись необходимо отправить на электронную почту редакции konstantinov@sfedu.ru, konstms@gmail.com (просьба дублировать на оба адреса) с пометкой «Статья для электронного журнала „Политическая концептология“». Статьи, оформленные не надлежащим образом, не принимаются к рассмотрению. После поступления в редакцию рукопись проходит обязательное рецензирование, по результатам которого принимается решение о публикации статьи или отказе. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о решении относительно публикации и ее условий (срока и формы публикации, необходимости доработки). В случае, если статья нуждается в авторской доработке, автору высылается отзыв рецензента. Редакция оставляет за собой право правки текстов, не наносящей вред искомым идеям автора статьи. Рукописи не возвращаются. Все статьи публикуются бесплатно вне зависимости от статуса автора.

Требования к оформлению статей

1. Статья должна быть объемом не более 1,5 п.л. – 60 тыс. знаков, набрана в формате *.doc* (*Microsoft Word* или *OpenOffice.org*).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт *Times New Roman*, 12 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.

4. Допускается использование шрифтов *Arial* и *Courier New* для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

5. Сноски постраничные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

6. Библиографический список оформляется следующим образом:
Фамилия И.О. Год. *Название работы*. – Город: Издательство. – Количество страниц.
Фамилия И.О. Год. Название статьи. – *Название журнала*. – Номер. – С. ... .
Фамилия И.О. Год. *Название источника*. – Доступно: http://URListochnika/ . – Проверено: Дата.